крестьян, говоря, что пошли на воровство поневоле; другие не пришли, потому что были побиты, а третьи не пришли потому, что пристали к другим господам. Зато явились и новые записаться в кабалу. Опять усадьба начала напоминать прежний вид, хотя уже прежнего богатства и довольства нельзя было воротить: то, что было прежде, собиралось многими поколениями. Капитон Михайлович благодушествовал со своею молодою супругой. Ключник и ключница, уже свободные, остались у них верными слугами и друзьями. Капитон Михайлович справил новоселье. Были приглашены соседние дворяне, тоже воротившиеся в свои усадьбы; был тут и священник, но уже новый. На пиру, когда поднимали разные чаши, священник с чашею возгласил вечную память и упокоение погибшим и пострадавшим во время смуты за святую непорочную веру и за здравие его царского величества, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца. Тогда кто-то, упившись, заметил, что жаль Осипа, которого нельзя уже помянуть в числе верных слуг царских. Мгновенно лицо Капитона Михайловича приняло суровое выражение, и он сказал:

— Да погибнет память его от земли живущих! Имя его никогда не вспомянется в дому сем! А кто его добром или худом мне припомнит, того прошу не жаловать за порог наш.

— Аминь! — сказал священник.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Цель настоящего рассказа была представить, в повествовательной форме, черты нравов, понятий, обычаев и домашнего быта в XVII веке. Для этого избраны историческая эпоха и частное событие такого рода, где бы удобно было связать поболее разных явлений старинной жизни. Сюжет рассказа заимствован из предания, слышанного автором в Восточной России. Существует воспоминание, что один из предков одной дворянской фамилии убил жену, а сын его начал мстить за мать, вступил в шайку разбойников, стал у них атаманом, напал на отцовскую усадьбу и сжег ее, а потом сам был схвачен и казнен. Здесь это событие отнесено ко временам бунта Стеньки Разина. Восемь глав

КУДЕЯР

Историческая хроника
В трех книгах

КНИГА ПЕРВАЯ

I. ГОСТИ

Начинался рассвет ноябрьского дня. В доме священника Никольской церкви, в Китай-городе, горели огни. В просторной светлице с маленькими четвероугольными оконцами происходили приготовления к выезду знатного господина. Двое слуг вытащили большой сундук из угла, образуемого муравленною печью и разделенного на два яруса для всякой поклажи, и доставали из сундука разные наряды. Господин обулся в сафьянные сапоги с серебряными узорами, отороченные бобром, надел зеленые суконные штаны, входившие в сапоги, белый зипун из турецкой габы, а сверху бархатный темно-красный казацкий кобеняк с отложным воротником и горностаевой обшивкой. Эта одежда была короче тогдашнего великорусского кафтана, с одною только грушевидною пуговицею, и подпоясывалась поясом, до того унизанным золотыми бляхами, что нельзя было распознать материи, из которой он был сделан. За поясом заложен был кинжал с круглою ручкою, украшенною одним большим изумрудом; на левом боку у господина была турецкая кривая сабля в серебряных ножнах и с бирюзою на рукоятке; а на груди висела золотая цепь с медальоном, на котором изображалось восходящее солнце. Одевшись, господин выслал слуг, достал из шкатулки отделанную перламутром пергаментную книжку и стал читать молитвы, обратившись к образу, перед которым горели три восковые свечи. Между тем рассвело.

В светлицу вошел священник с крестом и святою водою.

— Потеснили мы тебя, отче,— сказал господин.— Не сетуй на нас: не наше хотение, а царская воля. Но я перед тобою за гостьбу твою в вине не буду.

дой,— коли б государь-царь жаловал нас такими стояльцами, то нам на том государю бить челом с хвалою, а не скорбить о тесноте. Таких, как ты, на свете немного, зане кровь свою не раз проливал за все христианство и страшен стал агарянам, яко Гедеон и Сампсон. Боже тебя благослови! А я, грешный, богомолец твой, буду молить Бога и пречистую его матерь, чтоб царь-государь последовал благому совету твоему, еже на брань с нечестивыми измаильтяны.

— Все в руце божией,— сказал господин.— Человек хочет тако и инако, а как Бог скажет: стой, не движися! — то все человеческие затеи прахом пойдут. Молчи да дыши.

Вошел царский пристав, поклонился князю в пояс и сказал:

— Князь Дмитрий Иванович! Государь-царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси пожаловал тебя, велел быть у себя и прислал за тобою свою царскую лошадь.

Князь всунул приставу в руку несколько червонцев.

Вошли слуги, доложили, что все готово, и накинули на господина соболью шубу, крытую зеленою камкою. Господин надел высокую черную баранью шапку с золотым пером и вышел, провожаемый благословениями и пожеланиями священника.

Этот господин был знаменитый богатырь XVI века — князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, староста черкасский и каневский, предводитель днепровских казаков и первый виновник их славы. Медальон на груди носил герб его княжеского рода. Князь был лет сорока пяти, среднего роста, с большим выпуклым лбом, носившим печать ума и благородства, и с окладистою русою бородкою. В его голубых глазах светилось простодушие и доброта вместе с чем-то могучим и грозным; несмотря на лета, его лицо сияло здоровьем и свежестью; во всех чертах и движениях его виднелись следы внутренней крепости, сильной воли и многолетнего опыта.

Выйдя на крыльцо, он увидел толпу своих казаков; атаманы были в красных, а простые казаки в черных киреях и широких шароварах, запущенных в высокие черные сапоги. Одни сидели уже на конях и один за другим выезжали за ворота, другие держали за поводья лошадей, готовясь вскочить на них.

У крыльца стоял серый, с черными яблоками жеребец; на которого выглядывали концы желтой попоны с бахромой. Под мордою у лошади висела целая куча ремешков, расширявшихся книзу и усеянных золотыми бляшками, а на ногах выше копыт были бубенчики, издававшие звук при всяком движении лошади. Вишневецкий вскочил на жеребца и выехал из ворот; пристав ехал с ним рядом; впереди и сзади ехали казаки. Путь их лежал мимо Гостинного ряда, по Красной площади, загроможденной в то время множеством лавочек, шалашей, скамей с разными съестными припасами. Народ, любивший глазеть на приезжих, с любопытством бежал за Вишневецким, и в толпе слышались голоса: «Вот молодец! Как такому бусурмана не побить! И народ-то у него какой рослый, богатырский!»

Вишневецкий въехал в Фроловские ворота Кремля, на которых в то самое время раздалось два удара боевых часов, означавших тогда два часа по тогдашнему счету ночных и дневных часов, и в ту же минуту повторилось два удара на других кремлевских башнях, на которых были устроены часы: на Никольской, Водяной (к Москве-реке) и Ризоположенской (выходившей на Неглинную). Тридцать пищальников, стоявших на карауле, расступились и подняли свои пищали вверх. Вишневецкий проехал между боярскими домами, мимо Вознесенского монастыря и мимо церкви Николая Гостунского, прямо к собору, и остановился у золоченой решетки царского двора. Пристав соскочил с лошади; за ним сошел князь и все казаки. По приказанию пристава князь отвязал свою саблю, отдал ее казаку, взял с собою четырех атаманов и одного казака, несшего ящик, и пошел пешком вслед за приставом по Благовещенской лестнице. На крыльце, ради почета, была ему первая встреча, в сенях — другая. Вишневецкий вошел в переднюю палату.

Царь Иван Васильевич сидел в углу под образом, одетый в голубой, расшитый серебряными и золотыми травами кафтан, в собольей шапочке с жемчужною опояскою, в руках держал посох. Это был сухощавый человек, с клинообразною бородкою, с узким лбом и с чрезвычайно живыми, бегающими глазами, в которых трудно было уловить что-нибудь, кроме постоянного беспокойства и нерешительности. Близ него стоял думный дьяк Иван Висковатый, высокий, тонкий, с длинною шеею и с задумчивым выражением глаз.

Пристав сказал:

— Князь Дмитрий Иванович Вишневецкий приехал просить твоей царской милости, чтоб ты, великий государь, пожаловал, изволил бы принять его в холопство на верную свою государскую службу.

Дьяк Висковатый от имени царя дал ответ, что царь похваляет князя Дмитрия Ивановича, велит спросить о здоровье и жалует к своей царской руке.

Вишневецкий, подошедши ближе, преклонил колено и поцеловал лежавшую на коленях царя царскую руку, а потом отошел, устремивши глаза на государя.

Пристав заявил, что князь Дмитрий просит пожаловать его — велеть поднести царю в дар турецкую саблю редкой работы. Казак поставил ящик на столик и открыл его. Там лежала сабля с рукояткою, осыпанною рубинами, бирюзой и изумрудами.

— Бог тебе в помощь, князь Дмитрий Иванович! — сказал царь Иван.— Коли пожелал своею охотою служить нам и прямить, то мы тебя будем жаловать, и служба твоя от нас забвенна не будет. Ну, а сдал ты Черкассы и Канев брату нашему, королю Жигимонту-Августу, как мы тебе велели, для того, что мы теперь с братом нашим королем не в розратьи?

— Все учинил так, как от тебя, государя, приказано,— сказал Вишневецкий.— А ныне пожалуй нас, холопей твоих: вели слово вымолвить.

— Говори,— сказал царь,— послушаем, коли хорошее скажешь.

Вишневецкий сказал:

— Казаки городов Черкасс и Канева и все тамошние тубольцы, прирожденные русские люди истинныя восточныя веры, тебе, великому государю, прямят и желают поступить под твою высокую державную руку навек неотступно. Вся земля киевская с Украиною и с землею волынскою и галицкою — твоя государева извечная отчина от равноапостольного князя Владимира; но половиною ее уже давно завладели поляки, а другою думают теперь завладеть от Литвы. И нам бы не быть под латинским государем; а пригоже нам быть под своими прирожденными правоверными государями.

Во время этой речи Иван Васильевич беспрестанно поворачивался, вертел свой посох, как человек, который не в силах сдержать своих ощущений, и показывал, что разом слышит что-то приятное и неприятное. По окончании речи

он сказал что-то Висковатому, а Висковатый произнес громко:

— Князь Дмитрий Иванович, ты поговоришь с царскими боярами, которых тебе вышлет государь на разговор.

— Слыхали мы,— сказал царь,— что ты, князь Дмитрий, бился с неверными за благочестивую веру, и мы тебя за то похваляем, чаючи, что и впредь по нашему повелению будешь против наших недругов биться; а за твое радение, что пришел к нам, жалуем тебе в вотчину город Белев с нашими волостями и доходами, и твоих атаманов и казаков, что пришли с тобой, велим испоместить поместьями.

Все поклонились.

Пристав дал знак, и Вишневецкий вышел со своими атаманами.

Князя провели через сени и крыльцо в так называемую Малую избу, против дверей Благовещенского собора. Там, у входа, Вишневецкий увидел давно знакомого ему дьяка Ржевского, бывшего его товарища в недавних битвах с татарами. Они поцеловались как давние приятели. В избе посредине стоял стол, за которым сидело трое сановников. При входе князя они встали из-за стола и подошли к нему. То были князь Андрей Михайлович Курбский, Алексей Адашев и брат его Данило.

Алексей Адашев был человек лет тридцати пяти, с овальным длинным лицом, с белокурыми, плотно остриженными волосами и с небольшой клинообразной бородкой. Чрезвычайное благодушие светилось в кротких голубых глазах его. Он постоянно держал ресницы опущенными вниз, а когда взглядывал на того, с кем вел разговор, то, казалось, видел насквозь, что у другого на уме. В Москве говорили, что Адашев сам никогда не скажет неправды и перед Адашевым другому трудно было солгать: слова не скажет, только взглянет и пристыдит. Он был одет в черный суконный кафтан без всяких украшений, а на ожерелье его рубахи не видно было ни золота, ни жемчуга, как бывало тогда у знатных людей, только виднелись красного шелка узоры, вышитые его женою. Брат его, Данило, был одет пощеголеватее. В его круглом румяном лице светилось столько же добродушия, сколько живости и удальства. Наружность Андрея Михайловича Курбского показывала иного человека, чем оба Адашевы: его высокий рост, открытый большой лоб, гордый и вместе приветливый взор, величественная поступь обнаруживали в нем челове-

ка, хорошо помнившего свой род и своих предков, человека, для которого не было ничего тяжелее, как сгибать шею перед кем бы то ни было.

— Бог благословит приход твой! — сказал Алексей Адашев Вишневецкому.

— Радуемся, и радость наша не отнимается от нас,— сказал Курбский,— понеже узрехом посреди себя не яко гостя и чужеземца, а яко единоземца и товарища родоименитого, доблестного воителя; его же слава прошла не только по нашим российским пределам, но достигла отдаленных стран, германских, римских, гишпанских, на него же возлагают упование сыны христианские.

— Наш, наш князь Дмитрий Иванович,— говорил Данило Адашев,— пришел к нам, не пожалеешь. Здесь у тебя будут други верные. Вот, как я приезжал к тебе от царя-государя, тогда мы вели беседу и говорили: как бы ты был наш! Теперь сталось так. Теперь праздник у нас на всю Русь!

Все обнимали и целовали Вишневецкого. Вишневецкий представил своих четырех атаманов, назвавши их по именам, потом сел с боярами за столом; атаманы сели поодаль на скамьях. Курбский начал:

— Государь-царь выслал нас на разговор. А нам прежде тебя бы послушать да из твоих уст узнать о славных подвигах твоих.

— Какие подвиги! — сказал Вишневецкий.— Коли б и вправду что было сделано, то надобно все Богу приписать. А мне про себя сказать хорошего нечего. Разве своей неудачей хвалиться.

— Что же,— сказал Данило,— апостол Павел хвалился немощами, а твои немощи и неудачи славнее иных побед.

— Кто не слыхал,— сказал Курбский,— как ты отбивался от многочисленных крымских орд на Хортице!

— А все-таки покинул Хортицу,— прервал Вишневецкий,— оттого, что великий государь не прислал помощи впору, а тут король пишет: сведи казаков с островов. Вот, Днепр опять в руках у поганых. Но дело поправится, если на то воля царская будет. В Крыму уже два года хлеб не родился; во всей орде траву выжгло; лошади пали; на скот падеж и на людей мор. Теперь бы и ударить на поганых. Достался бы его царскому величеству весь Крым со всею степью; освободились бы христианские люди в Крыму, а их еще немало; станем молчать (медлить) — ино поганые детей их побусурманят, и души христианские пропадут. Госу-

дарь-царь ко мне паче меры милостив: подарил мне Белев с волостями; но я не за своею корыстью приехал,— у меня своих волостей довольно; все готов отдать за избавление братий своих, христиан, от поганых. Приехал я того ради, чтобы с своими казаками, вместе с вами против неверных биться и царскому величеству крымский юрт покорить, а ему, великому государю, вся наша Украина готова челом ударить в вечное подданство.

— Князь Дмитрий Иванович,— возразил Адашев,— для того, чтобы нам Бог помог завоевать крымский юрт, невозможно учинять задор с королем, а надобно быть с ним в мире и союзе против бусурман.

— Довольно,— сказал Курбский,— дуровали деды наши, бились промеж собою да бусурман нанимали одни против других: Москва на Литву, Литва на Москву. Теперь надобно Москве с Литвою и Польшею в дружбе жить и на поганых вместе идти.

— Оно бы так, бояре,— сказал Вишневецкий,— только у нас король Жигимонт-Август — одно имя ему что король, и телом и умом слаб. Всем у него заправляют ляхи, а ляхи нашей русской земле добра не мыслят, да в союзе с ними быть одна беда. К войне не годятся: им бы только объедаться, да опиваться, да на мягких постелях валяться. Вот то их дело! К тому же они люди непостоянные и в слове не стоят: войдут с вами в союз, а потом и сами на войну не пойдут, и казаков не пустят.

— О турском царе надобно подумать,— сказал Адашев.— Крымский царь — голдовник турского, и турский за него встанет. Дело-то не легкое. Надобно заручиться крепким союзом с окрестными государствами.

— Турецкая сила,— сказал Вишневецкий,— страшна угорскому королю и польскому, а Московскому государству сделать большого зла она не может. Мы Крым завоюем, и нас турки из Крыма не выбьют, рать свою посылать в степь побоятся; а кабы на то дерзнули, так не достанут в степи корму ни себе, ни лошадям, и все пропадут от безлошадья и безхлебья. Турский хвалится, что он непобедим; а отчего? Христиане никак не смолвятся между собою стать всем разом против невёрных. Одно царство воюет и не совладает с турком, а все другие думают: силен турок, и каждый боится помогать тому, на кого бусурман пойдет.

— Об том, чтоб смолвиться всем на турка, речь идет многие лета; еще и до наших отцов и дедов про то говорили

во всех царствах, да до сих пор Бог не благословляет,— сказал Алексей Адашев.

— И до тех пор то дело не станется,— сказал Вишневецкий,— пока одно какое-нибудь христианское царство без помощи иных турка не побьет. Вот, как мы Крым отнимем, все тогда скажут: бусурман не так могуч, как мы думали. Тотчас веницейская Речь Посполитая пошлет свои каторги на Беломорье, и цезарь пристанет, и мултане, и волохи поднимутся, и перский царь пойдет на турка для того, что он ему старинный ворог; а вы знаете, как недругу в чем неудача станется, так все, что прежде его боялись, кинутся на него. Вот только с ливонскими немцами надобно вам замириться, оттого что через то творится рознь в христианстве, а бусурмане тешатся.

— Ливонские немцы согрубили нашему государю,— сказал Адашев,— и наш государь на них за то послал свои рати, и многие города нам покорились. Пусть бьют челом нашему государю, а то вот они мира с нами не хотят, мейстер идет на наши города.

— Слух есть,— сказал Вишневецкий,— быть может, недруги вымышляют, будто московские люди в ливонской земле поступали не по-христиански, людей мирных убивали, жен бесчестили, младенцев живота лишали; а в немецком языке книжки такие надрукованы, где описывается, как московские люди немецких людей мучат, и приложены рисунки тому, и то Московскому государству не в честь.

— Мало чего не пишут,— возразил Алексей Адашев.

— И мало чего на войне не приключается,— добавил Данило Адашев.— Коли делалось такое, так от татар, а не от наших.

— Прошлого года,— сказал Курбский,— я сам побил их многажды, и начальных людей их пленил, и не токмо не велел никого мучить, а приказал кормить и одевать и начальных людей к столу звал. А которые там простые люди, чухна и лотыгола, те немцев не любят сами и у нашего государя в подданстве быть хотят, и мы, воеводы, нашему государю даем совет, чтоб тамошних обывателей ласкать и льготы им давать, а не то, чтобы жестокостью отгонять их от себя. Ныне же, ради общего христианского дела, войны с неверными, мы будем царю подавать совет замириться с ливонскими немцами, лишь бы только они побили челом о мире. А ты, князь Дмитрий Иванович, как думаешь, нам идти на Крым и в кое время?

— Прежде всего,— сказал Вишневецкий,— надобно по-

ставить городок на Псле и поделать суда и струги, а с весны послать судовую рать по Днепру на море, до Козлова, а иная судовая рать пошла бы по Дону, на другой крымский берег, к Кафе. А разом послать на Крым черкесских князей, что царскому величеству послушны. А затем надобно однолично, чтоб царь-государь изволил сам выступить с главною ратью, так, как он ходил под Казань, а то для того, что как сам царь пойдет, то за ним все смело пойдут; и наши казаки, услыша про царское шествие, все пойдут своими головами.

— А как много у вас казаков будет, и какова их сила? — спросил Алексей Адашев.

— И каково их дородство? — спросил Курбский.

— У нас,— сказал Вишневецкий,— пословица есть: где крак, т. е., по-вашему, куст, там казак, а где байрак, там сто казаков. А какова у них сила бывает, я вам тотчас покажу.

Он обернулся к четырем атаманам и сказал одному из них что-то шепотом.

Вышел атаман, широкоплечий, высокий, смуглый, с чёрною бородою, с густыми нависшими бровями, с выдавшимися скулами и мрачным, невыносимо унылым выражением глаз. Он схватил одною рукою тяжелое кресло, на котором сидел Алексей Адашев, вместе с ним, высоко приподнял его и бережно поставил на пол.

— Это,— сказал Вишневецкий,— он из почести вознес боярина; а вот коли крымского хана с его трона так поднимет, так уж не поставит на землю, а кинет, чтоб расшибся вдребезги. А хотите видеть их дородство воинское, так выведите их в поле и велите стрелять в цель: коли один промахнется, так велите меня самого застрелить... А как пойдет государь с ратною силою на Крым, то велеть посошным людям ваши возить запасы за государем и городки ставить и в тех городках оставлять ратных людей с запасами, чтобы от города до города путь был чист, а государю идти на Перекоп. Вот мы с трех сторон ударим на крымский юрт, и христиане, что в Крыму живут, подымутся на бусурман.

— Ладно, право, ладно говоришь ты, князь Дмитрий Иванович,— сказал Данило Адашев,— от радости дух замирает; слушаючи тебя, так и хочется в поле на бусурман.

— Твоими бы устами да нам мед пить,— сказал Курбский.— Вот только кабы все так думали, как мы, а то около государя есть сопротивники нашим замышлениям.

— Мы передадим твое слово великому государю,— сказал Алексей Адашев,— а как ему Господь Бог на душу положит, так и будет.

— А что это за Самсон такой,— спросил Курбский по окончании переговоров о деле,— откуда ты его достал?

— Кто он такой,— ответил Вишневецкий,— про то ни он, ни я не ведаем. Чаем только, что по отцу, по матери он ваш прирожденный московский человек.

— Как не ведаете? — спросили бояре.

Вишневецкий сказал:

— Будет назад тому годов более двадцати, ходили наши казаки на татар и разорили татарский аул, взяли одного раненого татарина в плен, а на его дворе был этот молодец, еще мал, лет, так сказать, десяти либо одиннадцати. Татарин показал на него и говорил: этот хлопец вашей веры был, мы взяли его ребенком в московской земле и обрезали, а он был ваш, у нас есть крест, с него снят. Больше мы ничего не могли допроситься от татарина, он стал кончаться и умер, мы от его татарки взяли золотой крест.

— А парень по-русски умеет? — спросил Данило Адашев.

— Выучился межи нами,— сказал Вишневецкий,— а как взяли, так ничего не знал.

— Атаман,— сказал Курбский,— покажи нам свой крест.

Атаман снял с шеи золотой крест и подал его.

— О, здесь и надпись есть,— сказал Курбский и начал разбирать: —«*Благос... род...*», верно, родителей... слово... а другой буквы не разберу, не то люди, не то мыслите: «*сыну первенцу...*» глаголь... рцы... еще что-то... Посмотри ты, Алексей Иванович.

— Не разберу,— сказал Алексей Адашев, посмотрев на надпись.

— Палки какие-то,— сказал Данило Адашев,— ты, дьяк, не прочтешь ли? — продолжал он, обратившись к Ржевскому.

Ржевский стал пристально рассматривать крест, поглядывая также на атамана, который стоял с видимым равнодушием, вперивши глаза в пустое пространство.

— Над глаголем что-то есть,— сказал Ржевский,— а что такое — Бог его знает... Край стерся, а за глаголем еще слово какое-то было, да от него осталась только палка.

— Да,— сказал Вишневецкий,— и у нас не прочли,— казаки не знали, как ему имя дать, не то Григорий, не то

Георгий, не то Гаврила; не знали, крестить ли его в другой раз или нет, и отослали его к киевскому митрополиту. И митрополит разбирал на кресте надпись и не разобрал, а крестить его в другой раз не велел для того, что он хоть и был обрезан, да поневоле. Митрополит прочитал над ним молитву и дал ему имя Георгий. Тогда взял его к себе казак Тишенко, и он по нем стал зваться Тишенко ж, а другое прозвище дали ему Кудеяр — по тому аулу, где его нашли казаки; и стал он казак из казаков, силен, видите сами, каково, а на неверных лют зело и к церкви божией прилежен.

— А ты,— спросил Курбский Кудеяра,— живучи у татар, знал, что ты русский человек?

— Мало знал,— ответил Кудеяр.— Они со мной много не говорили, держали черно, как невольника.

Вишневецкий сказал:

— Казак Тишенко женил его на своей дочери; и пожили они в большой любви между собой, только недолго, года четыре; набежали татары, а Кудеяр был в походе; татары у него молодую жену увели. Все казаки собирались выкупить жену его из плена, да узнали, что ее кто-то купил в Кафе на рынке, и теперь неизвестно, где она.

— Вот несчастие! вот горе! — говорили бояре.

Вишневецкий продолжал:

— Долго он томился и поклялся отомстить бусурманам. Уж не раз он давал себя знать им. На войне совсем себя не жалеет, и один Бог его спасает; никогда не приведет в полон татарина, а кого поймает, сейчас бьет без милости. Иногда уж и я его журю за большую лютость,— мало того, что бьет, еще мучит, кого поймает.

— Как мне не бить их, собачьих сынов,— сказал Кудеяр,— когда они, быть может, у меня отца и мать убили, меня самого побусурманили и с женой разлучили.

— Бедный! бедный! — сказал Курбский.— Ну, а силищей тебя наделил Бог. Быть может, как мы государю скажем, он пожелает призвать тебя перед свои очи.

— Воля государская будет,— ответил Кудеяр.

— А давно у тебя жену полонили? — спросил Данило Адашев.

— Шестой год, бояре,— сказал Кудеяр.

— Божьи судьбы неисповедимы,— может, и обрящешь,— сказал Данило.

— Где сыскать ее,— ответил Кудеяр,— белый свет ве-

лик. Об этом я не думаю, одна у меня мысль: бусурманов бить.

— И христианству служить,— добавил Алексей Адашев,— всякими путями, как Бог укажет.

Бояре разошлись. Курбский пригласил Вишневецкого на пир и пожелал, чтобы с ним приехал Кудеяр.

В гостях у Курбского были сподвижники казанского взятия, все, как хозяин, желавшие войны с Крымом. Кудеяр показывал перед гостями свою необычайную силу, но отвечал на расспросы гостей короткими словами и поражал всех своею молчаливостью и угрюмостью.

— Молодец он! молодец! — говорили развеселившиеся у Курбского бояре.— Но что он так в землю смотрит?

— Горе у него великое,— говорили другие.

Курбский, подвыпивши, с обычным своим красноречием рисовал перед слушателями грядущее торжество покорения Крыма. Данило Адашев с живостью представлял перед гостями, как он будет вязать татарских мурз, как государь въедет на белом коне в Бакчисарай, подобно тому, как въехал в Казань; как русские станут обращать мечети в божьи храмы... Алексея Адашева не было. Он никогда не являлся на пиры, и приятели его, зная это, не сердились на него. Все привыкли с Адашевым говорить только о деле. Обязанный принимать каждый день просьбы, подаваемые на имя царя, он говорил, что каждая минута, проведенная им праздно, есть грех, потому что через то могут терпеть невинно обиженные и нуждающиеся. Никто не видал этого человека смеющимся, и зато никто, имевший повод плакать, не уходил от него без утешения; ему было не до пиров.

II. ЮРОДИВЫЙ

Война с Крымом составляла тогда живейший вопрос московской политики. После счастливого покорения Казани, после легкого затем покорения Астрахани на очереди стоял Крым; Москва разорила уже два хищнических гнезда, свитых из обломков Батыевой державы; оставалось разорить третье, самое опасное. Дело было трудное, зато от успеха можно было ожидать больше пользы, чем от прежних побед. Много скоплялось препятствий для исполнения великого предприятия, но главное препятствие было то, что в совете около царя не стало уже прежнего единодумия, прежней решимости, прежнего воодушевления.

Десяти лет не прошло с той поры, как вся Русь со своим царем шла на Казань; тогда всех мужей думы и рати соединял священник Сильвестр. Теперь многое стало изменяться.

Хотя отец Сильвестр все еще не переставал действовать на царя Ивана Васильевича спасительным страхом, хотя все еще казался царю человеком, облеченным силою свыше, но чувство зависимости уже давно тяготило царское сердце. С молоком кормилицы всосал Иван Васильевич мысль, что он рожден поступать так, как ему захочется, а не так, как другие присоветуют; на деле же выходило, что он делал все так, как другие ему подсказывали, и главное, как захочет поп Сильвестр. Не вдруг, а мало-помалу, как капля за каплей пробивает камень, сознание своего самодержавия освобождало Ивана Васильевича от гнета, давившего его, словно домовой сонного человека. В описываемую нами пору царь Иван боялся Сильвестра, но не терпел его. Сильвестр не ладил со многим таким, что было сначала с ним заодно. Царица Анастасия, горячо и нежно любившая своего супруга, не взлюбила Сильвестра; она видела и понимала, как Сильвестр, словно дурачка, держал царя в руках страхом посылаемых ему свыше откровений; притом же, Сильвестр раздражил нервную и болезненную царицу тем, что в качестве духовника государя хотел подчинить его супружескую жизнь правилам своего «Домостроя». Братья царицы, Захарьины, возненавидели Сильвестра после того, как во время опасной болезни, постигшей царя Ивана, Сильвестр вместе с некоторыми боярами помышлял на случай царской смерти о таком порядке правления, который бы оградил Русь от власти Захарьиных при малолетстве наследника престола. Из двух братьев царицы Никита хотя и не любил Сильвестра, но сам по себе будучи человеком честным, воздерживался от всяких козней против него; зато другой, Григорий, злой и коварный, не останавливался ни перед какими мерами, готов был на всякую черную клевету, на всякие козни. Он нашептал царю, что Сильвестр мирволил честолюбивым затеям царского двоюродного брата, Владимира Андреевича, будто бы добивавшегося престола в ущерб правам Ивановых детей. Пользуясь набожностью сестры, Григорий Захарьин беспрестанно подбивал ее таскать с собой царя по монастырям, чего не хотел Сильвестр, вообще не любивший тогдашних монахов-тунеядцев; Григорий свел царя Ивана с иноком Григорием Топорковым, бывшим ростовским епис-

копом, который в тайной беседе с царем пристыдил его и дал ему приятный для него совет: никого не слушаться и делать так, как ему вздумается.

Козни Григория и наговоры любимой жены хотя настроили царя Ивана враждебно к Сильвестру, но все еще не могли побудить царя к решительному разрыву со своим духовником. Иван любил жену, но насколько бывают способны к любви такие эгоистические натуры. Иван колебался то туда, то сюда. Вот, под влиянием жены и ее братьев, он возгорался злобою против Сильвестра, а Сильвестр напомнит царю, что муж есть глава жены, и даже еще заметит, как бы так, вообще, не относя свое замечание к царю, что плохо поступает тот муж, который во всем слушается своенравной жены; тогда Иван проникнется своим достоинством супруга, начнет сердиться на жену; но жена разольется в слезах, и царь помирится с нею, а потом ей в угоду опять покажет злобу к Сильвестру; вслед за тем, по привычке верить в чудодейственную силу Сильвестра, сам испугается своей смелости и старается примириться с Сильвестром. Сильвестр укажет царю на что-нибудь такое, что удобно объяснить знаком божьей воли; Сильвестр что-нибудь кстати предскажет, и предсказание сбудется; Сильвестр озадачит царя каким-нибудь текстом, каким-нибудь примером из священной и византийской истории, так что царь не может против того ничего отвечать и склоняется пред мудростию духовника. Можно сказать, что все козни против Сильвестра долго бы не могли подорвать его могущества, если бы Сильвестр, как прежде, находил себе опору в боярах. Но уже некоторые бояре, прежде во всем слушавшие Сильвестра, стали, подобно царю, тяготиться нравственною зависимостью от попа, самолюбие их уязвлялось, и вот, вместо того чтобы, как прежде, принимать беспрекословно его советы, замечали они Сильвестру, что люди мирские более его, попа, смыслят в государственных и военных делах. Роковым событием для Сильвестра была представившаяся тогда необходимость выбора между Крымом и Ливонией. Отец Сильвестр советовал царю не трогать ливонских немцев, жить вообще в мире с христианскими странами и, напротив, стараться подвигнуть их вместе с Россией на бусурман, а между тем самому идти на Крым и собственноручно водрузить крест на том месте, где святой Владимир принял крещение. В царской думе не все разделяли такое мнение: одни были за войну с Крымом, другие соблазнялись легким, как им казалось, завоеванием

Ливонии и приобретением моря. Сам Алексей Адашев поколебался было и не стал отклонять царя от войны с немцами; царь прельщался надеждою овладеть сильными германскими градами, о которых имел смутное представление, смешивая Колывань (Ревель) с Нюренбергом, Ригу с Регенсбургом. Духовные сановники охотно благословляли царя на брань с еретиками латинами и лютора ми главным образом оттого, что знали, как это неприятно Сильвестру, а они не любили Сильвестра за то, что он, будучи не более как поп, был сильнее архиереев не только в светских, но и в духовных делах. Царица Анастасия не удерживала царя от войны с Ливонией оттого, что никто не требовал, чтобы царь сам шел в поход на немцев, а крымской войны царица очень боялась; она знала, что царя Ивана повлекут в Крым, как повлекли под Казань.

Ливонская война открылась. Священник-временщик с самого своего приближения к царю не привык еще, чтобы делалось что-нибудь противное его желанию; он сильно досадовал, он выходил из себя, особенно когда злодеяния, совершенные татарами Шиг-Алея в Ливонии, давали ему благовидный повод вопиять против напущения бусурман на христианское жительство; он называл Ливонию бедной вдовицей, угрожал за нее России гневом божиим, предсказывал неудачи... Но что же? Как бы ему в обличение, вместо неудач, успех следовал за успехом! Сильвестр опускался.

Крымское дело, за которое он так стоял, ограничившись неважным по своим последствиям походом дьяка Ржевского и Данила Адашева, почти совсем оставлялось. Теперь приезд князя Вишневецкого поднимал его снова. Смелый и речистый князь Дмитрий Иванович обладал большим даром внушать к себе любовь и увлекать других за собою; на пире, данном Курбским, многие из бояр воодушевились уже мыслью о войне.

Вслед за тем у царя Ивана Васильевича собралась боярская дума. Люди, отличившиеся при взятии Казани, князья: Серебряный, Горбатый, Воротынские, Микулинский, Щенятев, Темкин,— вслед за Алексеем Адашевым и Курбским сильно поддерживали тогда войну с Крымом. Но против них восстал князь Петр Шуйский, гордый своими успехами в Ливонии. Он стал доказывать, что неблагоразумно оставлять начатое завоевание страны и вдаваться в новую войну, которая непременно втянет Московское государство в войну с Турцией. Шуйский говорил так хладнокровно, так рассудительно, что некоторых поколе-

бал, а других заставил призадуматься. Большинство, однако, все-таки было не на его стороне; но царь пристал к нему: у Ивана постоянно торчала в голове гвоздем мысль, что он самодержавен и потому многие должны делать так, как он хочет, а не так, как многим хочется; видя, что в думе большинство за войну с Крымом, Иван рад был, что нашелся противник этого мнения, и пристал к нему. Кроме того, Ивану Васильевичу не хотелось, по трусости, самому идти на войну; ведь и в Казань он ходил поневоле. Порешили обдумать и обождать. Между тем пришло известие из Крыма, что хан Девлет-Гирей отправляет в Москву посольство просить у царя мира и дружбы и отпускает захваченных во время набегов московских пленников. И желавшие войны с Крымом, и не желавшие войны выводили из этого благоприятные заключения. Желавшие говорили, что это посольство хана означает его бессилие, боязнь перед русским оружием, и потому следует поскорее начать с ним войну. Не желавшие войны говорили: «Вот и хорошо, значит, можно и без войны примирить хана, постановить с ним хороший мир, корыстный для Московской державы». Таким образом, вопрос о войне оставался нерешенным. Сторонники войны с Крымом были сильно огорчены, но не теряли надежды и приискивали средства и меры повернуть дело на свой лад. Никто из бояр не желал так войны с Крымом, как князь Курбский; после неудачи в думе стал тайно советоваться с Сильвестром и придумывал меры, как бы расположить царя к войне с татарами.

Царь Иван любил развлекаться чем-нибудь чудным, необыкновенным, таинственным. Блаженные, юродивые, предсказатели, тайновидцы занимали его и находили к нему доступ. В Москве не переводились этого рода люди; одни исчезали, другие появлялись. Тогда в Москве обращал всеобщее внимание недавно появившийся блаженный, сухощавый старик, высокого роста, с длинными и белыми волосами, с большою продолговатою бородою, в черном длинном одеянии из грубой шерсти, наподобие рубахи, в остроконечной шапке, с палкою наравне с его головою и всегда босой. Никто не видал у него котомки за плечами; не было у него постоянного приюта в Москве; иногда он ночевал где-нибудь в теплой избе христолюбца, а иногда на улице подле церкви. Никто не знал, откуда он и кто он; и разные догадки и слухи распространялись о нем по Москве. Некоторые замечали в его выговоре как будто что-то нерусское: одни говорили — он из Рима, другие —

из Ефеса, третьи — из Эфиопии, четвертые — из царства индийского; иные уверяли, что он русский из стран поморских, двадцать лет сидел на болоте, питался бульем и кореньем, а некоторые делали догадки, что он человек знатного рода, обрекший себя на нищету царствия ради Христова. Он, говорили о нем, видит, что делается за сто верст, угадывает мысль человеческую, предсказывает будущее; но когда с ним пытались заговаривать, то он отвечал обыкновенно так, что трудно было понять истинный смысл его речи. Этот блаженный был вхож к Сильвестру, несмотря на то, что Сильвестр недолюбливал людей такого рода. Блаженный, приходя к Сильвестру, не юродствовал перед ним, но всегда говорил что-нибудь разумное; а когда Сильвестр спросил его, кто он таков,— блаженный, вместо ответа на такой вопрос, просил Сильвестра никогда уже более не спрашивать об этом. Блаженный удивлял Сильвестра короткими намеками на разные предметы, касавшиеся тогдашней политики, земского и церковного строения; ничто, казалось, не было ему чуждо; все его занимало. Когда прибыл Вишневецкий и представлялся царю, блаженный пришел к Сильвестру и с большим сочувствием говорил о войне с неверными. Сильвестр рассказал ему, что слышал от других о Вишневецком, об его казаках, и заговорил об атамане-силаче с таинственным крестом.

Блаженный слушал с напряженным вниманием, и на его лице мгновенно показалось и исчезло как бы выражение испуга, так что Сильвестр спросил его:

— Уж не догадываешься ли ты, чей родом такой этот неведомый московский человек?

— Нет,— задумчиво сказал блаженный,— мало ли чего может быть похожего, да если б... Мир христианству! Мир христианству!

Сильвестр, однако, видел, что блаженный чего-то смутился, и хотел было допросить его, но блаженный сказал:

— Подобает православной рати идти на освобождение многих тысяч крещенных братий — и тот, что с золотым крестом, пусть идет, и тот, что с медным. Духовное рождение паче телесного!

Когда поход в Крым не решен был в думе, блаженный пришел к Сильвестру, который сообщил ему об этом, и прибавил:

— Тебе бы говорить всем православным христианам, чтобы единомышленно ополчились за крест святой, и самого царя благочестивого подвигать бы тебе на брань.

После того блаженный стал являться у Архангельского собора и кричать изо всех сил: «Ночь проходит, заря занимается, роса падает, млеко с неба польется». Царь увидал его и велел позвать к себе во дворец.

Вошедши к государю, блаженный упал на землю, протянувши руки вперед, а потом вскочил и закричал во все горло:

— Царь, иди бусурман бить.

— Садись, божий человек,— сказал царь, проникнутый страхом от такой неожиданной выходки.

Блаженный сел на полу. Царь приказал подать ему вина и сластей. Блаженный вскочил, взял кубок, поднес к губам и начал лить мимо рта по бороде; потом, как будто поперхнувшись вином, поставил кубок и, кланяясь в землю, говорил:

— Прости, царь-государь, не вели казнить, смилуйся, пожалуй! Не умею вина пить! Дурак я неотесанный, мужичина деревенский!

Потом блаженный взял с блюда несколько сухих вареных плодов, быстро спрятал их за пазуху, улыбнулся и сказал:

— Ребятишкам отдам.

— Каким ребятишкам? — спросил царь.

— Тем, что будут воеводствовать в Крыму, когда вырастут.

— Как! В Крыму?

— Да, в Крыму, когда Крым завоюют.

— Кто его завоюет?

— Русь.

— Когда?

— Когда Бог даст.

— Не я?

— Как пойдешь на войну, так ты завоюешь, а как не пойдешь, так не ты, а другие после тебя завоюют, а тебе будет срам и великое досаждение от неверных.

— Какое досаждение?

— Побьют тебя не в пору и Москву сожгут, как уже сожигали при твоих отцах.

— А разве мне будет победа, когда теперь пойду на войну?

— Победишь.

— Отчего ты это знаешь?

— В Лукоморье сказали.

— В каком Лукоморье?

— Все расскажу, коли хочешь, только тебе одному.

— Говори.

— Говорить?

— Говори.

— А ты не прибьешь? Дай царское слово, что не прибьешь.

— С чего я стану божьего человека бить!

— То-то, не прибей, а то больно будет, я перед Богом пожалуюсь.

— Говори, не бойся.

— Ну, так слушай. Далеко, далеко, за Пермью великой, есть горы каменные, высокие; а за теми каменными горами есть Югорская страна, и живут там люди малорослые, называются югра; страна-то холодная, а в ней зверя много и рыбы, а за Югорскою страною течет река Обь, а за тою рекою, за Обью, протянулась верст, почитай, на тысячу степь сибирская; на той степи ничего не родится, и земля размерзает летом не боле разве как на два пальца; за тою степью будет море ледяное; никогда то море не тает, а будет того моря верст на тысячу али больше; никто до того моря не доходит, а не то чтобы перейти его. А коли б какой человек по божьей воле перешел то море ледяное, ино тот человек увидал бы чудеса невиданные, недомыслимые; чего и во сне никому не привидится, и человеку на ум взыти не может. Пришел бы тот человек к берегу высокому, а взойти на тот берег высокий никоторыми делы невозможно: круто зело, разве сила божия человека туда поднимет. А как подняла бы сила божия того человека на гору, ино увидал бы он за горою страну светлую, теплую, зеленую; а как сошел бы, примером говорю, человек тот с горы, и была бы перед ним река; вода в ней чистая и прозорчистая. Стал бы тот человек и думал: куда ты это, Господи, занес меня? А тут с другой стороны реки дерево клонится, клонится и легло поперек реки. Тот человек сотворил бы крестное знамение и пошел бы с ветви на ветвь по тому дереву, и перешел бы реку, и стал бы ступать ногами по траве, мягкой, аки шелк; солнце светит и не палит, а на деревьях висят плоды, каких на земле нет, и пташки на ветвях поют зело сладкими гласы и в аере благоухание неизреченное. И вот, против того человека идет навстречу некий старец, беловлас, зело благообразен, и осклабляется и говорит: буди здрав, человече божий, пришедший семо не по своему хотению, а по божьему велению; идем в нашу обитель. Человек тот и пошел за старцем, и видит: церковь

стоит, верхи у ней золоты, а кругом церкви древеса, а под теми древесами сидят единонадесять старцы в одеждах белых, аки снег; а тот, что прихожего человека привел, двенадцатый, и говорит старец он тому прихожему человеку: се обитель наша, келий у нас нет, для того что незачем,— в сей стране не бывает ни дождя, ни снега, ни зноя, ни стужи, ни бури; нет здесь ни зверя лютого, ни гада ядовитого, ни комаров, ни мух, ни птиц; не бывает на нас ни скорбей, ни болезней, и смерти еще никто не вкусил от нас. Церковь сия, идеже приносится бескровная жертва, построена не нами, а ангелами невидимыми. Тогда те старцы встали и сказали прихожему человеку: пойдем вместе с нами в храм божий помолиться. И вошел прихожий человек в церковь, и видит: иконостас весь от злата, а престол от камения самоцветного; один старец облекся в ризы белые, паче серебра блестящие, а прочие клирошанами стали; и как начали они службу господню, и показалось прихожему человеку, что он как бы на небе, паде на землю челом, сам плачет, а на душе ему легко и радостно. А после службы все вышли и сели за трапезу под древесами, а прихожего человека с собой посадили; и ели хлеб белый, мягкий, и плоды и вино пили, а то вино таково, что только капля в уста внидет, то по телу разливается неизреченное веселие. И говорят старцы: мы хлеба не сеем и не печем, дерево у нас таково есть, что хлеб родит, и вина мы не делаем,— само течет из ягод виноградных. А окончив трапезу, все встали и воспели, и тогда старец тот, что священнодействовал, так говорил прихожему человеку: «Бысть некогда царство греческое, царство над царствами, а в нем царствующий град Константин, Царьград наречеся, занеже над всеми градами земными царь бе. Тако пребысть, донéлеже, наущением богомерзкого папы Формоза, отпаде ветхий Рим от благочестия и с ним вкупе страны западные во тьму еретичества уклонишася, точию в греческой стране благочестие не иссякаше; но действом дьявольским мнози от православных христиан совратишася с пути истинна, впадоша в блуд, в чревонеистовство, враждование, волшвение, чародеяние и во вся тяжкая, и Господь во гневе своем посла на них агарян нечестивых и предаде грады и веси их на расхищение, и мнози христиане мечем посечены быша, и мнози храмы святые и обители честныя обращены быша в ропаты́ (капища) скверныя, и по всей земли начаша нечестивые агаряне мучити иноки честные, нудяще их отрещися равноангельского иноческого жития, повеле-

вающе им мяса ясти и блуд творити. В оное время жиша во едином же месте дванадесят старец, отцы пустыннии, пребывающе вину в молитве, и тии волею божиею внезапу восхищены быша и во мгновение ока пренесены в страну сию, идеже ныне ны зриши. Принесенным нам бывшим явися нам ангел божий, рече: «Зде пребудете вину моляще ся и живуще непорочно, дондеже свершится исполнение времен и смилуется Господь над людьми своими и освободит их рукою крепкою и мышцею высокою от неволи бусурманския. Ведомо буди вам, яко по мнозех летех воздвигнется держава греческая и паки воссияет вера благочестивая в Царьграде и во иных градах страны тыя, и тогда паки пренесены будете в первое место и тамо скончаете земное житие свое и отыдете в покой вечный, телеса же ваша пребудут во свидетельство родом грядущим. Донéлеже сие сбудется, живуще зде не узрите никого же от мира, от него же взяти бысте, и не услышите гласа его; егда же приближится время исполнения завета господня, тогда волею божиею придет к вам семо муж некий, восхищен от мира, и по тому поведайте сия, яко приближися час торжества всего христианства и падения неверия агарянского». По сем, помолчавши мало, старец сказал прихожему человеку: «Возвратися в страну российскую и поведай сия имущим любовь и ревность божию, наипаче же благочестивому царю, единому под солнцем сущему. Блажен иже имать веру словесам твоим, а иже не имать веры и явится пред ним тощ глагол твой, того постигнет нечто от язв, уготованных неверным в день воздания по делом их. Аще кто не убоится и идет на брань с неверными, тому отпустятся грехи, и не точию ему, но и роду его даже до четвертого колена, а иже убоится и не идет на брань, той посрамлен будет пред ангелы в день судный». После сих слов один старец увел прихожего человека к реке; древо наклонилось, и прихожий человек прошел по нем на полреки, и абие восхищен бысть на воздусе и принесен в страну свою.

Царь слушал блаженного с жадностью, но тут закралась ему мысль: не хитрит ли этот блаженный, не подучен ли он сторонниками войны с Крымом, хотя в то же время кара, обещанная в рассказе блаженного за неверие, смущала его. Помолчав немного, царь сказал:

— Что же этот прихожий человек, был он русский родом, что ли? А коли русский, то как он говорил со старцами? Они ведь греки и по-русски не разумеют.

— А разве русский не может научиться по-гречески? — ответил блаженный.— А коли б не научился, разве Бог не может отверзти ему разум, так что, не знаючи греческой речи, все поймет? Апостолы не учились языкам, а когда сошел на них дух свят, то и заговорили на всех языках.

— Правда,— сказал царь. Потом, помолчав немного, спросил: — Этот человек, что восхищен был к старцам,— ты?

— Я ли, не я ли,— отвечал блаженный,— не все ли тебе равно? Писание глаголет: имеющие уши слышати да слышат.

Царь опять замолчал, а лицо его все более и более принимало суровый вид. Наконец, вглядываясь в лицо своего собеседника, царь спросил:

— Кто ты таков? Как тебя зовут? Откуда ты?

Блаженный вскочил, замахал руками и закричал:

— Ай! ай! Я говорил, что прибьешь, вот же и прибьешь!

— Я тебя бить не стану,— сказал царь,— а только тебя спрашиваю, кто ты таков?

— Мужик,— отвечал блаженный.

— Как тебя зовут? Откуда ты?

— Меня зовут грешный человек, а родом я по телу от Адама, а по душе от Бога.

— Ты не ковыляй, а отвечай толком,— сказал царь.— Что ты? Не знаешь разве, куда зашел, кто тебя спрашивает?

— Знаю, знаю,— сказал блаженный,— ты государь и можешь со мною сделать все, что захочешь. Вели положить меня на землю да поливать горячим вином, как ты это делал с псковичами. Помнишь... Когда упал большой колокол в знамение грядущей тебе кары,— а скоро после того пожар... мятеж... И ты сам чуть не пропал от народного мятежа.

Воспоминание об ужасных событиях покоробило царя. Он задрожал, побагровел, волосы на голове его наежились; он сжал кулаки, как будто собираясь уничтожить дерзкого загадочного человека, а тот смотрел на грозного владыку с таким выражением лица, как будто хотел сказать ему: «Не бесись, царь, ты со мной ничего не можешь сделать».

— Ступай вон с глаз моих,— крикнул наконец царь.

Блаженный поклонился и произнес:

— Аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят! маран-афа! — Сказавши это, он повернулся и добавил: — И епископство его приимет ин.

— Стой!— закричал царь.

Блаженный остановился и спокойно смотрел в глаза озлобленному царю.

Царь сказал:

— Кому ты это изрекаешь проклятие? Чье епископство ты предлагаешь кому-то иному?

— Это тому, кто не любит Господа нашего Иисуса Христа,— ответил блаженный.

— Ты думаешь обо мне, что я не люблю его,— сказал царь.

— Царь-государь,— сказал блаженный,— ты уверил меня царским словом, что не прибьешь меня. Дурак мужик тебе нес безлепицу. Ты ведь всех людей умнее, для того что ты царь. Не слушай дурака, прощай.

И блаженный быстро побежал вниз по лестнице, произнося:

— Что дурака умному слушать! Дурак дурацкое говорит, а вот как умному придется потерять голову, так и дурацкие речи вспомнит.

Последние слова блаженного звучали в ушах царских роковым предсказанием чего-то страшного. Противоречивые думы волновали царскую голову. То казалось Ивану, что этот блаженный подучен Сильвестром, то царь боялся остановиться на этом подозрении. Наконец царю блеснула мысль призвать к себе Сильвестра и допытаться: не подослал ли протопоп к нему этого блаженного?

Перед царем предстал сухощавый человек, лет за пятьдесят, большого роста, с длинной седоватой бородой, в черной суконной ряске, в маленькой шапочке. В его глазах было что-то доброе и вместе суровое, что-то испытующее и вместе насмешливое; все черты лица его как бы говорили: я вас вижу насквозь; куда вам до меня?

— Отче,— сказал царь,— у нас в думе идут все речи разные, несогласные. Одни говорят — надобно воевать с крымскими татарами, а другие говорят — не надобно, чтобы не остановить войны с немцами. Как, отче, даешь ли ты мне благословение на войну с Крымом?

— То дело твое и боярское,— ответил Сильвестр.— Наш голос что есть, аще от себе, а не свыше глаголем. Сильные мира сего не внимают нам, и то добре: поп знай свой алтарь да свой потребник, боярин же знай совет и ратное дело; посадский человек — свой товар и лавку, а уездный — свое поле да соху. Всяк твори, к чему призван. Ты же призван свыше властвовать над государством, тво-

рить правду и от супостат защищать христианское жительство. Есть у тебя советники и слуги, с ними думай; им то дело за обычай.

— Я верую мудрости твоей, отче,— сказал царь.— Ты многажды давал мне мудрые советы, и теперь хочу вопросить тебя.

— Мудрость человеческая буйство есть перед Богом,— сказал Сильвестр.— Паки реку: аще от себя глаголем, не верь нам, аще не от себя, а от Бога — повинуйся словесам нашим, занеже повинуешься Богу, а не нам. Испытуй, царю, своим царским разумом: аще от Бога, или от себе глаголем. Ты, царь-государь, рассердился на меня за то, что я тебе говорил: не начинать бы тебе войны с немцами, а идти тебе войною на бусурман. И поделом бы то мне, негодному попишке, если бы я от своего ума говорил, только то было говорено не от себя, а свыше. Так, государь.

— Война с ливонскими немцами идет счастливо,— сказал царь.— Наши войска побивают супостат. Вся Ливонская страна скоро наша будет; Бог, видимо, благословляет нас.

— Конец делу венец, государь-царь,— сказал Сильвестр.— Бывает, что Бог попущает совершаться неправому делу, а потом за него карает, паки реку тебе не от себя, но от Бога. Правая брань бывает тогда, когда обороняют святую церковь и жительство христианское от нашествия супостат; а немцы на Российскую державу не находили, ты, государь, стал истязать у них неудобоемлемую дань, и понеже невозможно заплатить им тое дани, ты послал разорять их, да еще кого послал! — татар неверных... Аще бы я сказал, что сие благо есть, солгал бы духу святому. Ты на меня осердился; во всем твоя воля.

— Приехал из Литвы князь Вишневецкий, зовет на крымских татар,— сказал царь.— Идти нам на татар?

— Всяко дело во благонамерении конец благий приемлет,— ответил Сильвестр.— Аще же неблаговременно начинается, трудно и нуждно творится. Не имам повелений свыше, а своим худоумным разумом что могу сказать? Советуйся с боярами, людьми думными и ратными.

— Ко мне,— сказал Иван, вглядываясь пристально в глаза Сильвестра,— приходил какой-то блаженный и чудные дела говорил о некоей дивной стране, где живут двенадесять старцев, и те старцы якобы предвещают конец бусурманства и велят идти войной на бусурман.

— Бывают, государь,— сказал Сильвестр,— видения истинные, бывают и ложные, якоже и Никон Черныя-Горы пишет в своей книге; а я тебе, государь, ту книгу давал чести. Сему подобает внимати со рассмотрением.

Иван Васильевич отпустил Сильвестра ласково, ничего от него не допытавшись, и остался еще в большем недоумении, чем прежде. Между тем у Сильвестра был соперник, чудовский архимандрит Левкий. Он не имел и десятой доли того обаяния, каким обладал Сильвестр, зато отличался качествами, которыми привлекал к себе царя. Слушая Сильвестра, царь сознавал, что Сильвестр скажет так умно, как ему самому не выдумать; царь чувствовал, что Сильвестр умнее его, и царь ненавидел Сильвестра. Левкия, напротив, царь считал глупее себя и всегда встречал от него одобрение и оправдание того, что ему хотелось; за то царь любил его. И по наружности Левкий составлял противоположность Сильвестру: маленького роста, сутуловатый, с глазами, выражавшими подобострастие, он постоянно держался перед царем с тем напряженным вниманием, с каким человек боится проронить слово из речей своего собеседника. Когда царь обращался к Левкию как бы за советом, Левкий не задумывался, выступал со своим советом смело, решительно, как будто против царя, но говорил именно то, что царю было приятно. Царь Иван Васильевич любил тешиться над архимандритом; архимандрит поддавался этому и сам веселил царя.

Царь позвал Левкия.

— Пьян, архимандрит,— сказал Иван Васильевич.— Не проспался? Ей, рыло-то! Преподобное рыло! Опухло с перепоя!

— Испиваю, государь,— сказал Левкий,— писано-бо есть, в беззакониях зачат есмь.

— А зачем же писано: не упивайся вином. В нем же... Знаешь, что в нем?

— Некая ковыка недоуменная, государь; а другое место говорит: воды не пий, но вина...

— Вина? остановился? а? боишься договорить? Написано: «вина мало»... А ты дуешь какими ковшами?

— По чину, государь, и по телесной нужде стомаха ради и частых недугов. А что написано: вина мало пей,— ино лошади ведро воды не много выпить, а кабы человек выпил ведро разом? А вот, в писании говорится: мытари и любодейцы варяють (идут впереди) вы в царствии небеснем, а оно значит: мытари были когда-то, а теперь мытарей нет, а есть монахи бражники, пьяницы вместо мытарей: они-то

прямо в рай пойдут. А отчего? Они неповинны, аки младенцы. Аще что и согрешат, не вменит им Бог греха, сами-бо не ведают, что творят. Говорят же: невозможно прожити без греха, а коли грешить, так лучше пьяному, чем тверезому. И еще писано, государь: се коль добро и коль красно, еже жити братии вкупе! А коли братия сойдется вкупе, ништо обойдется без вина?

— Хорошо,— сказал царь,— выпей же, коли так.

— Левка всегда пить готов,— сказал архимандрит,— а коли государь-царь велит, то как же Левке царского указа не исполнять?

Принесли чашу вина. Левкий разгладил бороду, посмотрел на чашу умильно, произнес: «Ах ты чаша, чаша моря соловецкого» — и разом выхлебнул всю чашу.

— Хочешь еще? — спросил царь.

— Сколь велит царь, столько и буду пить; только коли на ногах не устою да свалюсь, не наложи гнева. Пьяный не владыка себе самому.

— А если,— сказал царь,— государь велит тебе пить в такой день, что в святцах не показано разрешение вина и слез, тогда что?

— Несть разрешения, кроме царского повеления. Царев указ все равно что божий. Исполнять его велит сам Бог,— тогда в ответе перед Богом уже не я; аще же царского указа не послушаю, то всегда в вине буду как перед Богом, так и перед царем.

— Мудро сказано,— сказал царь,— а если царь скажет: Левка, не пей николы, и даже в полиелей, тогда что?

— Тогда Левка упадет царю в ноги...— И с этими словами Левкий упал к ногам государя и продолжал: И скажет: «Царь-государь, вели лучше Левке голову снять, оттого что Левке лучше живу не быть, чем не пить».

— Не бойся, Левка, царь пить не закажет, а скорее укажет. Ну, Левушка, скажи мне лучше вот что: проявился тут блаженный, ходит да кричит, знамо блажит; я его звал к себе... Кто он таков?

— Не знаю, государь, о том вели спросить отца протопопа Сильвестра.

— Отчего Сильвестра, а не тебя? — сказал царь нахмурившись.

— Я не звал его, и не приходил он ко мне, а видел я, как он из Сильвестрова двора выходил.

Зловещая мысль вновь посетила голову царя: Сильвестр

ничего не сказал о блаженном, когда царь его спрашивал, а блаженный бывает у Сильвестра.

— Дивные вещи он рассказывает,— сказал царь и передал вкратце Левкию то, что слышал от блаженного.

— Это значит,— сказал Левкий,— чтобы царь на войну шел... Да, знать, есть такие, что желают, чтобы ты на войну сам ходил... Нет, царь-государь, не ходи, у тебя есть воеводы, слуги твои; их, своих холопей, посылай, а тебе свое здоровье беречи надобно. Князь Курбский, князь Серебряный не воротятся с войны,— потеря не велика: много их, князей, на Руси, а ты, государь, у нас один, всему государству голова и оборона. А вот этих блаженных взять бы в розыск да поднять раза два на дыбу, так заговорили бы они правду-матку, а то они народ только мутят! Вишь, что затеял! Старцев каких-то выдумал! Задал бы я ему старцев! Вспомни, царь-государь, как по Москве ходил юродивый да пророчил: Москва сгорит, а Москва и впрямь загорелась, а потом народное смятение стало... Все то недруги твои учинили кознями своими! Нет, царь-государь, не слушайся вражьих советов, не ходи на войну. Кто знает, что у них на думе.

Левкиева речь пришлась по сердцу государя, который мучился подозрением, что его, как дурня, хотят провести и заставить делать то, чего он не хочет. Царь призвал к себе Афанасия Вяземского, молодого любимца, которого он уже тогда приблизил к себе.

— Афонька,— сказал царь,— блаженный какой-то проявился в народе, про войну пророчит; узнай, что он там такое говорит, а коли услышишь что-нибудь про нас, тотчас вели схватить его... Нечего ему в зубы смотреть, что он блаженный.

Вяземский искал блаженного, спрашивал, ездил несколько дней по Москве,— и след простыл этого блаженного, словно в воду канул; только и узнал Вяземский, что вечером того самого дня, как он был у царя, видели его у Подкопая; он кланялся народу во все стороны и говорил: «Прощайте, люди добрые! Увидите меня разве не в добрый час, когда враг бусурман под Москву подойдет!» И потом уже никто не видал его.

III. ЦАРИЦА

В царицыных покоях, вокруг большого, продолговатого стола, покрытого зеленою, с красными цветами скатертью, стояли две мастерицы и старая боярыня, надзиравшая над

женскими работами. Поодаль от них, у двери, стоял мужчина лет за тридцать, с задумчивым лицом, и постоянно опускал глаза в землю, как того требовала вежливость из уважения к месту, в котором он находился. Одежда на нем была полумонашеская, черная, длинная; только голова была открыта. На столе лежал рисунок, изображающий положение Христа во гробе. Женщины, стоявшие у стола, находились, видимо, в тревожном ожидании и поглядывали беспрестанно на маленькую дверь, ведущую во внутренние комнаты царицы Анастасии. Никто не смел заводить разговора. Наконец дверь отворилась, вошла царица, женщина бледная, сухощавая; ее черты, некогда красивые, сильно искажены были преждевременными морщинами, в ее глазах отражалась грусть и озлобление. Она была одета в голубом атласном летнике с серебряными узорами; на голове у ней была бобровая шапочка с верхом, унизанным жемчугом. За нею шли две девицы в красных летниках, с распущенными волосами. Их боязливый взгляд показывал, что они находятся в строгой дисциплине. Подошедши к столу, царица молча разглядывала рисунок.

— Вот, матушка государыня-царица,— сказала старая боярыня,— иконописец из Новгорода написал плащаницы образец, буде твоей царской милости угодно будет.

Иконописец поклонился до земли; царица взглянула на него, потом посмотрела на рисунок и сказала боярыне тихо:

— Выдать ему три рубля, пусть идет.

Боярыня сделала знак иконописцу, а тот, понявши, поклонился и вышел.

— Первый худог,— сказала боярыня,— матушка государыня-царица, и книжен вельми, у отца Сильвестра на воспитании вырос, когда еще отец Сильвестр был в Новгороде; и дал ему Бог дарование иконописное; живет, государыня, в Новгороде.

— Так он новгородский? — сказала царица.— Да еще у Сильвестра вырос? Не хочу! Не делать плащаницы по его образцу! И впредь чтобы мне из Новгорода не приводить ни на что мастеров, а паче из попа Сильвестра детенышей. Слышишь? Чтоб не было того. Нешто из иных городов отыскать не можно? Нешто в Москве нет достойных? Что это все из Новгорода да из Новгорода? Новгород всему указ стал; и Богу-то по-новгородски заставляют молиться. Москва Новгороду глава и всем городам: так и в книгах написано. А нешто в Новгороде благодати больше: рос-

товские чудотворцы посвятее-то новгородских святых. Не чета Ростову Новгород,— не то что Москве! Да ты что, новгородка, что ли?

— Матушка-государыня,— сказала боярыня,— ведомо тебе, что я прирожденная московка, старого московского рода.

— Так сыщи иного иконописца,— сказала царица,— чтоб не из Новгорода, а паче, чтоб не из Сильвестровых детенышей. Поп набирает себе на улице Бог знает кого да в люди выводит... А за его милостивцами никому хлеба достать нельзя. И в попы своих ставит, и в подьячие ставит, да еще иконы пишут все его люди. Сыщи иного.

— Буди твоя воля, государыня-царица,— сказала боярыня.

В это время вошли в комнату двое братьев царицы, Григорий и Никита, единственные мужчины, имевшие право во всякое время входить в покои царицы.

Анастасия продолжала:

— А три рубля? Так им и пропадать, по твоей вине! Коли бы ты сказала, что из Новгорода, я бы не велела и показывать мне его образину с его образом.

— Матушка-государыня,— сказала боярыня,— не гневись. Я верну эти три рубля, коли они напрасно потрачены чрез мою вину.

— Было бы на нищую братию раздать! — говорила царица.— Смотри-ко, три рубля ни за что взял! И так дерет за свою дрянную работишку, ни на что не похоже, а иные бедные чуть с голоду не помирают. Им надобно помогать, а не даром деньги бросать сильвестровцам; разжирел вельми попина, пусть бы из своих животов раздавал своим.

— Матушка-государыня,— говорила боярыня,— не изволь гневаться. Я верну три рубля.

— Я с тебя трех рублей не возьму назад,— сказала царица,— отдай их половину к Троице, а половину на нищую братию раздай, коли твое усердие будет. А то, право, тремя рублями сколько нищих-то оделить можно, а они в одну ненасытную утробу новгородскую ушли... Боже, Боже! прости наше согрешение! Ну, гляди, достань иного иконописца московского, либо ростовского, либо ярославского, только не новгородского и не из Сильвестрова гнезда. Ступай же себе.

Боярыня и мастерицы поклонились и ушли. Царица обратилась к девицам:

— Вы что выпучили-то буркалы! Ох, смиренницы, как

только с глаз моих, так у вас зубоскальство и смех неподобный. А! ты, ты — что глядишь там! Вот теперь при мне чуть не засмеешься! А ты, пучеглазая! Говори: смеялась она у меня за спиною? Покроешь ее?.. Мне не скажешь?

— Я не видела, государыня!

— Врешь! видела! Ну, если не видала и увидишь — скажешь мне?

— Скажу, государыня-царица.

— Лжешь! не скажешь! Где у вас верность? Какая у вас верность! А как повернусь да увижу... Ты думаешь, тебе меньше будет кары, чем ей? Обеих одинаково накажу. Идите себе от меня.

Девицы ушли.

— Куда ни повернись,— говорила царица братьям,— от Сильвестра не уйдешь. Хотела плащаницу вышить по обещанию, по душе моего Мити-царевича в Горицы. Что ж? Говорю: найдите иконописца, чтобы мне образец написал. А оне нашли из Новгорода, да еще из Сильвестровых детенышей. Поп со своей попадьей собирали разную сволочь — мальчишек и девчонок, воспитывали да в люди выводили. А это чинилось не в угоду Богу, а для того, чтоб во всем царстве своими людьми все углы испоместить. Видите — везде у них свои люди. И мне ихнего привели из новгородских.

— Знаю,— сказал Григорий,— это из тех, что писали господа Саваофеа, чем Висковатый соблазнился. Вот, и тебе привели из ихней норы крысу. Хотят царя-государя с толку сбить, чтоб он в поход пошел на крымскую землю. Подослали к нему какого-то юродивого, пророчили о падении турецкого царства. Спасибо, отец Левкий царя-государя вразумил. Не поддается. А тут, видишь, приехал из Литовской стороны Вишневецкий князь подбивать царя на войну, да еще какое-то чудо привез с собою — силача какого-то, Илью Муромца... Хотят царя отуманить.

— Горе мое, горе! — сказала царица.— Ох, уж и как-то мне на сердце грустным-грустно. Чует мое сердце что-то недоброе. Ох, братцы родимые! Спасите меня, люблю я своего Иванушку боле всего на свете; быть может, оно и грех так любить, для того что Бога любить надобно более всего, а коли человека больно полюбишь, так и против Бога согрешишь. Только что же мне делать? Точит мое сердце червь невсыпущий! Разлучники мои лютые хотят меня с Иваном разлучить, со света меня рады согнать, чтоб самим владеть и царем и царством. Чего-то я не пострадала? Не забыть мне вовек, как Иванушка был болен, при конце живота лежал, а они около него... думали, как бы детей наших наследства лишить, Владимира Андреевича царем наставить... Мать его — змея лютая!..— низко мне кланяется, а у самой в уме лихо... Господь спас царя; и денно и нощно с той поры благодарю его пресвятую волю. Только не дремлет ад. Сильвестр-поп, враг лукавый, у меня детей ведовством отнял... А теперь хотят лиходеи царя на лютую войну тащить, как тащили под Казань; затем хотят тащить, чтоб живота лишить! Ох, чует мое сердце беду: недолго мне горевать на белом свете, не жилица я на этом свете. Ох, ох!

Брат ее Никита сказал:

— Не гневи Бога, сестра, малодушеством. Не любишь ты Сильвестра, и я его не люблю, да и как нам его любить? И он нас не любит. Ему бы хотелось, чтоб нас близ царя не было, а только бы он со своими советниками при царе остался. Паче меры властолюбие его. А чтоб он ведовством детей у тебя отнял, того говорить не подобает. Божье то дело, а не человеческое. Не достоит наговаривать на человека лишних слов, хоть бы он и ворог и лиходей был тебе!

— Как же он не ведун! — сказал Григорий.— Как же он так обошел царя-государя? Или впрямь он прозорлив и богоугоден муж, что ли? Который год уж мы с ним боремся! Вот, рассердится государь, сдается, приходит конец сильвестровскому царствию,— ан нет! Смотри, опять стал в приближении, и опять царь его слушает. Как не ведун он, проклятый!..

В это время послышались шаги,— Захарьины узнали походку царя.

Вошел царь Иван Васильевич, покачиваясь с боку на бок и улыбаясь; одной рукой он поглаживал свою бородку, а другой — опирался на посох с золотым набалдашником.

— Ха, ха, ха! — сказал царь.— Шурья! Слышите, как меня одурить хотели. Перво подослали какого-то юродивого, и тот говорил мне какие-то чудные речи о видениях, чтоб меня подбить на войну с Крымом; я велел того юродивого изловить на преступном слове, а он пропал, как в воду впал! Теперь за другое взялись. Хотят для нашей царской потехи показывать какого-то силача, что один медведя руками ломает, привез его с собой Вишневецкий. Думают, что я, глядя на то, их поучениям поддамся. Нет, голубчики мои! Не на того напали. Я таки потеху посмотрю, а чтоб в Крым идти войною, да еще самому, по их

хотению, того не будет. Ты, Настенька, о том не думай и сердца своего не томи! Я на Крым не пойду, их желания не сотворю. А будут они творить у меня то, что я захочу, оттого что я самодержец; от Бога дана мне власть свыше, и что захочу, то и буду делать, а они мне повиноваться должны.

— О государь,— сказал Григорий,— как мы все рады твоему мудрому слову. Не только мы, все православные христиане, сущие под твоею высокою рукою, только о том Бога молят, чтобы все делалось по твоему великому разуму, а не по совету боярскому, паче же не по совету поповскому.

— Поп Сильвестр мне не советник,— сказал царь.— Наша воля была такова, чтоб поп Сильвестр был близко нас, а не захотим, так поп Сильвестр завтра в Соловки пойдет. Что такое поп? Не только поп — митрополита не захочу держать, и митрополит вон пойдет.

— Истинно и мудро слово твое! — сказал Григорий.

— Милый мой, Иванушка! — сказала царица, обнимая с нежностью голову супруга.— Ты не поедешь на войну, ты со мной останешься!

IV. ЦАРСКАЯ ПОТЕХА

Первый зимний снег — желанный, нетерпеливо ожидаемый со дня на день гость; первый санный путь — праздник на Руси. Так и теперь; так и встарь бывало. Работы пойдут дружнее, забавы затейливее, юность станет отважнее, детство резвее, старость приободрится. А для охотников... вот веселье-то! Царь Иван Васильевич не пошел по следам своих древних предков, князей, которые, бывало, езжали друг к другу за сотни верст поглумиться в лесах и полях над зверем прыскучим и птицею летучею и свои старые ссоры и усобицы заканчивали на мировую ловами. Царь Иван Васильевич слишком берег свою царственную особу и удалялся от малейшей возможности встретиться с чем-нибудь опасным. Трус он был большой, хотя ему ничего так не хотелось, как слыть отважным и храбрым. Поедет он на охоту разве за зайцами, да и то если ему мимоходом не проговорятся, что там, где ему придется расправляться с зайцем, встретит он медведя, волка, рыси. Не любил он сам быть в лесах на охоте, как не любил ходить на войну; но этот царь как заводил войны и посылал своих полководцев, так и на охоту,— хоть сам трудиться не хотел, но

посылал своих дворцовых крестьян ловить для себя зверя. То было и подручно тогдашним людям: везде были охотники; да без них звери бы заедали целые села; не ради забавы, а по крайней необходимости выходили посадские и уездные люди большими скопищами воевать со зверьми в лес со всякого рода оружием, начиная от простой дубины до хитрого ружья, тогда еще составлявшего редкость в крестьянском быту, где лучше умели обращаться с прадедовскими луками и стрелами. За толпою ловцов псари вели собак, которых обязанность состояла в том, чтобы находить звериный след и выгонять зверя; тенетчики несли огромные тенета, а копцы — заступы, чтобы вырывать ямы, куда заманивали или загоняли неосторожного зверя, покрывши ямы тонкими жердочками, притрушенными сухими листьями или снегом. Веселая была пора, когда наступали такие походы... Молодцы идут, песни поют, приплясывают, балагурят, игрецы гудками, волынками, сумрами и дакрами потешают рабочий люд, а когда случится — собаки выгонят волка, лису, медведя и растерянный зверь запутается в тенета или попадет в яму, тут столько смеха, шума, гама, веселья! Старались, разумеется, для царя ловить молодых медведей и волков — со старыми сладить было трудно,— надевали на них цепи, привязывали под шею палки и отправляли в подмосковные села. По царскому указу, там содержали и растили их, давая корм немалый, и берегли для государевой потехи; а когда вздумается государю — приедет он в село, прикажет выпустить медведя или волка и пустит на них собак либо же заставит людей своих драться со зверьми; кто одолеет — тому царское жалованье бывает; кого медведь поранит, тому на лечбу дается; а случалось, что медведь и до смерти задерет молодца, тогда его в синодик запишут, по разным монастырям на поминание пошлют.

Теперь, ради первого снега, изволил царь-государь ехать в село Тайнинское тешиться вместе со своими ближними боярами. С вечера отправили туда царскую стряпню; до света месили короваи и пироги, потрошили разную рыбу, готовя ее на различные кушанья к царскому столу. У царя готовилась тогда потеха необычная,— царю наговорили о необыкновенной силе приехавшего с Вишневецким казака Кудеяра, донесли ему и об его странном происхождении, но ни сам Кудеяр, ни другой никто не знает, кто этот казак, а видно, что русского рода. Царю охотно было посмотреть на него; Вишневецкому желалось показать его московскому

государю, но сам Кудеяр не обнаруживал ни радости, ни боязни показаться перед царем.

Царь отслушал обедню. Вереница саней наполнила Кремль. Бояре ведут великого государя под руки; он одет в соболью шубу, нагольную, с узорами, искусно сделанными по восточному образцу, на юфтяной коже; на голове у царя остроконечная шапка. Огромные развалистые сани разделены на два отделения; на заднем, возвышенном, садится царь-государь, обок его — крещеный царь казанский, впереди, ниже его, садятся двое близких бояр. Сани запряжены четырьмя лошадьми, не рядом, но гуськом; на каждой лошади сидит возница верхом; у переднего возницы бич длиннее его самого. По бокам саней едут окольничьи. За царем следуют бояре, думные и ближние люди, щеголяя богатством мехов на своих шубах, с большими отложными воротниками, да околышками шапок с золотными серебряными швами, затейливостью материи на покрышках шуб, узорами своих санных ковров и породистостью своих лошадей. Князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, приглашенный царем на царскую потеху, ехал в одних санях с князем Андреем Михайловичем Курбским; во всю дорогу они толковали между собой о том, как бы им склонить царя послать на крымского хана великую рать и самому предводительствовать ею.

Вот приехали. Бояре ведут государя под руки по лестнице деревянного дворца в селе Тайнинском; пройдя большие теплые сени, царь входит в столовую избу. Там уже накрыты столы браными скатертями, на столах поставлены тарелки, положены ножи, ложки, большие ковриги хлеба, к столам придвинуты скамьи с камковыми полавочниками, а для царя поставлен особо маленький столик, обложенный перламутровыми кусочками; перед столиком — кресло с позолоченными ручками, а над креслом ряд образов в басменных окладах. Царь помолился образам, прошел через столовую избу в другую комнату; там топилась печь; и здесь царь прежде всего помолился, а потом сел у печи; бояре стояли около него; прошло несколько минут,— посидели у горящей печи; царь встал, взял свой посох, который на время сиденья у печи отдавал окольничему, прошел в третью комнату, где была его царская постель, потом — в четвертую, назначенную для ближних людей, которые должны спать при царе, когда он изволит ночевать в Тайнинском. Из этой четвертой комнаты, составлявшей угол с предыдущей, была дверь на рундук под навесом;

выходил этот рундук на широкий внутренний двор, где происходили бои со зверьми для царской утехи. На рундуке стояло одно только кресло для государя.

Иван Васильевич был тогда не в веселом расположении духа. Все слышанное и замеченное им недавно легло ему на сердце; он чувствовал, что вокруг него что-то замышляется, подозревал, что его хотят обойти, думают заставить его делать то, чего бы он и не хотел, а чего хотят другие; царь злился. Ему в голову приходило, что и самою настоящею потехою заговорщики хотят воспользоваться, чтоб подманить его на войну с Крымом. Не пришла еще пора Ивану Васильевичу освободиться от той застенчивости, которою сопровождалась его врожденная трусость, не пришла еще пора перейти этой трусости к беззастенчивой борьбе с воображаемыми опасностями. Еще пока все ограничивалось только выходками своенравия.

— Алексей! — сказал царь Адашеву, севши на кресле, поставленном на рундуке.— Хотим идти в поход с великою ратью на войну.

— Бог тебя благословит,— сказал Адашев, несколько изумленный такою неожиданностью.— Мы все идем с тобою и будем биться против врагов креста святого до последней капли своей крови, не щадя голов своих. А куда ты думаешь? Против татар?

— Нет, против ливонских немцев. Вы, мои добрые, вы, мои верные бояре, так мужественно бились с немцы, что уж мне никоими делы не хочется покидать ливонской земли, не подклонивши ее всю под нашу державу. А бусурман крымский не страшен; он шлет нам свое посольство и уже отпустил наш русский полон. Мы возьмем мир с крымским ханом на всей воле нашей, а сами пойдем на немцы. Вот и бояре иные в думе тоже говорили, чтоб идти нам войною на ливонских немцев. И новоприезжий князь Дмитрий Иванович Вишневецкий пусть со своими казаками идет с нами заодно на ливонских немцев! Они нашим жалованьем помилованы!

— Твоя воля, государь,— сказал Адашев,— мы еще не знаем, с чем приедет ханский посланец; а хан хоть и скажет, что он отпустит полон весь, тому верить не можно, бусурман солжет христианину. Немцы, государь, побеждены силою твоего царского величества; если теперь их пожаловать, дать им мир, так они отдадут нам и Юрьев, и Ругодив, и прочие городы, взятые нашими ратьми.

— А если мы их не помилуем,— сказал, лукаво засмеяв-

шись, царь,— так они нам отдадут и Колывань, и Ригу, и почитай все германские грады завоюем. Ну, а что на это скажет вот князь Курбский?

Князь Курбский, стоявший все время у двери, выступил и сказал:

— Наш совет, великий государь, тебе ведом, понеже мы изрекли его пред тобою в думе, а коли твоя такова воля, чтобы я пред тобою паки сказал его, то я скажу и теперь только то, что в думе говорил: не ходи, государь, на немцев, возьми с ними мир на всей нашей воле, а сам иди со всею своею ратью на крымского бусурмана ради защищения своей державы и целости жительства христианского.

— А другие бояре да не то говорили,— сказал царь,— а затем будет так, как ваш государь изволит, как ему Бог на сердце положит. На него надеюсь, его велению покоряюсь, а не князей, не бояр советам. Господь со мною и никто же на мя. Где князь Вишневецкий?

Вишневецкого подозвали. Царь сказал:

— Показывай, показывай, князь Димитрий, своего Голиафа. Только у меня такие лютые два медведя; никто с ними не дерзал биться. Если кто из них да снимет череп с твоего Голиафа, ты на нас за то не пеняй.

— Такого медведя нет, которого бы не поборол мой Кудеяр,— сказал Вишневецкий.

— Ого-го! Хвастливо сказано,— возразил царь,— а у нас говорится, что похвальное слово гнило бывает.

Ударили в бубны. Из нижнего жилья дворца вышел Кудеяр, одетый в черное суконное короткое платье, в больших сапогах со шпорами. У него в руках не было никакого оружия, только за красным поясом заткнут был большой нож, наполовину высунутый из ножен. Кудеяр поклонился в ту сторону, где был царь, надел шапку и стал боком к рундуку, приложил подбородок к шее, выставил правую ногу вперед, заложил левую руку назад и держал правую наотмах, как бы готовясь отразить нападение врага. Его мрачные глаза были устремлены на двери амбаров.

— Эка плечища-то, плечища,— заметил царь,— а пальцы, пальцы!.. А брови какие яростные! Да это просто какое-то чудо лесное, страх водяной!

Все бояре стояли около царя с напряженным вниманием. Вдруг растворилась одна из амбарных дверей — оттуда вышел медведь... Дверь за ним быстро затворилась. Медведь вступил на майдан (так называли тогда такой двор), увидел стоящего Кудеяра... Казак глядел на него грозно

и сурово... Медведь заревел, поднял передние лапы и на задних шел прямо на Кудеяра... Кудеяр выдернул нож. Медведь заревел сильнее и замахнулся своею лапою; одна секунда — медведь снес бы череп со смельчака; все ахнули... Но Кудеяр ловко уклонился головою от взмаха медвежьей лапы и в то же мгновение воспользовался положением медведя, выставившего против соперника грудь, ударил его ножом в сердце и сам отошел прочь.

Раздался последний рев издыхающего медведя. Кудеяр глядел на мертвого, уже бессильного врага. На рундуке все были до того поражены этим неожиданным исходом битвы, что не смели выразить ни одобрения, ни изумления.

Царь прервал молчание.

— Есть,— сказал он,— медведь еще поболее и подюжее этого. Похочет ли он с ним биться?

— С кем повелишь, государь,— сказал Вишневецкий,— с тем он и будет биться!

Вишневецкий передал царское пожелание Кудеяру.

Кудеяр поклонился царю молча; подошел к мертвому медведю, вынул из сердца нож, обтер об шерсть того же медведя и снова стал в прежней постати ожидать нового врага.

Недолго пришлось ему ждать. Медведь громадного роста показался из другой амбарной двери...

Увидя мертвого товарища, медведь в испуге отскочил назад, оглянулся кругом, остановились глаза на Кудеяре. Новый враг не ревел, как прежний, а только свирепо смотрел на человека. Прошла минута. Царь сделал такое замечание:

— Медведь, видно, смекнул, что прежний оттого пропал, что на человека сам пошел; этот дожидается человека к себе: поди-ко ты сам ко мне, а не я к тебе!

Но медведь сделал движение и тихо начал обходить своего врага; медведь отворачивал голову в противоположную сторону, как будто хитрил с ним, как будто показывал вид, что не обращает на него внимания, как будто затевал броситься на него неожиданно; но медведь не провел казака; Кудеяр быстро, как кошка, сделал прыжок и вмиг очутился верхом на медведе, обеими руками схватил его за горло и стал давить изо всей силы. Медведь захрипел и подогнул ноги. Кудеяр не переставал давить его, пока в медвежьем теле не перестали более показываться предсмертные судороги. Тогда Кудеяр встал с медведя, снял шапку и поклонился царю.

— Молодец! молодец! — сказал царь.— Вот настоящий богатырь, Илья Муромец!..

По царскому приказанию, переданному чрез Вишневецкого, Кудеяр взошел на рундук и молча ожидал царских приказаний. Все разглядывали его с любопытством.

Царь приказал поднести богатырю серебряный ковш с медом.

Кудеяр смутился. Степной казак не знал, как ему обращаться перед таким властелином, говорить ли, молчать ли; он поглядел на Вишневецкого, потом поклонился царю молча, выпил мед и отдал ковш стряпчему. Царь сказал:

— Этот ковш тебе за твою потешную службу.

Кудеяр снова молча поклонился.

— Сказывали нам, ты сам не знаешь, кто ты таков, с измалку был у бусурман, а сам роду русского, христианского. Покажи-ко мне крест, что у тебя на шее.

Кудеяр молча снял с себя крест и подал царю.

Пристально разглядывал царь крест, вдумывался, не догадается ли, и потом отдал его Кудеяру.

— Кто тебя знает, кто ты таков, а сдается, не простого роду. Велю кликнуть клич по всему царству, чтобы отозвались те, у кого пропали дети в оно время, что приходилось по твоим летам, годов за тридцать или того более. А пока Бог тебе не откроет твоего рода, будешь ты наш, и мы тебя пожалуем. Отвести ему поместье в Белевском уезде пятьсот четей и в дву потому ж, да лесу, да сенокосу, как пристойно, и поверстать его в дворяне. Пусть нашу царскую службу несет. Я его пошлю на ливонских немцев. Пусть их колет и давит, как медведей.

— Великий государь,— сказал Вишневецкий,— мой Кудеяр в большом долгу.

— Перед кем? — спросил царь.— Я его выкуплю от правежа.

— Он в долгу перед бусурманами. Когда он был со мною в походе, татары набежали на хутор его под Черкассами и увели жену у него. Так и пропала без вести! Он поклялся мстить бусурманам.

— Для такого молодца у нас сыщется невеста получше прежней его жены,— сказал царь.— Надобно другую взять, а прежнюю забыть. Попалась в плен к бусурманам — все равно что умерла. Хочешь, молодец, жениться?

— Я закон уже принял,— сказал Кудеяр.

— Разве надеешься, что прежняя жена к тебе вернется? Нет, молодец, тщета твое упование! Чай, с горя умерла,

вели лучше записать ее в поминание... А красавица была твоя жена?

— Для меня лучше не нужно было, царь-государь,— сказал Кудеяр.

— Жаль, жаль,— продолжал царь,— а все-таки, коли ее достать нельзя, надоть иную брать.

— Нет, царь-государь, не хочу,— сказал Кудеяр,— когда так угодно Богу, останусь без жены. Позволь, царь-государь, бусурман бить, им за жену мстить.

— Ого! — сказал царь,— ты хочешь на бусурман идти, жену свою отыскивать! Ты, может быть, хотел, чтоб и мы пошли с тобою ради твоей жены. Ха! ха! ха! Если бы мы пошли и весь Крым завоевали, и тогда навряд ли бы твою жену там нашли; если она жива, так уж наверно запродана в какое-нибудь бусурманское государство, что подальше Эфиопии. Ну, ступай, ступай! мы тебя не удерживаем. Ступай воевать с бусурманом, отыскивай свою жену и приходи вместе с нею ко мне, только я с тобой не пойду... нет! — При этом царь окинул взглядом своих бояр и продолжал: — Ну, а вот если ты найдешь свою жену и придешь ко мне вместе с нею, тогда я со всею ратью пойду на бусурмана и Крым завоюю. Теперь иди себе покамест.

Кудеяр во все продолжение речи царя смотрел чрезвычайно мрачно, с видимым озлоблением: издевки царя задевали его по сердцу.

— Ну, покажи теперь стрелков своих, князь Димитрий Иванович,— сказал царь Вишневецкому, когда Кудеяр ушел.

По приказанию Вишневецкого казак прибил к столбу, стоявшему на майдане, большую доску, в виде полки, на эту полку положили рядом несколько яиц. Вышло десять казаков с ружьями, и каждый стрелял друг за другом, попадая в яйца пулями. Царь хвалил их.

Потом принесли ленту холста, растянули ее от столба до тех досок, которыми были заделаны промежутки между амбарами, и приколотили гвоздиками; вся эта лента была усеяна крестиками, начерченными углем. Вышло несколько других казаков, и один за другим стреляли из лука, оставляя в холсте завязшие стрелы и в тех местах, где были намечены крестики.

Царь становился все веселее от этих развлечений.

— Теперь,— сказал он,— пусть Кудеяр приберет двор мой, снимет доски с проходов и столб вынет.

Вишневецкий передал приказание Кудеяру. Силач пре-

жде всего вытащил прочь мертвых медведей, потом почти без усилия снял доски, вынес их и сложил в кучу у одного амбара, а вслед за тем, подошедши к столбу, глубоко врытому в мерзлую землю, начал двигать его; столб малопомалу начал качаться. Кудеяр принагнулся, поднатужился, вырвал столб из земли, не дав ему упасть на землю, подставил свое плечо, понес и спустил у стенки амбара.

— Эка силища, а! — сказал царь.— Ну, вот что ты мне скажи, князь Димитрий Иванович,— я знаю, ты человек богобоязливый и добрый. Поручишься ты мне, что тут нет чего-нибудь нечистого, что этот твой Кудеяр получил такую силищу от Бога, а не от лукавого, не чрез волшебство и ведовство?

— Царь-государь,— сказал Вишневецкий,— мне самому приходила такая думка, но нет... Мой Кудеяр ничему такому непричастен; благочестив, и в церковь ходит почасту, и постится, и на исповедь ходит поновляться не то, что раз в год, и почаще, раза по два и по три.

— Ну, то-то,— сказал царь,— а то ведь и мы с ним в погибель ввергнем души наши, коли станем тешиться бесовским действом.

Царь с рундука вошел во дворец, прошел в дальние сени, где уже были приготовлены столы для царских жильцов и для казаков, и пришел на другой рундук, выходивший на широкий двор прямо против ворот, откуда был главный выезд. По царскому приказанию привели собак, выпустили из заперти лисицу и пустили в поле; собаки бросились за лисицею. Царь тешился, глядя, как лисица, со свойственною ей хитростью, увертывалась от собак, обманывала их, метаясь в разные стороны, ускользая от роковых зубов в то время, когда собака готова была уже схватить ее за хвост,— все было напрасно; далеко, далеко погнали собаки смышленого зверя, за собаками поскакали псари; царь уже не мог видеть ничего, но с нетерпением ожидал, когда принесут ему весть о том, чем кончилась война с лисицей. Наконец псари вернулись и привезли труп истерзанной собачьими зубами лисицы.

По окончании всех потех пошли обедать. Обед был постный, рыбный. Царь, сидя за своим особым столиком, посылал подачки Вишневецкому и его атаманам, обедавшим с царскими жильцами в сенях; царь обращался к Вишневецкому с ласковым словом: «Князь Димитрий Иванович Вишневецкий! Приехал ты из Литовской державы к нам на службу своею доброю волею со своими храбрыми

атаманы и казаки. Мы, государь, тебе рады и в милость нашу приемлем тебя и твоих атаманов и казаков. Ешь нашу хлеб-соль, пей мед, вино, подкрепляйся и веселись с нами».

Когда налили белого меду, все выходили из-за стола и здравствовали государя. Вишневецкий, проговоривши царский титул, с жаром громко произнес:

— Дай, Боже милосердый, тебе единому под солнцем истинныя восточныя веры нашея государю, над всеми твоими врагами победу и одоление, наипаче же да затмится от сияния креста святого луна мусульманская, да покорятся нечестивые агаряне скипетру царствия твоего и да водрузится стяг московский на стенах Бакчисарая, яко же на стенах Казани и Астрахани уже водрузился с помощью божиею. О великий царю! Да прославишься паче всех твоих предков, да возвеличится держава твоя над всеми державами мира сего, да благоденствуют многочисленные народы под мудрою властию твоею. Буди благословенна Богом держава царствия твоего, амин!

Ободренные примером Вишневецкого, желавшие войны с Крымом бояре также произносили желания победы над бусурманами. Царский пир сам собою принимал вид приготовления к предстоящей брани с Крымом. Царь, упоенный величаниями и похвалами своей мудрости, могуществу и силе, сам поддавался этой мысли.

Между тем в сенях, за несколькими столами, обедали атаманы и казаки, перемешанные с жильцами. Кудеяр был с ними и очень мало ел и пил. Он был по своему обычаю угрюм; всех он отталкивал от себя своим видом, на всех наводил невольно тоску своим присутствием. Собеседники пытались вступить с ним в разговор, но не могли добиться от него ничего, кроме отрывистых речений, в особенности ти же не терпел он, когда с ним заводили разговоры о нем самом, об его судьбе, об его жене и даже об его силе. Всякий, попытавшись спросить его, в другой раз не имел охоты вступать с ним в какую бы то ни было беседу. Трое жильцов, сидевшие от него вдали, вели между собою тихо такой разговор:

— Этот силач,— сказал один,— уж не знается ли с нечистою силою? А!

— Да,— заметил другой,— как он на тебя поглянет, так ажно страх тебя разбирает. Давай ты мне рубль, скажи: переночуй с ним один на один, право — не возьму!

— Навряд ли он знается с нечистым,— заметил третий,— на нем крест есть. А кто с нечистым знается, то

перво крест с себя снимет. Намедни я видал, он в церкви был, крестится, только не совсем так, как мы; ну, да это они все так крестятся, литовские люди; у нас, видишь, последние два пальца вместе слагаются с большим, а два перста прямо, а у них так два эти, что у нас прямо, сложены с большим. А вера-то, кажись, все едина греческая.

— А головы-то зачем они бреют и клок оставляют? — сказал первый.

— Это у них чуб называется; я спрашивал, говорят: это-де, значит, вольность казацкая, видели бы все, что он казак, человек вольный.

— Ну, это он вольный у себя там, на Украине, в Черкассах, а у нас, коли к нам пришел, так вольным ему называться не годится, для того что как стал служить нашему великому государю, так уже учинился холоп, а не вольный человек. Придется волю-то дома оставить, а сюда не возить. Товар заповедной,— так заметил первый.

— Да и крест полагать на себя,— сказал второй,— подобало бы им так же, как мы полагаем, а не по их обычаям, для того что как ты назвался с нами единой веры, так уж ничем не рознись. А то... кто весть, какова сила в той розни. Что это за крест таков? Прав ли сей крест? И от Бога ли? Он говорит, все-де то равно, все едино; ну, да это он про себя говорит, а вестно, что никто про себя дурна слова не скажет. Подлинно бы про то нам узнать: крестится ли он, а может быть, совсем не крестится, а открещивается. Вот что! А! Старые люди сказывали, что в литовской земле всякие ведовства и чары бывают; у них и пули заговаривать умеют, кто куда целит, туда и попадет безотменно, а все то не без нечистой силы. Есть у них к тому бабы-чаровницы, что умеют привораживать и отваживать; сделают так, что вот человек одного любит, а другого ненавидит. Вот и гляди, как этакие-то к нам наедут да чарами приворожат к себе в любовь нашего государя, чтоб любил их паче нас, а нас, прирожденных московских людей, отворожат от государя, и станет царь-государь к ним зело милостив, а нас учнет держать в немилости. Вот ты говоришь: в церковь он ходит, крестится; крестится-то крестится, а как крестится? А что, коли в самом деле открещивается, так это только обман, лукавого вымыслы; чтоб в церковь ходить его слугам было невоспретно, выдумал он, значит, не крест, а открест; что оно нам кажется только будто крест, а оно не есть крест, и все то, чтоб нас

обмануть и слуг своих возвеличить, нас же, верных христиан, умалить и уничижить? Коли вправду эти приходцы прямые христиане истинной нашей веры, то велеть бы им креститься так, как мы крестимся; а не похотят, ино знатно, что у них на уме лукавое и люди они недобрые, и выгнать бы их из нашего государства, чтоб они в нем своим ведовством какой смуты и дурна не учинили.

— Про все, что ты изволишь говорить,— заметил третий,— подобает рассудить не нам, простцам, а духовного чина людям; а то как станем про такие дела говорить, то греха наберемся; а коли не уймемся, так нас и пред священный собор потянут за суетные мудрования, как было с Матюхою Башкиным и его единомышленники да с дьяком Висковатым. Наш преосвященный митрополит Макарий говорил: «Коли ты ноги, так не думай быть головою».

— А ты думаешь,— сказал второй,— духовного чина люди того ж не говорят, что я? Вон, чудовский архимандрит какой умница, а книжен как! Супротив него есть ли на всем Московском государстве таков книжник! А он говорил, многие от него слыхали: от сих пришельцев ничего доброго не чаять. Льстецы они и обманщики, христианами прикидуются, а неправые они христиане... ведуны они проклятые; думают обойти и очаровать нас своим ведовством и чернокнижеством. Да еще что прибавлял: на бусурман царя нашего они подущают, а сами с бусурманы в тайной дружбе, нарочно нас хотят поссорить с бусурманом, чтоб изменить нам же и тому же бусурману предать. А этот силач, Кудеяр, что ли, зовут его... Так он не казак, а татарин, нарочно с казаками живет под видом будто казак, а тайно служит он крымскому хану и здесь затем, чтоб выведывать и хану переносить, а сила у него телесная от лукавого,— он ему за такую силу душою поклонился!

По окончании обеда царь приказал, в виде особой милости, позвать казацких атаманов и из собственных рук давал им белого меда. Когда подошел к нему Кудеяр, царь сказал:

— Ну, смотри, молодец, иди и побей бусурмана, найди и отними у него свою жену и явись вместе с нею предо мною; тогда я, как сказал, пойду и сам со всею ратью на Крым. В том мое царское слово. Только вот что: ну, коли ты найдешь свою жену, а у ней будет ребенок — не от ее воли, а поневоле — от бусурмана, что тогда? И ребенка бусурманского возьмешь себе за чадо? А!

Кудеяр молчал, глядел как-то особенно злобно и кусал себе губы.

— Что, молодец, не знаешь, что сказать? Да, оно мудрено... Придется чужое, да еще бусурманское, дитя за свое кровное принять и с ним век нянчиться. Кажись, тяжеленько будет. А не то — ребенку кесим баши... [1] Так мать-то что скажет? — Иван, не дожидаясь ответа от хранившего тупое молчание Кудеяра, повернулся к своим боярам и сказал: — Вот оно... силен, а глуп! Руками медведей давит, столбы из земли вырывает, а головой того рассудить не может: коли уже такое несчастие сложилось, что жена попала к бусурманам,— и то все едино, что жена умерла; чего там о ней тужить и помышлять?.. Где ее найдешь? А хоть бы и нашел, так она не годилась бы. Нет, этого рассудить не хватает мозгу.

Царь, смеясь, ушел в свои комнаты.

Скоро после того, уже при наступлении вечера, царь двинулся опять в Москву. За ним поехали и бояре. Вишневецкий ехал, по-прежнему, с Курбским в одних санях, и два князя вели между собою такой разговор:

— Князь Андрей Михайлович! Сдается, мы не дойдем до того, за чем я к вам приехал. Царь, видимо, не хочет воевать с бусурманами. Царь хочет посылать меня с казаками на ливонских немцев...

— Князь Димитрий Иванович,— сказал Курбский,— истинно тебе скажу: тяжело становится жить. Государь добрых советов мало слушает, а скоро, не дай Бог, и совсем перестанет слушать, а вдает слух свой речам сикофантов, шептателей, которые, ради гнусного своего прибытка и чтоб им быть в приближении у царя, будут подущать его на всякое худо и восставят против советных и ратных честных мужей, и будет на нас гонение велие и царству российскому ущерб и разорение. А всему злу начало — царица и ее братья глупоумные. Царица не терпит отца Сильвестра за то, что отец Сильвестр царя добру учит, к делу приводит, от безделья и сладострастия праздного отводит, и от шатания по монастырям, и от времяпровождения с шутами, да с ханжами, да с волхвами и волхвицами — с бабами глупыми... Братья царицы завистью ко всем нам дышат; они люди худородные, и досадно то им, хотят всех нас, доброродных людей, от царя отдалить, чтоб им самим всем государством править.

[1] Голову геть *(тат.)*.

— Коли такое, не дай Боже, у вас станется,— сказал Вишневецкий,— так я тебе скажу по дружбе, князь Андрей Михайлович, я у вас не жилец. Я ради доброго дела, для службы христианству к вам приехал, а буде не приходится, так это значит, как у нас говорится: коли мое не в лад, так я с своим и назад.

— Ох,— вздохнувши, сказал Курбский,— и я тебе одному по дружбе скажу, князь Димитрий Иванович, я хошь и прирожденный московский человек, а злу потворщик не буду, и придется мне, как у вас говорится, свет за очами идти.

V. КРЫМСКИЙ ПОЛОН

За Москвою-рекою был тогда большой двор, назывался он Крымский; внутри его, на правой стороне, построен был ряд изб одноярусных, под одну высокую крышу из драни, представлявший вид как бы одной предлинной избы. Прямо против ворот была большая изба в три яруса, отличавшаяся вычурностью постройки, сравнительно большими окнами и узорами около окон; левая сторона двора была застроена множеством сараев, клетей, навесов, загородок, расположенных в таком беспорядке, что, казалось, можно было запутаться и целый день искать выхода. Такой способ построек представлял превосходный материал для пожаров, которые нередко и посещали Крымский двор, но после пожаров постройка велась прежним способом. Крымский двор был пристанищем приезжавших в Москву посланников и гонцов крымского хана, для них-то и была назначена большая изба с украшениями. На этот двор приставали и татарские купцы, посещавшие Москву с восточными товарами. В этот двор по временам пригоняли и освобожденных русских пленников и держали там день-другой, пока их не разбирали и не развозили, куда приходилось. В те времена пленников выкупали или разменивали обыкновенно в пограничных городах, откуда освобожденные разъезжались по местам жительства, но тех, которые были безродны, или выкупались на счет царской казны, или почему-нибудь оказывались нужными для расспросов, привозили в Москву и помещали на Крымском дворе. В это время туда являлись и русские полоненники с ханскими посланниками и гонцами, привезенные в обмен на татарских мурз, по заключенному заранее условию, или же отпускаемые в знак любезности к русскому государю со

стороны крымского,— последнего рода явление произошло в описываемое время. Хан Девлет-Гирей, испуганный успешными действиями Вишневецкого и Данила Адашева в прошлом году, услыхавши, что Вишневецкий поджигает Москву против Крыма, рассудил, что, при тогдашних расстроенных обстоятельствах Крыма, благоразумно будет показать Москве охоту мириться, и прислал Карач-мурзу посланником в Москву, извещал, что в знак дружбы и братства отпускает всех русских пленников, захваченных в последние годы. Большая часть была отпущена на границе, а толпа в несколько сот человек прибыла в Москву с Карач-мурзою и поместилась на Крымском дворе. При всей обширности этого двора, помещение оказалось для них до того тесным, что бедняки, которым недостало места в избах, ночевали в холодных сараях, клетях, несмотря на то, что уже наступала зима... Но чего не терпел и чего не мог вытерпеть многострадальный русский народ! Впрочем, пленникам пришлось там быть недолго. На другой же день после прибытия Карач-мурзы и Крымский двор, и весь околоток наполнился санями бояр, думных людей, дворян, гостей, архимандритов, игуменов и множеством людей всякого чина. Те приезжали и приходили отыскивать своих родных и близких, другие — для подачи милостыни и для приема к себе несчастных, из сострадания или из видов. Поднялся шум, начались восклицания, рыдания, причитания, благодарения, объятия, лобызания. Там мать обливала слезами голову возвращенного сына, там дети вешались на шею отцу, которого сразу не узнавали, не видавши несколько лет, там целовались брат с братом, племянник с дядею; для многих наступил день такой незаменимо радостный, час такого счастья, за который не жалко, казалось, перетерпеть много горьких годов. Бедствие теряет свою жгучую силу, когда прекращается, и человек чувствует, что одолжен ему минутою величайшего блаженства на земле — минутою прекращения страданий. Но были тут и такие братья, дяди, племянники, которые только наружно изъявляли радость, а внутренно досадовали: то были такие, которым не хотелось отдавать возвращенным родственникам их наследия; они считали их погибшими, и вдруг неожиданно родные оживают... Что делать? Их целуют, обнимают, а в душе думают, лучше было бы, коли б дьявол тебя взял. Иной господин приходил на Крымский двор как будто из благочестия, а на самом деле из корысти: высматривал, нет ли какого бедняка, которому негде деться, и,

нашедши такого, расспрашивал его с участием, давал ему полтину, потом опять расспрашивал, вздыхал вместе с ним об его горе и сиротстве и, как бы соболезнуя, говорил ему: «Бедный ты, бедный! одинок, сиротинушка! Что тебе слоняться по белу свету? Ох, ох! Людей добрых на свете мало стало, всяк норовит, как бы себе добро было, а ближнему своему зла ищет, оскудело милосердие; иди ко мне, у меня тебе и угол теплый будет, и сыт, и одет будешь, и работы большой тебе не будет». Поддается сиротинушка на приманчивые речи, и поведет добросердечный сиротинушку к дьяку в холопий приказ писать кабалу, даст ему рублей пять, а пообещает вдвое, и возьмет бедняка в рабство на всю жизнь его, придется бедняку променять кукушку на ястреба,— освободился из татарской неволи, а попал в русскую. Монастырские власти приезжали на Крымский двор вербовать полоненников к себе в монастыри; тоже — дадут сироте милостыню, изрекут ему мудрые словеса о суете мира, о том, как хорошо будет на том свете тому, кто отречется от мира и пойдет в монастырь в чаянии равноангельского жития, а потом потянут сироту к себе, и освобожденный из татарской неволи сделается рабом всечестной обители, осужденным трудиться в поте лица, в скорби, в тесноте, в нищете, чая царствия небесного и вынося на хребте своем, вместо татарской плети, жезл игуменский. Знатные бояре ездили на Крымский двор подавать милостыню, потому что так велось; того, кто этого не сделает, назовут скупцом, немилостивым, злым... Но были и такие, которые не ради мирской молвы или корысти, от чистого сердца тратили большие деньги на пленников, надеясь, что Господь вознаградит им потраченное после их смерти сторицею. Боярин Иван Шереметев на всю Русь славился тем, что выкупал пленных; и теперь обделял он щедро пленников на Крымском дворе; не уступал ему Алексей Адашев, который отказывал себе во всякой роскоши и, оставляя на свои потребности только необходимое, все свои огромные доходы тратил на дела милосердия. Славилась тогда в Москве вдова Магдалина, родом полька, принявшая восточное благочестие, мать взрослых сыновей, женщина богатая и тароватая; много давала она на нищую братию, а на выкуп и на пропитание пленных паче всего. Теперь этим добродушным людям платить за выкуп не приходилось; зато они брали на свое попечение многими десятками пленных с тем, чтобы здоровых устроить и дать возможность зарабатывать трудом себе хлеб насущный,

а старых и больных покоить на своем иждивении. Приехал тогда с другими и князь Андрей Михайлович Курбский, но если он и развязывал свою мошну на милостыню, то гораздо более говорил, шумел, поучал всех и с обычным своим красноречием беспрестанно свертывал на любимую мысль о необходимости вести войну с бусурманом и покорить Крым Российской державе. Приехал Сильвестр с сыном, раздавал милостыню, расспрашивал одного, другого и взял на свое попечение человек двадцать, сказавши им: «У меня кабальных нет, и вас я в кабалу не возьму; поживете у меня, пока я найду вам пристанище и работу, а там с Богом — трудитесь, пока хватит силы и здоровья. В законе Господнем сказано: не трудивыйся да не яст».

Приехал вместе с Данилом Адашевым, своим бранным сотоварищем, и князь Димитрий Вишневецкий; и он хотел не отставать от других в своем новом отечестве и положить часть своего достояния на благочестивое дело.

Полоненники один за другим уезжали и уходили с Крымского двора, число их все умалялось, редело, и, наконец, осталось их не более двух десятков... Между ними была женщина, одетая в тулуп, повязанная какою-то грязною тряпкою; она сидела на колоде под окном избы, то поглядывая вокруг тревожным взглядом, то опуская глаза с выражением безнадежности. Возле нее стоял ребенок трех или четырех лет, круглолицый, смуглый, в овчинном тулупчике и в бараньей шапочке, и жевал кусок черного хлеба. Женщина была еще молода, статно сложена, но горе провело по ее худощавому лицу рановременные морщины, так что, взглянувши на нее, всяк невольно назвал бы ее молодою старухою. Ее черные большие глаза носили следы былой живости и страсти и вместе с тем выражали столько грусти и терпения, что нельзя было взглянуть в эти глаза без сострадания и вместе без уважения,— в них светилось много благородного, прямодушного, честного. Увидя Вишневецкого, женщина невольно вздрогнула: ее поразил наряд этого князя, отличный от наряда московских бояр; женщина увидала что-то для себя знакомое, родное; она встала и подошла к одному из посетителей; ребенок неотвязчиво шел за нею со своим куском.

Она спросила, кто этот господин.

Ей сказали, что это Вишневецкий.

— Князь Дмитрий Иванович! — воскликнула женщина и побледнела, задрожала всем телом, неровными шагами подошла к Вишневецкому и упала к ногам его.— Отец наш,

кормитель наш...— сказала женщина,— сам Бог тебя принес, голубчик... спаси меня... Я твоя, я не здешняя, я не московка, я из Черкасс, твоя подданная...

— Как же ты попалась сюда, в московский полон? — спрашивал Вишневецкий.

— Виновата, милостивый князь, прости меня, бедную... Обманом сюда зашла я: стали в Крыму собирать московский полон, чтоб отправлять в Москву... я назвалась московкою. Меня продали уже другому хозяину, а тот не знал, что я из Украйны, и отпустил меня; если б знал, не выпустил бы. Думала: на страх божий пойду, может быть, кто-нибудь в кабалу возьмет, хоть в чужой стороне буду жить, все же в христианской, не в бусурманской, а может быть, думала, попадется и такая христианская душа, что в мой край отпустит. И пошла. А вот, на мое счастье, тебя, господина нашего, Бог принес сюда. Возьми меня, Христа ради, отправь в мой край.

— Когда ты из Черкасс, я возьму тебя,— сказал Вишневецкий.— Ты вдова, что ли?

— Не вдовою взята была в неволю, теперь не знаю, вдова или замужняя... Меня татары схватили на хуторе, а муж был у тебя на службе. Мой муж Юрий Кудеяр, что атаман Тишенко в приймы взял за сына, а я дочь Тишенкова.

— Твой ангел-хранитель с тобою! — сказал Вишневецкий.— Ты увидишь своего мужа, увидишь сегодня, он здесь, в Москве, со мною, тоскует о тебе!

Женщина вскрикнула, всплеснула руками; болезненное чувство, смесь радости и вместе ужаса захватило ее дыхание. Не знала она, что с нею, что делать ей: хотелось ей поскорее лететь к мужу и в то же время провалиться сквозь землю от стыда; не знала она, благодарить ли судьбу или клясть ее...

— А этот ребенок — твой? — значительно спросил Вишневецкий.

— Мой, милостивец, мой, да не моего мужа... Я не хотела; меня били, мучили, я не поддавалась; меня продали в другие руки; и там тоже... насильно, Бог свидетель, насильно... Я была невольница, на работе, в кандалах.

— Верю,— сказал Вишневецкий.— Однако я тебе скажу: Кудеяр твой крут; я его знаю, тебя он простит,— да и как не простить? Ты невинна; коли б винна была, не убежала бы из Крыма; но ребенка чужого, да еще бусурманского,

навряд он примет за родного сына. Зачем ты взяла его с собою? Оставила бы его там.

— Мне его отдал хозяин. Ступай, говорит, с ним, нам не нужно его; у него своих жен шесть, и от каждой жены ребята... Сам знаешь, милостивый князь, я мать; оно хоть и бусурманское, а все ж мое; родила, муки принимала, кормила, ночи не спала.

— Не знаю,— сказал Вишневецкий,— Кудеяр не возьмет его. Неладно.

Вишневецкий, отошедши, рассказал Адашеву и Курбскому о случившемся. Узнал и Сильвестр. Протопоп подошел к Вишневецкому, с которым заговорил в первый раз, и сказал:

— Неисповедимы пути божии, чудны дела его. Вижу перст божий! Князь Димитрий Иванович, и вы, бояре, не говорите мужу этой женщины о ней, пока я не скажу царю; отдайте ее на попечение мне.

— Возьми, честнейший отче, твори, как Бог тебе на сердце положит,— сказал Вишневецкий.

— Твое дитя не крещено? — спросил Сильвестр женщину.

— Нет, отче, бусурманское.

— Я крещу его. Оно будет наше. Я буду увещевать твоего мужа, а не захочет взять ребенка, не бойся; я возьму его на свое воспитание; вырастет, человек из него будет!

В это время женщина, случайно повернувши голову, вперила глаза вдаль и, не слушая более слов Сильвестра, с криком бросилась бежать. Сильвестр, бояре, Вишневецкий обратили за нею свои взоры и увидели Кудеяра.

Узнавши, что его князь поехал на Крымский двор давать милость полоненникам, Кудеяр вздумал отправиться туда же, чтоб положить и свою долю в добром деле. Жена увидала его, узнала, забыла все, бросилась к нему.

— Юрко! мой Юрко! — кричала она.

— Настя! — вскрикнул Кудеяр.

Оба сжимали друг друга в объятиях. Ребенок побежал вслед за матерью и, видя, что мать целует и обнимает казака, стал, усмехаясь, дергать его за полы.

— А что это? — спросил Кудеяр, опомнившись от первого восторга и не успевши еще спросить у жены, как она попала в Москву и где была.

— Юрко! Юрко! — простонала Настя.— Бог свидетель, я не винна, я не хотела, насильно... Вот тебе крест...

— Бусурманское? Ты была у кого-нибудь в гареме?

— Нет, я была невольница, на работе, в кандалах, меня изнасиловали...

— Верю, верю... Так оно и есть. Ты, Настя, всегда была и будешь добрая, верная жена. Пойдем со мною. Пойдем. И его бери с собою. Пойдем.

Он взял ее за руку и пошел из Крымского двора; ребенок, видимо, обрадованный, сам не понимая чем, бежал за матерью.

Князь Вишневецкий, смотря на происходящее и слышавши речи Кудеяра, обратился к боярам и сказал:

— Никак я того не ждал, бояре, чтоб мой Кудеяр был такой добрый; я думал, он крут, это совсем не он... Да не задумал ли он чего? Пойду, узнаю.

— А я,— сказал Сильвестр,— сейчас еду прямо к царю. Надеюсь и уповаю; с божиею помощью теперь дело пойдет на лад. Война с бусурманом будет, и сам царь пойдет с ратью, возвратятся времена казанские, воссияет слава Российской державы, здравие и благосостояние христианского народа... Господи! благословен еси, благословен еси!

VI. РЕБЕНОК

Вышедши с женою и ребенком из Крымского двора, Кудеяр сел в извозчичьи наемные сани, приказал ехать за Серпуховские ворота. Жена ласкалась к нему, целовала его; Кудеяр отвечал ей поцелуями, но прежняя суровость, оставившая его только на мгновение первой встречи, возвратилась к нему. Взор его, по обыкновению, стал мрачен, угрюм. Кудеяр ничего не говорил и на вопросы жены не стал отвечать, сказавши раз: после поговорим, все я тебе расскажу про себя, а ты мне все свое горе поведаешь. Жена не смела спросить, куда он везет ее; предчувствие чего-то ужасного стало томить ее. Проехали ворота. Кудеяр велел поворотить влево, к Данилову монастырю, около которого рос тогда большой лес. Приблизившись к лесу, Кудеяр приказал извозчику остановиться, заплатил ему деньги и отпустил, а сам, взявши жену за руку, шел по молодому вязкому снегу в лес. Мать вела ребенка за руку.

Вошли в лес. Кудеяр увидел вдали два пня и, указавши на них, сказал:

— Вот там сядем, Настя, поговорим.

Жена молча повиновалась. Они сели. Ребенок, начинавший дрожать от стужи, стал глядеть жалобно и морщиться, собираясь плакать.

— Настя,— сказал Кудеяр,— ты ни в чем не виновата, ты была в неволе... Теперь все прошло, я тебя приму женою, так как я принял тебя от покойного, царство ему небесное, Якова Тишенко. Но это бусурманское отродие опоганило твою утробу; я не могу назвать его своим ребенком, не могу любить его... Сама подумай, можно ли это? Этого человек не снесет! Ты — мать, тебе жалко его! Да, Настя, жалко тебе его, а мне тебя из-за него жалко, и делать нечего. Выбирай теперь, что хочешь,— кто тебе милей, кого тебе больше жаль? Меня или твоего сына, что его тебе враги нацепили насильно? Коли я тебе милее, так я зарежу ребенка, и живи со мною по-прежнему, как жена, и во всю жизнь я не помяну тебе об нем и никому не дозволю укорить тебя; а коли ребенка жальче, так вечная нам с тобою разлука: я тебе худа не сделаю, ни твоему ребенку; дам тебе денег и отправлю в Черкассы; там наш хутор — он твой, от отца твоего тебе достался, живи там, расти ребенка, а меня не знай вовеки. Уже я не твой и ты не моя, и не услышишь обо мне, и я о тебе слышать не хочу. Что-нибудь одно — выбирай!

— Юрий, Юрий, да как же мне разлучиться с тобою,— вскричала жена,— когда пять лет я о тебе плакала день и ночь, о тебе только и думала; не чаяла я, бедная, такого счастья, Бог нежданно послал его,— как же я отрекусь от такого счастья?.. Мне теперь разлучиться с тобою все равно, что в татарскую неволю опять идти!

— Так попрощайся с сыном,— сказал Кудеяр,— я его зарежу!

— Юрий, Бог с тобой! Христос с тобой! Юрий! За что же? Чем оно виновно?

— Коли жаль дитяти, ступай с ним,— сказал Кудеяр,— и меня уже никогда не увидишь.

— Юрий! — кричала Настя.— Не прогоняй меня, помилуй свою Настю. Я не то что женою, невольницею твоею буду... Юрий, может быть, я не годна по-прежнему быть тебе женою; позволь же у тебя, мое сердце, жить в неволе; женись, возьми другую, а меня ей работницею возьми. Юрий, Юрий, только бы мне возле тебя быть недалеко, только бы на тебя глядеть,— Боже, я не видела тебя пять лет, уже более того... да... Не помню, горе память отшибло, Юрий, если б ты знал, что перетерпела твоя бедная Настя... Ты добрый, Юрий, ты бы заплакал, когда бы увидел, как били, как мучили твою Настю. Теперь я тебя увидала,

тебя, мое сердце, а ты меня прогоняешь... Юрий, Юрий, сжалься, смилуйся!

Настя пала к его ногам, ухватилась за ноги его, разливаясь слезами. Ребенок, и без того уже плакавший от холода, слыша плач матери, орал во все горло и бессознательно цеплялся за ноги казака.

— Настя,— сказал Кудеяр,— не плачь, не рыдай, не голоси! Ничего не поможет,— коли хочешь со мною жить по-прежнему, дай мне зарезать ребенка.

— За что же его резать, Юрий! Юрий! Оно тебе ничего не сделало... Оно маленькое, оно крошечка, не жаль разве тебе... Посмотри, как оно плачет; зернышко ты мое, бедное, кланяйся, проси милости, скажи: смилуйся, я жить хочу, не убивай меня, я тебе ничего не сделал... Юрий, ради Христа, не убивай его... Юрий, пожалей его, пожалей свою Настю! Я ему мать, я буду плакать, тосковать по нем.

— Поплачешь, перестанешь, забудешь...— сказал Юрий,— а может быть, Бог благословит, даст нам своего ребенка, ты будешь его ласкать, и я с тобою; я буду любить его. А на этого я не могу глядеть. Оно бусурманское, оно насильное... Да что говорить! Я уже тебе сказал; перемены не будет: либо зарежу ребенка, либо ступай с ним от меня навеки — либо то, либо другое.

— Зачем его убивать, Юрий? Его возьмут добрые люди. Вот там, на дворе, куда нас пригнали, священник, какой добрый, говорил со мною, обещал взять ребенка, крестить его; пусть возьмет, пусть задаст его так, чтобы мы об нем не знали. Ты его никогда не увидишь, никогда не услышишь про него; я сама не буду узнавать, где он, что с ним творится. Не все ли равно, что он жив, что он умер, ты его не увидишь, и я присягну тебе в церкви, на святом кресте, не то, чтобы увидать его — думать об нем не буду. Только не режь его, не губи души невинной.

— Какая душа у него, бусурманского, некрещеного; что жалеть его,— туда и дорога!

— Его окрестят. Юрий, не греши, не бери на душу греха тяжкого. Нет, Юрий, это нехорошо, это Богу противно... Юрий, ты добрый, ты опомнишься, ты сам жалеть будешь, что погубил его... Ей-Богу, Юрий, будешь сам жалеть. Это теперь ты сгоряча так говоришь. Послушайся меня... Нет, меня не слушайся, я простая, глупая баба. Посоветуйся с умными людьми, спроси священника божия,— что он тебе скажет? Велит ли резать ребенка? Спроси, спроси! Коли скажет: убей его — тогда убивай, а он скажет: не бей,

Юрий, пожалей душу свою. Подожди, я прошу тебя, спроси прежде священника.

— Что мне у попов спрашивать? — сказал Юрий.— Мало чего поп скажет,— он велит мне взять его за сына! Так как же мне брать, коли сердце отворачивается, когда я смотреть на него не могу? И люди будут срамить меня, глумиться станут. Вон, скажут, Кудеяр, татарчука нянчит! Нет, нет, я такого срама не вынес бы. А отдать в чужие люди! Коли ты будешь знать, что он жив, все-таки думка твоя об нем будет, за ним убиваться станешь, все-таки сама себе скажешь: что-то мой сынок? А там как-нибудь узнаешь, захочешь повидать. Я не хочу этого.

— Ей-Богу, нет, вот тебе крест, Юрий: никогда, во всю жизнь не захочу, не увижу, забуду...

— Вырастет, узнает, придет к тебе, ко мне, тогда хуже будет, коли я его большого зарежу. А он еще, может быть, хорошим человеком станет, у меня все-таки закипит кровь: как его увижу, так и зарежу; тогда хуже греха наберусь, крещеного, да еще, может быть, доброго человека загублю. Теперь же пока он поганый,— что он? Некрещеный, так себе: все равно что зверь! Нет, Настя, я на то не соглашаюсь, чтоб его отдавать в чужие люди. Сказано, не переменю: либо дай ребенка зарезать, либо ступай с ним от меня навеки.

— Боже, Боже мой! Зачем ты меня, Господи, вызволил из тяжкой неволи! Лучше было бы умереть в бусурманской земле в кандалах.

— Чего на Бога роптать? — сказал Кудеяр.— Коли тебе так жаль ребенка, значит, ты любишь это бусурманское отродье больше, чем меня. Господь с тобой, я не враг тебе и не мститель. Ступай с ним в хутор, живи себе с ним, а захочешь замуж пойти за иного — и то в твоей воле, я буду просить, чтоб владыка тебе дал разрешение. А я... я пойду на бусурман. Может быть, Бог даст положить душу за веру христианскую. Я тебе найму подводу, казаков дам проводить тебя, выпрошу через князя у царя проезжую запись, чтоб тебя нигде не задерживали. Пойдем тотчас. Твой ребенок будет тогда жить.

— Нет, нет, мой милый, мой единый, мое солнце, мое счастье, мое сердце! Я от тебя не уйду. Я с тобой буду. Не прогоняй меня!

— Так дай зарезать ребенка.

— Юрий! Юрий! смилуйся...

Настя упала на землю и голосила; ребенок ревел.

— Говори скорее,— сказал Кудеяр,— последнее слово говори: едешь от меня с ребенком или остаешься со мною?

— Остаюсь, остаюсь с тобой, без тебя я жить не хочу,— кричала Настя.

— Дай зарезать ребенка.

— Возьми,— сказала Настя, потом вскрикнула и припала к пню головою.

— Вот жена, вот клад,— сказал Юрий.— О моя дорогая! Ну, есть ли на свете такая другая женщина!

Он поцеловал жену в голову, потом взял ребенка за руку и хотел вести.

Ребенок, как будто чувствуя инстинктивно, что ему будет что-то худое, заревел сильнее и стал упираться. Настя быстро подняла голову, увидала, что Кудеяр уводит ребенка от нее, бросилась к нему, схватила за руку и кричала:

— Юрий, Юрий, смилуйся, Христа ради!

— Опять! — сказал Кудеяр.— То даешь, то не даешь ребенка. Возьми же его себе и поезжай от меня. Идем тотчас, идем в город. И сегодня ты уедешь с ребенком в Украйну.

Он пошел по направлению из лесу к городу. Настя стояла. Ребенок подбежал к ней, как будто ища спасения. Кудеяр, прошедши несколько сажен, оглянулся.

— Иди за мной,— громко сказал он,— иди, говорю тебе, скорее иди. Сказано тебе — не будет перемены. Иди. Нанимаю подводу; ты поедешь в Украйну сегодня. Иди.

Он ускорял шаги. Настя пошла за ним. Ребенок бежал за матерью.

— Нет, нет! — вскрикнула Настя.— Нет, Юрий, никогда, я твоя, не покину тебя, не разлучусь с тобою. Ты мой... не прогоняй меня. Возьми его... делай с ним что хочешь. Боже мой! Боже мой!

— Отдаешь ребенка?

— Отдаю.

Кудеяр подбежал к ребенку, схватил его на руки и побежал в лес.

Настя стояла как вкопанная, задом к лесу, куда Кудеяр унес дитя; она глядела в небо, читала молитву... Вдруг до ушей ее достиг пронзительный крик ребенка. У Насти подкосились ноги, задрожало сердце, по телу пробежал холод, все в ней оцепенело; в глазах стало темно. Настя упала без чувств.

Кудеяр, перерезавши ребенку горло, стал приглядываться, куда бы схоронить его, и, заметивши между деревьями

углубление, достал саблю, расчистил снег и начал копать землю. Земля оказалась едва замерзшею. При своей необычной силе Кудеяр скоро выкопал яму аршина в полтора, положил туда труп ребенка, зарыл в землю, набросал хворосту и присыпал снегом. Окончивши свое дело, быстро пошел он к жене.

Очнувшись от первого ужаса, бедная Настя сидела на снегу в каком-то забытьи. Кудеяр взял ее за руку, приподнял и сказал:

— Все покончено. Пойдем, сердце мое, в город.

Настя ни слова не промолвила и пошла, опираясь на его плечо.

VII. КАЗАЦКИЙ БАТЬКО

Кудеяр с женою стоял перед Вишневецким, в той горнице у священника Никольской церкви, откуда выезжал князь первый раз к царю. Настя была одета уже не в прежний изорванный тулуп; на ней был красный камковый летник с частыми серебряными пуговками, на голове меховая шапочка. Сверху накинута была шубка, покрытая вишневым английским сукном. Кудеяр, по возвращении в город, тотчас же отправился на английский двор и одел жену, насколько хватило у него денег, сожалея, что в Москве не мог одеть ее в такой наряд, в каком, по обычаю своего края, ходила она в Украйне. Ее шею украшало красное коралловое ожерелье и несколько крестов.

— Злодей, зверь лютый, а не человек! — говорил Вишневецкий.— Как твоя злодейская рука подвинулась на безвинного младенца. Ирод проклятый! Волчица или медведица тебя, видно, родила, а не женщина. Ну, не хотел брать его за сына, отдал бы добрым людям,— не все же на белом свете такие кровопийцы, как ты. Что же, думаешь, что я тебя держать стану. Мне не нужно детоубийц, иродов. Был бы ты лют и немилостив с врагами, то честь, хвала и слава войсковому человеку. Но убивать ребенка... беззащитного, что ничем от тебя не обороняется, только слезами и криком. Злодей, злодей, исчадие дьявола. Прочь от меня. Я тебя знать не хочу,— ты не атаман и не казак, ищи себе приюта у других. Да ты думаешь, это тебе пройдет? Узнает царь, думаешь, помилует тебя? У него в земле не вольно чинить убийств, а то еще над невинными младенцами. Тебя повесят, злодея, и поделом.

Кудеяр молчал, по обычаю, глядя на князя угрюмо. Но Настя упала к ногам князя:

— Князь Димитрий Иванович, голубчик, смилуйся, не гневайся, не губи его! Прости ему. Меня казни, а не его. Я виновата. Он, голубчик, добрый, мне дал на выбор: захочу, поеду в Черкассы с ребенком, и тогда он ничего не станет ребенку делать, только уж с ним будет мне вечная разлука; а захочу с ним жить по-прежнему — чтоб отдала ему ребенка зарезать. А мне легче было ребенка смерти предать, чем с ним в разлуке быть, то была бы мне горше татарской неволи, и я отдала ему ребенка своими руками. Он не насильно убил его; я виноватее Юрия.

— Зачем вы не отдали ребенка в чужие руки? Отец Сильвестр сказал тебе, глупая баба, что он возьмет его, крестил бы его, воспитал, и вам он ничем бы не шкодил. Зачем же вы, злодеи, его убили?

— Жена слезно просила меня, чтоб я так сделал — отдать бы ребенка в чужие руки, да я на это не поддался,— сказал Кудеяр.

— Что ж, тебе крови детской захотелось, жид ты проклятый!

— Не хотел, чтоб оставалось на свете такое, что опоганило непорочную утробу моей честной жены,— сказал Кудеяр.— Когда она моя жена, пусть не будет с нею такого, на что мне глянуть стыдно. Князь, ты гневаешься, а если бы тебе пришлось быть на моем месте, то и сам бы так же учинил. Было бы живо это бусурманское отродье, хоть бы оно на краю света было, была бы нескончаемая мука и для меня, и для жены. Все-таки нет-нет — и подумала бы о нем, пожалела бы, видеть захотела бы; а хоть бы и того не было, так я бы все думал про нее, что она хочет видеть его, любит его, и сердился бы я на нее понапрасну; теперь же, как его на свете нет, и стыда на ней не осталось, что против ее воли был на нее положен, и моя Настя какова прежде была, такова и теперь. Волен ты, князь, надо мною, только не прав и жесток будешь, коли меня из-за этого прогонишь, своего верного слугу. А что ты, князь, сказал про царя, так ты слыхал, как он, будучи в Тайнинском, сам, будто наперед видел, что со мной станется, спрашивал меня, что я буду делать, коли найду жену, а жена будет с чужим ребенком, да сам же по-татарски и прибавил: кесим башка. Видишь, князь, царь сам уразумел, что нельзя будет инако учинить. Один конец, чтоб не оставалось следа и памяти неволи и стыда.

— Батюшка, голубчик,— говорила Настя,— не гневайся на моего Юрка. Прости его,— он тебе верный слуга, какого не сыщешь другого.

— И так много ему милости,— сказал Вишневецкий;— что я не велел казачеству судить его, а то с него непременно голову бы сняли за детское убивство. Пусть идет от меня. Я говорю — иродов нам, казакам, не надобно!

— Батюшка, прости! — кланяясь в землю, повторила Настя.

— Баба! — сказал Вишневецкий.— Я не из таких, что посердится, посердится да и раскиснет от бабьих слез. У меня что раз сказано, тому так быть. Вы не пропадете. Царь принял твоего мужа в служилые, поместье дал. Ну, и живите себе! А в казаках ему не быть.

В это время дверь отворилась. Вошел царский пристав и сказал:

— Царь-государь изволил приказать привести к нему пред его ясные очи Юрия Кудеяра с женою, что в полоне объявилась.

— Вот они! — сказал Вишневецкий.

VIII. ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ

В то время, как Кудеяр с Крымского двора увел жену свою и ребенка за город, Сильвестр с того же Крымского двора отправился к царю и велел доложить, что пришел сообщить очень важное дело. Царь тогда только что проснулся от послеобеденного сна. Он приказал позвать протопопа.

— Великий государь,— сказал Сильвестр,— благородию твоему угодно было призывать меня, грешного, и спрашивать о крымской войне. Тогда я сказал тебе, государю, такое слово: не имам указания свыше, а от себе говорить мне о таких делах не пригоже, а том-де бояре и думные люди ведают; ныне же, царю, явися указание божие, и аз прихожу объявить о нем твоему величеству.

— Что? — сказал Иван, побледневши и ожидая чего-то необыкновенного, сверхъестественного.

— Воистину указание божие, царю,— продолжал Сильвестр.— Я ездил, великий государь, на Крымский двор, для подачи милостыни бедным полоненникам, и узнал там, что между теми полоненниками объявилась жена приезжего с князем Вишневецким атамана Юрия Кудеяра, а ты, великий государь, будучи в Тайнинском селе на своей

государевой потехе, изволил тому Юрию сказать: коли-де он найдет свою полоненную жену и с нею вместе придет к твоему царскому величеству, в те поры ты, великий государь, сам изволишь идти с ратью своею на войну, на крымского хана. Не перст ли божий, царь-государь, не указание ли свыше? Изволь сам рассудить своим премудрым разумом. Не чудо ли сие, не знамение ли?

Иван Васильевич перекрестился.

В эту минуту ударили в колокол. То был благовест к вечерне.

— Слышишь, благочестивый царь,— сказал Сильвестр,— слышишь глас церкви во утверждение словес моих.

Звон повторился.

— Внимай, о царю,— говорил Сильвестр торжественным тоном,— в сем звуке слышится слово: аминь! Внимай, царю!

Звон еще повторился.

Царю, под обаянием речей Сильвестра, в самом деле послышался «аминь» в звоне колокола.

— Отче, отче! — сказал пораженный и взволнованный Иван,— воистину божий муж еси! Прости меня, грешного, Христа ради! Усомнихся в тебе, прости! Помоли Бога о мне, да не вменит мне в тягость сего прегрешения! Идем к вечерне. Вижду перст божий и разумею!

Весь вечер был царь Иван встревожен и не пошел к царице, а позвал к себе снова Сильвестра и слушал его поучения.

На другой день представлялся царю посланник Девлет-Гирея. Он привез царю подарки, проговорил речь от имени своего повелителя, уверял в его добром расположении и просил учинить вечный мир. Царь молчал. Думный дьяк Висковатый сказал ему в речи, что от крымских людей чинилось российского царствия державе немалое разорение многие годы, крымские люди приходили на государевы украинские города войною многажды и людей Московского государства всякого чина уводили в плен многие тысячи, и от крымского хана его царскому величеству были в том деле большие неисправления; а что теперь светлейший хан Девлет-Гирей желает учинить вечный мир, и то дело великое, и скоро, не подумавши, совершить то дело не мочно, а великий государь пролития крови не хочет и мир учинить с крымским ханом рад, только было бы то прочно и нерушимо. С тем отпущен был из палаты крымский посланник, понявший, что Москва станет водить его и придется ему

целые месяцы жить на Крымском дворе, под надзором пристава, будто в неволе, и дожидаться, пока позовут его в ответную избу; а как позовут, потолкуют, поспорят, и ничем не решат, и до другого раза отложат, а через месяц снова позовут, и тоже ни на чем не решат, и отложат, и так будет много раз чиниться. На то Москва.

Царь в этот день вечером ходил к царице, но не говорил ей ничего о делах, был с нею как-то холоден, а встретившись с братьями ее, даже не взглянул на них, и они поняли, что подул какой-то противный для них ветер.

Свыкаясь с мыслью о неизбежности войны с Крымом, царь позвал к себе Адашевых, Курбского, Серебряного и других сторонников войны и стал советоваться с ними. Все радовались этой перемене, все стали ожидать, что наступают вновь славные времена казанские.

Тут узнал царь, что Кудеяр убил ребенка своей жены, и велел привести к себе Кудеяра с женой.

Их привезли в санях и провели в царские покои с постельного крыльца. С царем были Адашев и Курбский.

Муж и жена поклонились царю до земли.

— Ты убил ребенка. Правда ли это? — спросил с первого раза царь.

— Правда, царь-государь,— сказал Кудеяр.

— А знаешь ли ты, что в моем царстве за убивство казнят смертию?

— Я поступил по твоему мудрому совету, или паче по твоему велению,— сказал Кудеяр.— Изволил ты, великий государь, будучи в Тайнинском, спросить меня: что будет тогда, когда я найду свою жену с чужим ребенком от бусурмана? Я не знал, государь, что и отвечать тебе, для того что у меня ум помутился от такого спроса, а ты, государь, сам изволил сказать: тогда кесим башка! И когда я нашел жену свою и с чужим ребенком, уразумел, что тебе, великому и мудрому государю, дана от Бога благодать предсказать то, что вперед будет, и я учинил так, как ты, государь, сам изволил сказать. Я давал жене на волю: хочет — останется ребенок жив, зато со мною ей вечная разлука, а хочет она со мною жить — ребенка зарежу. Она так любит меня, что лучше ей показалось ребенка на смерть отдать, а со мною жить. Я убил бусурманское отродие затем, чтоб жену мою от насильного стыда очистить и от осквернения бусурманского.

— А ты, баба,— спросил царь у Насти,— что мне скажешь? Насильно у тебя он отнял ребенка и убил, либо ты сама на то согласилась?

— Муж,— сказала Настя,— давал мне на все волю: идти в свою сторону с ребенком; и денег хотел дать, а я не согласилась, потому что не хотела быть в вечной разлуке с мужем. Я сама отдала ему ребенка.

— Стало быть, вы оба виновны! — сказал царь.

— Нет, государь, я виновна,— сказала Настя.— Я привела ему чужого ребенка. Только Бог видит, царь-государь, то было по крайней неволе, по насилию.

— Стало быть,— сказал царь,— казнить следует тебя; только муж твой говорит правду, я сказал ему таково слово: кесим башка! Он учинил по моему слову. Я втоды не думал, чтоб сталось так, чтоб он свою жену нашел, и Бог устроил так, как человек и не думает. Значит, на то воля божия, и виновнее вас обоих, выходит,— я, государь ваш, что таково слово изрек. А царское слово непременно бывает. И для того казни вам обоим не будет никакой. Живите в любви и совете, детей наживите, добру научите, а от нас милость видеть будете по вся дни до конца живота вашего. Пожаловали мы тебя, Юрий, поместьем в Белевском уезде, жалуем еще вам два сорока соболей да сто рублев денег на постройку.

Муж и жена поклонились.

— Теперь,— продолжал царь,— поезжайте в свое поместье да устройте хозяйство. По весне, Бог даст, мы с тобой, Кудеяр, пойдем на бусурман; только так как ты один и у тебя нет ни братьев, ни племянников, ни сыновей подросших, так мы тебя боле в походы высылать не станем, для того чтоб от частых и долгих отлучек твое поместье не пришло в упадок. Один поход с нами сделаешь и будешь жить у себя в поместье. Что, баба, рада небось, что мы у тебя мужа брать не станем?

Муж и жена поклонились до земли.

— Ну, поезжайте с Богом!

С радостным сердцем вышел Кудеяр от царя, обласканный его милостью, но его томил гнев Вишневецкого, он привык считать князя своим отцом; ему хотелось во что бы то ни стало получить его прощение.

Кудеяр отправился к князю. Вишневецкого не было дома; Кудеяр стал у ворот, намереваясь дождаться, когда он будет возвращаться. Князь ехал в санях вместе с Данилом Адашевым к себе и, проезжая мимо стоявшего у воротного столба Кудеяра, не показал вида, что заметил его. Кудеяр

взошел за ним на крыльцо, просил казака, чтоб он доложил об нем князю.

Казак пошел к князю и чрез несколько минут, вернувшись, сказал Кудеяру:

— Приказал тебе князь Димитрий Иванович к нему не ходить никогда, ты уже более не казак; ни князь, ни казацкая громада не хотят, чтоб ты был казаком. Ты принят в службу его царского величества и пожалован дворянином; теперь ты человек не казацкий, а московский, и коли тебе какое есть дело, ступай в разряд, а до казацкого войска тебе дела никакого нет.

Прежде столько лет Кудеяру всегда был доступ к князю, хотя бы среди ночи пришел, а теперь князь ни видеть его не хочет, ни говорить с ним. Нечего делать!

Кудеяр стал справлять за собою пожалованное поместье. Не зная московских порядков, он обратился к дьяку Висковатому, которого доброе лицо ему понравилось; тот научил его, как поступить, и сам обещал похлопотать о нем в Поместном приказе. Зная, что государь к Кудеяру особенно милостив, в приказе не стали волочить его дела, как обычно делалось, назначили ему самое лучшее из отдаточных поместьев, дали послушную запись крестьянам и указ наместнику белевскому об отдаче Кудеяру его поместья.

Стал Кудеяр собираться, накупил всякого добра для будущего своего дома: образов, скрынь, полотенец, холста, сукна, ножей, ложек, чарок, братин, поясов, седла, узды, упряжь; купил сани и две пары лошадей, и взял в кабалу людей; набивались к нему пришедшие с татарским полоном полоненники, но он не взял их, так как они могли узнать его жену. Взял он вольноотпущенного пожилого отца с сыном и невесткою и с племянником, и дали они на себя запись служить до живота своего.

Собираясь уезжать, Кудеяр решился еще раз попытаться умилостивить Вишневецкого. Не смея более идти к нему сам, он обратился к Данилу Адашеву, надеясь на дружбу его с князем. Данило, со всеми ласковый и открытый, принял его с участием, обещал, сколько у него сил станет, уговорить князя, по крайней мере, хоть простить вину Кудеяра. Данило назначил ему на другой день придти к себе узнать ответ князя.

Кудеяр пришел к Данилу в назначенное время.

— Ничего ты не поделаешь с князем Димитрием Ивановичем,— сказал Данило.— Сдается, какой добродушный и милостивый, а крут и неподатлив человек. Издавна, говорит, так ведется в казачестве, что за всякое убивство, учиненное не в бою, положена смертная казнь; так оно было, так оно будет до тех пор, пока казачество на свете стоять будет. Много того, что я его живого на свет выпустил, и то сталось оттого, что Кудеяр уже не наш, царем в дворяне поверстан; коли же мне его оставить в казацкой громаде или хоть с ним ласково обходиться, тогда у нас в казачестве ладу не будет, всякий другого убьет да скажет: прости меня, ведь простил же Кудеяра... Ты, говорит князь, меня о нем не проси, да не токмо что не проси, имени его никогда не упоминай. Не хочу я его видеть, не хочу об нем и слышать, что он есть ли на свете или нет его.

Ничего не оставалось Кудеяру.

Он уехал с женою и с купленными холопями в свое поместье.

IX. ПОМЕЩИК

Приехал Кудеяр прямо в Белев, явился к наместнику с указом и послушною грамотою, поднес ему две пары соболей в поминки. Наместник по поместным книгам отыскал его поместье и отправил туда вместе с Кудеяром сына боярского, чтобы объявить крестьянам о послушании.

В селе, которое было отдано Кудеяру, находилось тридцать пять жилых крестьянских дворов да дворов пятнадцать пустых, откуда вышли крестьяне в Юрьев день и куда ча'яли прибытия других на место убылых. Поместье осталось без владельца после бездетного помещика, которого вдова получила из него свою прожиточную часть вместе с двором своего мужа; поэтому Кудеяру приходилось строить себе двор вновь; за неимением двора поместился он в крестьянской избе. Созвали крестьян, прочитали послушную грамоту: в ней сказывалось, чтоб они служили своему помещику, делали всякое дело, какое он положит, и платили оброк, каким он их изоброчит. В знак царской милости дозволялось новому помещику курить вино, варить пиво и мед для себя, а не на продажу. Кудеяр объявил, что крестьянам к праздникам, свадьбам и крестинам дозволит он брать со двора своего напитки и самим варить брагу, будет их миловать и жаловать, а они бы не ленились работать и во всем ему были покорны. Крестьяне поглядывали на него свысока. Одно то, что он был новый помещик, какой бы к ним ни приехал — все равно; на нового они бы смотрели зверем, а Кудеяр с первого взгляда не представ-

лял ничего привлекательного. Его нависшие брови, постоянно суровый взгляд, толстые губы, как будто не умеющие смеяться, грубые черты лица, громкий голос — все показывало в нем человека не легкого; их поражал даже выговор Кудеяра и его жены; крестьяне смекнули, что эти господа откуда-то издалека, не из их края, а стало быть, и порядки у них будут не такие. «Помещик наш покойный,— говорили они,— царство ему небесное, наш был, а эти что-то не так!»

Кудеяр принялся за работу, погнал крестьян рубить лес, пилить бревна; началась стройка. Сам помещик взялся за топор, и как принялся рубить, как стали от его ударов падать столетние деревья, то крестьяне и рты разинули. «Да этот, братцы,— говорили они,— за нас десятерых сделает дела, эка силища-то! Оно что-то не простое, право! Как может простой человек такую силу иметь!» Крестьяне готовы были порешить, что их новый помещик ведун и знается с дьяволом, если б в первый же воскресный день он не поехал в церковь, отстоявшую от его сельца за десять верст, и не повторил бы того же в следующее воскресенье. Не дозволял он крестьянам с собой ни шутки, ни балагурства; ничего не скажет он крестьянину, кроме того, что касалось до работы или дела, и скажет всегда немного; рано как встает и рано всех поднимает; отдыху на работе почти не дает и сам не отдыхает, зато более трех дней в неделе не пошлет никого на работу, и в праздник не пошлет, и сам ни за что не принимается. Такое обращение и такой образ жизни внушал крестьянам и уважение и страх, и они невольно во всем повиновались, не смели даже хитрить и отлынивать, по своему обыкновению. Жена Кудеяра также была беспрестанно в труде, заставляла баб мыть белье, варить яству, прясть, шить и сама за всем смотрела. Скоро поспел для помещика домик о трех покоях: один — с большою печью для поварни, другой — чистая светлица с печью из кахлей муравленых, нарочно купленных в Москве хозяином и поставленных на место, а третий — для хозяина и хозяйки. На доме надстроен был светленький теремок об одной комнате. Дом был крыт березой, внутри дома были поставлены лавки домашней работы — то была и вся мебель дома помещика. Образа, привезенные из Москвы, да небольшое металлическое зеркало, купленное у англичан, составляли все убранство; на полках расставлена была необходимая домашняя посуда; была она оловянная; только три серебряные чарочки и ковш — подарок царя — были единственною роскошью; по

стенам в светлице развесил Кудеяр свое оружие и панцырь со шлемом; в другой комнате стояла постель, состоявшая всего-навсе из мешка с соломой, вместо перины, и из четырех подушек. Большая скрыня, в которой уложено было платье его и жены, стояла в углу, блистая новою оковкою и огромным висячим замком. Кудеяр и жена его очень жалели, что не могли побелить стен своей новой избы, по обычаю их родного края, на это не было мастериц, да и мелу не находилось в околотке. Для людей построена была людская небольшая изба; кроме нее, был построен амбар, конюшня и скотской загон. Хозяин предположил еще выстроить пивоварню, но отложил до будущего времени. Двор огородили плетнем. Когда все было готово, позвали священника с причтом, отслужили молебен с водоосвящением, наварили браги, меду, накупили вина, зарезали баранов; всем крестьянам был обед и попойка; справили новоселье.

О Благовещенье была в Белеве ярмарка. Кудеяр поехал покупать рабочий скот, плуги, бороны, колеса и узнал, что князь Вишневецкий находится в городе, данном ему в управление, кроме служилого сословия; его тянуло к воеводе, и он решился еще раз попытаться возвратить к себе его милость. Он обратился к бывшему своему товарищу, казацкому атаману, и просил поговорить о нем князю. Атаман исполнил его просьбу и передал Кудеяру вот что:

— Нахмурился и рассердился на меня князь, когда я вздумал заговорить о тебе. «В Белеве есть наместник,— сказал он.— Тот ведает дворян и детей боярских и всех царских служилых людей, а мне государь пожаловал ведать только свои дворцовые волости да поместья, которыми поверстаны мои казаки. Пусть помещик идет к своему воеводе, коли есть ему какое дело, а ко мне им дела нет, и мне до них... А о Кудеяре чтобы мне никто не смел никогда сказать ни слова».

Скрепя сердце, Кудеяр отправился в свое поместье, решившись в душе уже никогда не обращаться к упрямому князю.

Наступила весна. Кончался санный путь. Помещик распределил свои поля и угодья — одну часть назначил под засев помещичьего хлеба; крестьяне обязаны были его посеять, убрать, свозить и смолотить; другая часть роздана была крестьянам за их работу, а третья сдавалась им в оброк, который тогда брался более естественными произведениями: хлебом, крупою, сыром, яйцами, баранами, ку-

рами, утками, гусями, пряжею, холстом; деньги составляли редкость. Вместе с пахотною землею также распределены были сенокосы и леса.

Начинались весенние полевые работы, но Кудеяру уже не приходилось видеть их продолжения и окончания; он предоставлял надзор над ними жене, а сам со дня на день ожидал, как его позовут в поход. Казак, недавно еще не желавший ничего, кроме битв с врагами, стал за короткое время свыкаться с прелестью мирной жизни; он чувствовал, что ему не хотелось идти в поход, что гораздо лучше было бы ему оставаться в своем новом затишье с любимой женой, возвращенной ему после таких невзгод. Мало, слишком мало казалось ему несколько месяцев жизни с нею, но Кудеяр отгонял от себя это чувство, стыдился его, считал его недостойным воина и более всего старался не показать жене того, что у него шевелилось на душе, тем более, что сам царь обещал ему не высылать его более одного раза в поход. Между тем ему невольно теснилась в голову неотвязчивая дума: а что, если поеду в поход да не вернусь сюда, не увижу моей Насти, опять будет мне с нею разлука, может быть, убьют меня на войне,— то-то, бедная, будет горевать! Он старался избавиться от этой думы, возлагал упование на Бога: «Не может быть,— говорил он сам про себя,— чтобы Господь еще подверг нас новым мукам, довольно мы вынесли; ведь он же, милосердый, воротил мою Настю, когда я и не думал и не ожидал!» Так волновалась душа богатырская, а когда Настя призадумывалась и начинала ему говорить о каких-нибудь опасениях насчет будущего, он сурово говорил: «Ну, баба! стыдно тебе. Разве можно жене ратного человека думать об этом».

Наконец в один вечер, когда Кудеяр, после дневных работ, собирался с Настею ужинать, прискакал верхом на его новый двор гонец от воеводы, белевский пушкарь, с приказанием ехать без мотчанья в город, собравшись в поход с двумя людьми, конно.

Покормил Кудеяр вестника разлуки с Настею и стал тотчас собираться. Утром оседлано и навьючено было двое верховых лошадей: одна — для кабального молодца, другая должна была идти вместе с ним. Тут был и мешок с бельем и платьем, и мешок с съестным: сухарями, крупою, сушеною рыбою и проч., и ящик для пороху, пуль и вооружения. Сам Кудеяр сел на породистого татарского коня, с которым прибыл в Москву из Украйны. Запрягли, кроме того, воз, и Настя поехала провожать своего Юрка.

Воевода дал им помещение в осадной избе в городе и известил, что, по царскому указу, велено ему собрать наспех помещиков белевского уезда, дворян, детей боярских и новокрещенов и отправить в полк к Данилу Адашеву на реку Псел, а головою поставить над ними его, Юрия Кудеяра. «Вот,— говорил с уважением воевода,— как государь-царь тебя, Юрия, жалует: в грамоте из разряда написано посылать таких, у которых есть дети, братья и племянники, а у которых нет, и тех не высылать покамест, чтобы от долгой отлучки их хозяйству убытку и разорения не было, опричь одного Юрия Кудеяра, а его, Юрка, призвав к себе, сказать, что быть ему в походе на сей раз до осени, а как воротится осенью, и его вдругорядь не высылать». Кудеяр видел, что царь помнит его, и радовался. Насте также было отрадно, что, по крайней мере, ей остается надежда скоро увидеть своего Юрка, хотя тяжелая мысль теснилась ей в душу, что и до осени мало ли чего может случиться.

Один за другим съезжались помещики. Воевода записывал приезжавших и отдавал под начальство Кудеяру; потом, когда наступило восьмое число мая, крайний срок, указанный в грамоте из разряда, воевода приказал своему подьячему отметить в списке всех нетей, т. е. неприбывших, чтобы послать о них особый список в разряд, и объявил, что на другой день, в праздник чудотворца Николая, надобно выступать в поход.

Рано утром все собрались в церковь, и после обедни протопоп служил молебен в напутствие и кропил святою водою знамена и ратных людей. Поднялись вопли, причитания женщин и детей. Настя не была между ними; она тихо сидела в избе; когда же при звуке труб, ударе бубнов и звоне колоколов стали ратные люди выезжать, Кудеяр бросился в избу, прижал к груди свою Настю крепко, вырвался из ее объятий, вскочил на коня и поскакал догонять выехавших вперед подначальных ему помещиков.

Воротилась Настя в свое поместье. Грустно стало в ее одиноком новом домике; слезы беспрестанно и неотвязчиво лезли ей в глаза, но она старалась вообразить себе, как ее ненаглядный Юрко приедет к ней осенью, как она выбежит встречать его, какая будет для нее радость, а между тем мимо ее воли как будто кто-то шептал ей зловещим голосом: будешь ждать его всю осень, будешь ждать и зиму, будешь ждать и другое лето, и осень, и зиму, и далее будешь ждать, ждать, ждать...

X. ПОХОД

На устье реки Псела давно уже идет кипучая работа. Множество народа снует туда и сюда с топорами, тесами, буравами, заступами, молотами, клещами; тешут бревна, пилят доски, сколачивают гвоздями, долбят огромные стволы многовековых дубов, строят суда всякой величины — и байдаки, и струги, и однодеревки, и завозни. По берегу, на большое пространство, раскинуты шатры, шалаши, навесы; стоят возы, дровни; ржут лошади, ревут волы, кричат овцы, козы, гуси. Харчевники в шалашах продают съестное; пылают костры с таганами и котлами; беспрестанно прибывают и верхом, и по реке, и пешком ратные люди, везут на волах возы, туго набитые сухарями, крупою, сушеною рыбою, вяленым мясом, луком, горохом; расширяется подвижной город, увеличивается его многолюдство.

Вот и Кудеяр прибыл с своими беглецами, расположился в стане, разбил шатер, свернутый у него на вьючной лошади, и отправился к Данилу Адашеву.

— Здравствуй, здравствуй, силач,— сказал Данило,— как поживал на своем новоселье? Что, не бойсь, хорошо было на покое? Ха, ха, ха! Не хотелось, может быть, расставаться с теплым углом да с женою? О зима, зима! Баловница для нас, ратных людей; как весной-то приходится расправлять свои крылышки, так и тянет в гнездо, а как разгуляешься, так и любо на широком раздолье. Ну, брат, видишь, как Бог-то устроил? По-нашему-таки вышло. А все через тебя: ты — орудие божие! Не будь тебя — почитай, не бывать бы этому походу. А теперь идет дело не на жарты. Вишневецкий поплыл по Дону, а нам плыть по Днепру, а сам государь с сильною ратью — на Перекоп, ударим на проклятых с трех сторон разом, руками окаянных похватаем, придет конец царству крымскому, придет. Откликнутся проклятым слезы и муки христианские. Нет, нет пощады кровопийцам, бей их, руби их, коли, жги, весь Крым выжгем, попленим, разорим, что не пей крови христианской, не разоряй жительства нашего, не соси нас! Довольно; пришел час возмездия божия! Ну, а я на тебя зело надеюсь. Перво, что тебя одарил Бог силою, что на свете такой не сыщешь; а в другое, что ты по-татарски горазд и все их норовы знаешь.

— Рад послужить царю-государю по христианству,— сказал Кудеяр,— только бы Господь Бог благословил.

— Конечно, конечно, никто как Бог! А я, брат, всего

боле теперь о том думаю и пекусь, чтоб у нас харчей было приготовлено вдоволь. Это всему голова. Когда в жилой стране война идет, ратные люди поживляются от трудов бедного поселянина той страны, грабят его, поедают то, что он для себя приготовит, а мы поплывем чрез страну пустую, безлюдную, и в Крыму тоже... Ну, да в Крыму, говорят, теперь и недород, и падеж на скот был, почитай, и там недостаток терпеть придется. Для того же я велел навозить сюда столько, чтоб нам, по крайней мере, на полгода стало. Зато в Крыму нас христиане ждут не дождутся, Бога молят все, чтобы скорее поступить под державу царя православного. У меня теперь есть грек — родился в Крыму и знает все тамошние обычаи; говорит, что его единоверцы все поднимутся на татар и станут бить их. А вот он... золотой человек, Бог нам дал его, Афанасий Елисеевич! Вот тот силач, Юрий Кудеяр, что я про него тебе говорил; ты знаешь по-татарски, и он смолоду у поганых в полоне был и также знает по-татарски. Вот вы у меня дорогие люди!

Афанасий Елисеевич, осклабясь, подошел к Кудеяру и стал с ним целоваться. Стали они разговаривать. Афанасий Елисеевич рассказывал, что он родился в Крыму, на берегу моря, воспитывался в христианской вере, вел торговлю в Кафе, потом приехал в Украйну и поселился в христианской земле, в Киеве, хотел постричься в иноки в Печерской лавре, да услышал, что царь православный собирается идти на неверных, и приехал в Москву для того, чтоб служить, сколько может, христианскому делу.

Ополчение двинулось. Часть его плыла на судах, часть шла по берегу конницею, там были большею частью и кони тех, которые прибыли в стан со своими людьми. За конницею ехали возы, запряженные волами. Плывшие останавливались на берегу и на островах для отдыха, раскладывали огни, варили себе кашу из ячных и гречневых круп и щербу или уху из рыбы. Плавание шло благополучно до порогов, но тут пришлось промешкать дней десять; небольшие струги и однодеревки со смельчаками проскакивали посреди камней, и то в иных порогах; через Ненасытицу никто не поплыл; если и находились смельчаки, то Данило не пустил их. Большие байдаки на каждом пороге вытаскивали, тащили руками и спускали опять в реку до нового порога; часть судов перевезена была на возах. Проплывши пороги, ратники остановились на Хортице; Кудеяр с грустью смотрел на остатки укрепления, в котором еще

недавно защищался он с неустрашимым Вишневецким против крымского хана; жалко ему стало, что уже не увидит он своего батьки, что батько сам оттолкнул от себя сына. Здесь пловцы простояли три дня, давши время прибыть коннице, которая за остановками, по поводу кормления лошадей в степи, несколько приотстала. Ратные люди казались бодры и веселы, шутили, шумели, распевали песни.

Окончивши свой отдых, русские поплыли вниз посреди бесчисленных островов и плавней, где встречали себе союзников: то были рыболовы, отправлявшиеся из Украйны за рыбою, и отчасти беглецы, променявшие службу панам или старостам на вольную жизнь в днепровских лесах и камышах, известные тогда под именем «лугарей»; они составляли зародыш будущей Запорожской Сечи, образовавшейся несколько лет спустя. Их встречали на разных островах; жили они в куренях или шалашах, по нескольку человек вместе, на острове Томаковке, где потом возникла первая Сечь. Было их тогда уже до сотни. Эти молодцы пристали к ополчению. Но они же принесли Данилу нерадостную весть, что турки укрепились в Ислам-Кермене, на Днепровском лимане, установили пушки, ждут русских и хотят палить на русские суда.

Проплывши зеленое царство плавней и уже приближаясь к той полосе, где Днепр течет между песчаными берегами, Данило остановился на одном острове и собрал на совет голов и начальных людей.

— Первое,— говорил он,— где оставить лошадей, а другое — как нам плыть мимо Ислам-Керменя?

О лошадях постановили остановиться станом здесь, около Днепра, и отправить сильную станицу на поле узнать, где теперь царь, чтоб дать ему знать о себе и в случае нужды примкнуть к его силам. Слухи об Ислам-Кермене заставили призадуматься. Тут Кудеяр дал такой совет:

— Нам не годится плыть, не узнавши неприятельские силы. Надобно прежде изведать, что у них есть. Если позволишь, боярин, я поплыву к ним и узнаю; я говорить с ними сумею; пожалуй, коли велишь, я прикинуся перебежчиком,— может, мне удастся подделаться к ним и заколотить пушки; я знаю, эти бусурманы плохо умеют с пушками управляться.

— Вот мудрый совет,— сказал Афанасий Елисеевич,— ничего не может быть мудрее этого. Ступай, брат, учини нам всем пользу и себе великую славу, и я с тобой пойду.

— Нет, нет, не пущу я ни тебя, Юрий, ни тебя, Афана-

сий Елисеевич,— сказал Данило,— вы оба мне дороги. Положим, что мы через то и проплывем благополучно, да бусурманы вас побьют; вы не успеете уйти от них. Ни за что не пущу. А вот что. И ты, Юрий, и ты, Афанасий, хорошо знаете ихний язык и ихние обычаи; вы поплывете вперед, как будто в послах, и присмотритесь, как там у них. Может быть, оно и не так страшно, и мы успеем прорваться в море.

Решили, что Кудеяр поплывет вперед посланником от предводителя царской рати вместе с Афанасием Елисеевым; им придали одного новокрещенного из касимовских татар, испомещенного так же, как и Кудеяр, в Белевском уезде. Кудеяру очень не хотелось плыть вместе с Афанасием Елисеевичем; этот человек показался Кудеяру что-то подозрительным, хотя он выдавал себя за грека, но по выговору и ухваткам напоминал собою сынов Израиля, которых Данило Адашев не знал, но к которым Кудеяр присмотрелся в Украйне.

Когда трое, составлявших посольство, подплыли к Ислам-Керменю, Кудеяр, осматривая местность, сказал:

— Боялись напрасно, Днепр так широк, что коли будем плыть возле противного берега, так, почитай, до нас не долетят их арматные пули.

— Особенно, когда они и стрелять-то — небольшие искусники,— прибавил новокрещенец.

— Не воротиться ли нам да сказать воеводе, как бы худа этим не сделали мы себе, только им дадим о себе знать; чай, они нас не ждут, так мы проплывем себе ночью.

— То правда,— сказал Кудеяр.

— А нет,— сказал Афанасий,— как же можно не исполнить того, что воевода приказал? Да притом мы всего здесь не видим, а вот как нас впустят в крепость, так мы и узнаем, как в средине у них, все смекнем и доложим воеводе подлинно.

Подплыли к крепости. Афанасий Елисеевич затрубил в рожок, а Кудеяр выставил на конце своей сабли шапку.

В воротах крепости приподняли щиток, открылось отверстие. Вышло двое турок. Афанасий Елисеевич первый вскочил на берег и закричал по-турецки:

— Посольство от воеводы его царского величества.

— Иди сюда один,— отвечали ему,— а прочие пусть остаются в челнах.

— Не я голова; вот голова,— сказал Афанасий,— он пусть войдет со мною! Так надо!

— Идите, только без оружия: не воевать пришли.

Кудеяр и Афанасий повиновались, оставили в челне свое оружие. Их пропустили в ворота и тотчас отпустили щиток.

Их привели в деревянное здание, где жил санджакчей, начальствовавший крепостью.

Положив руку на грудь по восточному обычаю, Кудеяр почтительно поклонился и произнес речь, в которой излагал неправды крымского хана, извещал от имени воеводы, что он по царскому повелению идет с войском наказать хана и принудить его отпустить русских пленников и установить прочный мир, чтоб вперед не было более обиды и разорения Российской державе; уверял, что с турками Россия не воюет, царь находится с турецким падишахом в любви и дружбе; и просил пропустить русское войско в море.

— Это не может статься,— сказал санджакчей.— Московский царь хочет завоевать Крым, как он уже завоевал Казань и Астрахань, мусульманские царства; нам ведомо, что в Москве чинилось и что затеяно, не вы одни идете на Крым: Вишневецкий послан на Дон, а сам царь со своими великими силами хочет идти на Перекоп. Нельзя допустить, чтобы мы сложа руки сидели да смотрели, как Москва будет покорять и порабощать наших правоверных мусульман. Мы все должны защищать нашу веру. Притом хан крымский подручник и слуга нашего могущественнейшего, непобедимейшего государя; довольно того, что прошлый год мы спустили вам. Нет, мне приказано беречь проходы и не пускать на море никого, а если пойдете силою, то буду биться с вами.

— Этот человек,— сказал Афанасий Елисеевич,— не посланник, а лазутчик; он вызывался прикинуться перебежчиком и заколотить у вас пушки. Воевода не согласился, пожалевши его, чтоб он не пропал, пожалел оттого, что у него необычная сила, а велел ему плыть как бы посланником, на самом же деле для высмотров.

Кудеяр бросил свирепый взгляд на товарища и сказал:

— Он лжет, как пес. Я прибыл к вам посланником от воеводы, а не лазутчиком.

— Нет, он не лжет,— сказал санджакчей,— этот человек нарочно подослан нами к вам в Москву, чтоб проведать, что у вас затевается и делается; он нам прямит, он наш верный слуга, и мы ему во всем верим. Ты не воротишься к воеводе, мы тебя здесь задержим.

— Вы не можете меня задержать,— сказал Кудеяр,—

это нечестно, противно народным правам. Я посланник, послов не секут, не рубят. Я приехал за ответом, какой ответ вы мне дадите, такой я и отнесу воеводе.

— Нет, ты ничего не отнесешь воеводе,— сказал санджакчей.— Я тебя отсюда не выпущу.

— Ты не смеешь этого делать. Я не военнопленный, наш государь не в войне с вашим, наш государь будет жаловаться вашему, и тебе будет за меня наказание.

— Наш государь,— сказал санджакчей,— велит хватать лазутчиков, и ваш то же делает. Вот мы к вам подослали этого еврея, который прикинулся у вас не знаю кем; если бы вы узнали, что он лазутчик, вы бы его не выпустили. Так у нас ведется. Ты будешь задержан.

Кудеяр вспыхнул и крикнул:

— Я не лазутчик, я посол, эта змея лжет,— и с этими словами он схватил за затылок Афанасия Елисеевича и нагнул его к земле. Афанасий Елисеевич лишился чувств.

Испуганный санджакчей бросился в заднюю дверь и начал кричать. Весь гарнизон всполошился. Турки с яростными криками бежали к дому. Кудеяр выскочил из дома, сгоряча стал отбиваться кулаками, но толпа, стоявшая сзади, бросилась на него; ему на шею накинули аркан... он стал задыхаться и упал навзничь; тогда человек тридцать набросилось на него и стали надевать на него цепь.

— Мало одной, разорвет,— говорил санджакчей,— еще одну.

Принесли еще цепь и стали ею обвязывать Кудеяра.

— Мало двух цепей. Третью.

Принесли третью цепь и надели на Кудеяра.

— Кандалы ему на ноги потяжелее!

Кудеяра отвели в нижний ярус деревянной башни и заперли.

Тогда один турок вышел за ворота.

— Ты по-турецки знаешь либо по-татарски? — спросил он оставшегося в челне.

— Знаю по-татарски,— сказал новокрещенец.

Турок приказал передать воеводе, что посланцы его задержаны, потому что они лазутчики, а затем, если воевода пойдет на море, то из крепости будут стрелять и не пропустят его.

С этим ответом поплыл вверх по Днепру новокрещенец.

На другой день отправлялась галера в Кафу. Вывели окованного Кудеяра, посадили в темное дно галеры,— санджакчей написал донесение кафинскому паше, что от-

правляет пойманного московского лазутчика, который во время его поимки дрался и ушиб до смерти еврея, указавшего на него.

Мнимый Афанасий Елисеевич не вынес руки Кудеяра.

Данило Адашев, получивши известие о задержании своих послов, не подозревал, что Афанасий Елисеевич погубил своего товарища, и жалел о нем столько же, сколько о Кудеяре. Он решился идти вперед и не только пытаться проплыть мимо Ислам-Керменя в море, но взять самую турецкую крепость и освободить посланцев, задержанных вопреки всяким народным правам.

Вдруг неожиданно является из Севска станица, а с нею московский сеунч с царским указом. В этом указе извещался Данило, что великий государь, его царское величество, изволил постановить с крымским ханом замирение, а ему, Данилу, велено не ходить далее, не зачинать с татарами и турками никаких задоров и воротиться в города, распустить полк, а самому ехать в Москву.

Можно вообразить себе досаду Данила Адашева, получившего такое внезапное и никак не жданное приказание; давняя была мысль о покорении Крыма, столько лет он об этом только и говорил, столько трудов из-за этого перенес, все не удавалось,— теперь вот, казалось, пошло дело вперед, и вдруг, как бурею, все поломалось, попортилось...

Однако жалей не жалей, а надобно было исполнять царский указ. Данило хотел, по крайней мере, освободить задержанных в турецкой крепости и отправил станицу человек в десять, уже не по Днепру водою, а полем на конях. Новокрещенец опять был послан головою в этой станице. Данило извещал турецкого коменданта, что его царское величество с крымским ханом постановил замиренье, посланная им рать возвращается назад, а потому воевода просил отпустить к нему отправленных для переговоров посланцев.

Санджакчей, получивши такую грамоту, пригласил новокрещенца в крепость, принял его дружелюбно и тотчас предложил ему лакомство. Прочих станичников в крепость не впустили, но угощали за воротами. Санджакчей послал Данилу Адашеву в подарок сахару и цареградских плодов и сказал:

— Дай Бог вам подобру-поздорову вернуться домой, а с нами по соседству жить всегда в любви и дружбе; а чтоб отдать вам ваших посланцев, того я никак не могу сделать, для того что они не посланцы, а лазутчики, да еще один,

у нас будучи, ушиб до смерти человека. За это мы его сковали и отправили на галерах в Турцию. Пусть боярин не прогневается: ни в какой земле не отпускают убийц, а казнят, а человек его, что сказался послом, учинил убийство, и потому мы его не отпускаем.

В таком смысле послан был ответ Данилу. Нечего было делать ему. Не вести же войны из-за Кудеяра, когда царь не приказал чинить задоров и велел ворочаться.

XI. ИНОЗЕМНЫЙ ДОКТОР

Душевное и телесное здоровье царицы Анастасьи день ото дня становилось хуже. Вечная досада, злость, тоска сушили ее. Ее хворому воображению повсюду представлялись козни врагов; и к числу этих врагов прибавился теперь Кудеяр, которого она никогда не видала в глаза, но которого ненавидела за то, что случай, происшедший с ним, расположил царя к войне с Крымом и сблизил опять с Сильвестром и боярами. Сначала царь долго скрывал от Анастасии свое намерение, но братья узнали и сообщили сестре. Царица стала перед царем ахать и корить его. Царь, увидав, что царица все знает, сперва хмурился, сердился, потом стал уговаривать, чтоб она успокоилась, доказывал, что всем видна воля божия, указывающая путь Русской державе, что теперь уже ему нельзя не ходить в поход; уверял, что пойдет на короткое время, что иначе будет перед Богом грех, а перед людьми стыдно. На Анастасью ничего не действовало, тем более что братья, особенно Григорий, возбуждали ее. Царицу мучила не столько боязнь за здоровье мужа, сколько ревность к тем, которых царь приближал к себе и слушал советов. Она становилась невыносимо плаксива, царь стал реже ходить к ней, потому что каждый раз ворочался от нее с тоскою; царь для развлечения стал ездить в подмосковные села, забавлялся там травлею, учреждал попойки, окружил себя новыми любимцами и потешниками. В числе их Вяземский и Басманов занимали первое место и незаметно овладевали царем; он не занимался с ними никакими делами, не говорил о делах; они только старались забавлять царя, доставали ему скоморохов и шутов, потешали разными дурачествами. Анастасия между тем все более хирела, а братья кричали, что ее испортили ведовством. Царь, глядя на ее болезненность, то сердился и не посещал ее по неделям, то умилялся и проводил с нею целые дни, между тем не бросал своего

крымского предприятия, хотя не занимался никакими приготовлениями к походу, оставивши все на волю бояр. Последние были этому рады и надеялись, что дело пойдет лучше, если царь не будет в него мешаться и станет слушаться других. Им нужен был в самом походе царь только для того, чтобы его присутствием придавать предприятию более силы и значения. Вишневецкий был отправлен на Дон, Данило Адашев — на Псел, служилым людям велено было собираться к весне в Тулу; с Ливонией начались мирные переговоры; бояре стали действовать согласно, прекращались мелкие дрязги; великое дело воодушевляло их так же, как во время казанского похода; Сильвестр деятельно поддерживал их, не давал задремать их порыву, беспрестанно посещал то того, то другого, оживлял своими беседами, весь предался делу, несмотря на то, что в это время постигло его семейное горе: умерла жена, с которою он жил более тридцати лет дружно, душа в душу.

Приближался час, когда царю надобно было отправляться в поход. Тут враги Сильвестра и его сторонников нашли способ повернуть царя в иную сторону.

Назад тому год приехал в Москву вместе с английскими гостями доктор Бомелий из Везера, живший перед тем в Англии и занимавшийся, кроме медицины, астрологией, алхимией, кабалистикой и всяким ученым вздором. Человек он был ловкий: приехавши в Россию, начал тотчас учиться по-русски и скоро успел до того, что все понимал и сам говорил бегло, хотя неправильно. Врач был тогда редкостью. Бомелий умел пустить пыль в глаза, представлялся всезнайкою; царь взял его к себе. Когда царице стало хуже, царь предложил ей призвать врача. Сначала царица против этого отбивалась, как говорится, и руками и ногами; благочестивое чувство ее отвращалось от врачества. «Надобно надеяться на Бога, а не на врачей»,— говорила она. Но потом согласилась, именно тогда, как узнала, что ненавистный ей Сильвестр был против этого врача. Воспитанный в преданиях благочестивой старины, Сильвестр вообще не очень доверял врачевству, постоянно говорил, что если Бог не поможет, то врач ничего не сделает, и приводил примеры, когда люди, одержанные тяжелыми недугами, освобождались от них божиею милостью; но Сильвестр не называл всякое врачевство дьявольским ведовством, как говорили тогда многие, и посоветовал бы сам прибегнуть к знающему человеку: от какой болезни принять внутрь какую-нибудь траву либо чем-нибудь помазать наружную

язву; только доктора Бомелия сильно невзлюбил Сильвестр. Пронырливый немец пытался подделаться к нему и приходил толковать с ним о вере, изъявляя готовность убедиться в правдивости православной веры и принять ее. Сильвестр так умел угадывать людей, что сразу раскусил Бомелия, и, когда царь советовался с Сильвестром: не грех ли позвать к царице иноземного доктора? — Сильвестр не только вооружился против этого, но убеждал царя прогнать от себя этого немца и возложить на Бога упование о здравии супруги. Зато отец Левкий, с которым царь также заговорил о Бомелии, расхвалил доктора до небес и доказывал царю, что врачебная наука дается от Бога, как милость божия к человеку; и кто не советует обращаться к врачу, тот, значит, здоровья не желает царице.

Царица, узнавши от братьев, что Сильвестр ненавидит Бомелия, а Левкий советует царю положиться на него, сама стала просить царя привести к ней врача, о котором царь говорил ей прежде.

Царь пришел к ней с Бомелием.

Это был маленький человечек с большою лысою головою, длинным носом, прищуроватыми небольшими глазами, никогда не смотревшими прямо, всегда с низкопоклонным видом и с тонким, почти женским голосом.

Немец, по царскому приказанию, подошел на цыпочках к сидевшей в креслах царице, внимательно смотрел на ее лицо, пощупал пульс, потом приложил палец себе ко лбу, потом развел руками и знаменательно пожал плечами.

Царь тревожно ждал, что скажет иноземный мудрец.

— Государь,— сказал Бомелий,— Господь Бог может помочь ее маестету государыне-царице. Недобрый человек — государь.

— Что? что? Отрава!

— Нет, великий государь,— отравы нет! А злой человек сделал тоже...— как это называется?

— Порча, волшебство?

— Да, государь.

Анастасия бледнела, теряла сознание.

— Немец,— закричал государь,— ты испугал ее.

— Государыня-царица,— сказал Бомелий,— не бойся, Господь Бог милосерд! С божией помощью хорошо будет. Помочь еще можно, только надобно дурного человека прочь — далеко...

— Пойдем, немец, ты мне там скажешь,— сказал царь.

— Государыня-царица,— продолжал немец,— ничего! —

твое величество, будешь здорова и покойна; я так сделаю, что все будет как лучше.

Царь вышел с Бомелием.

— Говори, немец, всю правду мне говори,— сказал царь.

— Государь-царь,— сказал немец,— есть в чужих краях науки; в России наук нет, а в наших краях есть науки, и через эти науки я могу узнать, что где есть и что будет наперед. Я по звездам небесным умею читать и твою судьбу скажу. У вас в России говорит народ, что это ведовство от диавола. Нет, государь, не верь такой речи: науки не от диавола, а от Бога. Как может быть, чтоб наука была от диавола? Я много учился всяким наукам, я учился богословию, верую в Троицу единосущную и в Господа нашего Езус Христус,— и как же можно, чтоб наука была Богу противна.

— А если ты учился богословию,— сказал царь,— то как же ты, немец, не дошел до того, что наша греческая восточная вера есть сущая христианская, и зачем остаешься в своей лютеранской ереси и Господа нашего зовешь Езус Христус?

— На все потребно время, великий государь, я много читал святых отец,— сказал Бомелий,— и видел из их книг, что римская вера неправильна, и наша вера евангелическая не совсем правильна, и хотел бы узнать веру греческую, только в наших землях веры греческой нет, я нарочно приехал в твое царство, державный царь, чтобы научиться, что есть греческая вера, и теперь как я узнал, какая в православной вере есть большая сила, так я имею желание принять греческую веру, креститься истинным крещением.

— Вот это хорошо, немец,— у меня в моем царстве для иноземцев принуждения в вере нет; сам видишь, живут у меня и английские и галанские люди безобидно, и ты, коли хочешь, можешь оставаться в своей вере; а когда есть твое желание быть с ними в единоверии, так тем лучше.

— Только, великий государь, не положи гнева на меня, что я скажу: духовный чин не хочет науки знать, и я не думаю, чтобы истинная вера далеко пошла... Я приходил к твоему протопопу Сильвестру, думал, он очень ученый человек,— о, пфуй, нет! Я его стал спрашивать, думал научиться от него, а он со мной и говорить не хочет, ничего сам не знает, а какой гордый, оттого что в твоей милости, думает, что он умнее и важнее всех людей в твоем царстве. Вот чудовский архимандрит — ах, какой это мудрый, умный человек! Если б этот человек учился! А то нехорошо, великий государь, что в твоем царстве школ нет, наук нет.

— Знаю,— сказал царь,— что это нехорошо; да ты думаешь, с нашим народом что-нибудь сделаешь? Ты думаешь, наши люди таковы, как ваши? Не так они Богом созданы, чтоб им чему учиться!

— Отчего ж, великий государь, твое царство — величество русского рода, а такой человек и так все знает!..

— Я разве русский,— сказал царь,— мои предки из немец пришли, а роду были славного кесаря Августа римского, от брата его Пруса, и поселились у Балтийского моря на реке Русь, и оттого Русь прозвалась.

— А,— сказал Бомелий,— твой великий род! великий род! В целой Европе нет такого славного старинного рода, как твой, государь. Так тебе непременно надобно овладеть Ливонией, Балтийским морем, там рода твоего отчина — твоя.

— Да, этот край — наша извечная отчина, и оттого мы добиваемся, чтоб он был под нашим скипетром.

— Да,— сказал Бомелий,— Бог тебе помогает, великий государь, ты побеждаешь врагов иноземных; а кабы только ты мог победить врагов внутренних. Они опасны. От домашних врагов не можно уберечься. А у тебя много врагов около тебя, государь, очень много. Они хотят, чтобы ты самодержавным не был, чтоб по их совету все делал, ты такой мудрый царь, ты один можешь управлять народом своим: ты умнее их всех, ты храбрый... Бог свидетель, нет такого другого государя не только в Европе — и на целом свете, как ты,— а твое несчастье, что у тебя слуги коварные, изменники, лиходеи... твои бояре... О!.. Они тебе добра не хотят, себе власть взять хотят. Да этого не будет. Велик государь! Я доложу твоему величеству, что умею по звездам узнавать и, что будет наперед, все узнаю, есть у меня такая книга. О! эту книгу надобно двадцать лет читать, да еще других сто книг прочитать, только тогда можно понимать, что в этой книге написано. Я по этой книге все узнаю...

Царь отпустил Бомелия, а через день опять позвал его.

— Я много, много знаю,— сказал Бомелий.— Твой первый тайный враг — протопоп Сильвестр; ты его, государь, далеко... он недобрый человек, он не любит твоей царицы, он называет ее Езавелью. У! Государь! Как это можно! Вся Москва знает про это. Этот протопоп бесовскую силу имеет, он ведун... он тебя, великого государя, опутал. Это

мне книга сказала, и бояре твои, лиходеи, с ним одно. Они тебя хотят вести на крымского хана. Нет, государь, не ходи. Я по звездам смотрел; великое несчастье будет, твоя царица умрет без тебя, как ты в поход пойдешь, и твоих царских благородных детей изведут. Много их таких, что хотят царствовать. А есть один... О, это, это очень опасно!

— Это кто? — спрашивал нетерпеливо царь.

— Я тебе назвать его не могу,— сказал Бомелий.— Я еще сам не знаю, кто он, только вижу, что есть такой, самый опасный враг!

Ум помутился у царя от этих слов. Не решаясь сразу ни на что, царь сказал:

— Смотри, немец, никому-никому не говори об этом.

— Нет, нет, государь; я всегда буду тебе узнавать; как только что ты задумаешь делать, сейчас позови меня, вели посмотреть в книгу и по звездам; я все тебе скажу, может быть, такая планита придет, когда можно идти воевать на крымского хана,— тогда Бог тебя благослови! А теперь Бог тебя сохрани, твоей царицы на свете не будет.

Вслед за тем отец Левкий открыто наступил на государя и явно стал говорить пред царем, что Сильвестр ведун, околдовал царя и мыслит ему зло.

Явился еще монах, Михаил Сукин, и доносил, что Сильвестр называл царицу Анастасию Иезавелью.

С своей стороны новые любимцы, с которыми царь ездил в подмосковные села забавляться, стали уверять его, что Сильвестр ведун; говорили, что он смеется над царем, хвастает, что он держит царя в руках и что захочет, то из него сделает.

Настроенный с разных сторон, а более всего напуганный предсказаниями Бомелия о смерти, долженствующей постигнуть Анастасию от тайных врагов, если он пойдет в поход, царь наконец решился сделать над собой усилие.

Бояре собирались в поход и торопили царя. Выезд его был назначен; до выезда оставалось три дня.

Царь Иван Васильевич созвал бояр и думных людей в свою столовую палату. Глаза его сверкали каким-то болезненным огнем; походка его была неровная. Он сел на свое место и сказал:

— Бояре и думные люди, объявляю вам мою царскую волю! Нам не угодно идти в поход на крымского царя; призовите ханского посла, которого мы задерживаем, и объявите ему отпуск; скажите, что мы хотим постановить с крымским ханом вечный мир и жить с ним в дружбе,

а затем отправим в Бакчисарай нашего посла для договора. Сейчас послать гонцов к Вишневецкому на Дон и к Данилу Адашеву на Днепр с указом, чтоб они воротились и никаких задоров с крымскими людьми не чинили; всем служилым людям, что собраны под Тулою, сказать нашу царскую волю, чтоб они расходились по домам до нашего царского указа.

Князь Курбский хотел вести речь, но только что сказал: великий государь!..— как царь прервал его:

— Бояре и думные люди! Говорите тогда, когда мы вас спрашиваем и вашего совета требуем; ныне же мы, государь самодержавный, вашего совета не спрашиваем, и говорить вам ни о чем непригоже.

Он с гневом, быстро ушел из столовой избы.

Услышал обо всем Сильвестр, узнал, что у царя в приближении Бомелий, что враги Сильвестра подстроили этого иноземца напугать царя звездословными предсказаниями; узнал, что Сукин подал на Сильвестра извет, а Левкий открыто говорит царю, что он ведун; понял Сильвестр, что господство его минулось, и решился проститься с царем навсегда. Он послал к царю просить допустить его, но получил ответ, что царь его видеть не хочет.

Тогда Сильвестр отправился к митрополиту Макарию и сказал:

— Преосвященный отче Макарий! Богу угодно было позвать к себе мою жену; того ради, яко вдовым попам не подобает священнодействовать, я пожелал удалиться от мира, благослови принять иноческий образ.

Макарий знал Сильвестра издавна, еще с Новгорода, и сам, сделавшись митрополитом из новгородского архиепископа, пригласил его в Москву. Возвышение Сильвестра не совсем было по сердцу Макарию: «Смотри-ка,— говорил он своим приближенным,— каков! Как подъехал к царю! Поп, а сильнее нас, митрополита и всего освященного собора,— что скажет, так царь и делает».

Не любил Макарий Сильвестра, но только хмурился, досадовал на него, а зла ему не делал; Макарий был самолюбив, но не злобен,— Сильвестр со своей стороны всегда относился к Макарию чрезвычайно почтительно, хотя случалось, что говорил царю противное тому, чего хотел Макарий. Макарию было очень приятно, что Сильвестр наконец уходит. Макарий благословил его, напутствовал самым дружелюбным образом; Сильвестр попрощался с сыном и уехал в один из белозерских монастырей.

Когда Данило Адашев по царскому приказанию воротился в Москву, Сильвестра уже там не было. Бояре повесили головы, не смели заикнуться о крымской войне, а некоторые из тех, которые недавно еще доказывали ее несообразность, восхваляли мудрость царя, лучше всех понимающего, что следует делать.

Данило явился с донесением к царю. Иван Васильевич принял его сурово. Его рассказ о задержании Кудеяра турками не произвел на царя никакого потрясения; царь по этому поводу не сделал никакого замечания.

Вишневецкий, получивши приказание прекратить военные действия, воротился в свой Белев и отправил к Сигизмунду-Августу письмо, просил прощения за выезд, изъявлял готовность служить своему природному государю и во всем повиноваться его воле. Жигимонт-Август прислал ему ласковый ответ и пригласил воротиться. Вишневецкий собрал своих казаков.

— Плюнемте, братцы,— сказал он,— на эту глупую Москву и пойдемте в свою Украйну. Нет на свете земли лучше нашей вольной Украйны. Пришел я сюда с вами ради того, чтоб подвинуть московского царя с его ратью на бусурмана; не удается нам это, так нечего нам тут делать. Царских милостей и поместьев нам не нужно, есть у нас земли и всякого добра довольно.

— Правда, батько,— сказали казаки,— черт с нею, с этою Москвою; и детям и внукам закажем ходить сюда, разве когда войною пойдем на москвитина.

И собрались они и уехали все из Белева. Донес царю белевский воевода. Царь сказал:

— Пришел как пес и ушел как пес. Туда ему и дорога!

Царица Анастасия и ее братья добились наконец своего. Царь не пошел в поход, ненаглядный Иванушка остался неразлучно со своею агницею, как он называл жену в минуты нежности. Ненавистного Сильвестра уже не было. Но здоровье Анастасии не поправлялось, а становилось все хуже. Она ездила вместе с царем к Сергию, к Пафнутию и в другие святые места; и никто уже без Сильвестра не посмел представлять царю, что ему следует вникать в дела, а не ездить по монастырям. Но молитвы, как видно, не помогали здоровью царицы. Она обильно раздавала милостыню; каждый праздник ее боярыни обделяли толпу попрошаек; со всей Российской державы приходили к ней старцы за милостынею; дружелюбно допускала она их к себе и толковала о душеспасительном деле,— и все хвалили ее

милосердие, говорили, что она истинная мать страдающих, и только бедного Кудеяра некому было искупить из неволи.

Не помогла царице и милостыня, не помогло ей и то, что во всех церквах и монастырях молился духовный чин об ее здравии. Царица скончалась.

Царь разрывался от горя, но чрез две недели предался разгулу и разврату ради утешения; в его голове засела твердо уверенность, что Анастасия была жертвою порчи и отравы по наущению Сильвестра. Бомелий, чтобы выгородить себя, старался поддерживать в нем ту уверенность, представлял царю, что чары, которыми давно уже испортили царицу, были так сильны и так успели подорвать ее здоровье, что его ингоги и безуи ничего уже не могли тут поделать, и выводил из этого, что если воротить мертвую из гроба невозможно, то царь должен, по крайней мере, беречь себя и своих детей от лютых врагов, окружающих его престол. Бомелий принял православие, ходил в церковь, бил поклоны и наружно держал посты, позволяя себе подсмеиваться над ними в беседе с иноземцами на языке, которого русские не понимали.

КНИГА ВТОРАЯ

I. НЕВОЛЯ

На берегу залива Черного моря построен многолюдный, обширный город; остроконечные минареты, купола и зеленые вершины тополей выбегают в воздушную синеву из кучи черепичных крыш; дома, построенные в один, а много в два яруса, расположены узкими неправильными улицами. Окна расположены большею частью во двор... На западной стороне города, по скалистой горе, тянется толстая, темно-серая стена, заворачиваясь на северо-западе к морю и оканчиваясь у самого берега огромною башнею со въездными воротами; на южной стороне, на холме, черные, угрюмые стены турецкой крепости с четырьмя башнями, а под холмом, над морем, другое укрепление, где находится двор турецкого начальника. Это город Кафа, город, знаменитый с давних времен, некогда генуэзская колония, средоточие торговой деятельности на Черном море, а теперь центр турецкой власти над Крымом и всем черноморским берегом, местопребывание беглербега, или губернатора: он над-

зирает над крымским ханом и начальствует над турецким войском, состоящим из тимарли (служилых помещиков, вроде русских детей боярских), сипаев (состоящих на жалованьи конников) и эджидов (нечто вроде наших казаков). Древняя слава торгового и промышленного города не затмилась для Кафы с поступлением ее под турецкое владычество; в это время она посвящена была особенно одному промыслу, и вряд ли в Европе был другой город, где бы так процветал этот промысел. То была торговля невольниками; с именем Кафы повсюду соединялось представление о живом товаре; приезжего в Кафу с первого же разу поражал звук кандалов и цепей и зрелище бесчисленного множества невольников, переходивших за деньги из рук в руки. Разные страны, племена, физиономии, нравы и языки имели в Кафе своих представителей: черкесы, грузины, калмыки, молдаване, персиане, поляки, греки, немцы, венгры, чухны — люди обоего пола и всякого возраста; но более всего продавалось здесь нашего, русского, многотерпевшего народа, со всякого края, всех наречий и званий: татарам было всего подручнее ловить русских людей, и русский человеческий товар ценился выше другого; русских невольников с особенною охотою покупали на галеры, не только в мусульманских, но и в христианских странах. В приморских пристанях Италии, Франции, Испании можно было видеть толпы их, скованных и сидящих на веслах на галерах; почти все они переходили через кафинский рынок, и у редкого кафинского зажиточного купца не было этого товара, скупленного у татар и хранимого для перепродажи с барышом. Не должно, однако, думать, чтобы тогдашняя Кафа была исключительно магометанский город; половина жителей состояла из христиан разных исповеданий: греческого, армянского, римского; свидетельством их благочестия служило обилие церквей, которым не мешало процветать в свое время веротерпимое правление Солеймана; но благочестие не препятствовало, с своей стороны, христианам держать в кандалах и продавать мусульманам своих братий по крещению.

Невольники были двух родов. Одни — достояние частной торговли: татары после каждого набега приводили наловленных русских людей в Кафу и продавали купцам обыкновенно на рынке, где почти каждый день, с раннего утра до вечера, воздух оглашался стонами, воплями, жалобами и проклятиями на разных языках, преимущественно на русском. Покупщики были туземные, но были также и приез-

жие, посещавшие Кафу по торговым делам. Другие невольники были государственные, или, как мы говорим, казенные; они приобретались также покупкою, но в числе их были и военнопленные. Бóльшая часть их осуждалась на галеры, а меньшая содержалась в крепости для крепостных и городских работ. Для этого рода невольников отводилось помещение в нижних отделениях стен и башен со сводами и маленькими окнами наверху.

В восточной башне было такое отделение с железною дверью, постоянно запертою. Невольники находились там в тесноте, прикованные к одной длинной цепи, которой конец прицеплялся к кольцу, вбитому в каменный столб, и замыкался огромным замком. У каждого на ногах были кандалы, также с замком. Цепь, соединявшая невольников, оставляла им свободу двигаться, работать и ложиться, но не дозволяла никому отделиться от товарищей и покуситься на побег. Они проводили ночь на голой земле. Утром тюремные стражи выводили их работать под наблюдением надзирателей из тимарли; на ночь опять приводили в тюрьму. Кандалы врезывались в ноги невольникам, а на их спинах часто виднелись багровые следы таволожек, которыми секли их надзиратели за недостаток трудолюбия. Их кормили хлебом да луком; иногда давали дурное мясо и вонючую рыбу; вообще, здоровьем их не очень дорожили в Кафе, потому что там недостатка в них не было. В крепости невольники беспрестанно переменялись; одни, не вынося тягости труда и дурного содержания, умирали; других переводили на галеры, где смертность была постоянно в громадном размере: кто вынес бы лет восемь галерной жизни того времени, тот считался необычайно крепким.

В тюрьме, где жила толпа крепостных невольников, было отделение с запертою железною дверью и с маленьким отверстием, выходившим в общую тюрьму. Этот застенок имел до трех сажен длины и до сажени ширины. Там заключен был Кудеяр, окованный и по рукам и по ногам. Он признан был военным лазутчиком; притом же, будучи в плену, дерзнул сопротивляться и совершил убийство, — за это ему отвели такое помещение.

Идут дни за днями, месяцы за месяцами. Кудеяр сидит, а больше лежит в своем застенке; кандалы разъели ему руки и ноги, протлелая одежда вся наполнилась насекомыми; нестерпимая вонь душит его. Ему приносят в сутки по ломтю хлеба и по ковшу воды, а иногда забывают принес-

ти — и Кудеяр сидит без пищи дня по два. Кудеяр молит у Бога смерти, а смерть не приходит.

Иногда невольники заводят с ним разговор. Между ними бывают русские. Вспоминают они далекую родину, кто родителей, а кто жену и детей, и горько заплачет, бедный, а потом затянет русскую песню; но другие, скованные с ними, сердятся, бранятся на непонятном языке за то, что певцы не дают им спать. Кудеяр слушает, вспоминает свое былое, вспомнит он Настю; и сердце его обольется кровью, и просит он у Бога смерти, а смерти не дает ему Бог.

Думает Кудеяр: «Почему не выкупит меня царь? Он был так ко мне милостив. Царь не знает, где я, а то он бы меня вызволил. Послать челобитную — но кому сказать? Кого попросить?» Пытался Кудеяр заговорить об этом со сторожем, но сторож не отвечал ему ни слова. Никакое начальствующее лицо не приходило в тюрьму с тех пор, как его бросили в нее.

Минул год. Кудеяр потерял счет месяцам. Минуло еще полгода,— Кудеяр почти теряет ум, память, забывает, где он, что с ним, думать не может, тосковать даже не способен. Кудеяр не человек более; Кудеяр словно дерево хилое, дряблое...

Прошло таким образом более двух лет. Уже в общей тюрьме переменялись много раз невольники; Кудеяр не раз слышал последние стоны умиравших, слышал, как сторожа отцепляли труп от живых людей и зарывали в той же темнице... Завидовал Кудеяр счастливцу. Переменялись лица, а звуки цепей и стоны были все те же.

Вдруг в одно утро, когда все из общей тюрьмы были выведены на работу, отпирается дверь, входят несколько человек; отворенная дверь пропустила в общую тюрьму полосу света, и Кудеяр через отверстие своего застенка увидел господина в зеленой чалме, в золотом кафтане, из-под открытой полы которого выглядывали голубые шелковые штаны и вышитые сафьянные сапоги. На левом боку его была сабля с рукоятью, украшенною драгоценными камнями. За ним держали бунчук с тремя конскими хвостами.

— Отоприте,— сказал господин по-турецки, указавши на дверь, ведущую в застенок, где томился Кудеяр.

Дверь отомкнули и отворили.

— Выходи,— сказал господин Кудеяру.

Но Кудеяр не в силах был идти; ноги его страшно опухли.

— Ах, бедный, бедный,— сказал господин,— как его измучили. Ему черви ноги съели.

В самом деле, черви кишели в ранах, покрывавших ноги Кудеяра.

Сторожа, поддерживая Кудеяра, вывели его из застенка. Он стонал от боли, силясь ступить на ноги.

— Я новый беглербег,— сказал господин,— ты более здесь не останешься, прикажу тебя обмыть, лечить; поправится твое здоровье, будешь жить у меня; я тебе найду легкую работу.

Кудеяра вывели на воздух. Солнечный свет ослепил его. Он долго не мог открыть глаз. На лице, от непривычки к воздуху, выступила кровь.

По приказанию нового паши Кудеяра перевезли из верхней крепости в нижнюю, на губернаторский двор. Две невольницы обмыли его, надели чистое белье. Губернаторский врач дал ему мазь, от которой стали заживать его раны. Его более не заковывали и, вместо прежнего черствого хлеба, кормили бараниной с рисом.

Откуда такая милость, какой добрый ангел сжалился над Кудеяром? Все это значило не более, что в Кафу приехал на смену прежнему новый губернатор. В Турции беглербеги и подведомственные им санджакчеи (начальники уездов) сменялись часто; посредством подкупов и поклонов они добывали себе места и старались поскорее обогатиться всеми беззаконными средствами, обдирали подчиненных, обкрадывали казну и за то скоро слетали со своих мест, уступая их другим искателям. Эти последние, принимая должность, старались действовать наперекор один другому. И на этот раз случилось так в Кафе. Прежний губернатор был человек крутой, надменный, суровый и притом заклятый бусурманин; преемник его был своего рода философ, защитник веротерпимости; он вообще казался благосклонен к христианам, тем более что сам по предкам был грек и между христианами даже знал себе родственников. Притом же этот господин был склонен к винопитию, а как оно запрещается мусульманским законом и дозволяется христианским, то поэтому у нового господина было сочувствие к христианам. Вдобавок, он был личный враг уволенного. Вот почему он по вступлении своем в должность облегчил судьбу христианского пленника, которого так бесчеловечно мучил его предшественник. И не только Кудеяру, всем вообще невольникам стало полегче: они хотя продолжали ночевать в темнице, скованные цепью, но им давали луч-

шую пищу, водили в баню и снабжали переменным бельем хотя изредка.

Оправившись от недуга, Кудеяр рассказал новому губернатору свою судьбу; и губернатор, по-видимому, поверил невинности Кудеяра тем охотнее, что санджакчей, арестовавший Кудеяра как лазутчика в Ислам-Кермене, был родственник кафинского губернатора.

— Я бы,— сказал губернатор Кудеяру,— отпустил тебя, но не смею этого сделать, не доложивши визирю, а доложить боюсь, чтобы, вместо свободы, тебе не было худшей неволи, чтоб тебя не велели прислать в Стамбул да не отправили куда-нибудь на галеры. А ты напиши челобитную своему государю. Пусть твой государь попросит тебя у нашего. Быть может, наши потребуют за тебя денег, потому что наши без денег никого не отпускают!

Затем начали искать такого русского, который, будучи грамотен, мог бы написать челобитную, но такого человека не нашли; тогда со слов Кудеяра, не умевшего ни читать, ни писать, сочинена была челобитная по-турецки секретарем беглербега; вместе с тем Кудеяр продиктовал письма к двум Адашевым, к Курбскому и Сильвестру. Бедный пленник не знал, что в Москве все изменилось, и обращение к таким лицам могло только послужить ко вреду. Письма были отправлены в Бакчисарай, к русскому послу, с просьбой перевести их на русский язык и отправить по назначению.

Живет Кудеяр на губернаторском дворе не закованный, спит с прислугою, исправляет разные работы. Губернатор им доволен. Проходит таким образом год. Из Москвы нет ответа. «Что же,— думает Кудеяр,— не близко! Пока-то в Бакчисарай переведут мои письма, пока-то они дойдут до Москвы, а из Москвы пошлется обо мне грамота в Турцию. Пока-то из Турции придет грамота в Москву — времени много нужно». Проходит еще три месяца, проходит полгода. Кудеяр грустит. «Уж не убежать ли! — думает он.— Хорошо, как удастся! А как поймают? Тогда уж я пропал!» Ужасный застенок слишком врезался ему в память. Тут он узнал, что есть в Кафе какой-то невольник, бывший русский подьячий. Кудеяр просит губернатора: нельзя ли позвать этого подьячего, чтоб он написал новую челобитную на имя царя. Губернатор дозволил; подьячий настрочил челобитную да еще слезное письмо к Афанасию Нагому, русскому послу в Бакчисарае. Эти бумаги отправили в Бакчисарай.

Прошел еще год после второго челобитья. Ответа не было. Мысль о побеге неотвязно стала тесниться в голову Кудеяра. Он решился наконец исполнить свое намерение, как только представится удобный случай. К этому его располагало и то, что губернатор, вероятно, понявши, что в Москве не дорожат этим невольником и не думают освобождать его, переменил свое обращение с Кудеяром, держал его наравне с другими рабами; и однажды, находясь в злобном расположении духа, дал Кудеяру собственноручно несколько ударов ни за что ни про что. Губернатору показалось, что Кудеяр в его присутствии держит себя слишком смело и без боязни.

Вдруг, когда Кудеяр, по обыкновению, исполнял на дворе какую-то работу, двое сипаев подозвали его и наложили кандалы с цепью.

Кудеяр не мог выговорить ни слова от изумления. Три года он ходил без цепей. Что же он сделал теперь? Или губернатор колдун — может узнавать, что у человека шевелится в мозгу? Или он в самом деле смекнул, что Кудеяр поддается мысли о побеге?

Сипаи, заковавши Кудеяра, приказали ему продолжать свое дело. Губернатора не было дома. Кудеяр продолжает работать и видит: губернатор выезжает на двор с другим каким-то господином, богато одетым. Вслед за тем в доме пошла суетня, беготня...

Кудеяр спросил,— что это значит?

— Новый паша приехал,— отвечали ему.— Старый немедленно собирается в Стамбул.

«Так вот что,— думает Кудеяр,— он велел меня заковать, чтобы сдать новому... значит, меня опять поведут в верхнюю крепость. Ах, я дурак, дурак! зачем я не убежал? Ну, пусть только оставят здесь ночевать! Я уйду, цепи эти порвать не штука».

В доме суетятся, укладываются в дорогу. Ходит Кудеяр как шальной, побрякивает цепью; звали его обедать; ему еда на ум не идет. Вечером, на закате солнца, четверо сипаев взяли его за цепь и повели со двора.

Привели Кудеяра в верхнюю крепость, прямо в ту тюрьму, откуда три года тому назад его вывел губернатор, но уже его не посадили в застенок, а сковали с толпою невольников в общей тюрьме. Только в уважение к его силе на ноги наложили ему те кандалы, которые были на нем в застенке и с которыми всякий другой не мог бы двигаться с места.

Товарищи все новые... Кудеяр произнес горькое восклицание, и вдруг ему откликнулось несколько голосов: оказалось, тут были его земляки, украинские казаки, даже знакомые. Кудеяр узнал от них много нового и печального. Он узнал, что Вишневецкий, покинувши Московское государство, воротился в свою Украйну и с казаками пошел в Молдавию; молдаване сами позвали его на господарство, а потом изменили и подвели турок. Вишневецкий с казаками был взят в плен и отвезен в Царьград. Турский царь приказал привести его перед себя, а Вишневецкий, стоя перед турским царем, обругал Мугаммеда; за это турский царь велел повесить его за ребро на крюк, и висел Вишневецкий, батько казацкий, три дня на крюке, пел псалмы, ругал мусульманскую веру, восхвалял Христа и окончил живот свой святым мучеником. Бывшие с ним атаманы и казаки разосланы в неволю. Жаль было Кудеяру батька Вишневецкого, а пуще всего жаль ему было, что батько умер, не простивши его. «Может быть,— подумал тогда Кудеяр,— оттого и беда меня постигла, что проклятие батька легло на меня»,— и в первый раз пожалел Кудеяр, что убил ребенка своей Насти.

Утром погнали невольников на работу, вечером опять загнали в тюрьму. Так прошло около месяца. Один раз, когда невольники работали на стенах крепости, подошел к ним армянин, торговец невольниками, большой знаток достоинств человеческого тела, как мужского, так и женского. При его многолетней опытности он сразу узнавал и определял, куда и насколько годился всякий живой товар. От его зоркого ока не скрылась телесная сила Кудеяра. Купец рассчитал, что если приобресть такой образчик силы, то, наткнувшись на охотника, его можно продать с большим барышом. Купец стал торговать Кудеяра у беглербега. Собственно беглербег не имел права продавать казенных невольников, но этот беглербег был падок на деньги и притом не боялся, чтобы злоупотребление открылось,— он согласился.

Вечером, по окончании работ, когда невольников уводили в тюрьму, Кудеяра отцепили от прочих, перековали в кандалы, принадлежащие купцу, и купец повел его в свой двор в сопровождении сипаев. Двор этого купца был окружен внутри с трех сторон каменными амбарами с небольшими окнами наверху; эти амбары назначались для помещения невольников, которые беспрестанно то прибывали, то убывали, редко проживая в этом помещении более недели.

Невольники приковывались к стенам, но довольно просторно, так, что могли удобно спать на грязных кожаных тюфяках. На пищу купец не скупился; как благоразумный и рассчетливый торговец, он понимал, что не следует давать товару захудать, потому что тогда придется спустить цену. Купец почти ежедневно ходил на рынок скупать невольников из первых рук, но сам не выводил их туда на продажу: его знали не только в Кафе, но и во всем Крыму; даже в далеких землях он не был безызвестен. У него товар был отличный; оттого и цена была высокая. Мужчины, женщины и дети — все помещались у него вместе; в невольничьем быту приличий не соблюдается.

Беспрестанно приходили в амбар посетители; купец умел завлечь покупателя красноречивым описанием достоинств своего товара, выставлял свою опытность и честность и сбывал товар удачно. Ему помогало то, что он объяснялся на разных языках. Но Кудеяру пришлось посидеть несколько недель. Хозяин ломил за него такую цену, что не находилось охотников купить его. Наконец явился к нему один из богатейших крымских мурз и стал спрашивать, нет ли какого-нибудь силача? Надобно знать, что у крымских вельмож было в обычае щеголять силачами при своих дворах и держать их для борьбы, которая составляла одно из тогдашних развлечений. Купец показал ему Кудеяра, расхвалил до небес его телесные достоинства и присовокупил, что он очень кроток, тих и послушен.

— Знает он по-татарски? — спросил мурза.

— Знает, знает,— сказал купец.

— Немного,— сказал Кудеяр.

Купец бросил на Кудеяра свирепый взгляд, но покупатель сказал:

— Это еще лучше, лишь бы знал настолько, что мог делать то, что ему прикажут. Я нарочно подбираю себе невольников из разного народа, чтобы не очень беседовали между собою.

Кудеяру пришла мысль представиться почти ничего не понимающим по-татарски. «Меня,— думал он,— стеречь не станут, рассудят, что я не посмею убежать, не зная языка; а если убегу, то сейчас поймают — оттого что видно будет беглого невольника-чужеземца».

Мурза отсчитал купцу горсть золотых монет. Кудеяра отцепили, заковали особо и сдали с рук на руки новому господину.

Мурза в тот же день отправился из Кафы в свое имение

на собственных лошадях, в большой арбе, в которой было удобно лежать троим. Кроме невольника-кучера, у него был еще невольник персиянин и наш Кудеяр, сидевший рядом с кучером в оковах.

Когда арбе приходилось спускаться с горы, Кудеяр слез, побрякивая своими цепями; хозяин быстро приподнялся; ему мелькнула мысль: не думает ли невольник убежать? Но Кудеяр схватил за колесо арбу и закричал кучеру: «Гайда», а сам сдерживал тяжелую арбу одною рукою, под гору.

Хозяин вытаращил глаза от изумления: «Понимаю,— сказал он сам себе,— отчего купец дорого взял за него». Но тут же хозяин подумал: «А что, если он при такой силе разорвет свои цепи да убежит? Не заковать ли его покрепче, приехавши домой; но тогда что? Он исхудает, потеряет силу... на что он будет годен? Нет, лучше я буду с ним ласков; он полюбит меня, я ему пообещаю свободу за верную службу. Эдак будет лучше».

Мурза стал объяснять Кудеяру, с расстановкой, добавляя свою речь знаками для большей вразумительности, что он через несколько лет отпустит его за верность, а если невольник вздумает бежать, то ему будет смерть: для выражения последней угрозы мурза с суровым взглядом провел Кудеяру пальцем по шее.

Кудеяр поклонился в землю и объяснил знаками, что понимает, но прикинулся, что не может сказать правильно ни одного слова по-татарски.

— А приедем домой, я тебя раскую,— сказал хозяин.

На ночь приехал мурза в поместье своего друга, такого же мурзы, и первым делом было похвастать покупкою. Кудеяра заставили поднять большой камень и бросить вдаль, а потом разломать подкову надвое. Хозяин был в восхищении.

На другой день оба мурзы выехали из поместья, где ночевали. В одну арбу они сели сами, а править лошадьми велели Кудеяру. В другую арбу услали своих невольников.

— Он ничего не понимает,— сказал хозяин Кудеяра,— при нем можно говорить.

Кудеяр догадался, что у мурз есть какие-то секреты, которые они боялись открывать при людях, знающих татарский язык. Кудеяр тронул лошадей, они пошли живее.

— Каков молодец! — сказал хозяин Кудеяра.— Я его сделаю кучером, и у хана не будет такого кучера.

Затем мурзы стали говорить о своих делах. Кудеяр прислушался к их разговору и понял, что у них есть

замысел против хана. «Э! — подумал Кудеяр.— Вот оно что!» — и старался показать совершенное невнимание к их беседе, а между тем не проронил ни одного слова.

Верст через десять путешественники встретили едущую им навстречу арбу. Из нее высунулся третий мурза,— они к этому мурзе ехали в гости, а мурза, не дожидаясь гостей, ехал к хозяину того поместья, откуда путники выехали. Мурзы остановились, выскочили из арб; начались восклицания: «Акмамбет! Алай-Казы! Алтын-Ягазы!» — затараторили мурзы, смеялись, шутили, целовались; каждый тянул гостей к себе; наконец, порешивши не ехать никуда, остановиться близ леска, неподалеку от деревни, где можно было купить барана и устроить себе прохладу. У татар было в обычае выехать в поле, разбить шатер и там поблагодушествовать несколько времени. Часто мурзы-приятели условливались между собою заранее, съезжались вместе и веселились в шатрах.

Наши мурзы приказали распрячь лошадей и разбить три шатра. Одни слуги отправились в деревню доставать барана, другие пошли рубить дрова, а Кудеяр знаками и отрывистыми словами просил дозволить ему устроить шатры. Несмотря на свои ножные кандалы, он быстро достал из арбы свернутый холст, палки и быстро поставил три шатра, из которых один был обширнее прочих. Мурзы хвалили его и смеялись над его коверканным татарским выговором.

Пригнали барана, зарезали, разложили огонь, стали жарить шашлык. В большом шатре, принадлежавшем хозяину Кудеяра, Акмамбету, уселись мурзы, поджавши ноги, ели руками шашлык, пили кумыс, а потом принялись и за водку, которую достал из своей арбы мурза Алай-Казы, приставший к своим друзьям последним. Акмамбет отпускал вольнодумные выходки насчет запрещения вина Магаммедом; Алтын-Ягазы доказывал, что они в дороге, а дорожным грех прощается по Корану; Алай-Казы приводил толкование мусульманского мудреца Бурхан-эддина, что все перегнанное через куб не есть вино и не подлежит запрещению. Слуги были удалены. Собеседникам прислуживал один только Кудеяр. Мурзы мешали дело с бездельем, и тут Кудеяр узнал положительно, что у них есть замысел убить Девлет-Гирея и возвести на престол брата его, Тохтамыш-Гирея, находившегося тогда в Московском государстве. Алай-Казы прочитал друзьям письмо Тохтамыша, в котором обещались мурзам золотые горы, если они изведут брата его, Девлет-Гирея. Кудеяр видел, как Алай-

Казы положил это письмо в свой красный шелковый халат с золотыми полосами.

Когда мурзы значительно подпили, то начали петь, дурачиться; потом приказали Кудеяру петь по-русски и плясать. Кудеяр, зная, что татары в минуты веселия любят, чтобы все вокруг них веселилось, вертелся перед ними, побрякивая кандалами, припевая малорусскую «горлицу».

Веселье совсем не шло его суровой физиономии, и тем забавнее казался он подвыпившим мурзам. Алай-Казы до того пришелся по вкусу русский невольник, что он стал просить Акмамбета продать ему Кудеяра. Акмамбет ни за что не соглашался. Алай-Казы стал сердиться, упрекал приятеля в недостатке дружбы, потом началась между ними перебранка, и чуть дело не дошло до драки. Алай-Казы вынул саблю, Акмамбет сделал то же, но Алтын-Ягазы стал между ними и своим красноречием старался примирить ссорившихся друзей. Ему удалось успокоить их, главным образом, тем доводом, что никак не следует ссориться в такое время, когда следует всем соединиться для общего дела. Мурзы помирились, поцеловались, и Акмамбет, в припадке умиления, оказал столько великодушия, что уступал приятелю русского невольника даром, но Алай-Казы, с своей стороны, не хотел брать его и изъявлял готовность подарить другу свою дорогую саблю. Алтын-Ягазы, которого товарищи пригласили на третейский суд, нес такой вздор, что ни Акмамбет, ни Алай-Казы не могли уразуметь его решения. Акмамбет говорил: «Твой, твой невольник!», а Алай-Казы кричал: «Нет, твой, твой!» — и Кудеяр, глядя на них, не знал, кому он теперь принадлежит.

Мурзы принялись опять пить и напились до того, что уже не могли ворочать языком. Слуги постлали постели в шатрах, каждый своему мурзе. Акмамбет отсылал от себя Кудеяра к Алай-Казы и говорил: «Там теперь твой господин, ты уже не мой!» Кудеяр вошел в шатер Алай-Казы; тот уже лежал раздетый и пробормотал, увидя Кудеяра: «Вон, ступай к своему господину, ты уж не мой!» Тут, благодаря проникавшей в шатер полосе света от полной луны, Кудеяр увидел халат с золотыми полосами, лежавший за подушкою Алай-Казы в углу шатра, и сообразил, что стоит только приподнять снизу полу шатра — и легко будет овладеть халатом. Невольники расположились около арб. Кудеяр пошел к лошадям, которые паслись невдалеке, спутанные. На счастье, ему попался под ноги камень. Он без труда разбил свои кандалы и освободил ноги; тогда он

подошел к шатру Алай-Казы, приподнял полу шатра, вытянул халат, побежал к лошадям и, за исключением одной, перебил их ударом камня в лоб, а оставшуюся в живых распутал, сел на нее и во весь дух поскакал.

До света он отъехал верст тридцать. Лошадь его не выдержала и упала. Кудеяр, сняв с лошади уздечку, пошел пешком на юго-запад, где, по его соображению, должен был находиться Бакчисарай. Вскоре он увидел в стороне пасущийся табун лошадей. Свернувши с дороги, Кудеяр подозвал табунщика.

— Чей это табун? — спросил Кудеяр.

— Мурзы Алай-Казы,— отвечал табунщик.

«Вот куда меня Бог принес»,— подумал Кудеяр и сказал табунщику:

— Вот этого жеребца я возьму себе, хозяин приказал.

— Не дам,— сказал табунщик.

— Как не дашь, дурак,— сказал Кудеяр,— видишь халат твоего господина?

— Я не знаю,— сказал табунщик.

Кудеяр, не отвечая ему, подошел к жеребцу, надел на него уздечку, распутал ему ноги. Жеребец захрапел, поднялся на дыбы, но Кудеяр изо всей силы схватил его за гриву и прыгнул на него. Жеребец вмиг присмирел. Кудеяр вскочил на жеребца и, обратившись к табунщику, сказал:

— У вас там в курене седло, нельзя, чтоб не было седла; давай седло, зови своих товарищей.

Кудеяр поехал на жеребце к куреню; табунщик шел сзади и звал товарищей. Двое табунщиков бежали к куреню. Кудеяр соскочил с жеребца и закричал:

— Эй, вы, давайте седло, скорее оседлайте жеребца!

— Кто ты таков? — спрашивали табунщики.

Но один из них, приглядевшись, сказал:

— Это халат нашего господина, я его знаю!

— Да,— сказал Кудеяр,— Алай-Казы велел взять этого жеребца и приказал ехать на нем в Бакчисарай. Он с Акмамбетом и Алтын-Ягазы остался в шатрах на поле, а чтоб вы видели, что он послал меня сам, вот он и дал мне свой халат.

Табунщики поверили и помогли оседлать жеребца. Кудеяр сел на него и сказал:

— Алай-Казы велел кому-нибудь из вас проводить меня до Бакчисарая. Я везу важную бумагу,— скорее!

Один из табунщиков наскоро оседлал коня и сел на него.

— Прощайте,— сказал Кудеяр табунщикам,— когда

вернется Алай-Казы, то скажите ему, что приезжал человек в его халате и уехал в Бакчисарай. Он сам скоро туда приедет.

До Бакчисарая было верст семьдесят. Кудеяр, благодаря проводнику, не путался в дороге, остановился часа на два покормить лошадей, потом снова поскакал и еще до солнечного заката въехал в узкую улицу Бакчисарая. В городских воротах караульные пропустили его, когда он назвался посланцем Алай-Казы.

У ворот дворца стояли на карауле ханские телохранители.

Кудеяр закричал:

— Тотчас доложите светлейшему великому хану, что приехал человек объявить его величеству важнейшее дело.

— Светлейший хан,— отвечали ему,— изволил уехать на свою потеху, на Альму... А если тебе есть какое дело, ступай к великому ханскому визирю.

— У меня такое дело,— сказал Кудеяр,— что я могу объявить его одному только великому хану.

Караульные сказали, что доложат Атталыку, которого хан оставил заведовать дворцом.

Атталык, молочный брат хана, сын ханской кормилицы, любимец Девлет-Гирея, услышавши, что кто-то требует свидания с ханом, велел прежде обыскать его: нет ли с ним оружия, а потом ввести на двор.

— Обыскивайте,— сказал Кудеяр,— но этого письма я не покажу вам; я отдам его самому хану и никому больше, и вы не смеете взять его у меня.

Телохранители, обыскав Кудеяра, увидели на нем крест и сообщили Атталыку, что приехавший какой-то гяур.

Кудеяра ввели во двор. Атталык вышел из дворца и с недоверием оглядывал Кудеяра с ног до головы.

— Кто ты? Зачем? На что тебе нужно увидеть светлейшего хана? — спрашивал Атталык.

— Кто я таков и зачем приехал — не скажу ни тебе, ни визирю, а скажу одному хану. Идет дело о здравии вашего великого повелителя. Если ты меня тотчас не отправишь к хану, то будешь изменник. Тотчас дай мне свежую лошадь и провожатого довести меня до того места, где находится теперь ваш государь. Коли не веришь, боишься меня безоружного, вели заковать меня, это все равно,— мне нужно видеть хана, и я тебе еще раз говорю: если ты меня не допустишь тотчас до хана, тебе худо будет.

Атталык велел дать Кудеяру свежую лошадь и нарядил

десять человек провожатых, а провожавшего его до Бакчисарая табунщика задержал в ханской столице по требованию Кудеяра.

Кудеяру пришлось проехать верст пятьдесят, утром рано он был уже в ставке хана.

На берегу Альмы раскинуто множество шатров, один другого пестрее, один другого выше, а всех выше, обширнее, наряднее шатер Девлет-Гирея,— он весь из шелковой ткани, на нем ханское знамя с изображением луны.

За шатрами вельмож улицами расположены холщовые шатры разных купцов, продающих товары, преимущественно съестное. Куда хан поедет со своим двором, туда за ним едут купцы, появляется город, торговый, шумный; потом, с переходом хана, исчезает и появляется в другом месте, и так на Крымском полуострове появляются и исчезают шатерные города, пока наконец хан не изволит воротиться в Бакчисарай или не пойдет со своими ордами либо на москвитинов, либо на ляхов.

Накануне этого дня хан тешился охотою; вечером после охоты пировал с вельможами, а ночь проводил с одною из своих жен.

Еще хан покоится сном, а Кудеяр настойчиво требует, чтобы его допустили к хану. Капуджи-баши, хранитель дверей ханского шатра, говорит ему «Нельзя будить хана»,— а Кудеяр стоит на своем:

— Если не разбудите, хан разгневается, дело очень важное!

Капуджи-баши сообщил об этом евнуху; евнух пожимал плечами, разводил руками и вопросительно смотрел на Кудеяра, а Кудеяр говорил:

— Тотчас разбудите хана, дело важное!

Ханский шатер разделялся на три покоя. Первый покой — обширная столовая, где хан пирует; второй — диванная, где хан толкует о делах с мурзами; третий — спальня.

Евнух вошел в спальню, разбудил хана и увел красавицу задним ходом в гаремный шатер, находившийся рядом с ханским. Хан омылся розовой водой, обулся в шитые жемчугом сапоги, надел халат, перепоясался саблею, накрыл голову бараньей шапкой с брильянтовым пером, расчесал клочковатую, окрашенную бороду, прочитал наскоро намаз и вошел в столовую.

— Приведите его сюда,— сказал хан.

костью. Придворные, из угождения к хану, должны были оказывать ему почести и внимание; но у многих начала гнездиться зависть и досада: одни опасались, как бы этот гяур не вздумал принять мусульманство и не сделался всемогущим любимцем при дворе; другие, в своем мусульманском фанатизме, оскорблялись тем, что неверный пользуется почетом наравне с правоверными.

Предусмотрительный Девлет-Гирей, еще не уезжая из Альмы в Бакчисарай, догадался, что враги его, почуявши об открытии их замыслов, поспешат убраться в Московское государство. Хан отправил своего селердарь-агу с двумя отрядами молодцов своей гвардии, называемых игитами, к Перекопу: одному отряду велел стать на перешейке, никого не пускать из Крыма без расспроса, поймать виновных мурз, если они явятся, и отправить их в Бакчисарай; другому отряду велено ехать к Арабатской стрелке, чтоб и чрез нее не могли ускользнуть преступники. Девлет-Гирей не ошибся.

Утром, после той ночи, когда убежал Кудеяр, раньше всех проснулся невольник персиянин, увидал побитых лошадей, пришел в ужас, ожидал от разъяренного господина всяких истязаний и, не сказавши никому о виденном, дал тягу в страхе, не размышляя, удастся ли ему скрыться. Проснулся за ним другой невольник, грузин, и, заметивши, что двоих товарищей нет, полагал, что они убежали вместе, и пустился бежать сам, рассчитывая, что если ему удастся их догнать, то они, поневоле, возьмут его к себе в товарищи, а если не удастся, то он скажет, что бежал ловить беглецов. Осталось еще двое невольников; что бы они делали, если б проснулись, не знаем, но раньше их проснулся Алай-Казы, тотчас осведомился о своем халате, как самой драгоценной вещи, и, не нашедши его подле себя, поднял тревогу. Пробудились его товарищи, сначала вопили и кричали без памяти; а потом, пришедши в себя, стали помышлять, что им делать. Так как убежавшие невольники не стащили ничего, кроме халата, в котором было письмо, то явным казалось, что похищение учинено было с целью открыть заговор против хана. Зачинщиком зла мурзы считали не Кудеяра, а персиянина; оставшиеся невольники отправились искать лошадей для своих господ, а мурзы стали советоваться о своем спасении. Алай-Казы и Алтын-Ягазы решили бежать в Московское государство степью, но Акмамбет предпочел лучше скрыться в Кафе, надеясь на расположение турецкого губернатора, и потом же, если

нужным окажется, пробраться морем в Московское государство. Затем все положили остаться на месте и дождаться, пока невольники приведут им наемных лошадей, чтоб ехать каждому к себе и собираться в далекий путь.

Но из слов, неосторожно произнесенных мурзами во время суматохи, невольники поняли, что их господа затевали что-то дурное против хана и теперь боятся... Невольники, вместо того чтоб искать господам своим лошадей, отправились в Бакчисарай с тою целью, чтобы самим объявить о преступных замыслах господ. Мурзы потеряли целый день в ожидании, переночевали в поле и на другой день пошли пешком к Алтын-Ягазы, которого имение было ближе от рокового для них места. Там, взявши у хозяина лошадей, Акмамбет и Алай-Казы поскакали каждый к себе. Алтын-Ягазы собрался в путь, обещаясь догнать Алай-Казы.

Алай-Казы, с двумя вьючными лошадьми и с одним русским невольником, которому обещал свободу по прибытии в Московскую землю, приближался к Перекопу, но ханский селердарь с отрядом игитов ждал уже его. Алай-Казы наткнулся на него так близко, что не успел повернуть коня, как игиты окружили его и связали. Алтын-Ягазы в это время догонял Алай-Казы и, увидевши вдали суетню, быстро повернул в сторону, но селердарь-ага пустился за ним в погоню. Его вьючная лошадь и невольник, русский родом, достались игитам, но Алтын-Ягазы ушел от них и доскакал до стрелки, как вдруг стоявшие там игиты бросились на него. Несчастный беглец, видя неминуемую гибель, пришел в такое отчаяние, что, соскочив с коня, хотел удавить себя уздою, но игиты не допустили его до самоубийства, связали и повели к Алай-Казы, а потом обоих повезли в Бакчисарай.

Заговор против хана был делом обычным в Крыму. Ханы хотя и дозволяли себе разные деспотические выходки, без которых немыслим ни один восточный властитель, но не прочно сидели на своем престоле, завися не только от цареградского падишаха, но от своих беев и мурз. Мало того, что беи, сильные магнаты, не дозволяли ханам вмешиваться в управление их бейлыками, многие мурзы, имевшие поместья в бейлыках и происходя от одного рода с беями, считали беев своими главами, и во всех государственных делах хан должен был угождать беям и их мурзам, иначе, пользуясь своею материальною силою, они могли поднять восстание, свергнуть хана и посадить другого, что не раз

случалось в крымской истории. Сам Девлет-Гирей, при помощи заговора, низверг нул и перебил детей своего брата, Саип-Гирея, и таким путем достигнул престола. В собственном своем уделе, который был значительнее других бейлыков, хан распоряжался произвольнее, но и там мурзы в случае, когда хан раздражал их, могли составлять заговоры в пользу претендентов, в которых редко бывал недостаток, тем более что новый хан в признательность за содействие награждал мурз поместьями и дарами от добычи. Услуга, оказанная Девлет-Гирею Кудеяром, была важною: заговор был открыт в самом зародыше; без того он мог бы расшириться, и хан был бы свергнут.

Алтын-Ягазы был человек трусоватого десятка. Когда его привели к допросу пред верховного судью, кади-аскера, он сразу очернил нескольких мурз и в том числе бросил подозрение на чиновников ханского двора. Немало людей было привлечено к следствию по его показаниям, а несколько заключено в тюрьму. Алай-Казы, напротив, упорно запирался даже и тогда, когда другие сознавались в преступлении и подтверждали показание Алтын-Ягазы. Алай-Казы уверял, что никогда не получал писем от Тохтамыша, и когда кади-аскер для его уличения дал ему очную ставку с Кудеяром, Алай-Казы плюнул на своего обвинителя. Но потом, устрашенный пыткою, Алай-Казы изменил свое показание, сознался, что точно Тохтамыш писал к нему, и прибавил, что он слышал от бывшего в Крыму московского гонца, будто московский государь обещал награду тем, которые изведут Девлет-Гирея. Поставленный пред судью переводчик, чрез которого Алай-Казы объяснялся с московским гонцом, показывал такие двусмысленные речи, слышанные им от гонца, что по ним невозможно было никак положительно признать подущение со стороны царя Ивана Васильевича, но кади-аскер ухватился за показание Алай-Казы с жаром. Ему и многим мурзам это было на руку. Уже давно они были недовольны своим ханом, зачем он дружит с москвитином и не дозволяет мурзам нападать на пределы московские. С того времени, как, устрашенный приездом в Москву Вишневецкого и приготовлениями к завоеванию Крыма, хан, соображая расстроенное состояние своего юрта, просил у царя Ивана мира, вел беспрерывные дружеские сношения с московским царем и высасывал из него деньги, меха и всякие подарки; он то уверял его в братской дружбе, то грозил ему турками, требовал отдать Казань и Астрахань, а московский царь присылал ему все

больше и больше. Хану казался выгодным такой образ сношений: вместо того, чтобы брать с Москвы добычу войною, подвергая своих людей опасностям, хан рассчитывал лучше обирать царя Ивана без войны, без труда. Тот же способ сношений находили для себя выгодным и те вельможи, которым царь присылал поминки, но крымцам вообще было мало пользы от этого; гораздо лучше казалось им идти в поход и грабить: тут бы им всем была пожива. Поэтому весть о том, что московский государь подущал лиходеев на хана, была для многих очень отрадною: можно было надеяться, что теперь хан рассорится с московским государем. Сам Девлет-Гирей не без удовольствия узнал о показании Алай-Казы: ему предстоял удобный случай придраться к московскому царю, чтоб сорвать с него лишнюю дань.

Следствие тянулось целых полгода. Остановка была за Акмамбетом; его отыскивали, узнали, что он убежал в Кафу, писали к беглербегу; беглербег отвечал, что его нет у него; хан жаловался турецкому падишаху,— приказано было беглербегу выдать беглеца, беглербег отвечал снова, что не знает, где он; писали в Москву, оттуда отвечали, что в Московское государство он не приходил; между тем сообщено было, что Акмамбет у московского царя; снова послали к царю, требовали его выдачи; хан требовал также выдачи брата своего, Тохтамыша. Царь известил хана, что Тохтамыш умер, а Акмамбета нет в Московском государстве; если же найдется, то выдадут его. Девлет-Гирей призывал к себе Афанасия Нагого, сообщал ему о показаниях Алай-Казы, о подущении со стороны московского государя, но самому царю о том не писал. Так проходило время. Кудеяр поневоле должен был ожидать окончания дела. Наконец, не доискавшись Акмамбета, решили вершить важное дело о заговоре на жизнь хана в курилтае, или ханском совете.

В диванной зале дворца собрались все знатные сановники крымского юрта, тихо ступая по роскошным персидским коврам тонкими подошвами своих сафьянных башмаков. Одетые в парадные золотные халаты, уселись они, поджавши ноги, на низеньких и широких диванах. Хан сидел на возвышении; близ него истолкователь мудрости, муфти, с книгою Корана в руке, а с ним имамы и улемы.

Позвали Кудеяра. Он проговорил довольно правильно по-татарски, хотя с некоторою запинкою, всю историю,

каким образом он попал к Акмамбету в неволю и как ему помог Бог открыть заговор на жизнь хана.

Крымские вельможи смотрели исподлобья; духовным не нравилось, что гяур так смело говорит в курилтае, но хан в высокопарных выражениях превознес заслуги Кудеяра и назвал его пред всеми другом своим.

Кудеяру велели выйти. Ввели преступников. Алтын-Ягазы пал ниц и вопил. Алай-Казы призывал Бога и Мугаммеда во свидетельство своей невинности. Другие соумышленники — Батырь-Мурза, Секир-Мурза, Ярлык-Мурза и несколько царедворцев — молили пощады и взваливали всю вину на Москву. Их вывели. Совет стал рассуждать. Муфти, указывая на места из Корана, объяснял важность преступления. Решено было всех предать смертной казни. Алай-Казы вменили в особенную вину его запирательство и желание показаться невинным; ему назначили жестокую казнь: вырезать желудок и положить ему на голову; Алтын-Ягазы и прочим приговорили отрубить головы и воткнуть на колья. Приговор был прочитан за дверьми дивана кадиаскером и на другой день — исполнен.

Но в диване поднялись крики против Москвы.

— Мы наказали злодеяние,— говорил муфти,— но не главных злодеев; это были только исполнители; все это затеи неверного московского царя и его советников. О правоверные! Извлекайте мечи из ножен, устремляйтесь, как вихрь, на отмщение, пустите стрелы ваши по неверной земле, как град, побивающий нивы. Там корень зла,— там да совершится правосудие. О правоверные! Доколе нам терпеть поругание нашей веры и поношение нашего славного племени? Разве не знаете, что там, где прежде были мечети, где восхвалялось имя нашего славного пророка,— ныне поставлены христианские капища с идолами? Многие из людей нашей веры и нашего рода перешли к христианскому идолопоклонству. Разве не знаете, что все это делают те, которых предки были рабами предков наших?

— Давно ли,— кричали другие,— давно ли проклятые москвитины замышляли вести многочисленные рати на нашу страну, чтоб поработить нас, как уже поработили наших братий?

— И сам этот гяур,— заметил один мурза,— величаемый спасителем нашего светлейшего хана,— не один ли из тех, которые тогда шли на нас войною?

— Он взят в плен как лазутчик, а не как воин.

— Он говорит, что не был соглядатаем,— сказал хан,—

но ты при том не был, как его взяли, а потому и говорить тебе о том не стать.

— Светлейший хан,— сказал мурза,— говорит о себе раб, а ты веришь рабу.

— Он не раб,— сказал запальчиво хан,— он мой друг. Никто не дерзай поносить того, кто спас мне жизнь и царство.

— Если он в самом деле хороший человек, пусть остается у нас и примет нашу правую веру,— сказал один улем.

— О, чего бы я не дал, если б этот человек обратился к истинной вере пророка,— сказал хан.— Но на все воля Бога. А мы будем говорить о наших делах. Московский царь писал к нам, что нашего ворога Акмамбета у него нет, а мы слышали, что он у него. Напишем к нему еще об этом, да пусть он нам пришлет поминки нелегкие, вдвое против того, что присылал; пусть нашим беям и мурзам, заседающим в совете, пришлет по росписи поминки нелегкие, а если он того не сделает, то мы турского царя на него двинем и всю его московскую землю разорим.

— Что много с ним говорить,— сказал Караг-бей, ярый враг Москвы,— не с ним бы нам переговариваться, а с блистательнейшим солнцем правоверных народов, могущественнейшим, непобедимейшим нашим падишахом; пусть повелит воинствам своим грянуть на московитов, и мы соберем все наши орды и всю московскую землю покорим и поработим; заставим московского князя подавать коня нашему светлейшему хану.

— В наших татарских книгах написано,— сказал один имам,— Бог дает на время неверным торжество над правоверными, а потом правоверные снова верх возьмут над неверными!

— Можно писать к московскому князю,— сказал Ораbей перекопский, завзятый рубака,— почему не писать? А тем временем спать нечего — идти набегом на московскую землю; оно и лучше, как написать; пусть себе Москва по нашим письмам думает, что мы хотим с нею в мире жить — не чаючи на себя грозы. Москва к обороне не приготовится, а мы тут как тут: города их сожжем, села разорим, ясыру наберем, а потом Москва сама же, будто благодарствуя за разорения, пришлет нам подарки; знач — мы будем в двойном барыше! К тому посудите: у нас ясыру будет много; надобно его куда-нибудь сбывать! А мы его будем сбывать им же; они станут выкупать своих, а мы

им же ихний товар продадим; да еще дороже, чем бы в иное место продали.

— Правда, правда! — закричали мурзы.— Вот рассудил хорошо!

— Да, да,— сказал Ширинь-бей, владетель Эски-Крыма, сильнейший из беев,— пока хан будет переписываться, наши наберут ясыра; это хорошо. Но зачем же одному Ора-бею идти на поживу? И мы также хотим набрать ясыра.

— И ногаи также хотят,— сказал сераскир, управляющий ногайскою ордою.

— Что ж это? — сказал хан.— Это значит: весь юрт пойдет за ясыром, без меня?

— А что же,— сказал Ширинь-бей,— ты изволь переписываться и пересылаться с московским князем да бери с него побольше поминков, а мы будем воевать; ты сам по себе, а мы все сами по себе: твое величество об этом не знай, не ведай.

На том и порешили.

После этого заседания Девлет-Гирей отправил гонца в Москву с грамотою, в которой просил двойных поминков, требовал, сверх того, посадить его сына Адинь-Гирея на казанском столе; указывал на то, что, по слухам, Акмамбет скрывается в Московском государстве, и просил выдачи его.

Между тем один из беев, явлашский бей, был доброжелатель Москвы. Он не имел вкуса к грабительствам и набегам, любил, напротив, жить дома в полном довольстве, устроил у себя великолепный дворец с цветником и водометом, держал в гареме таких красавиц, что и хану делалось завидно, продавал арбами плоды из разведенных на своей земле садов, выручал много денег за шерсть и овчины со своих стад, знал хорошо по-арабски, любил читать произведения арабской литературы и сам писывал стихи. Он был почти всегда против набегов и говаривал так: «Чем нам Москву и Литву разорять, не лучше ли Москве и Литве продавать наши изделия да с них деньги лупить: и у москвитинов и у литвинов будет чем нам платить, и у нас будет за что с них деньги брать. Все равно труд принимать надобно: по степи ходить, нужду терпеть — разве не труд? Лучше дома сидеть да трудиться без нужды и за труд деньги брать». За свое доброжелательство к Москве он не оставался в накладе и постоянно получал из Москвы подарки за то, чтобы удерживать татар от разбоев.

Головы казненных воткнуты были на спицах, поставленных на стенах, окружавших бакчисарайский дворец. Кудеяру, казалось, нечего было более делать в Крыму. Он обратился к визирю с просьбою доложить хану об его отпуске. Приближенные хана советовали под разными благовидными предлогами попридержать Кудеяра, пока не выяснится, как поставит себя московский государь в отношении Крыма, иначе Кудеяр может рассказать о крымских делах то, чего заранее знать в Москве не должны. Хан велел сказать Кудеяру, что он съездит с ним на охоту, а потом уже отпустит.

Между тем Кудеяру в первый раз дозволили видеться с Нагим, который в то время был под почетным караулом для того, чтобы не мог известить царя о замыслах сделать набег на московские земли.

Нагой принял Кудеяра холодно, почти недружелюбно. Он, видимо, не хотел вдаваться с ним в разговоры. Когда Кудеяр напомнил ему, что он два раза просил его, будучи в неволе, о выкупе, а над ним не смиловались, Нагой сказал:

— Я во всем поступаю по указу царского величества, великого государя.

Кудеяр напомнил о своей челобитной, о письмах к Адашеву, Сильвестру, Курбскому. Нагой сказал ему:

— Что ты писал к ним, того тебе делать не годилось для того, что те люди объявились царю-государю в противности и были под царскою опалою, а Курбский царю изменил и убежал к недругу царскому, литовскому и польскому королю, и ныне с его ратями воюют города его царского величества. Сам можешь рассудить, какого добра и заступления ожидать было тебе от таких людей.

— Я тому был неизвестен,— сказал Кудеяр.— Когда я был в Москве, они были в приближении у государя. А ныне челом бью твоей милости: заступись пред государем, пошли челобитную мою его величеству, чтоб дозволил мне государь воротиться и служить ему верою и правдою, а я, как государь-царь меня пожалует, велит к себе вернуться, ударю тебе челом из того, чем хан пожалует при отъезде.

Это обещание разъяснило чело Нагого, который, по московскому обычаю, не любил приходивших к нему с пустыми руками.

— То ты делаешь гораздо,— сказал Нагой,— что прежде хочешь послать челобитную; а в ней пропиши, что ты письма писал к царским изменникам своим неведением,

а то — неровен час! Многие измены и шатости объявились у нас в государстве, и того ради наш праведный государь стал грозен. Ты же, молодец, открыл ханских лиходеев, а лиходеи учали говорить безлепишные, непригожие речи про государя нашего, и с того хан и его татарове думают идти на города его величества.

— То не моя вина,— сказал Кудеяр,— я был в тяжкой неволе, а Бог мне послал случай освободиться. Мне хан не свой государь, тем паче, что он бусурман; мне лишь бы каким способом из неволи выйти. И теперь я живу у бусурмана хоть и в довольстве, а все сдается — в неволе. О том денно и нощно думаю, как бы вернуться в христианскую землю и служить своему великому государю. Помню его великое ко мне жалованье и милость.

— Хорошо будет,— сказал Нагой,— коли мы с тобой пошлем царю челобитную; не знаю только, как послать: татары меня стали держать как бы за сторожи. Боятся, чтоб я не известил государя об их умыслах, что хотят государеву землю воевать. Проси хана, чтоб дозволил тебе отправить челобитную к царю-государю.

Кудеяр чрез ханского визиря просил хана дозволить послать челобитную, а его известили, что хан приглашает его к своему столу.

За столом у хана в этот раз обедало несколько мурз, как будто нарочно подобранных из ненавистников Москвы. Сам хан начал речь о двоедушии москвитинов и прямо стал укорять царя в подущении лиходеев на его жизнь. Мурзы подхватили ханские слова и разводили их еще более укорами на счет московского государя. Кудеяр слушал все терпеливо, наконец сказал:

— Светлейший хан, не изволь склонять своего высокого слуха к клеветам злодеев, думавших спасти свою преступную жизнь, для того-то они и лгали на нашего государя.

— Да, рассказывай,— сказал один мурза,— все вы заодно, вас сколько ни корми, вы все в лес смотрите.

— Ничего бы я так не желал,— сказал Кудеяр,— как бы только промеж моего государя и светлейшего хана учинилась твердая любовь и братская дружба.

— Хороша ваша дружба! — сказал брюзгливый мурза.— Давно ли твой государь собирал на нас рать, хотел весь Крым завоевать, ты сам тогда ходил на нас с царскою ратью и бить нас хотел, да тебе не посчастливилось, попался ты в плен; теперь, как ты у нас в руках, ты и говоришь

то, что́ нам приятно, а только выпустишь тебя отсюда, так опять на нас пойдешь воевать.

— Я не в плену,— сказал Кудеяр,— меня освободили из неволи светлейший хан, твой повелитель, и коли его ханской милости угодно даровать мне такую честь, что за стол с собой посадить,— то как же можешь ты упрекать меня полоном и неволею? Я чужой вам человек, но мне Бог дал такую благодать, что я послужил его ханской милости паче ваших людей татар. Это случилось так по воле божией, что я, чужой человек, оборонил вашего государя от его же холопей-изменников, а вы его не оборонили. А ныне вы меня же упрекаете неволею!

— Кудеяр,— сказал хан,— я полюбил тебя; ты правдив и мудр, как может быть только правоверный. Ты мне спас жизнь, и если я тебя отпущу к твоему государю, который не хочет быть мне другом, ты поневоле станешь мне недругом. Этого я не хочу. Останься у меня. Прими нашу правую веру; ты будешь из первых людей в моем царстве.

— Не гневайся, великий хан,— сказал Кудеяр,— я своей веры не переменю и у тебя не останусь. Я прост человек и неучен. Пусть люди мудрые и знающие говорят книгами о вере, а я так думаю, что в какой вере кто родился, в такой, значит, Богу угодно, чтоб он пребывал. Господь Бог один над вами и над нами. Какому государю дал присягу служить, тому служи и без крайности не отходи. Я не уподоблюсь тем изменникам, от которых спас тебя. Есть в Москве немало таких, что от страха либо из лакомства, бывши вашей веры, да приняли нашу... Что ж, разве это хорошо? Не хочу быть на них похожим.

— А ты думаешь,— сказал хан,— твой государь пожалует тебя за то, что ты мне спас жизнь? Нет. Ему то будет в досаду.

— Мой государь,— сказал Кудеяр,— праведен и милосерд; он наградит меня за это. А хотя бы по какому-нибудь лукавому совету и не так сталось, так лучше мне от своего законного государя потерпеть, чем изменить своей вере. Если б я не верен был Богу и государю своему, то как бы ты мог мне верить.

— Счастлив твой государь,— сказал хан,— что у него такие слуги. Ты просил дозволения послать челобитную к своему государю. У нас положено, до обсылки с московским, не дозволять никому посылать людей в Москву, но я тебе не могу ничего отказать: ты мне спас живот и царство. Пиши челобитную. Позволю послать гонца.

— Храни тебя Господи,— сказал Кудеяр,— на многие лета! Боже, утверди мир промеж светлейшего хана и великого московского царя-государя!

Челобитная была написана подьячим и послана с гонцом, которого отправил Нагой. Татары в предостережение осматривали, не везет ли гонец иной грамоты от Нагого, но грамоты не оказалось; татары, однако, не рассчитали того, что гонец вез у себя в памяти то, чего они искали на бумаге. Посылка этого гонца была необыкновенно кстати. Набег, предпринятый мурзами, не удался, потому что русский гонец успел прискакать в Болхов и дать знать, что татары идут степью... Воеводы успели стянуть свои силы и отбили татар.

Между тем с наступлением осени хан отправился на охоту в горы. Кудеяр был с ним неразлучен и ехал на превосходном коне, пожалованном ему ханом. Охотились более всего за дикими козами, которых было очень много в Крымских горах. Делали ставки, разбивали шатры и пребывали в разных местах по нескольку дней. Девлет-Гирей, подвигаясь все далее и далее к югу, дошел до моря и, ставши на утес, пришел в такой восторг, что тут же стал декламировать о море, скалах, о величии Аллаха, отражающемся во всем творении. Мурзы поднимали руки и глаза к небу, как бы проникаясь восхищением от вдохновенной речи их повелителя, Девлет-Гирея.

По возвращении в Бакчисарай хан получил ответ от московского государя. Иван Васильевич наотрез отказывал дать Казань сыну крымского хана, замечая, что там уже вместо мечетей христианские церкви; обещал поминки, но с тем, если татары не будут воевать земель Московского государства; жаловался на последний набег, сделанный татарами на окрестности Болхова. Московский государь не запирался, что беглый мурза Акмамбет находится у него, но извещал, что он принял христианскую веру и его выдать нельзя. Московский государь, узнавши, что татары отбиты от Болхова, говорил с ханом смелее; а хан, с своей стороны, получивши сведение, что татары не только не принесли никакой добычи из московской земли, но воротились в беспорядке,— принялся опять за прежний способ: показывать московскому государю дружбу и по возможности обирать его. Теперь хан уверял, что нападение на Болхов сделано своевольными татарами против его воли и желания, и уже не требовал выдачи Акмамбета. Царь московский отвечал, что желает пребывать в братской любви с ханом, и обещал прислать подарки весною.

На челобитную Кудеяра ответа не было. По прошествии зимы приезжал к Девлет-Гирею московский посол с поминками, а о Кудеяре в царской грамоте не упоминалось, и послу никакого об нем наказа дано не было. Кудеяр обратился к хану и просил заступиться пред царем. Хан написал царю Ивану письмо, изложил в нем всю историю своего спасения, расхваливал Кудеяра, извещал, что Кудеяр, не желает никаких милостей от хана, а просит только дозволения воротиться в Московское государство и служить царю; присовокуплял при этом, что завидует своему брату, у которого такие верные и преданные слуги.

На это письмо последовал ответ уже осенью. Царь Иван, из любви к своему брату Девлет-Гирею, дозволял Юрию Кудеяру с наступлением будущей весны приехать в Москву и служить по царскому усмотрению.

Наступила весна 1568 года. Хан призвал к себе Кудеяра и сказал:

— Ты сделал нам такую важную услугу, что мы поступили бы противно нашему закону, если б не учинили всего, что можем учинить доброго для спасителя нашего живота. Наши гонцы, ездившие в Москву, привезли нам верные вести, что московский государь стал лют, зол и кровожаден, рубит головы, вешает, топит и мучит слуг своих неизреченными муками. Он сделался подобен разъяренному тигру. Мне жаль тебя, Кудеяр, если ты поедешь к такому свирепому государю. Последний раз простираю к уму твоему дружелюбное слово увещания. Останься у нас, мы не будем неволить тебя к нашей вере. Сам знаешь: в нашем юрте живут в довольствии христиане. Мы дадим тебе поместье, позволим там построить церковь, держать священника по своей вере; мы дадим тебе льготу от всяких наших даней, ты не будешь под ведением нашего тат-ягасы, ведающего всех наших татов, подданных христианского закона: знай только нашу особу и больше никого не знай, и так будет не только тебе, но и всем потомкам твоим до тех пор, пока царствовать будет над крымским юртом род Гиреев. Если же тебе ни за что не хочется оставаться в нашей земле, не езди в московскую землю, а поезжай в литовскую; ты говорил нам, что ты казак из Украйны, а не москвитин; там, коли хочешь, живи, а до нашего Крыма тебе всегда путь чист.

— Челом бью тебе, светлейший хан,— сказал Кудеяр,— но у меня жена в Московском государстве.

— Быть может,— сказал хан,— твою жену достать можно; у меня довольно московского полона, я весь выпущу за одну жену твою.

— Коли ты изволишь говорить, светлейший хан,— сказал Кудеяр,— что мой царь-государь стал грозен и немилостив, то как мне отважиться на противность ему, чтоб, побивши челом о службе, да остаться у тебя и не поехать на службу после того, как он изволил меня допустить по моему челобитью! Он тогда над моей женой лихое учинит. Нет, светлейший хан, мой благодетель, об одном только прошу твою милость: отпусти меня к Москве. Я не думаю, чтоб все то была правда, что про моего государя слыхали твои гонцы; коли он грозен и жесток для своих супостатов и лиходеев, так и везде таких не терпят. И ты, светлейший хан, достойно наказал своих злодеев.

— Как хочешь, так и поступай,— сказал хан,— твоя воля над собою. Но если тебе худо покажется в московской земле — беги к нам. Тебе здесь будет безопасность и честь. Пока я жив, Кудеяру в Крыму будет так хорошо, как нигде в свете, а когда я закрою глаза,— дети мои будут покровителями тебе, и твоим детям, и твоему потомству. Вот мой старший сын и наследник, царевич Газы-Гирей.— Хан обратился к сидевшему близ него царевичу: — Слышишь, мой старший сын,— сказал хан,— таково мое великое родительское и прародительское слово тебе и твоим детям, внукам и правнукам: не забывайте, что этот человек спас жизнь мою, будьте к нему и к потомкам его милостивы и щедры; если дети, и внуки, и правнуки его придут к вам просить приюта, не отгоните их от себя, приютите их, наградите, успокойте; таков завет мой. Доколе потомство Гиреев будет сидеть на престоле крымского юрта, потомство Кудеяра всегда пусть найдет здесь хлеб, покой и безопасность. Таково мое желание, паче всякого иного желания.

Хан подарил Кудеяру превосходного коня, трех крепких вьючных лошадей, дал ему мешок денег, в котором на татарский счет было двадцать тысяч юзлуков (тогдашних 10 000 руб.), большой чемодан платья, мешок с золотыми и серебряными вещами, великолепно оправленную саблю, колчан стрел, лук, обложенный перламутром, и ружье.

Кудеяр, по обещанию, поднес Афанасию Нагому несколько одежд и дорогих вещей. Вместе с ним поехал

отправленный в Москву ханский посол Ямболдуй-мурза, которому приказано было пребывать в Москве постоянно, как московский посол Афанасий Нагой пребывал в Бакчисарае: это было знáком доброго согласия между московским царем и крымским. При после было посольских людей-татар до пятидесяти человек. Они не брали повозок; все пожитки, предназначенные для царя, как равно и свои пожитки, везли на множестве вьючных лошадей. Длинная дорога по безлюдной степи требовала многих запасов и хозяйственных орудий. На вьючных лошадях везли искусно свернутые палатки, ковры, кухонную и столовую утварь, сухари, вяленую рыбу, мясо, сушеные плоды, сыр, пшено, соль, пряности — и гнали баранов, которых назначили резать на дороге для прокормления.

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Главная дорога из Крыма в Московское государство шла тогда по так называемому Муравскому шляху, на который выезжали из Крыма двумя путями: через Перекоп и через Арабат. Муравский шлях шел вдоль Молочных Вод, потом поворачивался вправо к верховью р. Конки, далее шел к верховью Волчьих Вод, вдоль р. Быка к верховью Самары, поворачивал влево по Самаре до р. Орели и потом шел вдоль этой реки до ее верховьев. Все это была собственно земля ногайская, безлесная вплоть до самой Самары; только за Самарою начинались рощи, и чем дальше к северу — край становился лесистее. На степном безлесном пространстве путник не встречал ни города, ни селения, ни даже хаты, а между тем край был вовсе не безлюдный. Здесь, по степи, изобильной солончаками, перемешанными с богатыми пастбищами, сновали многочисленные кочевья ногаев; там и сям появлялись и исчезали огромные купы кибиток, сделанных из тростника и покрытых кожами и рогожами; около них паслись стада волов, овец и преимущественно конские табуны. Ногаи представляли в своем быту не только отличия, но отчасти даже противоположность с бытом крымцев; у крымцев кочевые дикие нравы все более и более уступали место признакам оседлого быта. Крымцы заимствовали культуру Востока; напротив, ногаи оставались в первобытном виде, не сеяли хлеба, не заводили садов и огородов, не строили домов, не занимались ремеслами, всегда на конях, всегда в одной и той же овчине с тою разницею, что летом одевали ее шерстью вверх,

а зимою шерстью к телу, равнодушные к холоду и зною, не терпели они никакого труда, ни телесного, ни умственного, жены их не умели ни прясть, ни ткать; и если у них являлись какие-нибудь предметы житейских удобств, то все это было награблено у русских. Набеги и грабежи знакомили их с этими предметами, но не подвигали к лучшей жизни. Ногаи предпринимали свои набеги не столько из корысти, сколько оттого, что иного ничего не умели делать и не знали, чем пополнить жизнь, неудовлетворяемую лежанием на степи и пожиранием ягнят и жеребят. Ногаи уводили из Руси множество пленников, но от этого получали пользу больше крымцы, перекупавшие у ногаев за бесценок их добычу. При своих воинственных успехах, ногаи часто были в крайней нужде; они богаты были только стадами, но не знали, как с ними обращаться: скотские и конские падежи были обычным явлением в их степях, и после таких падежей обыкновенно наступал мор на самих ногаев, лишенных средств пропитания. Нередко случалось, что во время жестокой зимы ногаи во множестве пропадали от стужи: у них не было топлива, кроме сухого бурьяна и тростника; ногаи ненавидели лес, и где начинались леса, там уже не было ногайских жилищ.

Пока наш Кудеяр проезжал по ногайской земле, ему была возможность доставать баранов и жеребят; за Самарою страна делалась безлюдною. Путешественники делали продолжительные отдыхи для корма лошадей; и тогда они стреляли стрепетов, тетеревов и дрохв, которых было чрезвычайное множество,— для этого употреблялись стрелы; ручное огнестрельное оружие того времени больше годилось для войны, чем для охоты.

У верховьев Орели Кудеяр встретил купеческий караван, состоявший из множества вьючных лошадей и двухколесных возов. С караваном был царский гонец; провожали его вооруженные стрельцы. Купцы были по преимуществу кафинские армяне; они везли из Московского государства рогожи, покупаемые у них ногаями для покрышки кибиток, разные меха, муку, конопляное масло, воск, а также в небольшом еще количестве изделия европейской промышленности, купленной у англичан в Москве. Но у них, кроме того, был живой товар — невольники, военнопленные немцы и чухна, взятые русскими на войне в Ливонии и проданные крымским купцам; они шли, соединенные длинною цепью, которая обвязывалась вокруг шеи каждого; с ними были и природные русские — кабальные люди,

проданные своими господами: хотя это законом не дозволялось, но постоянно делалось. Муравский шлях не считался тогда безопасным и удобным путем для торговли: торговля Москвы с Востоком удобнее велась через Москву и Киев, но во время частых войн между Москвою и Литвою купцы поневоле должны были избирать другой путь. Кроме того, в Литве им приходилось платить большие пошлины за товары, и для избежания лишних затрат купцы возили свои товары по Муравскому шляху. На этом пути их могли грабить и русские удальцы, и ногаи; но жадность к приобретению заставляла их забывать об опасности. На этот раз купцы особенно смело пустились по опасному пути, потому что с ними ехал гонец, а гонца провожали стрельцы. Сами купцы были вооружены и каждую минуту готовились защищать жизнь и достояние. Кудеяр, повидавшись с царским гонцом и купцами, узнал, что на южных пределах Московского государства развелись разбойничьи шайки и на самый караван сделано было нападение.

Кудеяр, попрощавшись с караваном, двинулся на север со своими товарищами, а караван следовал на юг; вопли и стоны живого товара неслись в воздухе вместе со скрипом одноколок, запряженных волами, и жалобным криком степных чаек.

От верховьев Орели Кудеяр ехал извилинами промеж верховьев разных рек, впадавших с одной стороны в днепровскую, с другой — в донскую систему. Таким образом, он следовал по правой стороне р. Уды, на левой минул Ворсклу и Псел и достиг вершины Донца. На этом пространстве леса́ перемешивались с открытыми полями, растительность была в полном блеске; корм для лошадей роскошный, зверей было такое множество, что лисицы и зайцы беспрестанно перебегали путь, а волки и медведи не давали путникам спокойно спать; они каждую минуту должны были быть готовы, по крику караульных, схватиться за оружие и вступить в борьбу со зверем за пасущихся лошадей и за себя самих. Далее открылось ровное поле, верст на пятьдесят, чрезвычайно плодородное и некогда пахотное, но давно уже покинутое по причине отсутствия края. Путники подъехали к огромному кургану, который носил название Думчего; здесь увидали они спутанных лошадей, курени, дым от костров и толпу людей: то были царские станичники, отправленные из Рыльска для наблюдения за татарскими набегами. Увидя татар, провожавших Кудеяра, они

вскочили с места, схватились за самопалы и готовились недружелюбно встречать гостей, но Кудеяр закричал им:

— Здравствуйте, земляки-товарищи; не татары набегом идут, невольник, бывший его царского величества служилый человек, ворочается из неволи бусурманской в край крещеный.

Дети боярские, начальствовавшие отрядом, собранным из севрюков (поселенцев северской Украйны), приказали своим подначальникам оставить оружие. Кудеяр сошел с коня и начал лобызаться со всеми, как будто с давними знакомыми, хотя никого из них не видал прежде. Станичники, с своей стороны, были очень рады, встретив в пустыне освобожденного из неволи русского человека. Кудеяр рассказал им свои приключения, снял с одной из своих вьючных лошадей баклагу с водкой и начал поить своих земляков. Тут Кудеяру стало разъясняться то, что еще в Крыму доходило до него как бы в тумане. Станичники рассказали ему, что на Руси все переменилось с тех пор, как Кудеяр оставил русскую землю. Люди, бывшие тогда у царя в приближении, казнены или изгнаны; царь разделил свое государство на опричнину и земщину: опричнину держит в милости, а земщину — в опале; многих бояр, думных людей и дворян показнил государь лютыми казнями и семьи их истребил, и даже на крестьян и на людей их положил свой лютый гнев; многие села разорены и сожжены по его царскому повелению, а люди и крестьяне от разорения пошли в разбой; и теперь около Москвы, говорят, проезду нет, а иные бегут сюда, в украинныя земли, и проживают воровски в лесах, обгородясь острогами, пашут на себя хлеб, заводят дворы и пасеки, даней никаких не платят, работ не делают и царским наместникам под суд не идут.

Попрощался Кудеяр со станичниками и поехал своим путем. Вести, слышанные им, сильно смутили его, и стали ему входить в голову иные думы. «Если так,— говорил он сам себе,— то какого праха буду я служить московскому государю,— что я, москвитин, что ли? Разве батька наш, Вишневецкий, не покинул московского царя, когда ему у него не по нраву пришлось? А мне-то что? Разве мне поместье царское нужно? Пропадай оно прахом! Правду говорил Девлет-Гирей. У крымского я ни за что не остался бы, хоть он меня золотом обсыпь,— но как тут делать? Настю надобно вызволить: поеду в поместье, коли она там,

возьму ее и удеру с нею на Украйну. Денег ханских хватит на наш век!»

Так рассуждал Кудеяр. Следуя по своему пути, он въехал в Пузацкий лес, обширный и густой лес, преимущественно дубовый. Орлы кружились над их головами, всполошенные человеческим присутствием. Звериный вой доносился до ушей путников со всех сторон. Миновали они верховья Сеймы, Оскола, выехали снова в поле и достигли р. Тима. Муравский шлях шел вдоль этой реки, то приближаясь к ней, то отдаляясь от нее параллельно к реке Щене. Так, наконец, Кудеяр с товарищами добрался до р. Быстрой Сосны. На том месте, где через несколько лет после того построен был город Ливны, Кудеяр увидел большую станицу: вместо куреней поставлены были избы, а необходимость защиты заставила станичников обрыть все строение рвом и обсадить частоколом. Отсюда станичники посылали разъездных проведывать про татарские загоны и про русских воровских людей.

Кудеяр, повидавшись со станичниками, узнал от них еще подробнее о том, что делается в Московском государстве, и после новых сведений решился во что бы то ни стало взять свою Настю и уйти в Украйну. Предполагая, что она в поместье, Кудеяр отпустил ехавшего с ним крымского посла, вместе с татарами, по прямой дороге в Москву, а сам договорил одного из станичников проводить его до Белева.

— Как-то мы приедем к Белеву? — говорил станичник дорогою.— Под Белевом шайка разбойников завелась. Наместник Постников посылал высылку ловить их, да у воевод людей немного, детей боярских не соберешь; мало их в уезде: кто на Москве в опричнине у государя, а кого послал царь войною на немцев. Атаман у разбойников — Окулка Семенов, из белевских детей боярских, что государь велел вывести из Белева, а он, Окулка, учинился государю силен да набрал себе ватагу из людей и крестьян опальных, да изо всяких беглых; а к нему пристал другой атаман — новокрещен Ураман, а крещеное имя ему Иван, тож из детей боярских белевских, а тот Урман, говорят, не прост человек, ведовские слова знает.

Имена Окула и Урмана поразили Кудеяра: первого он знал мало, но вспомнил, что так называли одного из боярских детей, которых он привел на Псел к Данилу Адашеву; а второй был, по его соображению, не кто иной, как тот самый крещеный татарин, который плавал с ним по Днепру к Ислам-Керменю и советовал воротиться, не доверяясь

речам Афанасия Ивановича. «Они узнают меня,— думал Кудеяр,— и едва ли станут трогать, а если не так, то ведь сила у меня не пропала».

Волнуемый и страхом, и надеждою, Кудеяр гнал своих лошадей, давал им мало времени на корм. Уже недалеко оставалось до Белева. Кудеяр помышлял миновать его и прямо ехать на свое поместье. Между тем солнце было на закате, путники доезжали до опушки леса.

— Нам,— сказал провожатый,— лучше бы проехать лес засветло, а то тут разбойники держат притон.

На опушке леса стояла изба со двором. Вывешенный шест с колом сена показывал постоялый двор: тут большая болховская дорога, ведущая к литовской границе, сходилась с новосильскою, по которой, миновавши Новосиль, ехал Кудеяр. Лошади были сильно притомлены. Кудеяр въехал на постоялый двор.

Вошедши в избу и помолившись, как следовало, образам, Кудеяр обвел глазами внутренность избы и увидел коренастого хозяина с лукавыми, не смотрящими прямо глазами и приземистую, худощавую хозяйку, а в углу, под образами, он увидел двух людей, одетых в одинаковые черные однорядки: один из них был рыжий, высокий, длинноли-цый, с большою бородой; другой — приземистый, смуглый, плотно остриженный, с четвероугольным обликом лица, узкими глазами и клочковатой бородой. Кудеяр в последнем узнал Урмана.

И Урман сразу узнал Кудеяра. Оба смотрели несколько минут друг на друга с вопрошающим выражением лица.

Наконец Кудеяр обратился к Урману по-татарски. Урман тоже ответил по-татарски.

Вслед за тем Урман сказал своему товарищу по-русски:

— Это наш давний добрый приятель. Если помнишь, тот, что был над нами головою, когда мы ходили с Адашевым на Днепре. Тогда его турки взяли обманом. Теперь, как видишь, он на воле.

Окул недоверчиво посмотрел на Кудеяра. Кудеяр разговорился с Урманом по-русски, стал ему рассказывать свою судьбу. Окул слушал со вниманием, но все еще посматривал на Кудеяра искоса.

Разбойники нарочно приезжали к хозяину постоялого двора, чтобы высмотреть, кто будет проезжать: они не нападали на проезжих на постоялом дворе, а, поговоривши с ними, показывали вид, будто они также проезжие, расплачивались с хозяином, уезжали заранее, а потом стерегли свою добычу в лесу. Хозяин поневоле потакал им из боязни, что если он станет им перечить, то они сожгут его дом или убьют его самого.

Рассказавши в общих чертах свою судьбу Урману, Кудеяр добавил, что едет в поместье за женой.

— Не пытайся напрасно, товарищ,— сказал Урман,— меня прежде расспроси; твоей жены нет там, и поместье не у нее, да и не у тебя.

— Где же она? Жива ли? — воскликнул Кудеяр.

— Может, и жива,— сказал Урман.— Слушай, как тебя взяли турки, мы воротились домой по царскому наказу. Я первый привез жене твоей горькую весть про тебя. Я дал ей совет: «Поезжай в Москву просить царицу. Пусть бы государь приказал списаться с турецким государем, чтоб твоего мужа выписать из неволи». Она поехала. А царица заболела, а потом и умерла. Твоя жена ходила и к тому, и к другому; ей все обещали, а ничего не сделали. Она поехала в поместье, живет, бедняжка, да ждет. Год ждет, другой ждет; опять поехала в Москву, стала просить то того, то другого. Ей опять обещали. «Ступай,— говорят,— в свое поместье и живи там, а муж к тебе приедет». Вот она ждет год, другой, третий, тебя нет... А тут вышла от царя опричнина; стали у помещиков поместья отбирать и другим давать. Будет тому без малого года два: взяли твою жену и увезли в Москву, говорят, отправили куда-то в монастырь жить, пока ты вернешься, а в какой монастырь, того мы не ведаем... А твое поместье дали какому-то новокрещеному татарину.

— И ты говоришь правду? — сказал Кудеяр.

— Бог убей меня на этом месте... С чего мне выдумывать. Ты давно у нас не был, так и не знаешь, что тут делается. Ты говорил про себя, а я теперь про себя скажу. Я не московского роду человек, слыхал ты, может быть, был на Казани царем Шиг-Алей: верный он был человек московским государям; мой отец у него жил и умер близ него, а меня сиротой оставил. Взяли меня русские люди, крестили и воспитали, а царь пожаловал меня поместьем. Чем не хорошо! Я женился на русской, жил с царского жалованья и верно служил его царскому величеству; вдруг ни с того ни с сего, ни за что ни про что отняли у меня поместье и велели с другими идти на вывод в немецкую новозавоеванную землю; все у нас хозяйство пропало, а нам и на дорогу-то не дали припасов, хоть голодом умирай; я так-таки женушку свою с дочушкой покинул, оттого что

кормить было нечем, и теперь не знаю, где они: говорят, к кому-то в кабалу пошли. И наши белевские, дети боярские, что их погнали в немецкую землю, свои семьи покинули, а иные и сами на дороге померли; а которые живы остались, все до одного бежали и стали жить в лесу в землянках, а есть надобно же что-нибудь, вот мы поневоле и на разбой пошли. Нас грабят, отчего же и нам не грабить других.

— Со мной хуже сталось,— сказал Окул.— У меня жена была больна, четвертый год с печи не вставала, а двое детей малых. От царя пришел указ отдать мое поместье опричному человеку царскому, прислано городничего выгнать меня с семьею. «Без мотчания,— говорит,— выступайте», а с ним новый помещик приехал, ременный кнут держит надо мною и кричит: «Выбирайтесь, по мне хоть на морозе околевайте»; а тут зима, жену чуть с печи стащу, дети ревут. «Поезжай в город»,— кричит опричник. Насилу одну клячонку дал с телегой жену да детей в город свезти. А крестьянишки мои, злодеи, тому рады, еще насмехаются над моей бедой; не без того, что иному затрещину в зубы дал, все сякие-такие дети припомнили. Только после уж, при новом господине об нас пожалели. А в городе собираются дети боярские, велено гнать в немецкую землю на вывод, и меня с ними. «Куда я жену дену?» — спрашиваю. А наместник говорит: «Куда хочешь». Я и покинул ее, больную, в городе. После уж я узнал, что наместник отослал ее в монастырь, а там ее кормили на дворе с собаками. Болезнь у нее была такая, что дух от нее шел такой; ее в келью не пускали. Так и померла. А я с двумя детками пошел пешком зимою в далекую сторону. Денег нет, хлеба не дают, разве Христовым именем выпросишь, а и то редко кто даст,— у самих людей мало было хлеба от неурожая. Дети не выдержали, померли от холода и голода, а мы бежали с дороги. Таких, как я, много по всей Руси. Чаю, кабы всех собрать, то и царская рать ничего бы с нами не поделала.

— Что, товарищ,— спрашивал Урман у Кудеяра,— хорошо у нас поводится? Каково потерпел Окул! Были и такие, что потерпели похуже Окула. У нас ватага человек сот две. Пришло их немало из одной вотчины и рассказывают: опалился царь на боярина их; самого боярина казнил лютою смертью, а потом поехал царь с опричниною в боярское село: село окружили, а народу велели выходить вон с женами и детьми, и старыми и малыми. Опричники

перво сожгли боярский двор, а дворню начали бить до смерти, мало не всех перебили, только разве какой успел убежать. Потом пошли по крестьянским дворам, все рубят: двери, столы, какая посудина была — все перебили, переломали; овец, лошадей, скот, птицу — все порубили, даже кошек и собак побили, а потом село зажгли и крестьянам сказали: «Идите куда хотите, хоть с голоду пропадайте; каков-де ваш боярин был, таковы и вы, такие-сякие дети». Да еще царь не велел другим людям принимать их и кормить. И половина их околела, особливо малые да хворые, оттого что в те поры был великий пост, время холодное, а прочие с голоду да холоду напали на одно село, берут насильно, что можно съесть и во что одеться; хозяева не дают своего добра, а те отнимают. Начали драться дубьем, и кулаками, и чем попало; опальные подолели и все село разграбили, и в такой задор вошли, что красного петуха по селу пустили и дотла сожгли. «Каково,— кричат,— нам было от царя-государя, таково пусть и вам будет! Мы потерпели, так и вы заодно с нами потерпите». Тогда из того же разоренного села были такие, что к ним же пристали,— прежде бились с ними за свое добро, а как у них все отняли и сожгли, так, значит, нет ничего, и жалеть не о чем. Пошли на другое село боярское, да уж на опричное, приказчика убили, двор боярский сожгли, а с крестьянами биться стали; дело было горячее. Человек с сотню положили: кого тут же насмерть прихлопнули, кому руки и ноги подломили, глаза вышибли, а из того села многие утеклецы прибежали в город Серпухов, дали знать губному старосте, и губной староста приказал скликать уездных людей. Тогда опальные и к ним приставшие люди видят, что не сладить им силою, побежали лесами в украинные города и пристали к нам. Теперь мы сидим в землянках и тем и живем, что кого на дороге ограбим либо на двор опричный нападем. Прежде были чуть не голые и босые, а теперь и одеты, и сыты, и конны.

— Ну, не повсякчас сыты,— сказал Окул.— Ино время голодная ватага с нас, атаманов, харчи спрашивает: «Корми братью,— говорят,— а то тебя съедим». Проезд был невелик в Литву от войны. А вот как теперь царь замирился с Литвою, стали торговые людишки ездить.

— И теперь двоих ждем,— сказал Урман.— Онамедни купец под огнем сказал: будет ехать из Киева купец, а с ним монах. Вот мы их и ждем.

— Так вы и монахам не спускаете? — спросил Кудеяр.

— Монахов? — прервал Окул.— Кого же нам и тормошить как не монахов. У кого деньги, у кого всякое добро, как не у них!

— Вот,— сказал Урман,— тебя так не тронут, ты полоненник.

— У тебя,— сказал Окул,— кони чуть ноги волочат от ханских даров. Был бы ты не полоненник, так не проехал бы. А у нас такой зарок исстари ведется: полоненника, который из полона идет, нельзя тронуть, хоть он груды золота вези,— он божий человек. Коли полоненника ограбить или убить, то нам самим удачи не будет,— так старые люди говорят. А монахов... Что они? Вот как бы монах или поп с ризой шел, с образами — ино дело.

— Погоди,— сказал Урман,— про то Бог весть, что впереди будет, может, и сам Кудеяр с нами заодно станет.

— Никогда с вами не стану,— возразил Кудеяр.

— А, чай, на нас пойдет, коли царь укажет? — спросил Окул.

— И на вас не пойду, царю служить не буду. Возьму жену и пойду в свою землю.

— Право слово не пойдешь на нас? — спросил Окул.

— Право слово не пойду, оттого что служить царю не стану,— ответил Кудеяр.

— А ты думаешь, тебя так с женой и отпустят подобру-поздорову? Когда придется бежать, к нам приходи. Мы тебя до границы проведем.

— Сам пройду,— сказал Кудеяр.— А вы сами зачем не уйдете в Литву?

— Боимся,— отвечал Окул,— царь напишет в Литву, что мы разбойники, а нас и выдадут как лихих людей.

В это время послышался топот лошадей.

— Приехали,— закричал Окул,— наша добыча приехала!

В избу вошло трое человек. Один низенький, горбатый, одет был в монашеское платье. Концы клобука, подвязанные под бороду, скрывали черты лица его. Другой был высокого роста, с остроконечным лбом, длинным носом и пугливыми глазами. Третий был работник. Хозяин-купец, давши ему приказание насчет лошадей, сел на лавку и, снявши мешок, положил возле себя, бросая кругом тревожные взгляды. Хозяйка предложила приезжим поужинать и поставила перед ними миску постных щей и ячменную кашу, так как была пятница. Купец достал из мешка водки,

выпил вместе с монахом и, ободрившись, стал заговаривать с присутствующими.

— Откуда едете? — спросил купец.

— Мы чужеземцы,— сказал Урман,— из цезарской земли едем в Москву по торговым делам.

— Чай, не в первый раз у нас,— спросил купец,— когда по-нашему говорить умеете.

— Живали подолгу,— сказал Урман и добавил, указывая на Окула,— русский человек, наш приятель.

Купец ободрился, начал говорить о торговле; вмешался в разговор монах и повел речь о киевских святых: оказалось, что он ездил с купцом на богомолье.

— Говорят, у вас под Белевым нечисто,— спросил купец хозяина.— Ребята пошаливают?

— Все это люди врут,— отвечал хозяин.— Было прежде немного... да губной староста переловил лихих людей и посадил в тюрьму. Теперь, благодарить Бога, хоть ночью один поезжай, никто пальцем не тронет.

— Тут, говорили, шалит какой-то Окул.

— Окул? — возразил Окул.— Уже недели две, как его повесили в Белеве.

— Слава тебе Господи! — сказал купец и перекрестился.

— Мы не боимся и света ждать не станем,— сказал Окул.— Теперь прохладно, лошадям легче ехать.

— Наши лошади утомились,— сказал купец.— Мы дождемся света. Да и вам чего спешить. Честный отче нам бы немного почитал: у него книжка есть, такая книжка умная, так в ней все хорошо написано, что как слушаешь, так слеза тебя прошибает.

— Нет, благодарим на добром слове,— сказал Окул.— Нам надобно спешить.

Он вышел из избы, а Урман по-татарски позвал в сени Кудеяра.

— Слушай, Кудеяр,— сказал Окул,— ты полоненник, путь тебе чист, но хлеба от нас не отбивай. Проезжим об нас не говори и в наше дело не мешайся, а не то — не прогневайся.

— Ты хочешь, чтобы я с вами был заодно,— сказал Кудеяр,— да еще пугать меня думаешь.

— Други, слушайте,— сказал Урман,— ты Кудеяру не перечь, а то у него сила такова, что он нас обоих в бараний рог согнет. А ты, Кудеяр, тоже рассуди. Купец и монах тебе не братья, не кумовья, у тебя свое горе, тебе надобно

жену достать, а как ты ее достанешь, Бог весть. Может, и мы тебе погодимся.

Кудеяр насупился, помолчал и спросил:

— Вы их хотите загубить?

— Нет, нет,— сказал Окул,— мы напрасно людей не бьем; мы его только облегчим маленько.

— Ну, делайте как знаете,— сказал Кудеяр.— Мое дело сторона.

— Ну, смотри и помни,— сказал Окул.— За это мы у тебя в долгу будем и, когда нужно, отплатим тебе всяким добром.

Кудеяр воротился в избу. Купец и монах, поужинавши, легли спать, а Кудеяр, полежавши немного, встал, рассчитался с хозяином, потом заплатил своему провожатому, все время не отходившему от лошадей, и отпустил его, сказавши, что теперь сам доедет до Белева; затем, оседлав и навьючив лошадей, пустился в путь по лесной дороге.

Проехавши верст десять и спускаясь в долину, он увидал огни: то был горящий костер, возле которого сидела толпа разбойников. Увидя проезжего, она бросилась на него с диким криком.

— Не тронь,— раздался знакомый Кудеяру голос Урмана.— Это едет тот полоненник, что я вам говорил об нем.

— Когда полоненник,— закричали из толпы,— то милости просим к нам хлеба-соли есть и винца выпить.

Напрасно Кудеяр отговаривался. Атаманы клялись ему отцом, матерью, что никто у него не возьмет нитки. Он сошел с коня и выпил предложенную ими чару вина.

— Слушайте, братцы,— сказал Урман,— это наш давний друг, старый товарищ; коли будет ему какова нужда, мы все ему в помочь будем, для того что он обещал нам на нас не ходить по царскому указу и царю не служить. Согласны ли на то, братцы?

— Согласны, согласны,— закричала толпа.

— Зачем тебе ездить к царю,— сказал один разбойник,— узнай только, где твоя жена. Мы ее достанем тебе и проводим обоих вас в Литву.

— А где мне узнать про то? — спросил Кудеяр.

— В Белеве должны знать,— сказал Окул.— Ты вот что, брат: поезжай в Белев да узнай, куда услали жену твою, а потом к нам приезжай, так мы вместе с тобою отыщем жену тебе.

— Ох, братцы,— сказал Урман.— Боюсь я Белева. Не было б тебе там того, что было в Ислам-Кермене!

— Живой не дамся другой раз в неволю,— сказал Кудеяр.

Простившись с разбойниками, Кудеяр садился уже на лошадь, как вдруг караульный из разбойников закричал: «Едут, едут наши!»

— Ступай с Богом, Кудеяр,— сказал Окул,— и про нас не забывай. А мы тебе в угоду купчишки не убьем.

— Разве только маленько огоньком подсмолим,— сказал один из разбойников.

Кудеяр поспешно поехал своей дорогой, и, когда поднялся на гору, до него долетели жалобные вопли купца и монаха и громкий хохот расправлявшихся с ними разбойников.

Проехавши еще верст десять, Кудеяр развьючил одну из лошадей, вырыл в лесу яму и зарыл в нее большую часть полученных от хана денег, золотых и серебряных вещей; заклал яму дерном и сделал пометку на дереве, отсчитавши от того дерева до клада десять дерев и вымерял между ними расстояние, затем пустил лошадь на произвол судьбы, а сам с другою вьючною лошадью поехал далее и через пять верст достиг Белева.

Остановившись в посаде на постоялом дворе, Кудеяр отправился к наместнику и поднес ему вышитый золотом халат и серебряный кубок. Наместник был в восторге, но когда наместник услышал, кто он таков, то произнес неопределенное восклицание и, пригласивши Кудеяра сесть на скамью, сказал ему:

— На поминках благодарим. О тебе, Кудеяр, прислана от царя-государя грамота, и, чай, такова писана не ко мне одному, а во все украинные города. Прочитай.

Он подал Кудеяру грамоту.

— Я не умею читать! — сказал Кудеяр.

— Так подьячий прочтет.

Позвали подьячего, и тот прочитал:

— «И буде Юрий Кудеяр прибудет к тебе в город и тебе б его, Юрия, ни часу не мешкав, отправить к нам, великому государю, в Александровскую слободу, наспех с провожатыми, дав ему провожатых человек десять и больше. А ему, Кудеяру, объявить, что он надобен нам, великому государю, для наших важных государских дел, и ему, Кудеяру, с теми провожатыми ехать к нам, никуда не заезжая и не останавливаясь нигде, а приехав в нашу Александровскую слободу, явиться к нашему ближнему человеку, князю Афоньке Вяземскому...»

— Слышишь,— сказал наместник,— садись на лошадь и поезжай.

Кудеяр стал было расспрашивать о своей жене, но наместник отговаривался, сказавши, что ничего о том не знает оттого, что сам приехал вновь.

Кудеяр сообщил, что разбойники напали на него и отняли от него вьючную лошадь, а на той лошади были самые богатые ханские подарки.

— Жалею о твоем горе,— сказал наместник,— пошлю служилых людей тех воров изловить и губному старосте велю написать, чтоб послал уездных людей на тех воров; а как тех воров изловят и животы твои у них обрящутся, в те поры все животы твои тебе отданы будут по расписке. А теперь ступай к царю с провожатыми.

IV. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА

Не раз случалось в истории, что незначительные поселения быстро обращались в многолюдные города с богатыми торжищами. Такой пример был и с Александровской слободой. Уже давно существовала она как заурядная дворцовая слобода, как вдруг царь Иван, вообразивши себе в Москве гнездо злодеев и заговорщиков, превратил слободу в царскую столицу. Царские любимцы волею-неволею заводили себе там дворы и деревянные дома; нигде в угоду царя не расточалось на Руси столько искусства резьбы по окнам, ґзымзам и столбам. Одна улица этой слободы, ведущая от рынка ко дворцу, приняла такой праздничный вид, какого не имела ни одна улица старой Москвы: все здесь было ново и не успело загрязниться. Улица была вымощена распиленными бревнами, положенными плоской стороной вверх; мостовая эта еще не успела подгнить и не угрожала пока ногам людей и лошадей, как это бывало во всех городах Московского государства. Прямо в конце этой улицы, под высокою башнею с большим образом на верхнем щите, глядели на путника главные ворота, а перед ними был мост, поднимавшийся и опускавшийся на цепях. Двор был окружен рвом в две сажени ширины и столько же глубины. На дне рва была вода. За рвом по внутренней стороне шел земляной вал, одетый с обеих сторон бревенчатыми стенами с шестью кирпичными башнями в два яруса. Посредине двора возвышалась и белела большая церковь с пятью вызолоченными куполами, а близ нее тянулись царские хоромы с высокою гонтовою кровлею,

размалеванные разными красками, с вышками, подзорами, с крыльцами, под круглообразными навесами и с четвероугольными окнами, которых карнизы были размалеваны снаружи затейливыми узорами. Много щегольства было приложено к этому деревянному зданию; но, несмотря на все желание разукрасить его, физиономия его заключала в себе нечто подавляющее, отталкивающее, как часто бывает, что дом, построенный хозяином по своему вкусу, мимо воли самого хозяина носит его характер. Окна царского жилища, глубокие, вдавшиеся внутрь, невольно носили в себе отпечаток чего-то таинственного, зловещего. Все в этом дворце, начиная от чванных труб на расцвеченной кровле до кирпичного подклета с чрезвычайно маленькими окошечками, снабженными железным переплетом, глядело как-то высокомерно и недружелюбно. За хоромами был недавно разведенный сад, а за садом длинное и низкое кирпичное строение, вросшее в землю, с железными дверями, куда нужно было входить несколькими ступенями вниз от уровня земли. Кровля над зданием была земляная. В этом здании было несколько отделений: оружейное, пыточное, с адскими орудиями мук, и тюрьмы; впрочем, тюрьмы были не только здесь, но и в башнях, и в пещерах, сделанных в земляном валу и даже в подклетях под самыми хоромами. Обширный царский двор был весь обстроен жилищами царских опричников и множеством служб. За валом, окружавшим двор, было два пруда, которые современники называли адскою геенною, так как царь топил там людей и бросал туда тела казненных, потому что рыбы и раки, поевши человеческого мяса, станут вкуснее и пригоднее к царскому столу.

Провожавшие Кудеяра служилые беглецы не покидали его ни на минуту, понимая, что везут к царю такого молодца, которому едва ли будет выход оттуда, куда он прибудет, но не отбирали у него оружия, так как об этом им ничего не было сказано. Кудеяр во время дороги мог не только уйти от них, но перебить их самих, если бы захотел употребить в дело свою необычную силу. Но то не было в его целях: без воли царя он не надеялся узнать о местопребывании своей Насти, притом же он все еще не вполне верил рассказам о свирепости царя и соображал, что царь оценит его видимую преданность, когда удостоверится, что он не хотел служить крымскому хану, у которого ему не могло быть худо, а предпочел воротиться на службу к христианскому царю.

Кудеяр прибыл, наконец, в страшную Александровскую слободу, доехал до ворот дворца. Караульные велели ему оставить лошадей и снять с себя оружие. Исполнивши приказание, Кудеяр шел пешком с непокрытою головою до главного крыльца и встретил здесь двоих людей, странно одетых. На них были монашеские, черные рясы из грубой шерстяной ткани, на головах скуфьи с клобуками, а из-под распахнутых ряс виднелись шитые золотом кафтаны, а за поясами кинжалы с богато оправленными рукоятьми.

— Я,— сказал Кудеяр,— прибыл по повелению его царского величества, великого государя-царя и великого князя всея Руси. Я, Юрий Кудеяр, вернулся из татарского плена на службу его царского величества. Мне велено сказать о себе князю Афанасию Вяземскому.

— Рады гостю дорогому и из далекой стороны. Я сам и есть князь Афанасий Вяземский,— сказал, приветливо улыбаясь, один из стоявших у дверей, человек лет тридцати, с темно-русой бородой и лицом, силившимся казаться добродушным.— Федя, пойди доложить царю-государю,— сказал он своему товарищу, парню лет восемнадцати, белокурому, румяному, с голубыми глазами, выражавшими наглость и бесстыдство.

Федор Басманов, царский потешник, побежал вперед, за ним пошел Вяземский, а за Вяземским медленно шел Кудеяр.

Они вошли в просторные сени с частыми окнами, в которых рядом с матовыми стеклами были вставлены цветные — голубые, красные, зеленые.

Через несколько минут вошел царь, сопровождаемый двумя любимцами, одетыми так же, как и Вяземский: один из них — невысокий, тучный, толстогубый, с серыми глазами, выражавшими смесь злобы с низкопоклонничеством; другой — высокого роста, статный, чернобородый, с азиатским лицом. Первый был Малюта Скуратов, второй — шурин царя, черкасский князь Мамстрюк Темрюкович. Сам царь одет был в желтый шелковый кафтан, из-под которого виднелся белый зипун; на голове у него была черная шапочка, саженная жемчугом, а на ногах высокие черные сапоги, шитые серебром. Трудно было узнать в нем того царя, которого некогда видел Кудеяр,— он весь высох и пожелтел; щеки впали, скулы безобразно выдавались вперед. На бороде не было ни одного волоска, из-под шапочки также не видно было волос; глаза его страшно и как будто непроизвольно бегали из стороны в сторону,

губы дрожали, голова тряслась. Он шел сгорбившись, переваливаясь с боку на бок и опираясь на железный посох. Физиономия его была такова, что, увидавши ее в первый раз, трудно было решить: пугаться ли этой фигуры или расхохотаться при ее виде.

— Здорово, здорово, Кудеяр,— сказал царь, подходя к нему и расширяя свои дрожащие губы в виде улыбки.— Ну, как поживает наш брат, бусурман Девлет-Гирей, хан крымский, твой государь. Ты...— как это?..— приехал к нам править посольство от него.

— Я приехал,— отвечал Кудеяр, поклонившись до земли,— из бусурманского полона на службу к тебе, моему великому государю.

— Какой я тебе государь! — сказал царь.— Ты приезжал ко мне когда-то с собакою Вишневецким, а Вишневецкий, присягнувши нам на верность, убежал от нас с своим казачьим собацким обычаем. Мы узнали, что его в турской земле за ребро на крюк повесили. На здоровье ему!.. И его казачью туда дорога — и ты бы себе пошел за ними... Ха, ха!

— Великий государь,— сказал Кудеяр,— ты пожаловал меня милостями, поверстал поместьями на своей земле и в свои служилые люди велел меня записать. Я твой раб, и, кроме тебя, единого православного царя, у меня нет государя. Волен ты, великий государь, делать со мной что угодно. Твой царский указ был мне объявлен, чтобы я прибыл и явился перед твои ясные очи.

— Мой указ, мой указ,— говорил царь,— ты из Крыма челобитье мне послал, просил, чтоб тебе приехать в мое царство. Ну, говори теперь, зачем тебе в мое царство? Ты соглядатаем сюда приехал от нашего прирожденного недруга, крымского хана. А? Бусурман писал к нам, что ты ему живот и царство спас. А мы послали тебя в поход не царство его спасать, а царство его темное воевать. Так ты, исполняя наш указ, вместо того, чтобы воевать крымского хана, стал спасать ему живот и царство...

Кудеяр попытался было изложить случай, по которому он оказал услугу хану, но царь перебил его и сказал:

— Ты думаешь, я ничего этого не знаю; твой господин Акмамбет, которого ты, как неверный раб, предал, прибежал к нам и про все нам поведал; он принял у нас христианскую веру, и мы ему пожаловали поместье, что прежде за тобой было справлено, для того, что он, заплативши за тебя деньги, потерял их, да и вотчину свою через

тебя утратил в Крыму. Так мы и пожаловали его за то, что он понес убыток через тебя, раба лукавого и ленивого.

— Твоя воля, великий государь,— ответил Кудеяр,— я рабом у него прирожденным не был, а всегда был и остаюсь теперь рабом твоим, великий государь. Акмамбет хотел своего прирожденного государя убить, а я, будучи верен своему государю, думал, что и другие все должны быть верны своим государям, для того что коли б я узнал, кто неверен моему великому государю-царю и великому князю всея Руси, то не то что был бы он мой господин, а мой родной отец, то я и того бы не пожалел за здоровье моего государя.

— Молодец! молодец! — в один голос произнесли и Малюта, и Вяземский, и Басманов, а Мамстрюк издал какой-то неопределенный, дикий, но одобрительный звук.

— Ты хорошо говоришь,— сказал царь,— а у меня много злодеев, больше, чем у крымского хана: бояре-изменники изгнали меня из столицы, где царствовали мои предки и где покоются телеса их; я сиротою скитаюсь по лицу земли, а они все не оставляют меня в покое, как львы, рыкают, алчут моей крови, хотят все мое семя царское истребить. Злой умысел составили: меня вместе с сыном лишить престола и отдать недругу моему, Жигимонту-королю. С крымским ханом в уговор вошли, чтобы он пришел с ордою и меня из земли моей выгнал... Хотели посадить на моем престоле своего брата, подлого раба, моего конюшего. Но Бог не допустил их до того не по грехам нашим, а молитвами святых заступников церкви и державы Российской! Вот каково деется у нас. Ты давно не был у нас в земле и ничего того не знаешь.

— Меня,— сказал Кудеяр,— бусурман хотел наградить поместьем, чтоб мне и потомству моему была вечная льгота, позволял и церковь построить по нашей вере, а я сказал ему: лучше черным хлебом буду кормиться по воле моего христианского государя и умру на его службе.

— Напрасно не согласился,— сказал царь,— может, тебе там и лучше было бы, чем у нас будет. Ну, а все-таки, сказывай, бусурман, отправляя тебя, дал тебе на дорогу чего-нибудь, а?

— Он дал мне денег и разного узорочья,— сказал Кудеяр.— Но под Белевым напали на меня разбойники и отбили одну лошадь с ханскою казною. А теперь у меня осталось меньше половины того, что хан мне дал.

— Ой, не врешь ли ты? — сказал царь.— Может, где-нибудь в лесу зарыл: как же ты, такой силач, что с медведями боролся, а не мог отбиться от разбойников?

— Я отбился от них, жив остался,— сказал Кудеяр,— только лошади одной не мог отбить для того, что много их было, а у них огненный бой.

— Ну, а что хорошего, самого лучшего из ханских даров у тебя осталось? — спросил царь.

— Все здесь со мной привезено, а дороже всего сабля булату дамасского, рукоять у ней с камнем самоцветным, смарагдом зело великим и с цепью золотою.

— Покажи,— сказал царь.

Пошли за саблей. Царь продолжал:

— А вестно ли тебе, что ханские лиходеи говорили на нас безлепишные речи, будто мы их научали на убийство хана?

Кудеяр отвечал:

— Я был во дворце ханском как бы в неволе, и ничего мне не говорили, только уж когда хан отправлял меня, то сказал: «Мои лиходеи наговаривали на царское величество, но я их речам не верю; только то,— говорит,— мне кручинно, что государь моего недруга Акмамбета у себя держит». Таково слово мне хан сказал, а более того ничего не говорил.

— Ему-то кручинно? А он сам зачем моих недругов принимал и с боярами-изменниками ссылался? Акмамбет теперь крещеный человек — нова тварь, а крещение — второе рождение. Мы подарили ему твое поместье, только ты, Кудеяр, на нас за то не кручинься. Мы пожалуем тебя паче прежнего.

Кудеяр поклонился царю до земли.

Принесли саблю. Царь разглядывал ее и хвалил. Любимцы также хвалили саблю.

Кудеяр еще раз поклонился и сказал:

— Великий государь, пожалуй меня, холопя своего, позволь мне челом ударить тебе, государю, этой саблей.

— Спасибо, Юрий,— сказал царь ласково.— Вяземский, отнеси эту саблю в оружейную. Чай, она там не последняя спица в колеснице будет. Ну, Кудеяр, чего бы ты от нас хотел?

Кудеяр поклонился до земли и ответил:

— Великий государь, смилуйся надо мною, холопом твоим, вели видеться с моею законною женою.

— А! вот он чего захотел! — сказал царь, засмеявшись.— Вот о чем он паче всего думает! Он, верно, затем

и ко мне приехал, что жена его оставалась здесь, у меня в руках, на моей воле. А где она, он не знал и теперь не знает! Без этого и ворон костей его не занес бы сюда. Ой казак, казак! ты думаешь провести нас: жену твою мы тебе отдадим, а ты с нею уйдешь от нас к своему приятелю, Девлет-Гирею, либо к королю Жигимонту-Августу да на нас будешь зло мыслить.

— Царь-государь,— сказал Кудеяр,— буду служить тебе единому до последнего издыхания и никуда не уйду от тебя. Какой тебе угодно искус на меня положи.

— Искус-то я положу на тебя,— сказал царь,— да как-то ты его вынесешь. Люди знатных княжеских и боярских родов нам изменяют, так мы близко себя держим людей худородных, от гноища сотворихом себе князи, от камения чада Авраамли. И тебя возьмем близко к нам. Какой твой род? Кто твои прародители? Чай, лапти плели или свиней пасли? А вот мы тебя возьмем в наши опричные, и ты будешь каждый день наше лицо видеть.

— Челом бью на такой великой милости,— сказал Кудеяр и поклонился до земли.

— Но ты,— сказал царь,— может быть, думаешь, что эта великая милость достается даром? Нет, казак, даром ничего не дают. Афонька, скажи ему, как нужно быть у нас в приближении.

Вяземский сказал:

— Достоит тебе дать присягу или паче клятву служить государю до последней капли крови и до последнего твоего издыхания, царя любить паче всего, паче жены и детей, паче отца и матери. Писано-бо: аще не возненавидит отца своего, и матерь, и жены, и чад, и всех сродников мене ради, несть мене достоин. Сие потребно и для истинного, нелицемерного слуги царского. Коли б тебе государь-царь сказал: убей отца своего, или мать свою, или жену, или детей — соверши царское повеление, не размысливши в сердце своем. Кто царю недруг, тот и тебе лютый враг. Аще царский недруг придет к тебе хладен, гладен или наг и ты дашь ему одежду, или укрух хлеба, или чашу воды — повинен еси лютой смерти. Достоит тебе повсюду смотреть и слушать: не говорит ли кто про царя непригожие речи, не глядит ли кто исподлобья, когда его высокое имя произносится... Ищи царских недругов, как гончий пес ищет зверя, терзай царского врага, аки тигр лютый. Попа, в ризах облаченного, но зло царю мыслища, не убойся, старца, сединами убеленна, не пощади, младенца ссущего, отродие

изменническо, не пожалей. Вот что значит быть верным, истинным слугою царским.

— Буду так творить, как царю-государю угодно,— сказал Кудеяр.

— Будешь,— сказал царь, захохотавши,— теперь ты нам все обещать будешь, а как жену свою возьмешь, так и станешь помышлять, как бы от нас утечь вместе с нею. Знаю и вижу, что у тебя на уме! Но ты сам сказал нам: какой нам угодно положить на тебя искус. Хорошо. Я на тебя положу три искуса один за другим. Коли все три выполнишь, так будешь у нас в великом приближении. Жена твоя не должна быть тебе дороже нас, помазанника божия. Слышишь!

— Буду все творить по твоему повелению,— сказал Кудеяр.

— Поместите его у меня во дворце с прочими опричными,— сказал царь.— Перво он увидит, как у нас Богу молятся, а потом я ему дам первый искус. Через день — другой искус, а там, через день или два,— третий.

Кудеяра отвели в двухэтажный дом, с переходами внизу и наверху. В этом доме помещались царские опричные люди. Кудеяра ввели в один из нижних покоев; за ним внесли его пожитки. Покой был перегорожен надвое, кругом были лавки; в углу висел, над медною лоханью, умывальник, наподобие чайника, с двумя носками. В покое уже был жилец, опричник, из детей боярских, Дмитрий Зуев. Он рассказал Кудеяру, что во дворце у государя как бы монастырь; всякий должен носить, поверх мирского одеяния, монашеское, соблюдать иноческие уставы и правила, ходить к заутрене, обедне и вечерне и обедать за царским столом, как бы за монастырскою трапезою. Они должны были в угоду царю творить расправу над царскими недругами. Много стало,— говорил Зуев,— изменников, и они довели царя до грозы. Прежде наш государь был милостив зело, и было велие от того послабление, и того ради он стал грозен, как гром небесный. Тела казненных не погребают, а псам бросают или в пруд повергают, а редкий день обойдется, чтобы казней не было. Кудеяр слушал, и у него самого едва язык ворочался; на него нашло какое-то одурение. Его могучая натура переживала роковые минуты нравственного перелома: против собственной воли ему казалось, что он стоит на краю бездонной пучины, откуда выглядывает отвратительное чудовище.

Раздался благовест к вечерне. Кудеяр пошел вслед за

Зуевым. В просторной церкви, блиставшей обильною, еще не потускневшею позолотою, стояла толпа любимцев, с клобуками на головах; впереди сам царь, также в монашеском одеянии, возле него старший сын, черноволосый парень, с злым выражением глаз. Царь бил поклоны, ударяя лбом о пол, так что по церкви раздавался отголосок; любимцы старались подражать ему, и Кудеяр делал то же.

После вечерни все пошли в царский дом, где в сенях накрыт был стол. День был постный; подавали рыбное кушанье; сильно приправленное перцем и шафраном. Пили в изобилии вино. Царя не было. Повечерявши, все снова пошли слушать повечерие, а потом разошлись,— одни в свои кельи, а другие по разным царским поручениям.

В полночь раздался благовест.

Кудеяр, со своими товарищами, отправился в церковь. Князь Вяземский, в звании параклисиарха, зажигал и тушил свечи, клал угли в кадило, а царь очень медленно читал шестипсалмие и кафизмы. После первого часа все ушли в келью, но скоро потом заблаговестили к часам и к обедни. Царь всю литургию стоял, поднимая глаза к небу и испуская громкие вздохи, на ектениях за каждым «Господи, помилуй» бил земные поклоны, но во время херувимской Малюта Скуратов подходил к царю, и царь, с выражением злобы на лице, отдавал ему какие-то приказания: впоследствии Кудеяр узнал, что это были распоряжения о назначенных на этот день казнях.

По окончании литургии все пошли в трапезу, и, когда любимцы сидели и молча ели, царь с возвышения читал им житие преподобного отца, которого память приходилась на этот день и который отличался большим постничеством, а между тем за столом было множество кушаньев и все напивались вдоволь. После обеда, выйдя из-за стола, все подошли к другому столу, пили из одной серебряной чаши так называемую чашу богородицы и пели «Достойно есть».

По выходе из трапезы Кудеяр с Зуевым отправились в свою келью, как вдруг раздался трубный звук.

— Это значит,— сказал Зуев со вздохом,— приспе час суда и кары.

Служитель позвал Кудеяра к царю...

Кудеяр, по приказанию царя, отправился в длинное каменное строение, входившее в землю. Там, в огромном длинном покое, освещенном в верхней части одной стены маленькими окнами с железным переплетом, Кудеяр увидал огромные сковороды, в рост человеческий, орудия вро-

де кошачьих когтей, привязанных к ремням, пилы, большие иглы и гвозди, какую-то сбитую из досок стенку, усеянную гвоздиками острием кверху. В углу топилась огромная печь. Пол был весь измазан кровью. Посредине залы стоял трон. Царь с сыном сидели на лавке, прямо против трона; за ними стояла молчаливая толпа любимцев.

Из противоположной двери вывели старика, высокого роста, лысого, с клинообразною седою бородою, бледного, изможденного; его голубые глаза смотрели прямо и бодро; на лице было выражение выстраданной решимости и равнодушия к ожидаемой участи. Сзади его шла старуха в черном летнике, с глазами, обращенными к небу; в них не видно было слез; она встала на колени, сложила накрест руки и шептала молитвы.

Царь, обратившись к старику, сказал:

— Конюший Иван Петров! Ведомо нам учинилось, что ты, забыв Господа Бога и наше превеликое к тебе жалованье, вместе с единомышленниками своими, призвав на помочь недругов наших, Жигимонта-Августа, короля польского, и Девлет-Гирея, хана крымского, хотел нас, прирожденного государя, свергнуть с прародительского престола и погубить со всем нашим царским семенем, а сам думал сесть в Москве на царстве. Завиден показался тебе наш престол, захотелось тебе посидеть на нем. Ныне мы, по нашей царской милости, сделаем тебе угодное, посадим тебя на престол. Наденьте на него царский наряд.

Старик ничего не говорил и не противился, когда на него одевали царское облачение.

— Садись,— сказал царь,— бери в одну руку державу, в другую скипетр.

Старик повиновался.

Иван Васильевич поклонился ему до земли и сказал:

— Здравствуй, царь и великий князь всея Руси. Посмотрите на него: правда, хорош! Что же ты сидишь, словно на образе написанный? Поверни головою вправо, влево, поведи бровями грозно, достойно... Ну, я тебя посадил на престол, я тебя и свергну с престола.

С этими словами царь ударил его кинжалом в грудь. Старик упал, заливаясь кровью. Опричники бросились на полумертвого, кололи, топтали ногами, потом поволокли труп к растворенным дверям, за которыми виднелась стая собак на привязи у псарей. Собакам умышленно перед тем долго не давали есть, и они от голода выли.

— Псам его на съедение,— сказал царь.

Опричники выбросили труп; собаки накинулись на него, и двери затворились.

Старуха во все продолжение этой сцены не пошевелила головою, продолжала держать глаза обращенными кверху и шептала молитву.

— А вот и царица его,— сказал царь,— Кудеяр, задуши своей железной рукой эту царицу всея Руси.

Старуха не изменилась в лице, продолжала смотреть кверху и шептала молитву.

Услышав повеление, Кудеяр сначала от ужаса отшатнулся, но в голове у него пробежало такое рассуждение: если он не погубит старухи, другой погубит ее, царь не спустит ему, и он не увидит своей Насти. Он бросился на старуху, сдавил ей горло, и она мгновенно лишилась жизни.

— Молодец! — сказал царь.

— Молодец! — повторили любимцы.

Ввели другого старика, несколько моложе прежнего, но его ноги чуть двигались. Он был в черном платье, глаза его были опущены, голова клонилась на грудь.

Царь сказал:

— Князь Петр Щенятев! Каково спасаешься? Ты хотел идти в монастырь и постричься, думал тем избежать праведного суда моего, вот же не ушел! Не довелось тебе, обманывая мир, сидеть в монастыре в тепле и холе да есть монастырских карасей, запиваючи вином,— вот я из тебя самого сделаю монастырского карася.

Опричники бросились на князя, сорвали с него платье, обнажили, потом схватили за голову, руки и ноги, положили на сковороду и сунули в горящую печь. Раздались ужасные крики. Царь повернулся спиною к печи.

Ввели высокого человека с клочковатой бородкой, средних лет. Подле него шла женщина с растерянным выражением лица и парень лет семнадцати.

— Батюшка-царь, смилуйся,— говорил введенный,— ей же Богу, не лгу, оговорили меня напрасно... никогда ничего не брал. Государь, земной Бог, помилуй,— и кланялся в землю.

— Царь-государь, помилуй,— вопила женщина и била поклоны.

За нею парень молча кланялся.

Царь сказал:

— Казарин-Дубровский, ты, забыв свою крестную присягу, учинил против нас воровство, мимо нашего указу отпустил со службы детей боярских, взявши с них посулы,

а то учинил ты, норовя недругу нашему Жигимонту-Августу, и за то довелся ты лютой казни.

— Батюшка-государь! — сказал Казарин-Дубровский.— Виноват я в одном, что отпустил десять душ, давши им выписи, не за посулы, а по их просьбе, что они сказались больны и к ратному делу негодны, а чтоб я то делал, норовя твоему недругу, того и на уме у меня не было.

— Лжешь, пес,— закричал царь.

— Батюшка, кормилец! Бог милосердый, пощади! — кричала женщина, валяясь у ног царских.

По царскому приказанию опричники притащили стенку с гвоздями и привязали к ней раздетого Казарина спиною, а по груди, животу и рукам водили зажженым трутом. Раздражающие крики страдальца покрывали замирающие стоны и вопли жарившегося в печи Щенятева.

Царь сказал:

— Кудеяр, и ты, Мамстрюк! Лупите до смерти кошками жену и сына Казарина перед его глазами. Истребляйте собачье отродье.

На женщине разорвали одежду от затылка до пят, связали руки и ноги и положили ее на пол. То же сделали с парнем. Кудеяр со всей силы бил кошками женщину, Мамстрюк — парня, а другие опричники переворачивали их то грудью, то спиною вверх. И так били их, пока они не лишились жизни.

Затем ввели целую семью: отец, низкорослый, сутуловатый, с русой окладистой бородкой, с короткой шеей, с глазами навыкате, в которых сквозь страшный испуг пробивалось выражение хитрости; близ него немолодая жена со смуглым толстым лицом, две дочери-подростки, с заплаканными глазами, бледные, как полотно, и двое ребятишек, которые ревели и утирали слезы кулаком, не понимая, что с ними делается.

Царь сказал:

— Хозяин Тютев! Был ты пожалован нами: велено быть тебе у нашей государевой казны, и ты, забыв Господа Бога и святую его заповедь и наше великое жалованье, учал нашу казну воровать и корыстоваться с соумышленниками своими, и хотели нашу казну передать Жигимонту-Августу и крымскому хану, чтоб им нас, государя, свергнуть с нашего прародительского престола. Думал ты, диавол-сосуд, обогатиться и пожить в лакомстве и довольстве, забыв, что кто не в Бога богатеет, тот сам себе уготовляет в сем

мире кару от земного владыки и на том свете мучим будет вечно; и за то ты довелся лютой казни!

— Во всем твоя воля, государь,— сказал хозяин Тютев,— ты наш Бог земной, а мы рабы твои; благодарить за все тебя должны, и за милость, и за казни.

Он поклонился царю в землю.

Жена кланялась в землю и вопила о пощаде, но от страху не могла произносить связно слов. За нею кланялись дочери, а ребята с плачем ползали по земле.

— Вот, мы начнем с дочерей твоих,— сказал царь.— Повесьте их вверх ногами и распилите пополам.

Пока опричники исполняли повеление, царь, близко подойдя к стоявшему на коленях Тютеву и указывая на терзаемых дочерей, говорил:

— Смотри на муки и на срам рождения твоего! Вот что бывает неверным и лукавым рабам: не точию они, но и семя их проклятое муку примет за них, ничем не согреша.

Мать в беспамятстве бросилась к дочерям, с которых струилась потоком кровь. Мамстрюк сильною рукою оттолкнул ее.

— Ребят малых в печь! — заревел царь.

Женщина совершенно потеряла рассудок, понесла бессмыслицу, в которой слышались проклятия.

— А! она еще языком ворочает,— сказал царь,— вложите ей веревку в рот и раздерите его до ушей, а ты, Кудеяр, коли ее иглою.

Опричники исполнили приказание царя, а Кудеяр колол женщину огромною иглою по всему телу.

— Довольно,— сказал царь,— забей ей гвоздь в темя.

Кудеяр исполнил царское приказание, а вслед за тем двое опричников держали за руки хозяина Тютева, двое раскрыли ему рот, а Мамстрюк, по царскому приказанию, из глиняного горшочка влил ему в рот расплавленного олова.

— Полей, полей горяченького сбитеньку! — говорил царь.

Хозяин Тютев упал, испустивши глухой крик, и несколько минут метался по полу. Царь любовался его судорогами.

Все наконец замолкло. Ввели красивого черноволосого человека лет двадцати пяти. Рядом с ним вели пожилую женщину, которой правильные черты лица и большие черные глаза выказывали былую красоту. Она глядела смело и держала голову так высоко, как будто шла принимать подарки.

Царь сказал:

— Князь Борис Тулупов, ты забыл Господа Бога и, презрев наши великие к тебе и твоему роду милости, хотел убежать из царства нашего к недругу нашему Жигимонту-Августу по стопам изменника нашего Курбского, и твоя мать была тебе в том помощница. Но Бог вашу измену открыл, и ты пойман на пути вместе со своею матерью, и за то ты довелся лютой казни. Посадить его на кол!

— Царь-государь,— сказал осужденный,— я тебе не изменял, а из твоего царства хотел бежать от великой кручины, что ты, царь-государь, на нас напрасно гневаешься и свою царскую опалу кладешь на нас без всякой нашей вины. Собаку напрасно бить начать, так и та со двора сбежит. Ныне я под твоею рукою. Твори с нами, что хочешь. Есть судья над тобою: Бог на небе. Он воздаст тебе за всех нас.

Тулупова посадили на кол.

— Ты не царь,— крикнула мать,— ты дьявол, ты зверь лютый. Мучь нас, терзай. Будь ты проклят от Бога. Погибнешь ты сам и весь твой кровопийственный род...

— Ха, ха, ха! — закричал царь Иван.— Княгиня, у тебя язык настоящий бабий! Ты, видно, женщина шутливая, я тебе и задам веселую смерть. Защекотать ее до смерти. Кудеяр, начинай ты.

Тяжелая работа выпала на долю Кудеяра. Княгиня металась во все стороны около сидевшего на колу сына. Кудеяр бегал за нею. К нему присоединились и другие. Княгиня отмахивалась, вскрикивала, дико хохотала, наконец упала без чувств. Ей дали отдых. Придя в себя, она приподнялась, бросилась к сыну, но опричники поймали ее, повалили на пол и щекотали до смерти.

Царь несколько минут тешился этой сценой, потом дал знак, чтобы ему приводили других. Ввели одиннадцать человек дворян, обвиненных в соумышлении с казненными вельможами. Царь приказал всех их раздеть донага; пятерых велел перед своими глазами облить кипятком, но при этом досталось и двум опричникам, исполнявшим царское приказание; они нечаянно плеснули кипятком на себя, и царь, увидя это, смеялся. Троим из осужденных отрубили руки и троим — ноги и, постегивая тех и других кнутом, заставляли первых бегать, а вторых ползать, пока они не лишились чувств от сильной потери крови; тогда царь приказал Кудеяру покончить их ударами кулака в головы.

Царь, обратившись к опричникам, громко спросил:

— Праведен ли мой суд?

— Праведен, государь,— закричали опричники,— как суд божий.

— Праведен ли мой суд? — спросил царь Кудеяра.

— Праведен,— сказал Кудеяр, а на душе у него было так скверно... Он чувствовал, что опустился в такую яму, из которой выйти уже нет возможности. Он ненавидел царя, презирал себя, но желание увидеть жену преодолевало в нем все.

— Довольно пока,— сказал царь,— время к вечерне.

Все вышли, оставивши в пыточной лужи крови, обгорелые изуродованные трупы, дым, удушающий смрад и одно еще живое существо — Тулупова на колу, в страшных муках смотревшего на лежавшую у ног его мертвую мать.

Ударили к вечерне. Опричники, как и прежде, клали поклоны, а царь с умилением читал псалом: «Благослови душе моя, Господи!» После ужина и повечерия царь приказал позвать Кудеяра.

— Садись,— сказал ласково царь Кудеяру,— садись да расскажи нам про свои похождения; чай, немало ты, бедный, горя претерпел, зато много диковин видел.

Кудеяр начал рассказывать свое странствование. Царь слушал со вниманием. Когда Кудеяр говорил о той муке, какую он терпел в кафинской тюрьме, царь прерывал его вздохами и восклицаниями: «Ах, злодей! ах, лютые человекоядцы!»

Кудеяр воспользовался таким благодушием царя и заговорил о своей жене.

— Бедная! как она горевала по тебе!

— Царь-государь,— сказал Кудеяр и бросился к ногам царя,— яви отеческую милость. Буду за тебя век Бога молить! Кровь пролью за тебя, государя моего! Дозволь мне видеть жену мою.

— Увидишь, увидишь,— сказал царь.— Потерпи немного. Вот один искус тебе уже был. Будет другой. Исполнишь — будет третий, тогда и жену увидишь. А теперь рассказывай дальше.

Кудеяр продолжал свою повесть, и, когда кончил, государь приказал дать ему стопу крепкого меда и сказал:

— Ступай, Кудеяр, отдыхать. Ты сделал большой путь к нам и сегодня — таки потрудился. Завтра тебе опять работа будет. Ступай, Господь с тобой.

Отпустивши Кудеяра, царь позвал к себе немецкого пастора Эбергарда. Этот пастор из пленных ливонцев, выучившийся замечательно хорошо по-русски, был однажды призван царем и так ему понравился, что царь неоднократно призывал его к себе по вечерам, дозволял ему смело хвалить аугсбургское исповедание, осуждать по всем правилам лютеранского мудрословия монашество, даже касаться умеренно почитания икон, соблюдения постов и т. п. Православный царь сам вольнодумствовал с немцем, что так противоречило тому монастырскому обиходу, какой царь завел у себя в слободском дворце. В то время царь был недоволен митрополитом Филиппом, и ему хотелось, чтоб церковь не только не противоречила ему, но находила хорошим все, что ему вздумается делать. Хитрый немец выставлял ему свое лютеранство такою религиею, где царь может быть безусловным, непогрешимым государем церкви, где нет ни митрополитов, ни архиереев, поставленных, по преданию, от Христа, а есть только такие служители алтаря, которые за собою не имеют другого достоинства, кроме того, какое им даст верховная светская власть. В этом-то и заключалась вся тайна, каким образом подделался немецкий пастор к московскому царю. Все удивлялись Эбергарду, которого положение напоминало положение смельчака, усевшегося на краю жерла огнедышащей горы. Милостивое обращение царя с пастором не спасало до сих пор единоверцев и земляков пастора от царских мучительств. Не раз царь, для потехи, приказывал убивать перед своими глазами немецких пленников или отдавал на продажу в Крым. Эбергард никогда не ходатайствовал за опальных, не надоедал царю просьбами о своих земляках, напротив, всегда говорил царю, что все его поступки исходят от воли божией, и если царь бывает грозен, то это значит, что Бог карает людей за их прегрешения. Умел, как подобало лютеранскому пастору, толковать на все лады тексты Святого Писания: Эбергард приводил их и объяснял в пользу беспредельности царской власти так удачно, как не сумел бы ни один православный мудрец того времени. Такою угодливостью и покорностью Эбергард надеялся мало-помалу расположить царя к немцам. В этот вечер Эбергарду казалось, что он приблизился к своей цели: царь до такой степени признавал превосходство немцев перед русскими, так ласково обещал покровительство и безопасность для них в своем государстве, как будто для немецкого племени в Московской стране наступала новая, счастливая эпоха.

На другой день, после заутрени, двое опричников объявили Кудеяру, что он должен ехать с ними в Переяславль;

Кудеяр поехал верхом с двумя только опричниками. В поле его воображению невольно представилась возможность бежать из проклятого московского пекла, но он отогнал от себя эту мысль, вспомнив, что Настя в руках у мучителя.

Кудеяра привезли в Переяславль и поместили в наместничьем дворе. К вечеру того же дня приехал царь в карете с Мамстрюком, Вяземским и молодым Басмановым, провожаемый верховым отрядом опричников. Царь поместился в особом дворце, нарочно построенном для его приезда близ наместничьего двора.

На другой день царь отслушал обедню в переяславльском соборе и вкусил «богородицына хлебца», а потом, ставши вместе с любимцами на переходах, окружавших внутренность верхней части дворца, построенного на низменном подклете, велел подозвать ко дворцу Кудеяра. Царь ничего не сказал Кудеяру, когда он явился, но, обратившись к своему шурину, дал ему такое приказание:

— Вон в той башне сидят шестнадцать немецких полоненников; прикажи снять с них цепи и привести сюда, а вы,— прибавил царь, обращаясь к наместничьим людям,— затворите все городские ворота.

Через несколько минут Мамстрюк вывел из башни шестнадцать человек, бледных, изможденных, едва волочивших ноги от боли, причиненной им только что снятыми с них кандалами.

— Немцы,— сказал царь,— я жалую вас, освобождаю от неволи и отпускаю домой. Понимаете, немцы.

Из немцев только один понимал немного по-русски и передал царское слово землякам на их языке. Все подняли вверх руки и закричали: «Hoch lebe!»

Царь, указывая на ворота, дал знак немцам, что они могут уходить. Немцы поклонились царю до земли и повернулись с тем, чтобы идти. Тогда царь крикнул: «Кудеяр, бей этих нехристей!»

Кудеяр бросился за немцами и ударами кулака в спину убил двоих, одного за другим. Остальные, не понимая, что с ними делается, пустились бежать, насколько позволяли им больные ноги. Кудеяр догнал их и еще положил двоих. Двенадцать остальных немцев, спохватившись, бросились на Кудеяра, но Кудеяр схватил одного из них за ноги, начал им бить немцев, свалил с ног двоих, потом, бросив оземь уже умершего немца, которого держал в руках, схватил другого, размахнул им, как и первым, и уходил еще двоих. Остальные шесть немцев, добежавши до ворот, уви-

дали, что ворота заперты, пустились вдоль стены искать выхода; Кудеяр забежал им вперед, свистнул в висок одного, другого... Четверо прочих уже не защищались, бросились на колени и просили пощады, произнося: «Jesus». Кудеяр побил их своим могучим кулаком. Шестнадцать трупов лежали трофеями его силы и покорности царской воле. Кудеяр воротился к царю и молча, с непокрытою головою, стоял у крыльца царских хором.

— Молодец,— сказал царь и приказал подать Кудеяру стопу меда, а трупы немцев побросать в озеро. Вслед за тем царь обедал у себя во дворце с любимцами, а Кудеяру принесли обед с царского стола. После обеда царь выехал и приказал следовать за своею каретою Кудеяру, но не на своем татарском коне, а верхом на быке.

«Господи! — думал Кудеяр, едучи на быке.— Каково мне горе послано! Столько людей безвинных побил, а теперь какой срам терплю! Все за тебя, моя Настя, все для того, чтобы тебя увидеть». И стал он мысленно утешать себя: вот уже два искуса он совершил, будет еще третий, а как третий совершит, царь будет доволен и отдаст ему Настю, а он переоденет ее и уйдет с нею в Украйну. О, какое будет счастье, когда он вырвется из проклятой Московщины! Как он заживет вдвоем с Настей в ее батьковском хуторе! Довольно он уже повоевал, пора в мире пожить хозяином; да и с кем воевать. На татар он не будет нападать, пока его друг и благодетель царствует в Крыму. Разве сами нападут, тогда иное дело! На Москву разве пошлют, но он наймет вместо себя наймита; на его век с Настей хватит того, что ему хан дал, а если в Украйне ему почему-нибудь станет нехорошо, так он махнет к своему другу Девлету: ведь обещался он дать ему поместье в Крыму.

Так грезил Кудеяр о возможности счастья, стараясь подавить гнетущее чувство нравственного унижения, и приехал в Александровскую слободу не в виде витязя, а в виде шута. «Уж не это ли третий искус мой»,— подумал Кудеяр, и ему входила в голову надежда — что, если царь позовет его и скажет: «Кудеяр, ты исполнил этот третий искус, подвергся сраму, покоряясь моей воле, возьми свою Настю».

Однако в тот день не позвали Кудеяра к царю.

На следующий день заутреня — и Кудеяр прослушал царя, читающего шестипсалмие и кафеизмы. Пришло время обедни. При самом начале ее Кудеяр заметил, что царь подозвал к себе Малюту, говорил с ним, поглядывая на

Кудеяра с каким-то выражением злобной насмешки, потом Малюта ушел, бросивши на Кудеяра злорадственный взгляд.

После обедни все по обычаю уселись обедать. Кудеяр тоже сел. Царь взял пролог, чтобы читать житие святого того дня, и вдруг, вместо чтения, взглянувши на Кудеяра, сказал:

— Кудеяр, наступает твой третий, последний искус. Если ты его выдержишь, то будешь у меня лучший слуга, первый человек. Знай это. Ты сегодня обедать будешь не у меня, не здесь, а поведут тебя в иное место.

Кудеяр встал, встали Малюта, Мамстрюк и четверо опричников; они повели Кудеяра в одну из изб, построенных на царском дворе.

Там, в светлице, на столе, покрытом красною скатертью, стояла оловянная миса щей; подле нее лежал ломоть хлеба, а над столом, на крюке, вбитом в матицу, висел труп женщины.

Кудеяр взглянул на труп повешенной и узнал свою Настю.

На человеческом языке не найдется слов, чтоб выразить то, что почувствовал тогда Кудеяр.

— Садись и обедай,— сказал ему Малюта.

В голове Кудеяра сверкнула такая мысль: чтоб отомстить убийце Насти, нужно быть к нему допущенным, а допущенным он может быть, исполнив до конца его волю. Кудеяр сел за стол, взял ложку и стал подносить ко рту щи, задевая рукою холодную ногу своей мертвой Насти. Он не в состоянии был проглотить щей, и они текли по бороде его.

— Смотрите, смотрите,— говорили опричники,— вот что называется: по бороде текло, а в рот не попало.

Трудно было Кудеяру пересиливать себя. Он положил ложку и сказал:

— Доложите великому государю, что я совершил свой третий искус.

— Мало ел, еще покушай,— сказал Малюта,— а то голоден будешь. Мясца кусочек съешь!

Кудеяр стал доставать из миски кусок мяса и при этом снова зацепил ногу покойницы, и нога, заколыхавшись с телом, ударила его в губы.

— Ха, ха, ха! поцеловался с женою,— сказал Малюта.

— Смотри, жены не съешь вместо говядины,— сказал один из опричников.

— Выпей, Кудеяр, винца,— сказал Малюта,— выпей во здравие государя.

Кудеяр, повинуясь приказанию, налил вина и выпил.

— Ну, коли наелся и напился, так пойдем, доложим царю-государю, а на ночь с царского дозволения возьмешь жену на постелю.

Они вышли. Малюта пошел докладывать царю. Кудеяр с опричниками стоял на дворе. В глазах его не было ни слезинки. Он молча и как бы равнодушно смотрел вдаль. Через несколько минут воротился Малюта и сказал:

— Кудеяр, тебя зовет царь-государь, иди смело; царь-государь будет к тебе несказанно милостив.

Кудеяра ввели во дворец, повели через царские покои, обитые сафьяном с тисненными золотыми узорами, и ввели в угольный покой. Царь стоял у окна, опершись на свой посох; против него у дверей, в которые должен был входить Кудеяр, стояли Вяземский, Басманов и Василий Грязной.

— Ну, Кудеярушка,— сказал царь ласково,— ты совершил свой третий искус...

— Совершу четвертый,— прервал Кудеяр и, сжав кулаки, бросился на царя; но вдруг пол под ним раскрылся, и он упал стремглав в подклет, на полторы сажени ниже комнаты.

— Ха, ха, ха! — воскликнул царь,— забыл, собака, а может, и не знал, мужик-невежа, что Бог повсюду охраняет помазанника своего. Ангелом своим заповесть о тебе, да не преткнеши о камень ногу свою.

В то время, как Кудеяр бросился на царя, Вяземский и Басманов дернули за доску, прикрывавшую отверстие на полу. Все было предусмотрено заранее. Ожидали именно того, что случилось.

— Закройте его, пусть пропадает там голодною смертью,— сказал царь и вышел из комнаты.

V. ПОБЕГ

На другой день царь, приказавши разослать по всему государству грамоты о молебствии по поводу спасения его от рук убийцы, отправился сожигать дворы и разорять вотчины недавно казненных, а дворец на время был поручен Мамстрюку Темрюковичу. При нем было оставлено несколько опричников.

Татарский посланник Ямболдуй-мурза, выехавший из Бакчисарая вместе с Кудеяром, тотчас узнал, что сделал

царь с женою Кудеяра и что потом сталось с самим Кудеяром. При отправлении своего посла из столицы хан Девлет-Гирей поручил ему наблюдать, как московский царь примет Кудеяра, отдаст ли ему тотчас его жену и не станет ли стеснять его свободы. В таком случае Ямболдуй-мурза должен был немедленно требовать от московского государя освобождения Кудеяра и отпуска его из государства, в противном случае угрожать царю, что за Кудеяра хан отмстит на двух сыновьях царского шурина, взятых в плен ханским сыном Адиль-Гиреем. Ямболдуй-мурза с жаром ухватился за это дело; кроме своей обязанности, он хотел угодить хану, зная, как хан полюбил своего избавителя.

О пленных черкесских князьках, сыновьях Мамстрюка, уже шли переговоры, и царь, желая сделать угодное своему шурину, обещал за избавление племянников царицы отпустить татарских пленников, поименованных в списке, нарочно присланном при грамоте крымского хана; дело останавливалось только затем, чтобы сыскать их всех. Ямболдуй-мурза пришел к Мамстрюку в дом, находившийся в слободе, и сказал на татарском языке, который разумел черкесский князь.

— Князь Мамстрюк! светлейший мой повелитель, хан Девлет-Гирей, дал мне такое повеление: коли Кудеяру станут в Москве причинять какое-нибудь зло, то мне придти к тебе и сказать, чтобы Кудеяра отпустили к нам, коли он вам не нужен на службе, а буде не отпустите и Кудеяра лишите живота, то хан прикажет казнить лютою смертью твоих двух сыновей, которых Адиль-Гирей взял в полон, да еще пошлет свою орду разорить вконец улус твоего отца; да еще велено мне сказать то же и великому государю вашему, что коли ваш государь Кудеяра безвинно казнит, то светлейший хан сам пойдет войною на землю Московского государства.

Мамстрюк сначала стал было доказывать, что Кудеяра предают казни не безвинно, что он покусился на жизнь государя, а таких злодеев нигде не милуют. Но Ямболдуй-мурза прервал его и указал на то, что царь без всякой вины убил жену Кудеяра, и если Кудеяр точно покушался на жизнь государя, то сделал это сам себя не помня, и ему того ставить в вину нельзя.

Мамстрюк понял, что крымскому послу все известно, и не стал более спорить.

— Но как же быть,— сказал он,— наш государь бывает не в меру гневен. Ты посол, а коли такое ему скажешь, то

он и с тобою невесть что учинит; а мне ему сказать то,— он мне за такое слово велит язык урезать.

— Ну, так попрощайся со своими сыновьями,— сказал Ямболдуй-мурза.— Хан велит их казнить самыми лютыми муками. Если хочешь, чтобы сыновья твои были живы, спаси Кудеяра и отпусти к нам.

Мамстрюк отговаривался тем, что надобно во всяком случае подождать царя, что если хан дал такое поручение Ямболдуй-мурзе, то пусть сам говорит царю, когда он вернется из похода.

— Пока он вернется, Кудеяр умрет с голоду,— сказал Ямболдуй-мурза.— Освободи Кудеяра, а я отправлю его в Крым, иначе сыновья твои погибли.

— Так вот что,— сказал Мамстрюк,— царю об этом сказать невозможно и отпустить Кудеяра к тебе також нельзя: мне за то голову снесет царь... А вот, слушай... Ямболдуй-мурза, будь мне друг, и я тебе друг буду! Поклянись по своей вере, что никому не скажешь; будем знать про то я, да ты, да третий, кого я выберу, а больше никто.

— Я клянусь тебе, что никому не скажу,— сказал Ямболдуй-мурза,— только чтоб Кудеяр был жив и свободен.

— Он будет жив и свободен,— сказал Мамстрюк.— Мои сыновья — своя кровь, мне дороже всего! Царь-государь дал мне дворцом управлять; как царь вернется, я донесу ему, что Кудеяр в подклете умер, скажу — сам себе разбил голову с голоду и досады, а я велел тело его бросить в озеро. Только в Крым отпустить Кудеяра невозможно, там Афанасий Нагой — наш посол — узнает, что Кудеяр в Крыму и тотчас напишет царю. А пусть Кудеяр бежит в Литву; ведь он к нам пришел из литовской земли, ведь он литовский человек, а не московский, пусть, там живучи, имя себе переменит, а Кудеяром не зовется. Дай ему лист свой, будто ты своего татарина за делом в Литву посылаешь, и я тебе велю дать грамоту, что позволено тебе гонца послать; а государю скажу, что ты посылал о моих сыновьях через Литву гонца.

— Пусть так будет,— сказал Ямболдуй-мурза,— лишь бы я видел Кудеяра и знал, что он на воле, тогда и сыновья твои будут отпущены на волю; а буде Кудеяр из Московского государства благополучно не выбудет, твоим сыновьям на воле не быть, и тебе их не видать.

Был у Мамстрюка верный, преданный слуга, родом черкес, по имени Алим, в крещении Наум. Мамстрюк доверил ему тайну и стал советоваться, как бы сделать так, чтобы

и сам Кудеяр не знал и никому сказать не мог, кто его спас.

Алим, подумавши, дал такой совет:

— Помнишь ли, с месяц тому назад наш опричный человек Федька Ловчиков доносил на другого опричного человека, Самсонку Костомарова, будто он, Самсонка, хотел бежать в Литву и для того ездил к литовскому гонцу, а Самсонка в ответе государю заперся и сказал, что у литовского гонца не был и бежать не умышлял. Царь-государь велел отдать Самсонка на поруки, но из опричнины его не выбил, а я подлинно знаю, что Самсонка был у литовского гонца, и бежать хотел, и теперь живет в опричнине не по охоте и всех боится. Если бы тому Самсонке дать денег, с чем бы ему уйти, он ушел бы вместе с Кудеяром. Кудеяр думал бы, что его Самсонка освободил, а Самсонка знал бы только про меня, а про тебя не знал бы ничего.

Мамстрюк дал полную волю своему Алиму.

Самсон Мартынович Костомаров был широкоплечий детина, лет тридцати, родом из каширских детей боярских, служил в войске и попался в плен литовцам. Судьба бросила его во двор одного литовского пана, где обращались с ним очень ласково. Там ему зазнобила сердце дочь одного литовского земянина, жившая на воспитании при дворе жены пана, у которого находился Самсон. Девица была не прочь выйти за молодого москвитина, да и панья, ее покровительница, не находила этого неудобным, зная, что Самсон с охотою останется навсегда в Литве, но родители девицы воспротивились такому браку. Наступил размен пленных. Самсон с неохотою вернулся на родину, где у него оставалась немилая, постылая жена, с которою против его воли соединили родители еще в юных летах. Установляя опричнину, царь зачислил в нее Самсона, а из опричных вместе с другими выбрал в число тех, которые должны были находиться неотлучно при его дворе в Александровской слободе. Казни царя претили Самсону; горячего нрава и невоздержанный на язык, он с трудом мог скрывать свое омерзение к той среде, в которой находился, и, наконец потерявши терпение, пошел к литовскому гонцу просить, чтобы он увез его с собою. Гонец не решился брать царского человека, потому что это было прямое нарушение посольских прав, но уверил Самсона, что если он сам найдет способ убежать, то король Жигимонт-Август примет его ласково и наделит поместьем. Этот же гонец

сообщил ему, что отец панны, на которой хотел жениться Самсон, уже умер и панна еще не вышла замуж. После сделанного на него доноса Ловчиковым положение Костомарова было до крайности опасно; у царя оставалось на него подозрение, и при первом случае, когда царю что-нибудь не понравилось бы, царь немедленно приказал бы казнить его.

Алим, обратясь к этому Самсону, посулил ему три тысячи рублей, если он согласится при его содействии освободить Кудеяра и бежать с ним в Литву под видом татар, посылаемых в Литву ханским послом.

Самсон сначала не поддавался, подозревая, не испытывают ли его, но, когда Алим положил перед ним деньги и проезжую грамоту, Самсонка согласился. Между тем уже третий день Кудеяр оставался без пищи в своем заточении. Надобно было торопиться; время же было удобное, так как во дворце людей было немного. В вечер этого дня назначена была выручка Кудеяра.

Мамстрюк заранее приготовил татарское платье для двоих, а Ямболдуй-мурза — двух отличных лошадей. Мамстрюк вместе с Алимом прошел задним ходом во дворец, а потом Алим другим ходом провел Костомарова в ту комнату, где открывался пол в подклет. Алим поставил там лесенку и положил на стол большой кусок мяса, ломоть хлеба и стекляницу вина, а сам вышел прочь, запретивши Костомарову называть себя и приказывая уверить Кудеяра, что Костомаров один, без участников, избавляет его.

Самсон открыл отверстие, спустил лесенку в подклет и стал звать Кудеяра по имени.

Ответа не было.

Самсон стал кликать сильнее. Из подклети раздался глухой голос: «Я».

С минуты заключения Кудеяр находился в каком-то бессознательном состоянии, ни на что не надеялся, ничего не ждал, ни о чем не жалел, потому что на свете для него ничего не осталось, чего бы можно было желать. Кудеяр даже почти не чувствовал мучений голода. Внезапное произнесение его имени вывело Кудеяра из этого полулетаргического сна.

— Вылезай скорее, скорее,— говорил Костомаров.

Кудеяр уцепился за лесенку и в первый раз почувствовал, что голод отнял у него обычную силу.

— Идем, идем скорее,— говорил Самсон,— нас ждут лошади.

Весть о свободе привела Кудеяра в себя. Первая мысль его о мщении убийце Насти.

— Где он? где он? — говорил Кудеяр, вылезши из подклета и озираясь кругом.

— Молчи, молчи,— останавливал Самсон,— прежде съешь и выпей, потом перемени платье.

Кудеяр с жадностью принялся за еду, выпил вина и через пять минут был одет в татарское платье.

— Если,— сказал Самсон,— нас будут спрашивать караульные у ворот,— ты ничего не говори, показывай вид, что ты прибылый татарин и по-русски не разумеешь.

Они вышли; за ними следом шел Алим, чтобы выручить их своим присутствием от вопросов караульных.

Но караульные не спрашивали идущих, так как за ними шел Алим, которого они хорошо знали. Алим проводил беглецов до самого подворья, где жил ханский посол, и ушел, не сказав им ни слова.

Ямболдуй-мурза, знавший хорошо в лицо Кудеяра, ахнул от удивления, когда увидал, что у Кудеяра борода была седая и из-под татарской шапки высовывалась поседелая прядь казацкого чуба. Это сделалось с ним в несколько дней от сильного потрясения.

— Я тебя выручил,— сказал Ямболдуй-мурза,— ты спас нашего светлейшего государя от смерти, теперь я тебе заплатил за своего государя. Ступай только не в Крым, а в Литву и называйся там каким-нибудь другим именем, а не Кудеяром, мешкать нельзя. Ступай тотчас. Провожатых я тебе не могу дать, кроме твоего товарища. Вот тебе московская грамота, вот тебе сабля, лук, колчан, ружье.

— А у меня пистолеты,— сказал Самсон.

— От разбойников, буде нападут, отбивайтесь вдвоем,— сказал Ямболдуй.

— Я не боюсь разбойников,— сказал Кудеяр,— Московское государство таково, что в нем разбойники лучшие люди.

Беглецы сели на лошадей и поскакали. Самсон не мог объяснить Кудеяру, кто руководил его спасением, не назвал даже Алима, сказавши только, что ему помог какой-то татарин. И Кудеяр клялся Самсону в вечной признательности за избавление. Когда друзья открыли друг другу свои задушевные намерения, то увидали, что им предстоят различные дороги. Костомаров только и думал, как бы добраться до Литвы, где у него была своя зазнобушка, где он надеялся получить от короля поместье и разом навсегда

избавиться от постылой жены и от ненавистной царской службы. Он убеждал и Кудеяра поступить так же и искать милости у литовского короля.

— Тебе эта дорога кстати,— сказал Кудеяр,— а мне нужна другая. Была бы жива моя Настя, я бы так и сделал, но лютый змей съел мою добрую, бедную жену! Теперь что мне королевские милости! Что мне поместья! К чему мне богатства? Одна дума осталась на душе: отмстить злодеям. Не удалось мне задушить его своими руками в тот день, как он извел мою Настю... У мучителя хитрости такие, что не смекнешь заранее... Но теперь — разве жив не буду, а то я его, изверга, тем или другим способом, а доконаю. Вот ты, друг, зовешь меня в Литву, а я бы тебе иное сказал: не ездить бы тебе в Литву, а остаться и спасать свою землю от мучителя. Ты ведь прирожденный московский человек. Тебе бы за твою землю постоять! Много теперь таких, что мучитель обидел. Их бы всех собрать да идти с ними на мучителя!

— Э, друг,— сказал Костомаров,— черт с ними, со всеми этими московскими людьми. Пригляделся я в Литве, как вольные люди-то живут: совсем не по-здешнему. Там шляхтич — что у нас сын боярский, а таков ли, как наш? Нет, он знает свою честь и говорит: шляхтич у себя на загороде равен самому воеводе. А сенатор — что у нас боярин, таков ли, как наш? Вздумал бы там король так дуровать, как у нас дурует! Эге! Как бы не так! А у нас — и боярин, и князь — все равно что подлый человек перед царем. Какого добра надеяться от такой земли! Там из прадедов, из прапрадедов есть вольные люди, а у нас всякий московский человек, каков ни буди из прадедов и из прапрадедов,— раб подлый, и только! Больше ничего! Нет, друг, ты как себе знаешь, а я отрекаюсь навсегда от проклятой московской земли и от людей ее: детям своим, если у меня будут, и внукам и правнукам дам зарок не ворочаться в Московщину...

Костомаров, однако, очень пригодился Кудеяру: на будущее время он познакомил его своими рассказами с состоянием Московского государства. Он сказал ему, что у царя мучителя есть двоюродный брат Владимир Андреевич, которого мучитель не любит, а многие его любят и хотели бы посадить на престол Владимира. Он объяснил ему, кроме того, что многие втайне считают Ивана незаконным по рождению, так как отец его, великий князь, развелся с законной своей женой Соломонией, заточил ее насильно

в монастырь, а сам женился от живой жены на другой, а от этой другой родился мучитель.

— Бают,— говорил Костомаров,— что как Соломонию-государыню заперли в монастырь, а она объявилась в тягости, родила сына, а новая государыня со своими клевреты, не допустив о том вести до великого князя Василия, велела тайно извести младенца, а великий князь Василий хоть и узнал про то, что прежняя жена родила сына, но ему сказали, что тот сын, родившись, тотчас умер, а говорят, будто тот сын жив; да это, знаешь, только так бают, а правда ли тому — Бог весть!

— Вот кабы отыскать этого сына! — сказал Кудеяр.— Но как его нет и найти невозможно, так надобно за Владимира Андреевича браться.

Ни Кудеяр не уговорил Костомарова остаться в Московском государстве и стать за Владимира Андреевича против мучителя, ни Костомаров не уговорил Кудеяра покинуть Московское государство и уйти в Литву. Друзья расстались. Костомаров повернул ближайшею дорогою в Литву, а Кудеяр — на юг, по направлению к Белеву.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I. РАЗБОЙ

Кудеяр ехал, выдавая себя за новокрещена-татарина; остановившись на постоялом дворе, он услыхал, как проезжие люди рассказывали друг другу, что царь, вновь показнивши знатных людей, уехал с опричными людьми разорять вотчины казненных и бедному народу приходят скорбь и тесноты паче прежнего. На переправе через Угру Кудеяр разговорился с купцом, ехавшим из Москвы; тот рассказал ему, что в Москве служили по церквам молебен об избавлении царя от убийцы.

— А кто такой этот злодей? — спросил Кудеяр.

— Имя ему Кудеяр,— сказал купец,— он был в плену у татар, там принял бусурманскую веру и от Христа-Бога отрекся, а хан крымский выпустил его на Русь и научил его нашего православного царя убить, только не попустил Бог.

— А мне говорили не так,— вмешался в разговор другой проезжий.— Говорят, он принял бусурманскую веру и вернулся на Русь, а того никому не говорит, что он побусурманился, только уж как-то узнала про то жена его и стала его корить, а он жену повесил. Государь-царь, как уведал про то, приказал привести его пред себя, а он как бросится на царя, а тут над ним совершися несказанное чудо: внезапу явися ангел и порази его мечем огненным,— он как стоял, так и провалился сквозь землю.

— Да,— сказал купец,— и мы слыхали,— говорят люди, будто провалился под землю, только вот про жену его я не слыхал.

Кудеяр умышленно поехал глухими дорогами. Спустя сутки после переправы через Угру ему случилось ехать по лесу; лошадь его притомилась, он снял с нее вьюк и седло, развел огонь и стал варить кашу с сушеным мясом в небольшом казанке, находившемся у него под седлом вместе с другою рухлядью, которою снабдил его Ямболдуй-мурза.

В это время послышался лошадиный топот, и раздался голос:

— Что тут за люди?

— А вы что за люди? — спросил Кудеяр, вскочивши на ноги.

— А мы такие люди,— сказал незнакомец, сидевший на лошади,— что нас много, а ты один. Стало быть, развязывай мошну да лошадь свою нам отдавай, потому что у нас лошадей недостача.

Кудеяр, не говоря ни слова, уцепился обеими руками за дубок, наклонил его и переломил надвое; потом, взявши в обе руки отломленную часть дерева, замахнулся ею на незнакомца.

— Черт! Леший! — закричал незнакомец, уклонившись от удара,— тронул под бока свою лошадь и поскакал...

— Не черт и не леший,— кричал ему вслед Кудеяр,— а крещеный человек, такой же опальный, бесприютный, как ты. Иди лучше сюда подобру-поздорову да поговорим.

— Коли так, то иная речь,— сказал незнакомец и поворотил к нему лошадь. За незнакомцем ехало девять человек конных.

— Вы, братцы,— говорил Кудеяр,— верно, таковы, что коли вас поймают, так повесят, да больше ничего; ну, а со мной расправились бы почище! Слезайте, братцы, с лошадей, мы свои. Мне таких надо, как вы, и я вам не лишний; будете Бога славить за то, что меня встретили.

Незнакомцы сошли с лошадей.

— Я вас не стану спрашивать, кто вы такие,— сказал

Кудеяр,— а сам вам про то скажу: есть меж вас крестьяне из опальных вотчин, и боярские люди, и служилые, бежавшие от службы, и посошные, ушедшие от посохи.

— Прямо уцелил! — сказал один из незнакомцев.

— Вы,— продолжал Кудеяр,— шатаетесь по лесам, слоняетесь по дорогам, в чужие мошны заглядываете...— а много вас?

— Человек... человек более сотни будет,— сказали ему.

— Врете,— сказал Кудеяр,— прибавили; вас не так много, вас может быть немного больше как полсотни!

— Отгадал,— сказал один из незнакомцев,— нас теперь шестьдесят девять человек...— да ты что, ведун, что ли?

— Да, ведун,— сказал Кудеяр,— и ведаю про вас то, чего вы не ведаете; ведаю я то, что коли вы будете жить в лесу в таком малом числе, то, проведавши про ваши разбойные дела, пошлют на вас многих воинских людей, и станы ваши найдут и разорят, и вас самих заберут и перевешают. Почему вы к другим на сход не идете, чтоб у вас и у других сила была?

— Другие сами по себе,— сказал один из удалых,— и нам надобно куска, и другим тоже.

— Всяк в своем месте промышляй, а другому не мешай,— сказал другой.

— У тех свои атаманы, у нас свои,— сказал третий.

— А вы знаете, дурни,— сказал Кудеяр,— мучитель, что живет в Александровской слободе, опять пошел жечь и разорять крестьян казненных от него бояр, а своих опричников выправляет выкоренять по лесам удалых. А вы в разных местах малыми ватагами стоите, вот вас и заберут... А вам-то, дурням, всех опаснее: вы недалеко от города стоите. А подумать вам, чтобы стать вместе большою силою.

— И впрямь так, братцы, — сказал один из удалых,— вон, говорят, Муравья, что стоял промеж Серпухова и Тулы, разбили и самого взяли и повесили в Серпухове.

— Нам коли петли бояться, так и в лес не ходить,— произнес другой.

— И с голода умирать,— заметил третий,— здесь наша пожива.

— Славная, думаю, пожива у вас! — сказал Кудеяр.— Оружьишко-то у вас дряны! Разве что на дороге бедняка оберете, алтын возьмете да у крестьянишки какого-нибудь из клети сермяжку вытянете! Не такова была бы у вас пожива, коли б вас было поболе да все хорошо изоружены

были: тогда бы какой богатый монастырь обобрали или город взяли.

— Оно правда,— сказали удалые,— поживы-то нам немного бывает... да и не часто...

— Чем вам-то по лесам скитаться невеликими ватагами, идите ко мне на службу,— сказал Кудеяр.

— Как — к тебе на службу? — спрашивали изумленные разбойники,— да ты кто таков? Разве ты нам платить станешь? Нешто у тебя денег много?

— Достанет на жалованье не одним вам, даром, что теперь в кармане очень мало,— сказал Кудеяр.— Найду, откуда заплатить, а моя плата вернее царской. Идите воевать, я вас поведу.

— На кого воевать?

— На мучителя, что сидит в Александровской слободе.

— На царя? — сказали разбойники.— Он, видно, не в своем уме! Что вы с ним раздобариваете? Он шальной!

— Вам то в башку не приходило! Кто вам ворог, кто разорил вас и заставил шататься без приюта? Через кого жить нам стало горько? Все через него. Против него воевать пойдем.

— Да ништо это можно? Это все равно что со всею землею воевать.

— Вот и не то! Земля-то будет за нас.

— Без Бога свет не стоит, и без царя земля не правится,— заметил один разбойник,— где царь, там земля за него.

— Будет,— сказал Кудеяр,— царь иной: князь Владимир Андреевич! Земля его хочет. Мы, братцы, мучителя стащим с престола и посадим Владимира Андреевича. И за такое дело новый царь вас пожалует.

— Нашим ли рылом такие дела вершить,— сказали разбойники.— Нам ли, мужикам, царей садить? То дело боярское.

— Бояре за нас,— сказал Кудеяр.— Есть бояре опричные — те за мучителя, а бояре есть земские — настоящие то бояре: они за нас.

— Так что же, стало быть, ты от бояр нам платить станешь? — спрашивали разбойники.

— Было бы за что платить,— сказал Кудеяр.— Вы будете на службе князя Владимира Андреевича, а я от него буду вам жалованье давать.

— Ну, давай,— сказали разбойники.

— И дам,— сказал Кудеяр,— да прежде всего ряд надо

учинить: вы должны, собравшись, идти все за мною к Белеву. Там, в лесу, есть стан, а в нем стойт с ватагою атаман Окул Семенов; а к нему пристала другая ватага, у ней атаманом Урман. Вы пристанете к ним.

— Сами мы не можем идти,— отвечали ему,— у нас есть атаман выбранный, и атаман сам собою ничего не делает, а все решает круг.

— Дело правое,— сказал Кудеяр,— я поеду с вами в ваш стан, поговорю с атаманом и с кругом.

Кудеяр убрал свою рухлядь, навьючил на коня и поехал на этом коне с разбойниками. Они свернули с дороги в лес, ехали извилинами, обходя яры и овраги, и прибыли в долину, где показались признаки жилья. Вырыты были землянки, близ них виднелись следы огня. Кудеяр увидел мужчин, сидевших кружками, увидел женщин и детей.

— Э, да вы тут с бабами и ребятишками! — заметил Кудеяр.

— Не все, немногие,— сказали провожавшие его разбойники.— К нам пристали из опальных сел кое-какие люди и крестьяне с женами, у иных дети, а у других, у молодых,— старые отцы и матери. Что с ними делать? Не побить же их. Да оно их немного. У нас человек двадцать, не болѣе, с семьями, а то все одиночные; иные сами не знают, где их жены и дети и что с ними сталось.

— Где десять баб на полсотни мужиков — неладно бывает! — заметил Кудеяр.

— Женки у нас есть варят на ватагу,— говорили разбойники,— и на всех моют, мы им даром хлеба не даем.

Женщины были одеты очень бедно и грязно. Видно было сразу, что они были здесь почти рабочим скотом. Лица у них были истощенные, испитые. Когда Кудеяр сошел с лошади, к нему подошла толпа удалых, одетая в серые зипуны, в лаптях, другие в сапогах, не отличавшихся крепостью. На многих шапки были с дырами, на иных, вместо серых зипунов, были вытертые ветхие тулупы, надетые шерстью вверх. Удалые, провожавшие Кудеяра, показали ему атамана. То был человек лет пятидесяти, с небольшою седоватою бородкою и с большими растопыренными усами; лицо у него было круглое, а зеленоватые глаза глядели как-то коварно. В его физиономии было что-то кошачье.

Кудеяр стал ему говорить в таком же смысле, в каком говорил встретившимся на дороге разбойникам. Атаман слушал недоверчиво, но стоявшие возле него товарищи не

дали ему изъявить несогласия. Обещание давать жалованье склоняло их на сторону Кудеяра.

— Собирай круг, атаман,— сказали они атаману.

Атаман опасался, что новый человек подманит всех и его выберут атаманом; и потому не хотел собирать круга.

— Коли с тобою много денег,— сказал он, лукаво улыбаясь,— так ты отдай их мне, а я уж буду знать, что сказать кругу.

— Со мной тут нет денег,— сказал Кудеяр,— и ты меня обобрать не порывайся; а денег у меня много, так много, что станет на жалованье не одной вашей ватаге, а также иным, которые пойдут за князя Владимира Андреевича. А я тебе, атаман, скажу вот что: ты боишься, чтоб я тебя не сместил и сам не стал бы атаманом; этого не бойся. Ты останешься атаманом, и, кроме тебя, у меня будут еще атаманы: разумей это. Я не атаманствовать пришел к вам, а набирать вас на службу князя Владимира Андреевича за жалованье и за великие от него милости, что вы все получите, как посадим его на престол.

Собрали круг. Неженатые и одинокие легко поддались увещаниям Кудеяра. Но женатые стали толковать, как им подняться в путь с женишками и с детишками, коли у них-то на всех только двенадцать лошадей.

— Деньги ты нам дашь,— говорили они Кудеяру,— а что, мы их укусим, что ли? Их не съешь, не оденешься ими здесь. У нас тут хлеба нет, живем тем, что птицу либо зверя убьем; пропадем с голоду, с холоду! Деревни отсюда редко; да пойдешь в деревню, не всегда что украсть удастся; конные ездят на добычу, а нам не дают, а коли что дадут, то разве чтоб с голоду не околели.

— Все равно,— сказал Кудеяр,— коли тут останетесь, то пропадете: на вас скоро царская рать пойдет с оружием, с пушками. А у вас какое оружьишко!

— Одни стрелы да дубины,— отвечали ему,— сабель мало у кого, а ружей не будет на всех нас и десятка.

— Вот оно что,— сказал Кудеяр.— Живот свой дороже всего. Можно и пешком идти. Оставаться тут вам нельзя. А я вот попытаюсь вам добыть лошадей. Чьи тут есть боярские вотчины?

— Верст будет двадцать — вотчины Воротынского.

— И табуны есть?

— Большие.

— Отчего же вы не отобъете их?

— Там людно. Напасть на табун да отогнать было бы

можно,— да увести как? Тотчас соберутся крестьяне и — догонять.

— Да и то,— сказали другие,— у нас как стать говорить о том в круге, так одни согласятся, а другие заупрямятся.

— Дайте мне троих, знающих хорошо дорогу; я вам пригоню лошадей,— сказал Кудеяр.

Выбрал Кудеяр троих молодцов с лошадьми и поехал по их указанию, пробираясь среди зарослей, потом по дороге, которая вилась между селениями, отстоявшими одно от другого на несколько верст. Они наехали на одну деревню. В ней было дворов около двадцати, но время было рабочее, оставалось немного народа. Кудеяр потребовал себе веревок и обещал заплатить за них. Старики и старухи нашли ему мочальных веревок. Кудеяр заплатил дороже, чем они стоили, и поехал далее. Верст через семь он увидал большой табун лошадей, пасшихся на лугу. Табунщиков было десять человек, но не все они были вместе. Кудеяр с товарищами подъехал к двоим из табунщиков, стоявших на конце табуна, и сказал:

— Нам нужно сто лошадей; свяжите веревками по две вместе, чтобы было пятьдесят пар. Мы заберем их с собой и угоним.

Табунщики стояли, выпучивши глаза, как ошеломленные. Кудеяр говорил с ними так спокойно, как будто имел полное право распоряжаться, как будто лошади были его собственные.

— Повертывайтесь скорее. Делайте, что вам велят! — прикрикнул он.

— Да как же так? — возразили табунщики.

— А так, как я вам велю! Скорее. Хотите разве отведать вот этого!

Он показал им плеть.

— У тебя,— спрашивали табунщики,— есть приказ от боярина? Иди с ним во двор к приказчику.

— Я вам приказчик, коли приказываю,— сказал Кудеяр.

Оторопевшие табунщики сказали, что идут отгонять лошадей.

Увидя незнакомых людей, разговаривающих с их товарищами, другие табунщики сочли нужным подойти. Те, которым Кудеяр прежде сообщил свое требование, стали передавать его другим, а Кудеяр, не дожидаясь новых вопросов, выразительно сказал подошедшим другим табунщикам:

— Отгоните сто лошадей. Свяжите их веревками. Мы их угоним с собою.

— У нас есть приказчик...— начали было табунщики.

Кудеяр прервал их:

— Я побольше вашего боярина, не то что вашего приказчика. Сейчас делайте, что вам приказывают, а то я вас изотру в пыль, сякие-такие дети, и приказчика вашего с вами!

Табунщики совсем растерялись. Им казалось: перед ними что-то большое, сильное, полновластное, что-то... они не могли назвать, что оно такое, и поехали отгонять лошадей и связывать их. Но один из них поворотил лошадь и поскакал прочь. Кудеяр смекнул, что он едет в село поднимать тревогу, поскакал вслед за ним, догнал, огрел плетью по спине так, что тот опустил голову на гриву своему коню и чуть не лишился чувств, а потом, пришедши в себя, застонал... Кудеяр схватил за повод его лошадь, хлестнул ее плетью и погнал вперед себя, к табуну.

— Дело делай, что́ тебе велено, а не улепетывай, сякой-такой сын! — закричал Кудеяр.

Табунщики исполнили приказание Кудеяра. Лошади были отогнаны, связаны. Кудеяр поехал вперед; за ним товарищи погнали лошадей. Табунщики стояли в изумлении, пока похитители не скрылись из глаз.

— Что оно такое? — стали тогда рассуждать табунщики.— Как же это нас десять, а их четверо? Что же они, от боярина? А может, от самого царя? Сказать бы: не разбойники ли они? Нет, не похоже... Разбойники так не ходят. И как же разбойники пойдут четверо на десятерых человек, да еще днем, неподалеку от села. Разве уже не чужие ли воинские люди пришли? Может быть, Литва? Так и есть, верно, Литва.

На этом остановились табунщики в своих догадках.

— Не будемте,— сказал один из табунщиков,— говорить приказчику, что их было всего четверо, а скажем, что приходили многие воинские люди и отогнали лошадей.

И пошли они к своему приказчику, и наделали большой тревоги. Пошла весть, что пришли воинские люди, и испуганные крестьяне хотели собираться в осаду.

Кудеяр с товарищами по дороге покормили свою добычу чужим овсом на ниве; люди, увидя, что лошадей много, боялись зацеплять их и думали, что чужих людей пришло столько же, сколько лошадей. Кудеяр двинулся далее, увидел стог сена, приказал сплесть жгуты из дубовых ветвей, наложил сена на лошадей и привязал его к лошадям

жгутами; потом благополучно со всем своим табуном добирался через лесные заросли до разбойничьего стана.

Все разбойники были в изумлении и обещали во всем покоряться Кудеяру.

— Вот вам лошади,— говорил он,— будет не только вам всем, но останется и тем, которые к нам вновь пристанут.

Стал Кудеяр расспрашивать, где есть монастыри, и узнал, что в соседстве есть два монастыря — один Добрый, а другой, в иной стороне,— Оптин.

Было в ватаге двое братьев; они были калужане, сыновья разоренного и переведенного куда-то сына боярского Юдинкова. Отец их был выходец из Украйны, и сыновья немного напоминали Кудеяру Украйну. Сыновья эти были, по царскому приказанию, разлучены с отцом; отца перевели в Казань, а сыновья были отправлены на переселение в Ливонию, но ушли оттуда в калужский край, им знакомый, и пристали к шайке, ради спасения собственной шкуры. Одного из них звали Жданом, другого Василием. Кудеяру полюбились эти молодцы, и они с первого разу прониклись каким-то благоговением к этой сильной личности. Они сопровождали его в поход за табуном. Кудеяр взял их обоих с собою снова и отправился к Доброму монастырю. Достигнув деревянной ограды монастыря, расположенного в роще, Кудеяр оставил своих товарищей с лошадьми, а сам вошел пешком в отворенные ворота монастырского двора.

Он встретил послушника и сделал ему такой вопрос:

— Где лежит монастырская казна? Не у игумена ли?

— А тебе на что? — спросил изумленный послушник.

— Я приехал посчитать вашего отца-игумена: как он правит крестьянами, какие доходы получает, как братию и вас, послушников, кормит! Не бывает ли с вами лют?

Послушник простодушно вообразил, что это такое сильное лицо, которое будет творить суд и расправу над игуменом, и стал рассказывать про разные злоупотребления; сообщил, что игумен творит у себя в келье пиры для гостей мирских, пьет с ними сладкие меды, а по большим праздникам и фряжское вино, а братии один квас дает, и то кислый; игумену христолюбцы привозят свежую рыбу, а он братии дает только вяленую, а порой тухлую; у игумена пшеничные калачи пекутся, а братии хлеб дают только житный, а порой пушной; все доходы игумен берет на себя, а казну монастырскую держит у себя в келье, в простенке, с запертыми на замок дверцами, да там у него есть и чужие

деньги, что отдали ему приятели на поклажею; у игумена на хуторе живет посестрея, а у посестреи дети, их игумен кормит; игумен часто пьян бывает, а старцы жаловаться на него не смеют, для того что сами старцы живут непочестно, робят голоусых к себе в келью водят, а имея женок и девок, по вся дни пьяны бывают, а иноды в монастыре недели по две и по три пенья не бывает; придут люди на молитву издалека да так и пойдут, не помолившись.

Кудеяр выслушал все это и узнал от послушника, что он просфоры печет; пошел за ним в его просвирню, увидел там два мешка с мукою и велел просвирнику дожидаться его, когда он выйдет от игумена.

Кудеяр подошел к келье игумена — деревянной избе, крытой неободранною березою, вошел через приотворенные сени к дверям горницы игуменской и, постучавшись, произнес: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» Ответа не было. Кудеяр повторил молитву. Ответа не было.

Игумен в тот день на подпитии крепко спал. Кудеяр толкнул запертую дверь,— петли слетели; дверь повисла на замке.

Игумен вскочил с постели, увидел незнакомого и стал ругаться. Кудеяр, не глядя на него, заложил острие своего ножа в растворку дверей поставца, устроенного в простенке, вынул два больших мешка с деньгами и заложил себе за пазуху.

— Кто ты такой? — крикнул игумен и бросился на него. Кудеяр схватил игумена за затылок и приплюснул его носом к стене. Кровь хлынула из игуменского носа. Кудеяр забежал в просвирню и, никого не заставши там, взял два мешка с пшеничною мукою, взвалил их себе на плечи, вышел за ворота, сел на лошадь и вместе с товарищами ускакал.

Растерявшийся игумен несколько времени не мог прийти в себя, отирал кровь с лица, а потом уже поднял тревогу. Братия бегала собирать служек и крестьян, чтобы гнаться за разбойником; но Кудеяр был уже далеко.

Он раздал каждому удалому рублей по двадцати жалованья и отдал муку на всю братью.

— Пусть бабы напекут калачей,— говорил он.

Разбойники прониклись еще большим уважением и даже страхом к Кудеяру. Котообразный атаман, по имени Кузьма Серый, только скрежетал зубами, а Кудеяр, в уважение к его атаманскому достоинству, дал ему вдвое против

других жалованья и уверял, что атаманства с него не снимут.

— Теперь, братцы, оставаться нам здесь нельзя,— сказал Кудеяр,— Калуга близко; вышлют на нас большую силу. Двинемся к Белеву и там сойдемся с Окулом и Урманом.

Табор снялся. Баб с детьми усадили на лошадей; седел почти ни у кого не было. Все пожитки были привязаны к лошадям, на которых сели разбойники. Кудеяр запретил по дороге грабить села и велел, напротив, у крестьян покупать все за деньги. Разбойники проезжали через села, накупили у крестьян топоров и кирок; крестьяне неохотно продавали их, так как необходимые в хозяйстве вещи приходилось покупать в городах и посадах, куда нарочно надобно было ездить. Кудеяр, платя им хорошую цену, пригрозил им, что если они не продадут, то у них отнимут силою.

Встречавшиеся с разбойниками проезжие люди не смели спрашивать у них, кто они такие, а Кудеяр не велел их трогать. Проехал мимо их царский гонец, но Кудеяр не велел и его трогать; гонец с удивлением смотрел на толпу едущего народа и не смел обратиться к ней; он и тем был доволен, что его самого пропускают. Кудеяр рассчитывал, что надобно избегать напрасных тревог до соединения с Окулом и Урманом.

Разбойники объехали Белев, выехали на болховскую дорогу и подъехали к тому месту, где Кудеяр, едучи из Крыма, встретился с Урманом и Окулом. Но постоялого двора уже не было; на месте его лежали обгорелые бревна. Кудеяр расположил ватагу в ближнем лесу, а сам один поехал по дороге узнавать, что это значит. Он взял с собою кирку. На дороге встретился он с одним служилым, и тот рассказал ему следующее: белевский наместник послал ратных людей, а губной староста поднял уездных людей на разбойников, которые завелись в подгородном лесу. Ратные и уездные люди доходили до их стана, и был бой, но разбойников добыть не могли, а двор постоялый сожгли за то, что хозяин с разбойниками был в одном умысле; хозяина привезли в Белев вместе с хозяйкою и там обоих повесили; а разбойники, чаячи на себя бо́льшей высылки, покинули свой стан и ушли к литовской границе. Кудеяр отправился к тому месту, где зарыл ханские сокровища, вынул деньги и кое-какие вещи, но не все, оставив часть про запас на будущее время. Он потом вернулся к своим.

— Окул и Урман пошли к литовской границе,— сказал он,— нам надобно догнать их.

Ватага двинулась на запад, к Жиздре. Начались дожди. Разбойники дошли до реки Жиздры, вошли в село и разместились в курных избах. Крестьяне не могли им помешать. Здесь разбойники узнали, что Окул и Урман были в этом селе и пошли вправо, через лес. Подстрекаемые Кузьмою Серым, удалые стали роптать на Кудеяра.

— Что же твой Окул с Урманом? Ты нас обманываешь. Зачем ты нас завел сюда? — раздавались крики.

— Вам,— сказал Кудеяр,— под Калугой оставаться нельзя было, один день еще вы пробыли бы там — и к вам пришла бы рать царская; под Белевым тоже нам быть нельзя для того, что коли Окул с Урманом там стоять не могли, так нам подавну нельзя. Они пошли отсюда вправо, через лес,— и мы пойдем по их следу.

Разбойники поуспокоились, но Кузьма Серый выискивал средства вредить Кудеяру. Кудеяр не велел ничего брать насильно у крестьян, а Кузьма, против его воли, подучил своих подчиненных грабить крестьян, и крестьяне, покинувши свои избы, разбегались в лес. Тогда в ватаге сделались междоусобия. Те, которые хотели слушаться Кудеяра, напали на тех, что слушались Серого,— началась драка. Партия Кудеяра оказалась посильнее. Серый покорился. Кудеяр тогда собрал круг и потребовал, чтоб Серого сменили. Удалые исполнили требование и выбрали атаманом Антипку Толченого, беглого стрельца, дюжего чернобрового молодца, одному только Кудеяру уступавшего в силе. После успокоения смуты разбойники двинулись вдоль реки Жиздры и вдруг на полдороге увидали большую толпу людей на лошадях и пешком, переправлявшихся через Жиздру вброд.

— Это царские ратные! Это царские ратные! — закричали они.— Что нам делать? Они нас видали. У них огненный бой! Мы пропали!

— Да,— отозвался Серый,— вот если б меня слушали, так того не было бы с вами! Подвел вас проклятый прохо-димец, черт его знает, кто он таков... может, нарочно подвел. В лес, скорее в лес!

Кудеяр, услышавши это, бросился прямо к толпе, еще не перешедшей Жиздру, и кричал своим:

— Не робейте, братцы!

— Куда ты? — заревел, бросившись на него, Серый.— Убегать хочешь? Бейте его, сякого-такого сына!

Серый нацелился в Кудеяра из лука, но товарищи вырвали у него лук.

Кудеяр поскакал ближе к реке и вдруг с радостью поворотил коня назад и кричал своим:

— Это наши, наши! Те, что их ждали мы! Окул с Урманом.

Кудеяр встретился лицом к лицу с Урманом.

— Брат, товарищ Урман, друг,— кричал Кудеяр,— мы за вами ходим, вас ищем.

— Кудеяр,— воскликнул Урман,— ты наш?

— Ваш, ваш,— говорил Кудеяр,— веду к вам свою ватагу.

— Вот как! — смеясь, говорил Урман.— У него уж и ватага.

Урманова ватага перешла Жиздру вперед. За нею шел Окул со своею. Урман крепко обнял Кудеяра, а Окул, видя, что Урман кого-то обнимает, кричал ему с реки: «Кого это так?» — «Кудеяр с нами,— кричал ему в ответ Урман,— да еще не сам, а с ватагой».— «Он стóит один трех ватаг»,— сказал Окул, и, переправившись обратно через реку, соскочил с коня, и бросился целоваться с Кудеяром. Разбойники шайки Окула и Урмана, видевшие Кудеяра прежде, с любопытством глядели на него и громко выражали свою радость.

— Как мы тебе пророчили — так и вышло,— сказал Урман.— Вот, видно, и пригодились мы тебе.

— А ты нам еще боле,— сказал Окул.

— А вот наш атаман, Антип Толченой,— сказал Кудеяр,— любите по-братски! А вот бывший атаман, Кузьма Серый.

Разбойники, отнявшие у Серого лук, держали его за руки и не пускали убежать. Серый, видя, что попался сам в сети, расставленные Кудеяру, упал на колени и кричал:

— Смилуйся! виноват! не буду вперед!

— Ты меня убить хотел,— сказал Кудеяр,— ты смуту в ватаге поднимал. Пусть тебя судит круг и атаман.

— Изрубить его,— кричали разбойники.

— Нет, повесить! — говорили другие.

— На кол посадить! — кричали третьи.

— Повесить ли, изрубить, или на кол посадить, все равно смерть,— говорил Толченой.— Я думаю повесить его на этом дереве.

В это время какая-то женщина из шаики, услыхавши громкие крики, требовавшие смерти Серого, издала пронзительный крик. Но вслед за тем на нее напустился с бранью грубый мужской голос. Это была жена одного из разбойников, которую муж давно уже подозревал в любви к Серому. Теперь она невольно перед всеми высказала свое чувство. Муж обругал ее; она, возбужденная наступающею казнью возлюбленного, плюнула мужу в лицо и закричала: «Кабы тебя, паскудного, вместо Кузьки на дереве!» Муж ударил ее ножом в сердце. Сбежались около него разбойники... Одни были за него, другие против него. Убийца кричал, что он муж и может, как хочет, расправляться с женою. Ему возражали, что хоть и муж, а самоуправно не мог лишить живота жены, должен был пожаловаться атаману и всему кругу... Пришел Кудеяр вместе с Толченым, Окулом и Урманом, выслушал дело и сказал:

— Все зло от того, что баб возим. Вот оно и отозвалось. По-моему, виноват муж, только не так, чтоб его казнить смертью, для того что женка его раздразнила и он убил ее в запале. Накажите его палками под тем деревом, на которого повесят Серого.

— Праведно, праведно! — сказали атаманы.

Серого вздернули на дуб и, когда он, высунувши язык и страшно выпучивши глаза, руками и ногами отбивался от смерти, которая скоро одолела его, под ним дали ударов двадцать ревнивому его сопернику.

Вслед за тем сняли Серого с дерева и бросили в одну яму с его возлюбленною.

Окул с Урманом объяснили Кудеяру, что они с своею ватагою, убегая от новой против них высылки, распустили слух, будто идут к литовской границе, а на самом деле задумали вернуться из-за Жиздры и стать на другом месте, недалеко от Жиздры, в лесу, посреди оврагов, где есть хорошая ключевая вода, а из оврагов выход на луга с хорошими пастбищами.

— А мы,— говорили они,— таки подумываем улизнуть в Литву, только туда надобно с деньгами; прежде нажиться нужно.

— Нечего нам о Литве думать,— сказал Кудеяр и сообщил товарищам свои планы насчет свержения с престола Ивана Васильевича и возведения Владимира Андреевича; но при этом несколько солгал: он уверял их, что сам Владимир Андреевич знает о предприятии и земские бояре обещают тотчас провозгласить его царем, лишь бы удалые извели мучителя.

Окул и Урман с восторгом слушали рассказы Кудеяра.

— Нам,— сказал Окул,— теперь все равно; если не доведем такого великого дела до конца и пропадем, то беда невелика,— все равно пропадем когда-нибудь... А доведем, вестимо, всем будет хорошо.

— Что говорить о том, если не доведем до конца,— сказал Кудеяр,— надобно довести, коли беремся.

Созвали круг. Кудеяр объявил, что князь Владимир Андреевич приглашает их на службу и велит им раздать жалованье. Немедленно он всем дал при этом по двадцати рублей. Разбойникам деньги понравились. Как эти деньги, так и ватага, с которою явился Кудеяр, были для шаек Окула и Урмана поразительным доводом его силы и справедливости того, что он говорит. Удалым польстила мысль, что они уже теперь не разбойники, а служилые люди князя, который будет царем. Они разом возвысились в собственных глазах.

— Идем за весь мир христианский,— говорили они.

— Теперь надобно,— сказал Кудеяр,— нам хорошо изоружиться, а то у нас почти нет огненного боя и зелья. Я думаю, братцы, поехать самому в Литву покупать ружья, а Урмана послать в Болхов. У меня есть татарские деньги; Урман их там променяет на русские; в Болхове татары приводят пленных на выкуп, там татарских денег нужно бывает. Да там же, говорят, можно и оружие прикупить.

— Можно, можно,— сказал Урман,— я Болхов знаю.

— А вам,— сказал Кудеяр,— усесться на·то время в лесу, в укромном месте, и дождаться меня.

По указанию знавших местность разбойники свернули в лес и стали меж оврагов в яру. Они прорубили маленькие извилистые тропинки в лесной заросли, такие, что им проехать можно было только одному человеку; тропинки были прорублены так, что всякий другой, не знающий их пути, не мог пробраться по ним. Эти тропинки вели к лугу из оврагов, где был стан. Разбойники водили на луг пасти лошадей. Кроме того, в лесу были поляны, где можно было найти траву.

Урман отправился в Болхов, а Кудеяр взял с собою братьев Юдинковых, знавших дороги, и поехал в другую сторону, к литовской границе.

Денег, награбленных в Добром монастыре, было так много, что хватило бы на вооружение войска вдвое более того, сколько было у Кудеяра.

Собираясь по направлению к литовской границе, Кудеяр с Юдинковыми остановился в одном селе и стал у крестьянина расспрашивать о порубежных делах. Он узнал, что царь, сильно боясь, чтоб его бояре и думные люди не убегали в Литву, велел устроить разъезды и ловить бегущих, если покажутся. Но крестьянин, сообщая эту новость, тут же засмеялся и сказал:

— Разве дурень будет, так тот к ним попадется. У нас только денег посули, проведут тебя и выведут, хоть с товаром будучи.

По просьбе Кудеяра, подкрепленной деньгами, хозяин нашел ему вожа, черномазого крестьянина. Он благополучно перевел его лесами за рубеж, а оттуда Кудеяр, вместе с Юдинковыми, ехал безопасно, останавливаясь в корчмах, и так приехали они в город Мстиславль. Тамошний воевода был тот самый пан, у которого жила девица, пленившая Самсона Костомарова.

Кудеяр застал там своего избавителя, Самсона, и это ему очень пригодилось. Без него воевода не слишком охотно дозволил бы ему накупить оружия из боязни, что оно покупается для царских войск, которые этим оружием будут воевать против Литвы. Самсонко уверил воеводу, что Кудеяр опальный человек, едва спасшийся от голодной смерти, на которую осудил его мучитель, покупает оружие не для чего иного, как только для того, чтоб поднять восстание против царя Ивана и вместо него посадить на престол Владимира Андреевича. Воевода ненавидел московского царя и с особенною заботливостью старался надеолить Кудеяра хорошим оружием, притом как можно дешевле. Кудеяр накупил большой запас ружей, пороху, свинцу, копий и кос: последние оказывались нужными для кошения травы на зиму. Осталось перевезти все за рубеж. Воевода поручил Кудеяра двум ловким иудеям. Кудеяр купил двадцать вьючных лошадей и навязал на них свою покупку в рогожевых мешках; на каждой лошади висело по обе стороны по большому мешку, а сверху привязывался на спине лошади еще мешок. Таким образом Кудеяр с товарищами проехал через леса, удаляясь от селений, и наконец приблизился к тому месту, где покинул разбойничий стан.

Между тем в его отсутствие случилось такое происшествие.

Один из разбойников, друг казненного Кузьмы Серого, ушел из стана в Калугу и донес, где находится разбойничий стан. Калужский наместник тотчас позвал на совет губного старосту, и оба решили собрать всеуездных людей на ловлю разбойников, отправили отписки в Лихвин и

Белев, чтоб и там делали то же. Крестьяне в таких делах были очень туги на подъем, а особенно, когда было время жатвы; притом они неохотно ссорились с разбойниками, опасаясь, что если их раздражат, но не переловят, то разбойники станут им мстить. На этот раз губные старосты не собрали никого: отправились только служилые люди, калужане, да и то большею частью отставные, старые, потому что молодые, дюжие, здоровые были в войске. Белевцы и лихвинцы не поспели с ними соединиться, калужане одни подошли к указанному месту. На беду их наместник не отправил с ними доносчика, но кинул его в тюрьму и подверг пытке, от которой он и умер; служилые только по рассказу этого доносчика должны были отыскивать то место, где находилась шайка. Они не знали извилистых тропинок, которыми удалые выходили из своего стана. Подъехавши к месту, где, по их соображениям, следовало быть разбойничьему стану, калужане соскочили с лошадей, входили в лес, прислушивались и услыхали за деревьями лошадиный топот и гул человеческой речи. Проехать в лес казалось невозможным: в чаще леса они увидали овраги. Служилые оставили оседланных лошадей на дороге и поручили смотреть за ними своим слугам, а сами с ружьями пошли пешком в глубину леса. Тем временем разбойники, чрез своих расставленных сторожей, узнали о прибытии ратных людей, посланных на них, забрали наскоро свои пожитки, сели на лошадей и своими извилистыми тропинками, едучи гуськом один за другим, выехали на большую дорогу. Когда преследовавшие их пешие служилые добрались до разбойничьего стана, там уже не было никого. Разбойники напали на слуг, оставленных служилыми на дороге, захватили у них лошадей, перебили слуг, когда те начали кричать, пошли вброд через Жиздру с отнятыми лошадьми, потом повернули в лес и исчезли из виду. Калужане, услышавши крик слуг, бросились назад и нашли только трупы их, а куда делись разбойники с лошадьми — они не видали. Дело окончилось тем, что калужане пошли домой пешие и, встретившись на дороге с лихвинцами и белевцами, рассказали им, что разбойников более нет. Тогда лихвинцы и белевцы, не зная, где искать разбойников, и не надеясь, при своей малочисленности, справиться с ними, ушли себе также назад.

Разбойники, прошедши семь верст, вошли в село, набрали себе там фуражу, заплатили за него, как следовало, но запрещали продавцам говорить про себя, угрожая в противном случае пустить по селу красного петуха. Прошли потом удалые еще девять верст и нашли себе приют крепче прежнего: то было лесное ущелье; посреди его озеро; в этом ущелье расположились разбойники станом и для выхода прорубили себе через лес извилистые тропинки, как и в прежнем своем притоне, а в некоторых местах, доступных для проходу, умышленно навалили деревьев, чтоб сделать места непроходимыми. Устанавливаясь на новоселье, они послали двух товарищей на прежнее место известить Кудеяра и Урмана, когда те прибудут из Болхова.

Посланные не нашли никого на месте прежнего стана и засели в своих тропинках, ожидая, когда будут ехать Кудеяр и Урман. В тот же день они услыхали лошадиный топот; появился на тропинке Урман, за ним, один за другим, ряд незнакомых им всадников, а за ними вьючные лошади.

— Вот вам,— сказал Урман,— новые гости и товарищи, дорогие гости с Дону прибыли и нас зовут к себе.

— А наши,— сказали ему товарищи,— вышли отсюда оттого, что была на нас высылка, только той высылке на нас не было удачи.

— Я догадался,— сказал Урман,— по дороге следы вашей работы... орлы и вороны благодарствуют вам.

Он намекал на трупы побитых слуг.

На другой день приехал Кудеяр с своею покупкою. Урман рассказал ему, что в Болхове была большая ярмарка, деньги он променял, накупил оружия, накупил также тулупов на деньги, которые ему давали для того удалые, припасая на зиму теплую одежду.

— А вот,— говорил он, указывая на десятерых своих товарищей, с которыми приехал,— это молодцы с Дону, приехали закупить оружие и лошадей для своей ватаги и прикинулись детьми боярскими; а я их спознал зараз, какого полета они птицы; они ехали с тем, чтоб с нами сговориться. Собралось, видишь, четыре ватаги вместе, четыре атамана у них, и стоят на Дону; и про нас они послышали, что тут ватаги ходят в нашем краю в лесах, так они и велели им разузнать про нас и позвать нас к себе, чтоб мы заодно с ними были.

— А где ваш стан? — спросил Кудеяр.

— На Дону,— отвечали пришельцы,— неподалеку от того места, где река Быстрая Сосна устьем в Дон входит.

— А много вас будет?— спросил Кудеяр.

— Сотни, почитай, четыре,— сказали пришельцы.— Мы

ходили повыше — около Венева до Рязани, только на нас была высылка: дети боярские на конях, а стрельцы пешие с огненным боем! У нас оружья мало, мы и ушли подалее на Дон.

Кудеяр поехал с ними на новое место стоянки разбойничьего стана и роздал всем удалым купленное оружие: его оставался еще большой запас, и Кудеяр обещал раздать его тем, что стоят на Дону, когда придет к ним на сход. Удалые дивились, как это все удается Кудеяру, считали его всесильным ведуном и готовы были во всем повиноваться.

— Мы за тебя словно заложились,— говорили они ему,— куда ты поведешь нас, туда и пойдем, что велишь, то и будем делать. Ты все знаешь: что скажешь, так тому и быть.

— Укромно вы, братцы, здесь и поместились, да недолго тут вам гостить,— сказал Кудеяр,— надобно будет сниматься, пойдем на сход к нашей братье, что на Дону. Слыхали мы от тех, что к нам с Дону приехали, что по Муравскому шляху будет идти большой караван из Москвы в Крым и в Царьград, как говорят, а в нем много везут мехов дорогих, и хлебного зерна, и муки, и всякого запасу. Мы разобъем его и пойдем на Дон, а потом станем купно с нашею братьею, что на Дону, промышлять нашим великим делом. А здесь нам оставаться зимовать не годится для того, что про нас уже проведали и пошлют на нас большую высылку, а у нас не весьма людно, не отобъемся.

Никто не стал и не смел перечить. Все поклали свои пожитки в сумы, которые висели у каждого за спиною по обоим бокам лошади. Седел было мало, их заменяла подостланная одежда. За плечами удалых были луки и колчаны, а сзади за сумками, поперек лошади, привязывалось ружье. Лишнее оружие и запасы везли на вьючных лошадях. Разбойники ехали медленно, пробирались лесами, чтоб не быть замеченными, должны были в некоторых местах прорубливать заросли и засыпать рвы, когда это казалось легче, чем делать большие обходы. Они дошли до Оки и там два дня занялись рубкою леса; срубленные, не расколотые и не совсем очищенные от ветвей деревья, связанные вместе, послужили им плотами; они переправились через Оку и, пройдя двадцать верст, увидали табун лошадей и отбили его; таким образом, у них было теперь много лишних лошадей. Потом атаман Толченой со своею ватагою отделился и сделал набег на вотчину, откуда пригнал коров, быков и овец для продовольствия.

Разбойники двинулись на юг, покидая жилые места, и очутились на Муравском шляху, немного ниже того места, где потом построен был город Ливны. Чуть только они пришли на Муравский шлях и хотели располагаться станом, как увидали толпу конных, едущих к шляху: то были станичники, высланные из Рыльска для провожания каравана через степь. Станичники, завидевши конных, а за ними стада, сначала думали, что это татары, но, приглядевшись, смекнули, что это русские и, по всем признакам, воровские люди. Станичники сообразили, что у воров огнестрельного оружия нет, а у них самих есть, стало быть, они с ворами сладят, хотя бы воров было и больше. Станичники бросились на них, но разбойники схватились за свои ружья, приложили фитили и были готовы наклонить их на порох, в то самое время как станичники только брались за ружья. Станичники увидали множество ружейных дул, направленных на них, повернули назад и поскакали прочь.

— Это плохое дело, когда мы дадим им убежать,— сказал Кудеяр,— они дадут про нас весть, и на нас вышлется большая высылка. На коней, братцы, а у кого кони потомились, кидайте их и садитесь на молодых из табуна, скачите за ними.

Разбойники стали соскакивать со своих коней и хватать запасных лошадей, из табуна, садились на них; но необученные лошади относили их в сторону. Станичники, увидя это, думали, что их не догонят, но обманулись: Кудеяр летел прямо на них, ободряя своим примером удалых.

Станичники остановились и нацелились. Разбойники не подъезжали к ним и также остановились и нацелились.

— Биться или мириться? — кричал Кудеяр.

— Мириться,— сказал голова станичный,— ведь вы крещеные люди, не татары.

— Зачем вы здесь? — спросил Кудеяр.

— Караван оберегать.

— А вы зачем? — спросил в свою очередь голова.

— А мы,— сказал Кудеяр,— караван разбивать. Царь-мучителя посол ехать будет, мы у него казну возьмем. Мы умыслили царя-мучителя извести за кровопийство его над христианами, а на престол российского царства посадить хотим князя Владимира Андреевича. Земские бояре за нас. Приставайте к нам. Нас много. Кто теперь пристанет и поможет нашему государю взойти на престол, те у него первые люди будут. Наш государь не велел никого сило-

вать: хотите с нами идти — будет вам хорошо, а не хотите — судья вам Бог!

— Что ж? Это хорошее дело,— произнес кто-то из станичников.— Давно пора. Что, братцы, пристанем, что ли.

— Да коли земские бояре за них, так пристанем,— сказал другой.

— Пристанем, пристанем,— раздались голоса.— Царь больно лют стал! Другой будет милостивее! А нас наградит.

— Наградит, наградит! — говорил Кудеяр.— Я по его приказу тотчас всем вам жалованье денежное раздам, а караван наш будет! Наш государь нам его жалует.

— Хорошо, хорошо! — кричали станичники.

— Что вы, собаки,— закричал голова,— в петлю вам захотелось, что ли? Вы им, дурни, верите. Они все то затеяли сами. Князь Владимир Андреевич ни духом ни слухом про то не ведает и вас, собак, повесить велит за то, что вы его на царство возводите! Мы знаем одного царя, Ивана Васильевича, нашего и его государя. Князь Владимир Андреевич его раб и ему верен.

— Правда, правда! — закричали другие станичники.— Это воровские затеи; не слушайте их, братцы, беда будет.

— Будьте верны мучителю, когда хотите,— сказал Кудеяр,— мы вас не силуем, а кто хочет с нами стать за князя Владимира и за всю землю святорусскую, тот к нам переходи!

Сорок человек перешли к разбойникам.

— Будьте вы прокляты! — кричал голова.— Трусы, псы смердящие! изменники! Быть вам всем на колe!

— Не ругайся, голова,— сказал Кудеяр,— не хочешь русской земле служить,— Бог тебя рассудит и осудит. Мы тебя не силуем. Побросайте ружья, слезайте с коней и идите себе, куда знаете.

— Чтоб мы оружие свое покидали? Что мы, изменники такие, как ты? — сказал голова.

— Братцы, стреляйте в них! — закричал Кудеяр.

Разбойники выстрелили и убили человек пять. Станичники выстрелили и убили шесть человек разбойников; пуля повредила ухо Кудеяру; кровь струилась; разбойники рассвирепели, бросились на станичников, дрались и копьями, и саблями, и ружейными прикладами... Под Кудеяром убили коня, а станичник ударил его по голове, так что он лишился чувств. Разбойники, остававшиеся позади, бежали на битву, окружили станичников и всех до одного перебили, но потеряли довольно своих.

Кудеяр приподнялся; к его ране приложили пороху с землею, обвязали тряпьем. Оглядевшись, он увидал более десятка мертвых разбойников и столько же раненых. Те, которые были ранены тяжело, просили себе смерти. Кудеяр приказал перерезать им горло, чтоб они не мучились, а прочим велел перевязать раны тряпьем.

После этой свалки Кудеяр заснул таким богатырским сном, что проснулся только на другой день. Ему стало легче, но головная боль долго мучила его после полученного удара.

Караван, которого тогда ожидал Кудеяр, был особенно важен. Вслед за послом, приехавшим в Москву из Крыма вместе с Кудеяром, прибыл от хана к царю гонец с тайным известием, что турецкий царь непременно хочет будущею весною идти на Астрахань и что хан поневоле должен будет пристать к нему. Теперь хан всеми силами отговаривает турецкого царя, а если не отговорит, то из братской любви к московскому государю будет нарочно делать так, чтоб турки Астрахани не завоевали; за такую дружбу хан требовал с московского государя таких тяжелых поминков, каких еще царь Иван ему не давал. По этим вестям царь московский отправлял с караваном в Крым своего гонца со множеством мехов и с большою денежною казною. В караване было много купцов-армян; кроме мехов и воску, вывозимого из московской земли, они везли значительное количество хлебного зерна и муки. В Московском государстве был в тот год урожай, но к концу лета стали появляться тучи полевых мышей, истреблявших хлеб в копнах и скирдах. Весть об этом бедствии произвела повсюду ужас; хлеб поднялся в цене. В амбарах и лабазах торговцев, однако, было еще довольно запасов; в подобных обстоятельствах такие люди, замечая повышение цен, обыкновенно приберегают хлеб, чтобы продать его тогда, когда он достигнет наибольшей цены. При Иване Васильевиче купцы боялись, чтобы царь не велел отнять у них хлеба ради людской нужды или даже для того, чтобы самому продавать его с барышом; они продавали свой хлеб на вывоз из государства. Таким образом, караван, шедший в то время, был особенно богат.

Для сбереженья этого каравана в степи велено было провожать его трем станицам: первая шла за ним из Новосиля, вторая и третья должны были встретить его у Быстрой Сосны, прибывши из Рыльска и из Путивля.

Мы видели, как неудачно исполнили рыльчане свою обязанность.

По указанию передавшихся рыльчан, Кудеяр велел двинуться поближе к урочищу Ливнам, где был переход через Быструю Сосну и где уже заводилось поселение. Подходя к этому месту, разбойники увидали толпу людей, сидевших спокойно около огня. Их кони паслись спутанные.

Кудеяр догадался, что это путивляне, приказал одной части своей ватаги зайти в тыл сидевшим и стать за лесом, чтобы по данному знаку выскочить из своей засады и стрелять в путивлян, а сам с конными ехал прямо к последним; у разбойников наготове были ружья с горевшими фитилями, которые нужно было только посредством пружинки наклонить к пороху, чтобы выстрелить. Путивляне смотрели на едущих к ним верхом людей и думали, что это рыльчане; они уверились в этом тем более, когда действительно узнали в лицо нескольких рыльчан из передавшихся разбойникам, а потому подпустили их к себе и не предпринимали никаких мер осторожности.

— Бог в помощь вам, братья-путивляне,— сказал Кудеяр,— вы пришли караван оберегать, а мы пришли его разбивать. Знайте, братцы, что мы за люди. Мы все опальные. Царь-мучитель нас из домов своих выгнал, родных наших помучил... Царь-мучитель много крови неповинной пролил... Мы задумали, ради всего христианства и всей земли святорусской, извести его и посадить на престол российского царствия князя Владимира Андреевича. С нами заодно земские бояре. Мы теперь пришли сюда затем, чтобы караван разбить, у гонца царского казну отнять, чтобы было чем войско князя Владимира Андреевича содержать. Хотите с нами заодно? Мы вам тотчас дадим жалованье от князя Владимира,— я от него присланный человек. И караван себе раздуваним. А как Бог пособит князю Владимиру сесть на престол, так он вельми вас пожалует.

Станичный голова Егор Шашков дал Кудеяру такой ответ:

— По твоей речи вижу, что ты не прирожденный московский человек. Бог тебя знает, кто ты, таков, только я по душе тебе скажу; для нас что ни поп, то батька: будет ли Иван сидеть на престоле или Владимир, тому мы и холопи. Коли б у твоего князя Владимира Андреевича была сила велика, так иное дело, ина речь была бы... А то у него силы нет; доселева мы ничего такого не слыхивали. Опальным

людям мало что от сердца скажется. Как идти против царя Ивана, когда за него весь русский народ! Нас побьют и отведут к царю Ивану, а каков он в гневе, всем то ведомо. У царя Ивана ратных поболе, чем у тебя.

— У царя-мучителя,— сказал Кудеяр,— ратные отправлены в немцы, а сам он остается с небольшими людьми. Мы улучим час способный, нападем на него, изведем, а царем будет Владимир Андреевич.

— У царя два сына,— сказал Шашков.— Если бы вам и была удача, извели бы вы царя Ивана, так не Владимира Андреевича, а царевича Ивана, старшего царского сына, земля поставит царем.

— Он такой же мучитель будет, как и отец; земля поставит царем Владимира. На том у нас уговор с земскими боярами.

— От земских бояр,— сказал Шашков,— мы того не слыхали, а коли б и земские бояре нам то сказали, так еще надобно было бы подумать. Нет, мы с вами не идем и к вашему умыслу не пристаем.

— Так что же,— сказал Кудеяр,— хотите с нами биться?

— Давай и биться, коли хочешь,— сказал Шашков.

— Биться, биться! — закричали путивляне, схватившись за ружья, но из лесу выскочили разбойники, выстрелили и сразу положили человек пять.

С своей стороны разбойники стали стрелять в путивлян и также ранили несколько человек.

— Стойте,— закричал Шашков,— перестаньте стрелять; мы пристаем к князю Владимиру Андреевичу.

— Пристаете? — сказал Кудеяр.— Пристаете поневоле, как увидали, что у нас сила есть.

— Да, оттого и пристаем,— сказал Шашков.— Я тебе давеча сказал, что коли б у князя Владимира сила была впрямь большая, так ина речь была бы... Сам посуди, умный ты человек: нешто можно так всему поверить, что кто скажет? Я из рязанских; царь Иван отнял у меня поместье, что было от отца и деда справлено, и взял поместье в опричнину, а меня перевел в Путивль... Я сам обиженный, а ты говоришь: поневоле пристал? Не хотел приставать оттого, что не поверил тебе, а теперь верю, когда вижу, что у тебя сила есть.

Кудеяр раздал часть жалованья передавшимся путивлянам и обещал остальное доплатить после разбития каравана.

Шашков сказал:

— Будут новосильчане за караваном идти; не отпустил ли бы ты меня наперед, я бы учал уговаривать их пристать к Владимиру Андреевичу, чтоб не было напрасного пролития крови, как у нас случилось.

— Нет,— сказал Кудеяр,— по твоей новости тебе доверять еще не стать. Мы засядем в кустах и нападем на новосильчан сзади, пропустивши их за караваном. Пристанут к князю Владимиру — хорошо, а не пристанут — биться с ними будем.

На ночь разбойники расположились близ самого шляху. Шашков подозвал к себе толпу путивлян и сказал:

— Когда эта сволочь уснет, скорее садитесь на коней — и вместе со мной побежим. Надоть знать дать в разные городы, в Путивль, в Рыльск, в Болхов... Дело не пустошное, на царя-государя идут ратью, другого царя хотят ставить! Коли мы успеем да их переловят, будет нам от настоящего государя награда поболе и повернее, чем от того, который еще не царствовал.

Поневоле путивляне были с ним заодно. Некоторые тотчас сообщили о замысле Шашкова Кудеяру.

Кудеяр сказал Окулу, Урману, Толченому, велел прикинуться спящими и быть между тем наготове...

В полночь Шашков, думая, что все спят, вскочил, сел на коня, путивляне, лежавшие около него, за ним вскочили на лошадей, поскакали в поле, но вдруг позади их раздался оглушительный крик,— громада разбойников была уже на конях и скакала за путивлянами. Кудеяр летел впереди, догнал Шашкова, схватил его за плечо и свалил с лошади.

— Вяжите его,— кричал он.

Путивляне бежали; разбойники их догоняли и били; несколько легло на месте, несколько было схвачено живьем, нескольким удалось уйти далее, но по приказанию Кудеяра разбойники погнались за ними и били их.

Кудеяр притащил связанного Шашкова в стан. Утром рано собрался круг. Кудеяр объявил, что Шашков достоин за свою измену того, чтоб его живого сжечь на огне.

— Суд праведный! — закричали все.

Разложили огонь и положили на него Шашкова.

— Умру за великого государя,— кричал он,— умру за правду! Бог милосердый примет мою душу, а вас, злодеев, покарает.

Пойманным путивлянам отрубили головы.

Через час после этой расправы разбойники увидели идущий караван и станицу новосильцев, провожавшую его сзади. Караван состоял из множества вьючных лошадей и двуколок, к которым были прицеплены за шеи пленные немцы и чухны, так же как в том караване, который Кудеяр встретил, возвращаясь из Крыма.

Разбойники разделились на две половины: одна ехала верхом прямо навстречу каравану, другая скрылась в кустах, намереваясь броситься на новосильцев сзади. Новосильцы, видя ехавших прямо к ним конных, думали, что это путивляне и рыльчане.

Караван прошел. Разбойники пропустили его и стали лицом к лицу с новосильцами. Из-за кустов выскочили удалые,— и конные и пешие нацелились на новосильцев.

Новосильцы растерялись от такой неожиданности.

— Биться или мириться? — кричал Кудеяр.

— За что биться, с кем? — спрашивали новосильцы.

— Если хотите мириться,— сказал Кудеяр,— приставайте в службу князя Владимира Андреевича; мы идем на мучителя христианского, кровопийцу Ивашка, что в Александровской слободе, хотим его извести, а на царство посадить Владимира Андреевича. Идите к нему на службу: вот вам денежное жалованье, и караван раздуваним.

— Мы верою-правдою присягали служить царю Ивану Васильевичу, всея Руси самодержцу, а князю Владимиру Андреевичу не присягали и присягать не хотим,— сказал станичный голова.

— Так вы биться хотите! — сказал Кудеяр.— Братцы, стреляйте в них.

— Постойте,— сказал голова, осмотревшись и увидя, что станица его со всех сторон окружена,— дайте подумать.

— Думайте, да недолго,— сказал Кудеяр,— а на нас ружья не поднимайте! Вот вам наше слово. Хотите биться, так мы вас примем в два огня, нас втрое больше, чем вас... Мы всех вас перебьем. А хотите мириться, так либо к нам переходите и поступайте на службу князя Владимира Андреевича, либо, коли не хотите ему служить, побросайте оружие и коней — наш государь князь Владимир Андреевич милостив — вас животом пожалует.

— Дайте подумать,— сказали новосильцы.

— Думайте, думайте, да, говорю вам, недолго,— сказал Кудеяр.

— Нас меньше, чем их,— сказал голова станичникам своим,— покинем им ружья и коней; мы скажем, что не

смогли против большой силы. Все равно, коли станем им противиться, они перебьют нас, а царь-государь, может быть, нас и помилует за то, что мы все-таки не изменили ему. Так ли?

— Так, так! — говорили станичники.

Голова обратился к Кудеяру и сказал:

— Мы покидаем оружие и коней. Ваше слово твердо: отпустите нас домой.

— Кидайте оружие,— сказал Кудеяр,— мы вас убивать не станем.

Новосильцы стали слезать с лошадей и кидать оружие. Но двое, перешепнувшись между собою, сказали:

— Мы пристаем на службу князя Владимира Андреевича.

— Так поезжайте сюда, к нашим,— сказал Кудеяр.— Кто перейдет на службу Владимира Андреевича, тот не слезай с коня, а завертывай налево, к нам!

За двумя последовало еще восемь человек. Остальные побросали оружие.

— Заберите ружья их,— сказал Кудеяр разбойникам,— и стерегите их. Они в полон сдались.

— Отпусти же нас! — сказал голова.

— Прежде караван разберем,— ответил Кудеяр.

Он подошел к царскому гонцу, которого уже успели связать разбойники.

— Подай грамоту,— сказал Кудеяр.

Гонец подал.

— Читай, да не лги,— сказал Кудеяр.

Гонец прочитал. В грамоте московский царь уверял Девлет-Гирея в дружбе, извещал, что посылает тяжелые подарки. Царь просил прислать двух пленных черкесских князей, сыновей Мамстрюка, обещал за то отпустить бывших в плену татар и несколько человек отпускал. В заключение было сказано: «А что твой посол говорил про Кудеяра, чтоб его отпустить к тебе, и Кудеяра не стало, а мы к тебе, брату нашему, его отпустили, коли б он был жив».

— Врет, мучитель! — сказал Кудеяр.— Я жив и поехал бы к светлейшему хану, да хочется отомстить злодею своему и избавить всю землю русскую от мучителя.

В это время знакомый голос назвал по-татарски Кудеяра.

Кудеяр узнал одного из приезжавших с послом хана татар.

— Где Ямболдуй-мурза? — спросил он татарина.

— Задержал царь Иван.

— Братцы,— сказал Кудеяр своим,— отпустим всех татар. Девлет-Гирей наш друг. Ну, Иванов гонец, есть у тебя еще грамоты?

— Есть.

— К кому? Это к кому? — спрашивал Кудеяр, указывая на грамоту, взятую у гонца.

— К явлашскому бею.

— Читай.

Гонец стал читать. Кудеяр по его физиономии догадался, что он читает не то, что в ней написано. Он вырвал грамоту из рук гонца и спросил, обращаясь к своей ватаге:

— Есть кто грамотный?

Нашелся один из передавшихся новосильцев, бывший подьячим. Он прочитал грамоту, в которой царь Иван, лаская явлашского бея, делал намеки на возможность получить ему ханское достоинство. Кудеяр передал содержание грамоты татарину, назвавшему себя крымским гонцом, и, отдавая ему грамоту, сказал:

— Возьми эту грамоту и отдай светлейшему хану. Пусть увидит, какова московская дружба.

— Кудеяр,— сказал крымский гонец,— Ивановы поминки отдай нам. Это ханское добро.

— Друг мой,— сказал Кудеяр,— оно не дошло до рук ханского величества и посылалось не с чистым сердцем, как сам видишь. Мы идем войною на нашего врага и лиходея; он и хану враг и лиходей. Нужно войску одежды и жалованья. Как мы изведем Ивана и посадим на царство иного царя, князя Владимира Андреевича, тогда, будучи у него первыми людьми, возблагодарим хана в десять крат. А теперь коли все это выпустить из наших рук, то нечем будет войска нашего содержать, и дело наше не пойдет на лад. Хан мудр и милостив, сам рассудит, что иначе нельзя. Для его милости будет лучше, как мы изведем его недруга.

— А купцы,— сказал гонец,— они деньги платили за товары.

— Мне их жаль,— сказал Кудеяр,— да что же делать? Нам хлеба нужно и на войско одежды. Не с голода же умирать нашим и не от холода окоченевать! Придет время, воцарится князь Владимир, за все убытки заплатит, потому что у них взят товар на его обиход по крайней нужде.

— А людей? Они купленные.

— Русские есть между ними? — спросил Кудеяр.

— Нет,— отвечали ему,— все воинский полон немецкий.

— Возьмите их! — сказал Кудеяр.— Нам они не нужны! Вот вам еще новосильцы, что вас провожали. Ведите их в неволю.

Татары бросились вязать новосильцев. Поднялся вой, вопли, крики.

Кудеяр взял у московского гонца денежную казну и приказал его самого изрубить; потом велел отвязать двуколки и забрать вьючных лошадей с товарами, а все принадлежащее собственно татарам отдал им. Наконец, сказавши ханскому гонцу, что по возведении князя Владимира на престол докажет хану свою любовь и преданность, отпустил татар с невольниками.

Разбойники, с приобретенными возами, вьючными лошадьми и стадами, двинулись вправо от Муравского шляха, по правому берегу Быстрой Сосны. Оказалось, что в то время по берегам этой реки не было уже безлюдно. Местами стояли селения; беглецы, искавшие себе свободы от всяких тягостей, селились там; были тут и дети боярские, убежавшие со своими людьми. Сельца были ограждены рвами и частоколами. Разбойники не нападали на них; они шли по опушке лесов, иногда проходили и леса. Так миновали они Елец, стараясь не показываться ельчанам, и для того в этом месте особенно должны были держаться леса.

Когда уже недалеко был Дон, Кудеяр стал дуванить отбитый караван. Всю царскую денежную казну и деньги, отнятые у купцов, он не пустил в дуван, объявил, что это казна князя Владимира и пойдет на уплату жалованья его служилым. Чтоб уравнить всех, Кудеяр назначил по выбору ценовщиков, которые оценяли меха, одежды и другие товары, исключая хлеба; каждый мог брать себе, что хотел, приплачивая деньгами, если брал больше, сколько приходилось на его долю по оценке. Лошади были также поделены, но лишние оставлены в запасе для тех, которые были на Дону. Скот и хлеб не делили; Кудеяр назначил поваров, которые должны были готовить есть разбойникам по кучкам: на кучку в тридцать человек назначался повар. Для смотрения за скотом назначены были скотари. Установивши правила хозяйства, Кудеяр привел свою ватагу на Дон, где соединился с другою ватагою, еще более многолюдною.

II. ЗИМОВЬЕ

Донская ватага с радостью приветствовала новых товарищей, они были ей дороги, потому что привезли с собой оружия, запас съестного, лошадей. Все проникались уважением к Кудеяру, о котором прибывшие товарищи рассказывали удивительные вещи; все обещали слушаться Кудеяра, особенно, когда он всем им раздал жалованье и обязал считаться служилыми людьми князя Владимира. Однако донские смотрели с завистью на прибывших, потому что последние были богаче и носили меховые шубы, тогда как донские должны были довольствоваться овчинами.

— Вы прежде караван разбейте, как мы,— говорили донским прибывшие,— коли у нас что есть, так досталось не даром.

Кудеяр занялся устройством жилищ на зиму и велел делать землянки в горе, над Доном. Для скота и лошадей были сделаны деревянные загоны. Пока не спал снег, скот и лошади были на подножном корму; а на зиму у донских заранее припасено было несколько стогов сена. Хлебного зерна и овса было вдоволь награблено в караване. За неимением мельниц зерно толкли в деревянных ступах, которые в небольшом количестве изготовили донские.

Люди, составлявшие донскую ватагу, главным образом были холопи опальных бояр и их крестьяне, затем беглые и лишившиеся поместьев служилые, а к ним присоединялись еще забубенные бродяги, которым с юности было противно всякое порядочное, законченное дело, омерзело жить посреди мира и связывать себя его тяготами. То были любители простора, вольности и так называемого воровства, т.е. всего того, что осуждается и преследуется законом: порок и злодеяния стали, так сказать, их природою. Люди боярские, наполнявшие дворни бояр и знатных людей, и крестьяне, несмотря на видимое подобие, рознились между собою по своим нравам. Первые, как холопи, составляли такой класс, для которого неизбежным казалось всегда служить кому бы то ни было, быть в неволе у кого бы то ни было. Гнев царский, постигший их господ, освобождал их от холопства, они сами собою делались свободными; но свобода была им несвойственна, как рыбе воздух без воды; обыкновенно в московской Руси освобожденный холоп делался снова холопом другого господина. В их положении никто не хотел брать их в холопи, потому что судьба связывала их в прошедшем с опальными; в людском обществе им было небезопасно: достаточно было на такого холопя кому-нибудь донести, что он хвалил своего бывшего опального господина или пожалел о нем, и холопу была беда; это тревожное положение, лишая таких холопей средств устроиться в людском обществе, увлекало их в

разбойническую шайку. Но качества, приобретенные ими в холопьем быту, не оставляли их и в разбойничьем. Кудеяр, начальствуя над ватагою, не нося звания атамана, назывался хозяином и исполнял то, что обыкновенно составляло признак господина дворни, платил жалованье, распоряжался продовольствием: он был первым, важнейшим лицом в ватаге и поэтому стал полным господином над теми, которые прежде были холопями и не понимали никаких других отношений зависимости, кроме рабского повиновения тому, от кого получали жалованье. По понятиям своего времени, они и относились к нему, как вообще к такому, которому давали на себя кабалу. Но на их постоянство, верность и честность не мог полагаться Кудеяр; не могли в этом полагаться на них и прежние господа; Кудеяр — еще менее. При малейшем противном ветре, подувшем на их господина, при первом лакомом обещании, данном сильною стороною во вред господину, они способны были предать и продать его. Таково достоинство холопя.

Крестьяне были люди иного склада, чем холопи, но также, как холопи, не могли составлять для Кудеяра надежного оплота. Крестьяне, прежде находясь в своих дворах, не были, подобно холопям, челядью без определенного призвания, обязанною исполнять ту либо другую прихоть господина, их кормившего и одевавшего. Крестьяне были тружениками, в поте лица добывавшими хлеб свой с полученной по договору земли от ее владельца. Горькая судьба разорения постигла их случайно, оттого только, что им пришлось жить на земле того боярина, которого постигла опала. В них не было тех пороков, которые присущи были дворне. Земледельческий труд облагораживает человека, и как бы ни было порочно какое-либо общество, те, которые занимаются исключительно земледелием, будут сравнительно лучшими и честнейшими людьми в этом обществе до тех пор, пока не перестанут быть земледельцами. После того как царь, без всякой вины со стороны этих крестьян, приказал сжечь их дома, истребить скудное их имущество и самих разогнать на все четыре стороны, осуждая их на голодную смерть, им приходилось каким-нибудь иным способом поддерживать свое существование, и они пошли в разбой из-за куска хлеба. Других средств им не представлялось. Но пока они не привыкли к новому образу жизни и не вошли еще во вкус к злодействам, они всегда готовы были покинуть разбойное дело, лишь бы представилась возможность заняться прежними средствами добывания хлеба. Стоило им сказать: вот вам земля, вот вам соха, борона, серп,— и они оставят Кудеяра на произвол судьбы!

Служилые люди, ушедшие от службы, были трех родов: одни убежали от опасностей войны, следовательно, от трусости. Многие из их братии уходили в степи и там селились с своими людьми; в разбой шли такие из них, которым нечем было подняться и вообще не представлялось удобств к переселению. На них нельзя было слишком полагаться Кудеяру: трусость, загнавшая их в разбой, взяла над ними верх и здесь, как в государевой службе. Такие были отважны только тогда, когда приходилось расправляться с безоружными и слабейшими, но при встрече с очевидною опасностью храбрости у них не хватало. Другие, как передавшиеся Кудеяру рыльчане, увлеклись минутною надеждою на выигрыш дела, на удачу предприятия. Эти люди при неудаче тотчас бы поддались увещаниям противной стороны, если б она посулила им прощение их вины. Наконец, тут были служилые, которых судьба походила до известной степени на судьбу Кудеяра: то были те, которых царь лишил поместьев, не принявши самих их в опричнину, или подверг опале их родных,— эти сердечнее относились к делу, предпринятому Кудеяром; но их было меньшинство.

Из атаманов той шайки, к которой пристал Кудеяр, двое — Лисица и Муха — были из боярских людей; их шайки состояли почти исключительно из людей и крестьян опальных бояр. Лисицу сделали атаманом за его юркость; он то и дело вертелся, бегал, запыхавшись, кричал так торопливо, что понять его не всегда было можно, строго приказывал и сам же нарушал свое приказание. С прибытием Кудеяра он беспрестанно совался к нему с советами, а Кудеяр не обращал на них внимания, хотя никогда не противоречил ему, и Лисица исполнял во всем волю Кудеяра, хоть и был этим постоянно огорчен. Муха был образчиком иной натуры, также свойственной холопьему быту: в нем было мало поворотливости, какая-то сонливость, тяжеловатость, говорил он не скоро, но зато как будто всегда думал и силился выдумать что-то такое, чего не выдумать другим; его считали умным, знающим и за то выбрали атаманом. Он не взлюбил Кудеяра, который не дослушивал его тягучих речей, потому что ничего умного и способного в нем не находил; однако и Муха, как и Лисица, не любя Кудеяра, повиновался ему. Третий атаман, Васька Белый веневский — сын боярский, был трус преестественный, зато большой хвастун и лгун, жесток до бесче-

ловечия над бессильным и при всякой опасности дрожал как лист. Он ненавидел Кудеяра, как ненавидит действительно сильного слабый, считавшийся по ошибке сильным. Еще более ненавидел Кудеяра четвертый атаман, Федька Худяк. Он был давний злодей и начал с того, что когда-то, живучи в Серпухове на посаде, по злобе сделал поджог, а потом, когда причина произведенного им пожара стала раскрываться, Худяк бежал в лес. Одаренный большою телесною силою, он сделал несколько удачных грабительств; к нему пристали молодцы, нарочно отправившиеся в лес искать его, когда о нем пошел слух. У него явилась шайка человек в пятнадцать; до опричнины такая шайка считалась бы многолюдною. Разбойники поселились в лесу, между Серпуховым и Коломною, жили в землянках, грабили проезжающих, нападали и на усадьбы. Они завели торговлю с крестьянами в разных местах, покупали у крестьян необходимое, а крестьянам дешево продавали такие вещи, которые было трудно найти в деревнях; многое из карманов богатых людей переходило к небогатым. Крестьяне нарочно не расспрашивали разбойников, кто они, и хотя хорошо это знали, но притворялись незнающими; при таких отношениях ни разбойники не обижали этих крестьян, ни крестьяне не доносили на разбойников. Но скоро губной староста, услыхавши многие жалобы на разбой, поднял на разбойников всеуездных людей; Худяк убежал в Веневский уезд, а там, в лесу, жил уже Васька Белый с двенадцатью удальцами; два атамана встретились и стали вместе вести разбойное дело. Тут случилось, что опричнина изменила вообще положение разбойников и отношения к ним населения. Разогнанные люди и крестьяне опальных бояр, дети боярские, лишенные своих поместий, осужденные на переселение и не хотевшие идти на новоселье, сыпнули в лес. У Худяка и Белого вдруг стало много народа. Крестьяне боялись разбойничьих шаек, были рады, чтоб только они их щадили, а потому заведомо потакали им, укрывали их, всегда предупреждали, когда губные старосты посылали бирючей кликать всеуездных людей на ловлю разбойников, и сами отлынивали от таких походов. Разбойники смеялись над высылками против них и над губными старостами. Дошло до царя, что наместники и губные старосты ничего с ними не поделают. Царь отправил в Веневский и Рязанский уезды Алексея Басманова с ратными людьми и пушками. Это заставило Худяка и Белого со своими ватагами уйти на юго-восток в лес, где

можно было прятаться за омшарами, как назывались в рязанской земле лесные топи. Туда же опасность загоняла другие шайки, и таким образом Худяк и Белый соединились с шайками Лисицы и Мухи. Через крестьян, везде мирволивших им, они узнали, что царь не хочет их оставлять в покое и там; они решили двинуться южнее, совсем в поле, как говорилось тогда, т. е. туда, где уже оканчивались сплошные поселения, и очутились на берегу Дона, где застал их Кудеяр. Крестьяне, наполнявшие ватаги, были того намерения, чтобы оставить разбойное дело, поселиться на новых землях и жить своим обычным способом, возделывать землю и питаться от плодов ее. Но пришел Кудеяр, соблазнил всех надеждою обогатиться, наделил их жалованьем, лошадьми, оружием и завербовал в службу князя Владимира Андреевича. Худяк сильно увлекся предприятием Кудеяра, надеялся на успех и воображал играть великую роль в будущем. До прибытия Кудеяра Худяк над всеми верховодил, и при Кудеяре хотелось ему остаться с прежним значением главного коновода; он стал показывать свою прыть даже над самим Кудеяром и позволял себе кричать на него так же, как он привык кричать не только на подчиненных, но даже на равных ему атаманов. Кудеяр не вдавался с ним в споры и ругательства, выдерживал его выходки покойно, равнодушно и заставлял его поступать так, как Кудеяру хотелось. Весь круг был за Кудеяра, во всем ему повиновался, ни в чем ему не перечил, и Худяк злился, но поневоле покорялся Кудеяру, не теряя притом веры в успех руководимого последним предприятия.

В конце ноября явилась еще небольшая шайка, человек в пятьдесят, на конях, под атаманством Гаврилки Кубыря. Он был послушник Радуницкого монастыря. Прошлое лето повздорил он с другим послушником, ударил его в висок, а тот на месте и душу положил. Кубырь бежал в лес, несколько дней скитался, чуть не умирая с голоду, потом пристал в деревне к крестьянину и нанялся работать за кусок хлеба. Здесь он услышал, что верст за двадцать есть разбойничья шайка Жихаря. Кубырь обокрал своего хозяина, взял у него лошадь и ускакал искать Жихаря. Дня через два он встретился с удалыми, которые привели его к своему атаману, Жихарю. Этот Жихарь был когда-то холоп князя Курбского; после бегства господина царская опала стала карать его слуг; Жихарь, спасаясь от смерти, постигшей уже других холопей, бежал с несколькими холопями того же князя в лес, начал промышлять разбоем,

а потом шайка его умножилась до двухсот человек, большею частью из холопей опальных бояр. Жихарь принял с радостью Кубыря, тем более что Кубырь был грамотный человек, единственный во всей шайке. Ловкий, сметливый и отважный, Жихарь отлично вел свое дело, водил хлебсоль с крестьянами, торговал с ними, и шайка его была в хорошем положении. Но и над ним, как над другими, собралась гроза. Он разбойничал около Зарайска. Губные старосты ничего с ним не могли сделать. Но на него послана была царская рать, и Жихарь ушел к Пронску, потом двинулся еще южнее и утвердился в лесу за омшарами. Осенью 1568 года услыхал он, что прогнанные из рязанской земли ватаги ушли на Дон. Хотелось ему туда же, и он послал Кубыря разведать об этих ватагах.

Вот этот Кубырь принес Кудеяру важные вести. Он сообщил ему, что Радуницкий монастырь, откуда он убежал,— одно из любимых мест Ивана Васильевича, что царь уже посещал его и приказал этим летом строить для себя дворец, обещая приехать весною на богомолье.

Кудеяр ухватился за эту весть. В его голове блеснула мысль в этом месте напасть на царя и извести его.

Кудеяр решился сам лично узнать обо всем, удостовериться, правду ли говорит Кубырь, и осмотреть местность, чтоб решить, удобна ли она для совершения предприятия. Он взял с собой Кубыря и двух братьев Юдинковых и поехал верхом по молодому снегу.

Достигши жилых мест, Кудеяр остановился у одного крестьянина и послал Кубыря звать к себе Жихаря для переговоров. Кубырь воротился и сказал, что Жихарь ждет его в корчме.

Корчма эта была в том же селе и содержалась одною вдовою; то было место всяких удовольствий; там была постоянная брага пьяная и мед; туда приходили охотники до женского естества, и веселые прелестливые женщины, и бродячие скоморохи там потешали народ. Когда Кудеяр туда прибыл, в корчме, кроме Жихаря, никого тогда не было.

— Сперва выпьем,— сказал Жихарь,— я, брат, коли не пьян, так ничего не пойму, хоть голову мне пробей, а только выпью, откуда ум возьмется.

Выпили.

— Ты, говорят,— сказал Жихарь,— большой силач. Кубырь мне говорил... А пьешь мало. Ну, скажи, брат, размил-

друг, какие ты затеваешь великие дела. Постой... ты говори, говори, а я еще выпью.

Кудеяр изложил ему свое намерение. Жихарь все ухмылялся и говорил:

— Ну, ну! хорошо! ну!

Кудеяр остановился.

— Кончил? — спросил Жихарь.

— Кончил, тебя жду, что ты скажешь?

Жихарь помолчал, потом вдруг, возвышая голос, сказал:

— А я тебе то скажу, что такой умной головы, как твоя, другой на свете не найдешь! Все мы будем тебе покоряться; как ты велишь, так и будем чинить. На всей твоей воле. Я, брат, давно о том думал, что ты говоришь, да не я один,— вся Русь о том помышляет, того только и чает. Только все хотят, да не знают, как взяться за дело, а ты вот своим умом все смекнул и способ нашел. Слушай же, брат, милый товарищ дорогой, ты поезжай в Радуницу да все там высмотри хорошенько. А я с своей шайкой к тебе на Дон не поеду оттого, что придется же опять назад ехать; мы сделаем вот как: весною ты выступишь и со мной сойдешься, я тебе теперь покажу место, где у нас быть сходу.

Выпивши и поевши, товарищи поехали верст за семь к озеру, которое с трех сторон было окружено лесом, а с четвертой выходило в открытое поле.

— Ты,— сказал Кудеяру Жихарь,— как придешь сюда, меня подожди, а коли я прежде приду, так я тебя подожду, а быть нам здесь после вешнего Юрия. А я тем часом пошлю собирать еще ватаги. Есть, знаю, под Муромом большая ватага. Она к нам придет.

Они разъехались. Кубырь остался с Жихарем, передавши власти Кудеяра свою ватагу, приведенную на Дон. Кудеяр с братьями Юдинковыми поехал к Радуницкому монастырю.

Ему пришлось проехать более ста верст. Радуницкий монастырь находился в лесу, близ озера, и стоял на возвышенном месте. Новая каменная церковь красовалась посреди большого двора, обведенного толстою бревенчатою двойною стеной, за которою кругом прорыт был ров. Во дворе были избы; одна просторная изба со светлицею занимаема была игуменом; близ нее находился не достроенный еще деревянный дворец, который велел царь приготовить для себя к маю будущего года.

Кудеяр вошел в церковь во время обедни, в монашеской одежде, которую взял у одного из своей шайки, ограбивше-

го когда-то чернеца. День был будний, зимний, кроме служек и монахов, никого не было. Сразу увидел Кудеяр, что монастырь этот легко было бы ограбить, но удержался от искушения, рассчитывая, что Радуницкий монастырь пригодится ему на более важное дело. По окончании литургии Кудеяр подошел к игумену, упал к его ногам, просил благословения и объявил, что он — монах из Киева, странствует для поклонения святым в Московском государстве. Игумен велел одному из своих монахов приютить у себя странника, а после вечерни позвал его к себе и стал у него расспрашивать про Киев.

Кудеяр говорил ему, сколько знал и сколько мог, но вскоре оказался в нем недостаток сведений, нужных для того, чтобы играть роль монаха. Стал его игумен спрашивать, как в Киеве поется такая-то церковная песнь, как отправляют там такой-то церковный ход. Кудеяр очутился в глупом положении и мог выпутаться из него только тем, что сказал:

— Отче! я человек совсем не книжный! Прост человек! Памяти большой мне не дал Бог.

— Вижу, что ты простак,— сказал игумен,— но не скорби о том, чадо; нищие духом в царствие внидут, а высокоумные в геену пойдут, аще не от Бога их мудрость. Бог смиренныя возносит. Вот и наш монастырь был бедный, нищий, самый последний. А ныне явися нам благодать, спасительная всем человеком. Великий государь стал отменно жаловать нас, у нас бывал и теперь повелел приготовить себе дворец, хочет к нам в мае приехать, к Николину дню. Вот это божья благодать.

Намотал себе на ус слова игумена Кудеяр и порешил: к вешнему Николину дню царь придет сюда, вот тогда-то мы расправимся с ним, отомстим ему за всю кровь, пролитую им напрасно.

Кудеяр на другой день, после рассвета, вышел из монастыря, сказавши, что идет в Богословский монастырь, нашел в ближнем селе своих товарищей с лошадьми и в продолжение трех дней объезжал, уже не в монашеском платье, все окрестности монастыря, высмотрел удобное место для стана за лесом и уехал, пробираясь не без труда по заваленным снегом полям, до своего стана на Дону. Только железной натуре людей того времени возможно было пробираться в пустынях зимою, ночуя на сугробах, сбиваясь с пути во время метелей, питаясь одними сухарями и кормя лошадей скудным запасом овса, купленного

в последней деревне и сохраняемого в мешках, привязанных к спинам лошадей. После таких трудов Кудеяр добрался до теплой землянки в донском стане и положил не выезжать уже никогда до весны, когда предложено было идти для совершения заветного предприятия.

Между тем в Москве происходило следующее.

Был у царя Ивана Васильевича в Москве новый дворец, построенный им за Неглинною в ту пору, как царь возненавидел все, напоминавшее ему времена Адашева и Сильвестра, и в том числе старый кремлевский дворец своих предков. Царю опротивела Москва, не жил он в ней, предпочитая Александровскую слободу, и только иногда приезжал в столицу на день на два и тогда поселялся в этом своем новопостроенном дворце. В одной комнате этого дворца, обитой зеленым сафьяном с золотыми узорами и украшенной рядом икон в басменных окладах, за столиком, на котором мозаикою выделаны были изображения птиц, сидел царь Иван Васильевич, одетый в черный атласный кафтан, на голове у него была тафья, а в руках его был остроконечный посох. Страшен был вид царя в эту минуту; он слушал с напряженным вниманием; шея была вытянута, голова тряслась, судороги бешенства передергивали его лицо. Перед ним стоял Басманов и рассказывал, как Кудеяр, которого царь считал погибшим, собирает шайку, хочет извести государя и думает посадить на престол князя Владимира Андреевича.

— Так вот, мой братец возлюбленный, каков ты! — говорил царь.— Давно ты замышляешь снять с меня венец! Прежде бояр хотел соблазнить, да не удалось, однодумцы твои получили достойную казнь. Теперь ты себе нашел иных пособников! Хорошо, хорошо! А и шурин мой хорош. Разве не он мне донес, что Кудеяр умер с голоду и будто слуга его, Алимка, стащил его тело в воду! Басманов, ты мне верен или предашь меня, как Христоса Иуда предал?

— Государь, чем заслужил, что ты не веришь мне, верному рабу твоему? — сказал Басманов, кланяясь в землю.— В огонь, в воду пойду по твоему велению, жилы свои дам вымотать за здоровье моего царя-государя.

— Вы все одно поете,— сказал царь.— Мамстрюк был мне свой человек, а изменил... Вот и Афонька Вяземский, я замечаю, змеею глядит.

— Я не Мамстрюк и не Афанасий Вяземский,— сказал Басманов,— я человек прост, не княжеского рода, не бо-

ярского; ты меня, царь-государь, из грязи извлек; я твой пес верный.

— Так достань мне Кудеяра,— сказал царь, ударяя посохом об пол и оставляя на полу знаки...— Достань мне моего лиходея! Кудеяр — моя беда... это черт его знает, что он такое... Пришел из чужой земли, сила у него нечеловеческая, роду он невесть коего: крест какой-то на нем... Это непросто! В неволю попал — и в неволе не пропал, а еще у хана в приближении стал. Ну, что ж, зачем там не остался? Ко мне захотел? А! Басманов! В те поры, как он к нам стал проситься, я призывал к себе гадателя немца, что по звездам смотрит; тот немец сказал, что есть у меня враг лютый, страшный, сильный, такой-то враг у меня может отнять престол. Я допрашивал его,— кто он? А немец сказал, что не знает, как его назвать. Потом прошли годы. Когда вокруг меня появилась измена, я вспомнил про то, что говорил мне астроном, позвал его и спросил: где теперь тот враг мой, что ты мне когда-то говорил? А тот астроном мне отвечал: в чужой земле. Я спросил его: каков он? А тот астроном мне рассказал; по его речам я догадывался, что это Кудеяр. Слушай же! Я никому про то не говорил и долго сам с собою думал: оставить ли его в чужой земле либо к себе зазвать. Напоследок я рассудил не оставлять его в чужой земле, чтоб он оттуда мне зла не учинил, и позвал его к себе. Что ж? Видел сам, что случилось! О! — произнес царь Иван бешеным голосом, стукнувши своим посохом.— Зачем я его не предал смерти? Хотелось мне его лютыми муками казнить... А он вот цел остался. Нет, Басманов, это не прост человек! Это — это беда моя! Басманов, поймай, достань мне Кудеяра, что б то ни стоило тебе... Ты будешь мой первый друг, коли его достанешь!.. Постой! Позови мне этого разбойничьего атамана, что пришел к тебе. Хочу сам видеть его.

Басманов ушел, потом привел Жихаря в цепях и, оставив его в сенях, доложил царю. Царь вышел в сени.

Жихарь упал к ногам царя.

— Разбойник! — сказал царь.— Ты за свои злые дела довелся жестокой казни по нашему царскому указу, но ты не убоялся нашего праведного суда, пришел прямо к нам и донес про умысел собачьего сына, Кудеяра, на наше государское здоровье и на наш царский венец. Этим ты уподобился оному благоразумному разбойнику, который, вися на кресте, обличил блудословие своего товарища и поклонился святыне распятого Господа Бога и спас нашего

Иисуса Христа. Бог простил его и в рай его с собою ввел. Так и мы, по нашему царскому милосердию, подражая Господу нашему, прощаем тебя за все тобою сделанные мерзкие дела и приемлем тебя в нашу царскую службу. Мы прикажем поверстать тебя поместьем нашим в московском уезде. Снимите с него цепи!

С Жихаря сняли цепи. Жихарь молча кланялся три раза в землю.

— Как зовут тебя? — спросил царь.

— Данило Жихарь,— сказал Жихарь.

— Сослужи нам верную службу, Данило,— сказал царь.— Иди к разбойникам в стан и скажи, что государь-царь их всех прощает: какие там есть крестьяне и боярские люди — тех велит поселить в дворцовых своих слободах, а какие есть наши служилые люди, тех велит испоместить, и быть им на государевой службе по-прежнему, всем прощение царское и вины их впредь воспомянуты не будут, но только чтоб они сами сковали и привезли к нам Кудеяра.

— Царь-государь,— сказал Жихарь,— не вели казнить, вели слово вымолвить.

— Что? — сказал нетерпеливо и грозно царь.

— Великий государь! — сказал Жихарь.— Они меня не послушают, скажут, я сам то своею волею затеял... Коли твоя воля будет, пошли своего воеводу, а мне позвать их, будто на тебя, государь, с лихим умыслом идти и потом навести на новую рать. А у меня, великий государь, с Кудеяром сговор был таков: чтоб ему с своими разбойниками придти в Пронский уезд и стать подле озера и меня дожидаться там. И как они туда придут, пусть придет на них твой воевода с твоею царскою ратью и с пушками, и отовсюду их обступят, и выходу им не будет. А пушек у них нету. И когда воевода к ним пошлет с таковым твоим царским словом, и они, видючи, что им некуда деться, отдадут Кудеяра!

— Басманов! — сказал царь.— Данило говорил дело. Я пошлю тебя на разбойников, а Данило укажет тебе то место возле озера. Ты мне приведешь Кудеяра. Он должен принять смерть перед моими глазами.

Отпустивши Басманова и Жихаря, царь велел позвать к себе Алима.

Алим во всем сознался.

Царь приказал отвести его в дом своего шурина и повесить над порогом его дома, на верхнем косяке двери, и оставить до тех пор, пока труп сгниет. К дому Мамстрю-

ка приставлена была стража, а ему самому было объявлено, что он должен ожидать смерти. Дни проходили за днями. Мамстрюк, не выходя из дому, должен был терпеть невыносимый смрад от разлагавшегося трупа своего слуги и мучиться каждоминутным ожиданием мук и смерти. Так оставался он целые месяцы, наконец целый год,— пока жива была сестра Мамстрюка, царица, Иван Васильевич не казнил его. По смерти Анастасии * царь Иван женился на Марье Собакиной, умершей чрез несколько дней после брака. Мамстрюк все оставался в заточении, в ожидании смерти; время приучило его к такому ужасному положению.

III. НЕУДАЧА

Не без труда приходилось Кудеяру сдвинуть с места свою ватагу, когда наступила весна и пришло время выступать в поход. Многие запели неприятную для него песню: лучше нам остаться тут на житье да построиться избами и дворами по-людски, лесу здесь довольно; стали бы мы орать да сеять, земля испокон века непаханная, черноземная, урожай большой даст; будем себе мы проживать в добре и холе, никаких даней не платя и тягостей никаких не отбывая; от Москвы далеко, царь про нас не узнает, а хоть бы и прослышал, так не станет на нас посылать рати.

— Нерассудливые вы люди и неразумные речи ваши,— сказал Кудеяр.— Нешто вас так и оставят на покое, как вы себе уповаете? Царю-то, чай, ведомы ваши прежние разбои; прошлый год посылал он Басманова разгонять вас. Теперь, узнавши, что мы ушли к Дону, он беспременно пошлет рать на нас посильнее, чтобы нас добыть и выкоренить; жить вам здесь он не даст, будет думать, что, живучи здесь, вы когда-нибудь вздумаете и набежите на его город. И что, вы думаете, за даль такая? Вот на Дону город Данков построили: это уж недалеко от нас. Вы тут поселитесь, думаючи жить во льготе, а льгот вам и на три года не хватит. Придут ратные; какие из вас побойчее, тех посекут, других батогами и кнутьями побьют да куда-нибудь пошлют, а которых тут на новоселье оставят, тех обложат всякими тяготами. А что тут за рай такой? Что хлеба много уродится! Да, хорошо, как уродится, а как не уродится, тогда вам плохой будет рай на первый же год! А как мы пойдем на мучителя, да изведем его, да другого царя посадим, так нам не таким счастьем запахнет. И дело наше

* В першодруку цариця Анастасія помилково названа Мар'єю.

скорое будет: в каких-нибудь полдня все обработаем; против нас земля за мучителя не встанет; бояре земские того только ждут, чтоб отважные молодцы избавили их от Ивана. Они нашего умысла ведомы... и чают прихода нашего, и как только мы изведем мучителя, тотчас же с нами станут вместе, и мы все будем им вровню. Вот что нам будет, вот чего добудем своим походом. Что, кажись-то, познатнее вашего урожая. Ха, ха, ха! На урожай, дурни, надеются. Да я вам теперь же каждому дам столько серебра, сколько бы вы получили за свой хлеб, если бы при большом урожае его собрали с этих полей. Посудите же сами своим мозгом: хлеб надобно посеять, да когда-то он вырастет, а как вырастет, надобно его еще убрать, да смолотить, да провеять, да куда-то еще на продажу отвезти и тогда уже, продавши, деньги взять; а тут вам дают столько же серебра, и вы берете его ни оравши, ни сеявши, ни молотивши, ни на продажу не возивши!

Кудеяр тотчас после такой речи предложил им деньги; серебро своим пленительным видом выбило у них мирные грезы о крестьянской жизни. Однако Кудеяр все-таки сделал уступку нехотевшим и предоставил на волю идти с ним либо оставаться. Набралось человек шестьдесят, которые не пошли и решились обзаводиться крестьянским хозяйством: это были женатые и семейные. Шедшие в поход женатые оставили своих жен на месте.

Снег почти сошел с полей и скрывался только в глубоких оврагах. Молодая трава стала покрывать степи. Разбойники выступили в поход верхом; возов с ними не было; у некоторых были вьючные лошади, но у большинства запасы лежали на тех же лошадях, на которых ехали сами всадники. Кудеяр не велел гнать за ватагою ни скота, ни овец, чтоб не замедлять хода.

— Нам,— говорил он,— скорее бы добраться и покончить дело, а там у нас всего будет вдоволь.

Едучи дорогою, Кудеяр ободрял едущих с ним разбойников, твердил им, что они все скоро станут богатыми и знатными людьми, перестанут скитаться в лесах, будут владеть вотчинами.

Проехали степь. Стали появляться признаки оседлого житья, вспаханные нивы, и на них работники набегали и прятались, завидя неведомых всадников; по сторонам виднелись деревни и селения, хотя нечастые. Уже до места, где надобно было Кудеяру сходиться с Жихарем, оставалось недалеко. Кудеяр отправил Окула и Урмана с отрядом

разбойников и с запасом вьючных лошадей в дворцовую волость и приказал захватить там, что случится, съестного для ватаги, чтобы стало ей в походе до вешнего Николы. Кудеяр велел им приказчика и его приказных людей в дворцовой волости побить до смерти и царские запасы себе забрать, а крестьян не трогать и не грабить; а коли чего недостанет из царских запасов, то у крестьян все купить, а даром не брать, только при том сказать крестьянам, чтоб они о приезде их знать никому не давали до времени, а сами бы то знали, что, согласно воле всей земли русской, Иван за свои мучительства царем больше не будет, а станет царем-государем князь Владимир Андреевич. Все награбленное в дворцовой волости Окул с Урманом должны были привезти на то место, где Кудеяр уговорился съехаться с Жихарем; а чтоб Окул с Урманом попали прямо на то место, Кудеяр послал с ними братьев Юдинковых, потому что они с ним были в то время, как он уговаривался с Жихарем.

Ватага дошла до назначенного места близ озера. Озеро было в разливе. Разбойники расположились на берегу его, развьючили лошадей, спутали им ноги и пустили щипать молодую луговую траву, а сами стали разводить огни и варить себе кашу. Многие бросились удить рыбу в озере. Солнце тогда склонялось к западу.

Вдруг из-за леса, который окаймлял озеро на противоположной стороне, начинают выезжать конные.

— Наши, наши! — кричали разбойники, вскакивая с мест, где уселись.

Конные, которых увидали разбойники, не ехали прямо к ним, а остановились, делая полукруг, и вслед за ними, с другого бока, также из-за леса, показался отряд конных и ехал на соединение с выехавшими прежде.

— Что это? — говорили разбойники.— Две ватаги к нам едут!

— Это Жихарь, должно быть, привел ватагу из Мурома, как обещал мне,— сказал Кудеяр.

— Хорошо-то, хорошо,— заметил Худяк,— да корма-то станет ли у них на себя и на лошадей, а нам их харчить нечем будет при таком множестве.

Конные, на которых глядели разбойники, и по соединении двух отрядов не ехали прямо к ватаге, а стояли полукругом, отрезывая у разбойников выход в поле; затем мимо выстроившихся конных, из-за того же леса, откуда они появились, вывезли на двухколесках пушки, числом

десять, двинули их вперед и направили на разбойничий стан пушечные горла; при пушках стояли пушкари и держали в руках фитили.

Стан заволновался, раздались отчаянные крики:

— Это не наши! это не наши! Это царская рать! У них пушки. Садитесь на коней! Бежать, бежать!

Но в это время конные, стоявшие против разбойничьего стана, стали выскакивать вперед, захватывали разбойничьих лошадей и убивали их, чтоб не дать разбойникам овладеть ими.

Кудеяр смекнул не только то, что в глазах его делалось, но и то, что должно было после этого делаться; он подбежал к озеру, кинулся в воду и сильным движением рук быстро разбивал волны, направляясь на противоположный берег. Он плыл в одежде, в обуви, с оружием; у него за плечами был колчан, лук и ружье.

Смятение в разбойничьем стане было так сильно, что не многие заметили отплытие Кудеяра. Он благополучно добрался до берега и скрылся в лесу. Между тем из рати, осадившей разбойников, выехал сын предводителя Алексея Басманова, Федор Басманов, и кричал:

— Удалые! Вы в осаде, вам выхода нет и не будет! Вы храбры и бойки, да с нами не сладите, потому что у нас есть пушки, а у вас одни ружья да луки, а пушек нет. Примемся на вас стрелять из пушек и всех вас положим до последнего! Высылайте-ка скорее ваших атаманов к нам на разговор! Ждать мы не хотим. Не явятся скоро атаманы — велим ударить из пушек!

Атаманы кинулись было искать своих лошадей, чтобы выехать на разговор, но лошади их были отогнаны. Они все пятеро пошли пешком навстречу предводителю, Алексею Басманову, который после речи, произнесенной его сыном, выезжал уже вперед с отрядом. Худяк шел бодро, как человек, которому во всякое время смерть близка и самая жизнь не дорога; Лисицу всего передергивало из стороны в сторону: он говорил сам с собою несвязные слова; Муха прикладывал пальцы ко лбу, разводил руками и тряс головою; Толченой шел мрачно и не говорил ни слова; а Белый едва волочил ноги, и когда все подошли к Басманову, то первый бросился на землю и растянулся у ног царского воеводы.

Басманов сказал им:

— Государь-царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел вам говорити: по вашим лихим и беззакон-

ным и богомерзким делам довелись вы жестокой, лютой казни, но ведомо ему, государю, и то, что вы на такое богопротивное дело, чтобы подняться бунтом на своего государя, пустились не по измышлению своему, а по своей дурости, слушаясь пущих заводчиков всякому злу; того ради царь-государь для вашей мужичьей простоты, милосердуя о вас, прощает вас: какие есть промеж вас дети боярские и другие служилые люди, те будут помещены, где государь укажет, а которые из вас есть бывшие боярские люди и беглые крестьяне, и тех государь велит записать в свои дворцовые волости, а ваши прежние вины вперед вспомянуты не будут; и такая великая милость вам дается на том, чтобы вы тотчас без малейшей волокиты связали и привезли к нам живого Юрку Кудеяра, изменника и ко всякому злу заводчика и первого нашего великого государя лиходея. А приведши сюда к нам Кудеяра, побросайте всякое оружие, какое у вас есть, заберите с собой лошадей, у кого целы остались, возьмите свои все животы и ступайте за нами. А вашей разбойничей рухляди разбору не будет для того, что по царскому милосердию всему погреб и вам за все ваши прежние худые дела прощение сталось. А буде кто из вас оружие всего не отдаст и не положит и потом у кого сыщется хоть один малый нож, и такой человек из вас повинен будет смертной казни безо всякой пощады. Вот вам царская воля объявлена. Ступайте и приведите сюда Кудеяра, а я буду здесь ждать.

Атаманы ушли в стан и ударили в бубен, который достался Кудеяру при разгроме каравана на Муравском шляху. Собрался круг.

Васька Белый, который перед Басмановым не смел пошевелить языком, теперь стал громче всех говорить:

— Согрешили мы тяжко перед Богом и перед царем-государем, пустились на дурные и богомерзкие дела, людей многих грабили и убивали, а наипаче согрешили мы тем, что поддались на лесть еретика, ведуна, изменника Кудеяра и учинили мятеж против государя. Я думаю, братцы, все то сталось его еретическим ведовством, что он напустил на всех наших оману и неразумие и оттого мы ему стали послушны и к его умыслу лукавому пристали. Ино видите: каков милостивец наш царь-государь! Чего только мы достойны по нашим винам, а он нам за все прощает, и не токмо что прощает, а еще и землями обещает пожаловать, только требует и велит, чтобы мы тотчас же без всякой

волокиты выдали изменника Кудеяра его царского величества воеводе.

— Боже, спаси царя! — закричала толпа.— Чего тут думать! Отдать Кудеяра, собачьего сына! Берите, вяжите его, ведите к воеводе!

Да где он? — закричали другие.

Давича кинулся в озеро и уплыл на ту сторону,— сказали третьи.

— А вы чего глазели? — раздались крики.— Что вам, буркулы вылезли, что ли? Зачем не подняли тревоги, зачем не бросились за ним в воду и не схватили его? Вот мы вас, сяких-таких детей, перебьем самих за это!

— Перебить, перебить! — кричали разбойники хором.— Зачем они, видевши, не закричали... Стало быть, они ему помогли уйти!

Как бешеные кинулись одни на других...

— Стойте, стойте! — кричали те, на которых нападали.— Мы-то чем виноваты? Мы не видали! Чтó вы на нас? Вы, может быть, сами его спровадили! Нет, брешете, собачьи сыны, вы! Нет, вы!..

Пошли в дело сабли, копья; дрались сами не зная с кем... Уже несколько человек лежало не земле, обливаясь кровью.

Басманов с сыном и толпою ратных въехал уже прямо в разбойничью ставку и кричал:

— Что за драка? Из-за чего? Дураки! Опомнитесь, отдавайте скорее Кудеяра!.. Где он? Отдавайте, а то я прикажу помирить вас пушками.

Драка стала утихать. Атаманы вышли к Басманову, упали на землю и вопили о пощаде.

— Кудеяр ушел не по нашей вине, без нашего согласия. Вон там злодеи видели, как он уплыл по озеру... Их-то стали бить! — так говорили атаманы один перед другим, стараясь понравиться Басманову шлепанием ó землю. Только Толченой не порывался показывать воеводе свою покорность.

— Вы все пятеро не виноваты,— сказал Басманов,— а тех злодеев, что с ним были в единой думе при его побеге, мы разыщем. Кудеяр не может спрятаться от нас в лесу. Там поставлена наша пехота; он как только побежит, так на них наткнется. Бросайте все оружие, какое у вас есть, и ступайте за наш стан. Скорее! без мотчанья!

Разбойники один за другими бросили оружие, ратные

забрали его, а другие с презрительными приговорками стали гнать обезоруженных разбойников за стан.

— Боярин, позволь лошадей взять! Позволь животы свои забрать. Ты сам обещал,— говорили разбойники.

– Ничего не дозволю брать,— кричал им в ответ Басманов,— коли б вы отдали Кудеяра, так взяли бы все свое, а не отдали Кудеяра, так теперь так, безо всего идите. Будет вам розыск, а коли по розыску доведется, кто видел, как Кудеяр бросился в озеро и не хотел его удержать, того велю казнить.

Разбойников пригнали на место; Басманов ехал за их толпой. Потом ратные стали разбойников вязать.

— Как же так! — роптали разбойники.— Нам обещали царское прощение, а теперь вяжут.

— А вы зачем Кудеяра не выдали? — кричал им Басманов.— Будете связаны, пока не найдется изменник, говорил я вам: учинен будет розыск; тем, кто не явится виноват в его побеге, будет помилование, так было обещано.

Обезоруженные разбойники, в виду пушек, окруженные ратными, дали себя вязать безотпорно.

Басманов отправил ратных в лес на помощь пехоте, поставленной там заранее, и приказал искать Кудеяра. Но скоро наступила ночь. Басманов, не дождавшись известий о Кудеяре, послал приказание ратным воротиться, а пехоте велел оставаться всю ночь в лесу, не спать, прислушиваться, как будет пробираться Кудеяр, и схватить его.

С рассветом Басманов сам отправился в лес, разъезжал там с трудом между зарослями до вечера. Весь тот лес был шириною верст шесть, не более, ратные изъездили его по всем направлениям, но Кудеяра не отыскали.

Басманов сердился на пехоту.

— Эки разини, сякие-такие дети! — говорил он.— Прозевали, проспали добычу!.. Шкуру бы с вас снять за это. Только я так не оставлю этого дела! Разбивать шатры! Станем здесь станом и будем стоять, пока найдется Кудеяр. Без него как явиться к царю-государю!

По приказанию Басманова разбиты шатры. Он посадил в своем шатре подьячего и велел ему строчить в нескольких списках грамоту ко всем людям соседних сел, чтобы все покинули свои работы и шли ловить великого царского лиходея; потом написали другую грамоту губным старостам, чтоб они поднимали всех уездных людей, чей кто ни буди, на поимку того же лиходея, и приметы его были в грамоте прописаны. С этими списками отправились ратные люди в разные стороны. Грамоты велено было честь в церквах; всякому, кто укроет и пропустит заведомо Кудеяра, угрожали жестокою смертною казнью; а тому, кто его поймает и приведет живого, обещалась от царя такая награда, что и помыслить невозможно; позволялось даже в нужде, когда нельзя будет добыть злодея живьем, принести его голову; но за нее обещалась награда простая, а не недомыслимая.

По всей земле древнего рязанского княжения, а также и в близких украинных городах началась суетня; все искали Кудеяра; все говорили только о Кудеяре; иных прельщала царская награда за приведение преступника, но больше было таких, что боялись царского гнева, который может постигнуть без разбора и правого и виноватого, когда Кудеяр не будет отыскан.

Двадцать дней стоял Басманов с станом близ озера. Каждый день ждал он — вот-вот приведут Кудеяра или, по крайней мере, принесут его голову. Но Кудеяра не приводили, головы не приносили, и вести об нем не было.

— Что же это такое! — говорил Басманов.— Да не упал ли он на дно, в озеро, когда поплыл?

И он велел поделать лодки, плавать по озеру и щупать баграми дно: не найдется ли где человеческое тело.

Ничего не нашли.

Близко исходил целый месяц со времени прибытия Басманова к озеру.

— Нечего делать! — сказал Басманов.— Надобно отправляться назад. Вестимо, Кудеяр ведун, и нечистая сила ему помогает. Пусть государь-царь судит нас, как Бог ему известит.

Басманов повернул назад. Разбойников, связанных вместе цепями, гнали как стадо, кормили одним хлебом. Проезжая через Коломну, Басманов оставил половину их шайки в подземных тюрьмах, а другую половину, вместе с пятью атаманами, погнал за собою в Александровскую слободу. Когда Басманов явился к царю и доложил ему, что все разбойники переиманы, а Кудеяр ушел, Иван Васильевич пришел в такую ярость, что чуть было не убил собственноручно своим жезлом Басманова. Жалкий вид лежащего у ног властелина Басманова возбудил в сердце Ивана если не жалость, то ощущение того презрения, которому невольно уступает место зверская жестокость. Иван Васильевич только поколотил Басманова ногою в зубы до крови и дал по спине жезлом два удара, от которых Басманов пролежал

недели две. Но уже с тех пор Басманов перестал быть в числе любимцев, царь не хотел смотреть на него и не велел допускать к себе ни его, ни его сына.

Царь приказал с разбойников снять показания. Они рассказали все, что им наговорил Кудеяр о том, будто многие земские бояре с ним были в соумышлении, чтобы извести царя Ивана и возвести на престол Владимира Андреевича; разбойники не могли назвать этих бояр по именам и оставляли плодовитой фантазии царя создавать различные предположения и догадки. После допросов царь сорвал на разбойников свою досаду о том, что Кудеяр ушел от его рук. Всех, как оставленных Басмановым в Коломне, так и привезенных в слободу и содержавшихся в тюрьмах дворца, царь велел побить палицами и отдать на съедение собакам. Погода была летняя, теплая; смрад от портившихся трупов и вой терзавших их собак, приносясь в окна царских хором, приятно щекотали обоняние и слух Ивана.

Событие с Кудеяром усилило в царе свирепость до крайних пределов, и время, казалось, не охлаждало ее, а развивало. Царь увидал, что не одни бояре могут составлять против него заговоры,— и простой народ способен к мятежу, и с прямою целью свергнуть его с престола и посадить иного царя. Он увидал, кроме того, что от заговоров и козней врагов его не спасает опричнина, в которой он думал изобрести для себя опору,— люди, близкие к нему, люди, избранные им для охранения его особы, люди, вознесенные им, обласканные его милостью, эти люди делают ему вред. Кудеяр, посягнувший на жизнь царя и самим царем осужденный на голодную смерть в дворце, освобожден опричником,— да еще каким? Шурином царя!

Давно уже злился царь Иван на своего родственника, князя Владимира Андреевича, давно подозревал в нем желание взойти на престол... Злоба царя к Владимиру Андреевичу не находила себе явного оправдания; теперь мятеж Кудеяра, поставившего своим знаменем князя Владимира, давал Ивану предлог выдумать такое оправдание. В голове его утвердилась уверенность, что Кудеяр действовал не без желания и не без ведома самого князя Владимира. Участь последнего была решена.

В то время как Кудеяр собирал разбойников и приводил их на службу Владимира Андреевича, сам князь Владимир Андреевич, ничего о том не ведая, готовил войско в Нижнем с целью оберегать юго-восточные пределы от турок и татар, ополчавшихся на Астрахань. Услыхавши от Жихаря, что в пользу князя Владимира Кудеяр готовит заговор, царь Иван не смел тотчас же тронуть этого князя, он даже боялся его, хотя князь Владимир по своему уму и нравственным качествам столько же мало был способен спасать отечество от царя-мучителя, сколько и защищать его от внешних врагов. Когда замысел Кудеяра не удался, но разбойники были перехвачены и казнены, царь Иван Васильевич не стал уже церемониться с двоюродным братом: он ласково зазвал его к себе, и умертвил разом с женою, и затем приказал утопить мать его и еще, неизвестно по какому поводу, невестку свою, именно вдову брата своего Юрия, живших в монастыре на Шексне. Но избиение родных не удовольствовало злобы царя. Ему казалось, что заговор, с целью возвести на престол Владимира, прорвавшийся наружу в замысле Кудеяра, глубоко и широко пустил свои корни. Ему хотелось выкоренить измену так, чтоб она на будущее время не пускала ростков.

Предприятие Кудеяра, набравшего себе ватагу из людей незнатных, простых, обратило злобу царя на простой народ. В конце 1569 года Иван свирепствовал над народом в Клину; в Торжке его опричники били всякого чину людей ни за что, ни про что; но подозрение Ивана пало более всего на древние народоправные земли — на Новгород и Псков: они были виноваты перед самодержавием московским уже тем, что на их почве некогда процветала народная вольность. Новгород ненавистен был для Ивана еще и потому, что напоминал ему Сильвестра, который из Новгорода пришел в Москву, чтобы овладеть волею царя на несколько лет сряду. Царь в начале 1570 года приехал в Новгород, и тут-то совершились варварства изумительные... «Была у мучителя некая хитрость огненная»,— как говорили современники; он называл ее поджар; это было изобретение Бомелия: избитым палками новгородцам натирали спину этим составом; он причинял невыразимое мучение, а их привязывали к саням и везли с Городища топить в Новгород; к саням привязаны были истерзанные женщины; руки у них привязывались сзади к ногам, а к узлу, соединявшему руки и ноги, прицепляли младенцев их. Иван ехал с этим поездом и тешился воплем страдальцев. Волхов был запружен телами человеческими и с тех пор, как гласит предание, перестал замерзать в самые трескучие морозы, чтобы люди, глядя на него, не забывали, как некогда грозный царь велел прорубить на нем лед и наполнил его волны новгородскими трупами. Оставшимся в жи-

вых было хуже, чем утопленным. Христолюбивый и благочестивый царь приказал истребить все запасы хлеба, хранившиеся в Новгороде, а между тем уже в предшествовавший год был худой урожай, в следующем году тоже, а вдобавок повторилось бедствие, уже постигавшее Русь: полчища мышей снова истребляли хлеб и по полям, и по гумнам, и по амбарам,— все вместе было поводом того, что в 1570 году цены на хлеб возросли до невероятных размеров. Бедные люди мерли с голоду, а царь не переставал искать вокруг себя измены, Бомелий не переставал быть.

Вдруг приходит царю весть от Афанасия Нагого, из Крыма, что Кудеяр находится в Крыму при дворе хана Девлет-Гирея, пользуется его милостью и возбуждает его против Москвы.

Иван Васильевич не взвидел света от ярости, когда к нему пришла такая весть. Ему так хотелось замучить этого врага, что он готов был помиловать многих, которых он казнил, если бы только Кудеяр прежде попался в его руки: много казней совершено было им с досады, что нельзя было казнить Кудеяра. И что же? При всем самодержавии Ивана, при всем могуществе его — Кудеяр ему не давался, два раза, как змея, выскользнул из его когтей и теперь прохлаждается на воле и смеется над бессилием московского самодержца. В досаде Иван Васильевич приказал призвать к себе Басманова с сыном: это было первый раз после того, как государь собственноручно отколотил его за недоставку Кудеяра.

– Алешка,— сказал ему царь, постукивая своим остроконечным посохом,— сколько ты рублев взял с Кудеяра, чтобы его выпустить?

Царь-государь! — вопил Басманов, валяясь у ног царя.— Бог-сердцеведец видит невинность души моей!

— Лжешь, пес! — кричал царь.— Лжешь! Ты вместе с другими такими же псами мирволил и добра хотел брату Владимиру; ты хотел нас с престола сместить, а его посадить; ты, хамское отродье, выпустил Кудеяра, боячись, что он, если ты приведешь его, под пыткою, не стерпя мук, все про вас откроет. Я послал тебя привести ко мне Кудеяра, а ты привел шайку воров, которые ничего не знали и годны были только на то, чтобы ими собак кормить. Мог же ты привести с собою сотни три такой сволочи, а одного не мог. Отчего? Оттого, что те три сотни ничего про вас сказать не знали, а тот один сказал бы про вас всю правду! Не все ли вы присягали, как поступали в опричнину: присягали отца

родного не жалеть за нашу царскую честь и за наше государское здоровье. Федька! и ты присягал на том! А! Присягал? Ха, ха, ха! Покажи же теперь, что хранишь присягу не устами точию, но и делом. Твой отец изменник царю, заколи его!

— Бей, Федор, коли царь велит,— не ослушайся государской воли! — сказал Алексей Басманов.

Федор ударил отца ножом в сердце.

IV. ОТСТУПНИК

У хана Девлет-Гирея в Бакчисарае большое празднество. Его спаситель, Кудеяр, которого он отпустил от себя с таким дурным предчувствием, снова с ним в его дворце, сидит за его столом вместе с приближенными вельможами и рассказывает про свои чудные похождения.

Рассказавши все, что с ним было после отъезда из Крыма, и дошедши до рокового события с его разбойничьею шайкою близ озера, Кудеяр продолжал:

— Переплывши озеро, я очутился в лесу, а там уже была на меня поставлена засада: только бы я побежал, так бы меня и схватили. Я увидел близко берега дуб с дуплом, влез в дупло и сижу: слышу по лесу шум, гам, крик, меня ищут, и много их. Сиди я подальше в лесу, меня бы нашли, а то я сидел у самого берега, и никому в голову не приходило искать меня так близко. Сижу я день, другой, третий, у меня был в кармане кусок хлеба, я съел, а более не было, голод стал меня мучить. Ночью случилась гроза; темь такая, что хоть глаз выколи; вылез я из дупла и пошел по лесу, прошел версты четыре: нет сил, ноги подкосились от голода, я лег под деревом, а тут рассветает; вдруг бежит заяц, я пустил в него стрелу и убил, кремень и огниво со мной были, да я боялся огонь разводить, чтобы не увидали, ободрал зайца да так сырого и поел, подкрепился и далее пошел. Вижу, лес кончается, а вдали виден опять лес; перешел поле и вошел в тот лес, а тот лес большой; я пошел по лесу; день иду, другой, далее иду и слышу топот лошадей, голоса человечьи. Я смекнул, что это меня ищут, да в заросль, а там волчья нора, а из норы выскочила на меня волчица, я схватил ее за горло и задушил, влез в яму и волчат перебил и выкинул. А погоня за мной была; только ехали, куда можно было проехать, а норы не приметили. Просидел я там день, не евши; потом, чаючи, что погоня минула, вылез из норы, шел, шел; дорогой бил дичь да ел,

только уж не сырую, а пек. Так прошел я до города Данкова, на Дон-реку, и вошел близко того города в одну деревню, стоит над самым Доном; зашел я во двор, была ночная пора, хозяева спят, я дверь разломал, вошел в избу и говорю: дайте съестного да лошадь, я вас грабить не стану, деньги заплачу,— а деньги со мной были в чересле, как я в озеро бросился. Те смекнули, в чем дело: дали мне мешок толокна, сыру, солонины да котелок путный для варки и лошадь вывели оседланную. Я им заплатил и говорю: «Коли вы кому явите, что я у вас был, да за мной погоня будет по вашим речам, то и вы пропадете, и ваша деревня сгорит». Сел я на лошадь, переплыл Дон и проехал, пробираючись по лесам и сторонячись от поселков. Не встречал никого, только там зверя много и птицы, а ночью, бывало, как станешь на ночлег, то и боишься заснуть, чтоб зверь лошадь не задрал, а то, чего доброго, и тебя лапою не задел. И выбрался я на Муравский шлях. Тут со мной повстречалась станица человек двадцать. Я себе еду, а атаман ко мне: что ты за человек? Я ему говорю: «Я еду за своим делом, а ты ступай за своим».— «Э, нет, постой,— крикнет атаман,— у нас царское повеление ловить воровских людей; видишь, намножилось их много, а наипаче велено ловить разбойника Кудеяра, а приметы его, каков он рожею, к нам присланы; а ты, брат, мне сдается, что-то на него взмахиваешь».— «Ну,— говорю им,— ищите его, а я поеду своей дорогой. Прощайте». Тут на меня как бросятся двое, хватаются за лошадь, а я им, одному, другому, как дал кулаком, и попадали; я от них, а атаман как прикрикнет: «Эй, держите,— это Кудеяр!» Я вижу, они все на меня, коли не подужают схватить, так застрелят. Соскочил с коня да в лес. Они стали соскакивать с коней да за мной. Я троих из них повалил и бегу далее. Они по мне стрелять. А тут глубокий овраг, я с прожогу в этот овраг; коли б не придерживался за деревья, так и голову бы сломил,— овраг был зело крут. Они не посмели за мной в овраг вскинуться, бегают, кричат, ищут схода в овраг, а я тем оврагом бегу, бегу; увидел заворот в другой овраг, туда бросился, а потом вылез оттуда, да пошел лесом, да опять в иной овраг спустился и так все плутался, ожидаючи, что они на меня нападут. Однако на меня уже не напали, видно, потеряли след мой; и шел я дремучим лесом и дошел до реки: рыбы там видимо-невидимо; наловил рыбы, сварил в своем котелке и поел, а потом переплыл реку во всей одеже, как есть, и пошел далее. Иду, сам не знаю куда. Все

лес дремучий. И так я шел от реки дня три и набрел на тропу: видно было, что где-то жилье есть. Повстречал я восемь человек верхом, все обвешанные убитою дичью. «Ты беглый,— говорят,— так иди к нам, у нас беглым приют».—«Да,— говорю им,— я беглый».— «Ты,— говорят,— устал, садись на коня». Один, что был потоньше, посадил меня за собою. «Мы,— говорят,— из нашей засады на лов ездили». К вечеру мы приехали на реку Оскол; там стоит городок. Беглые люди поселились, обзавелись, обжились, скот расплодили, хлеб сеют, избы себе построили хорошие, живут вольно, тягостей не знают. «Живи с нами,— говорят они мне,— у нас хорошо вельми! Пусть пристают к нам люди, места для всех станет, мы тогда церковь себе построим». А я думаю себе: нет, братцы, не моя доля жить с вами! Я не сказал им, кто я таков, а сказал, что я беглый сын боярский, иду на Дон, хочу к казакам пристать. А они говорят: турские люди пошли войною на Дон. «Вы,— говорю,— отколь знаете, живучи здесь, про турских людей?» —«Станичники,— говорят,— сказывали».— «А нешто,— спрашиваю,— к вам станичники ездят?»— «Ездят,— говорят,— человека по два торговать с нами, они нам покупного чего привезут, а от нас съестное забирают. А больших людей к себе не пускаем». Я прожил у них с неделю, а потом задумал плыть вниз по Осколу и стал у них покупать стружок и снасти и всякие запасы на путь. А они говорят: «Зачем нам деньги? — Мы денег не знаем. Нам вот паче денег гвозди нужны, да у тебя нет». И дали они мне стружок и всякие снасти и съестного на путь; я и поплыл вниз по Осколу. Берег крут, всюду лес, нигде нет поселков, а из Оскола поплыл я по Донцу, а там по берегу стали кое-где городки попадаться, и я к ним приставал, и там люди русские, они меня кормили. А из реки Донца, по речам тамошних людей, что в городках живут, я поплыл по реке Тору вверх и плыл, пока можно было плыть, а как стало мелко, что плыть нельзя, я покинул стружок и пошел степью. Лесов более там не стало; съестное у меня поистратилось, так я стрелял птицу в степи и так кормился. И так идучи, набрел я на юрту ногайскую; там людей было мало, все только старые, да малые, да женки; все молодые да здоровые пошли на войну под Астрахань по твоему ханскому велению. Я им говорю: «Продайте мне коня».— «А куда ты идешь?» — спрашивают они. Я им говорю: «К самому светлейшему хану». А они мне: «Кто тебя знает, кто ты таков! Коня мы тебе так

дадим, только проводим тебя до перекопского бея».— «Что же,— говорю,— мне то и лучше». Они меня проводили до Перекопа, а перекопского бея дома не было, в поход с тобою ходил. А у него в бейлыке всем радил мурза Кулдык. Привели меня к этому мурзе, а он, зол человек, стал на меня кричать: «Ты,— говорит,— соглядатай московский,— я велю тебя повесить». А я ему говорю: «Коли ты меня велишь повесить, то светлейший хан велит тебе самому за то голову срубить». «Да что,— говорит,— твой хан, я его знать не хочу; у меня господин — перекопский бей». А я ему: «И ты, и твой бей холопи светлейшего хана. Как ты смеешь так неповажно говорить о светлейшем хане!» А он как крикнет: «Что? Ты еще меня смеешь учить! Эй, люди, закуйте его! Он смеет нехорошо говорить про нашего бея». А я ему и говорю: «Я про твоего бея ничего не говорю нехорошего, мы с ним не раз обедали у светлейшего хана, а тебе я в глаза говорю: ты грубиян, мужик, не смей говорить дурно про твоего и моего государя». Тут люди ко мне приступили, человек десять, сковать меня; я дался им. Они на меня наложили цепи. Тогда я засмеялся и сказал: «Мурза Кулдык! Ты думаешь, твои цепи крепки, смотри: каковы они?» Тряхнул и разорвал цепи. Кулдык глаза выпучил, а я ему говорю: «Не бойся, я не убегу. Я Кудеяр: коли ты слыхал, тот самый, что светлейшему хану живот и царство спас от бездельников мурз. Тебя оставил бей вместо себя; воле твоей я покоряюсь, хочешь — отпусти меня до Бакчисарая, хочешь — здесь вели оставаться, и я останусь, буду ждать твоего бея; а ты мне не говори дурных речей про нашего государя». Тогда мурза сказал: «Коли ты Кудеяр, так нечего с тобою делать. Видишь, я не своей волею то чинил. Бей не велел никого пропускать без ханской или его грамоты, а у тебя никакой нет».—«Ты право говоришь,— сказал я,— держи меня до приезда своего бея». Я и остался. Кулдык-мурза стал со мною обходиться ласково, за стол с собой сажал и в баню меня велел водить. А тут приехал Ора-бей; так тот узнал меня и приказал проводить к тебе, мой светлейший хан!

— О великий Аллах! — сказал хан.— Каким неслыханным бедам ты подвергался, мой Кудеяр. Но теперь все твои беды минули. Ты останешься у нас в чести и славе. Хочешь — пребывай в своей вере: я, как и прежде тебе обещал, дам тебе поместье, и церковь позволю построить. А нам бы всем хотелось, чтоб ты был одной веры с нами человек. Тогда бы мы посадили тебя в курилтае и ты

был бы знатнейшим человеком в нашем крымском юрте. О Кудеяр! Ты мудр. Размысли. Ты был в христианской вере,— а что испытал? Одни беды! Правда, христиане не язычники, они веруют в истинного Бога и почитают величайшего посланника Божия Иисуса, сына Марии. Но христиане не познали и не хотят познать премудрости премудростей — нашего Корана. Прими нашу правую веру и увидишь, как Бог наградит тебя за такое богоугодное дело.

— Светлейший хан! — сказал Кудеяр.— Твои слова правдивы. Теперь я увидел, что ислам святее и праведнее христианства. Крепко я держался христианского закона, думал тем Богу угодить, а Бог мне счастья не послал: все только беды за бедами! Я возненавидел Москву, и людей московских, и веру их, отрекаюсь от них и от их веры, принимаю ислам и становлюсь вашим татарином.

Девлет-Гирей соскочил с места и воскликнул:

— О великий пророк! Великие дела творишь ты! Ты обратил сердце и ум нашего Кудеяра к твоему откровению. В твоей книге сказано: кто оставит для Бога страну свою, тот найдет обильные источники! Мы должны осыпать Кудеяра всеми благами жизни! Ныне день самый счастливый в моей жизни.

Он бросился обнимать и целовать Кудеяра. Мурзы тоже обнимали его и изъявляли радость.

Кудеяр принял ислам, и хан произвел его в сан тат-агасы, начальника над крымскими христианами. Так как Кудеяр по-татарски читать и писать не умел, равно как и по-русски, то при нем был татарин секретарь и все делал за него.

Надобно было Кудеяру расстаться с своим крестом. Но Кудеяр привык к этому таинственному кресту, дару неведомых родителей. Отрекшись от христианства в избытке накопившейся злобы, он сохранил суеверное уважение и страх к заветной вещице. Кудеяр снял свой крест с шеи, но берег в шкатулке, как сокровище. «Бог знает, какая вера лучше,— рассуждал он сам с собою,— кабы я остался христианином, мне бы здесь не было хорошо; все мурзы меня ни во что бы считали. А теперь я у них в совете буду сидеть».

И вот Кудеяр стал заседать в курилтае. Зная расположение к нему хана, все льстили ему, особенно имамы и муллы, довольные его отступничеством. Они выхваляли его на все лады, осыпали цветами арабского красноречия. Главный и постоянный совет, какой Кудеяр давал хану и его вельмо-

жам, был — идти на Москву, разорить ее, уничтожить царя Ивана со всем родом его, поработить весь московский народ власти татар. Кудеяр стал татарским патриотом завзятее самих татар; его выходки пленяли всех; но в вопросе о войне с Москвою татарский патриотизм сталкивался с вопросом о вмешательстве в эту войну Турции.

Прошлогодний поход турок и татар был неудачен. Они не только не покорили Астрахани, но на возвратном пути множество турок погибло от всякого рода лишений, производивших между ними смертельные болезни. И татарам таки досталось; от этого теперь мурзы не слишком порывались идти снова на войну. Явлашский бей сказал:

— Московский царь, чаячи, что турки и татары не захотят остаться в посрамлении и пойдут на него снова ратью, соберет большое войско и будет ждать нас весною. Если мы пойдем на него, то нам придется биться с великими силами. А мы не пойдем на будущую весну. Пусть московский царь дожидается нас с войском, пусть напрасно поистратит довольно своей казны и, не дождавшись нас, распустит войско или же пошлет его воевать в другие страны. Тут-то мы на него и нагрянем в те поры, как он останется без рати.

Это мнение понравилось всем. Кудеяр не мог стоять один против всего курилтая, хотя очень огорчался и не скрывал своих чувств. Хан, будучи с ним наедине, сказал ему:

— О Кудеяр, не все можно говорить в курилтае. А я тебе вот что скажу. Когда бы мы завоевали Москву, воюючи ее вместе с турками, то нам, татарам, мало бы от того пользы сталось. Турки нашею татарскою кровью победили бы москвитина, а нам бы Москвы не отдали. Турское царство усилится без меры, а нам от того хуже станет: мы тогда будем в совершенной неволе у турок. Нам же хочется самим добиться славы и величия, так чтобы уже не быть под рукою турского государя. Турки не взяли Астрахани, и хорошо, что не взяли. Они бы все равно нам ее не отдали. Повременим. Пусть Турция замирится с Москвою, тогда мы сами нагрянем на Москву, и если одолеем ее без помощи турок, так нам будет тогда хорошо.

Кудеяру было все равно: турки или татары завоюют Москву,— лишь бы только царя Ивана уничтожить, лишь бы только побольше зла наделать русскому народу, к которому он питал ненависть со времени измены разбойников. Кудеяр не стал перечить хану и должен был ждать, скрепя сердце. Ему некстати было на первых порах не

ладить с большинством. Ему хотелось, чтоб все беи и мурзы относились к нему дружелюбно. И так было на самом деле. Один только явлашский бей был его заклятым врагом, как давний доброжелатель Москвы. Письмо царя Ивана к явлашскому бею, перехваченное Кудеяром в разбитом караване и посланное хану, чуть было не подвергло бея опасности. Хан тогда же предал его суду курилтая. Но явлашский бей уверил всех, что ничего не знал об этом письме. Курилтай признал бея невинным, тем более что и выражения в письме царя Ивана были какие-то несмелые и как будто показывали, что московский царь не уверен, чтоб явлашский бей ухватился горячо за предприятия, враждебные хану. С тех пор, однако, явлашский бей боялся говорить что-нибудь в пользу русских, как делал прежде, и на последнем собрании курилтая, возражая против Кудеяра, нарочно дал только совет об отсрочке нападения, совпадавший с мнениями большинства. Этот совет, принятый всеми вельможами крымского юрта, поднял значение явлашского бея, к крайней досаде Кудеяра; Кудеяр вооружал хана против бея. «Если,— говорил он хану,— этот человек теперь и правду сказал, то все-таки твое величество не изволь ему доверять и, когда придет время идти в поход, держи от него втайне свой умысел, а то он заранее передаст вести московскому царю».

Разъяренный Иван, узнавши чрез Нагого о том, что Кудеяр находится у хана, велел задержать ханского посла Ямболдуя, а его татар заковать. Хан узнал о том и приказал таким же образом поступить с Афанасием Нагим и его посольскими людьми, а к царю Ивану отправил гонца с грамотою, требовал отпустить Ямболдуя, выдать скрывавшегося в Московском государстве врага своего, Акмамбета, прислать большие поминки соболями и деньгами и уступить Казань и Астрахань, а в случае отказа грозил сделать с русским государем то, что сделал некогда предок его, Батый-хан. Царь по этому письму выпустил из-под стражи Ямболдуя с людьми его, но задержал ханского гонца, приказал собирать войско к Оке и медлил с ответом хану, выжидая, до какой степени могут осуществиться на деле угрозы хана. Вдруг, в начале лета 1570 года, принесли царю известие, что станичники видели в степи громадные толпы ногаев, видели и зарево от пылающих костров их, слышали прыск и топот бесчисленного множества лошадей. Царь Иван пришел в страх от таких известий. Он отправил к Девлет-Гирею гонца, обещал отдать Астрахань, но так,

чтобы ханы, которые будут там посажены, назначались разом царем московским и ханом крымским; царь обещал прислать большие поминки и выдать Акмамбета, но взамен последнего просил хана выдать Кудеяра.

Грамота царя Ивана должна была быть прочитаною в собрании курилтая. Хану щекотливо казалось, если в присутствии Кудеяра будут говорить в совете о выдаче Кудеяра, и он хотел собрать совет в его отсутствии, когда Кудеяр поедет в свое, пожалованное ему от хана, поместье.

Но один мурза, искавший покровительства у Кудеяра, как у ханского любимца, известил его об этом заранее. Кудеяр явился неожиданно в курилтай и занял свое обычное место, подобавшее ему по званию тат-агасы. Нечего было делать, приходилось читать грамоту царя при Кудеяре.

По окончании чтения Кудеяр сказал:

— Мучитель, не сытый кровью моей безвинной жены, ищет моей головы. Если она ему так нужна, отдайте ее, но Астрахани за нее мало; пусть прибавит Казань в вечное владение нашему светлейшему хану и всему крымскому юрту. Пусть, сверх того, отдается под руку нашего светлейшего хана с Москвою и со всеми своими землями и городами, назовет себя ханским холопом, так как его предки были холопями предков нашего могущественного государя. Коли он на то согласится, отдайте меня, а до той поры, как он пришлет свой ответ, посадите меня в тюрьму, чтоб я не ушел.

Все молчали. Девлет-Гирей первый прервал молчание и сказал:

— Наш достойный тат-агасы! Никакой мудрый и искусный стихотворец не мог бы прославить твое великодушие и твою преданность истинной вере, которую ты принял по Божию изволению, просветившему твой разум! Ты готов принести жизнь свою и подвергнуть себя великим мучениям за славу татарского народа! Но мы все, начиная от меня, государя вашего, и до последнего татарина умеем ценить нашего друга и мудрейшего сановника. Ни за какие сокровища Соломоновы не отдали бы мы тебя в руки врага. И как бы могли мы совершить такое дело, когда бы оно было ужаснейшее преступление против Корана. Мы просили у царя Ивана выдачу Акмамбета, потому что московский царь неправоверный и правды не знает; мы же, правоверные, как можем отдать на погибель нашего благодетеля, тем паче принявшего нашу истинную веру!

Написали московскому государю грамоту в таком смысле, в каком советовал Кудеяр, только о Кудеяре не упоминали в ней. Но хан, отправляя гонца, велел тайно сказать кому-нибудь из ближних царских: пусть царь для дружбы к хану выдаст Акмамбета, тогда Девлет-Гирей подумает, посмотрит по книгам и, быть может, выдаст ему Кудеяра, только нужно прежде, чтобы царь выдал Акмамбета.

Кудеяр отправился в пожалованное ему от хана поместье на реке Каче. Там у него было четыре жены разных наций и между ними одна украинка, схваченная татарами; она была священническая дочь. Присутствие украинки, подаренной ему ханом, произвело на Кудеяра потрясающее влияние. Он мог объясняться с нею на ее языке, и по этому одному она стала ему ближе других жен. Эта украинка, по имени Ганнуся, своими красивыми чертами напоминала ему Настю. Ганнуся была постоянно печальна и горько плакала. В сердце Кудеяра, черством, загрубелом, зашевелилось чувство жалости. Он не мог обращаться с этой землячкой животным способом, подобно тому, как обращался с другими. Однажды, когда Кудеяр, сидя на крыльце своего дома, вместе с своим секретарем разбирал какое-то дело, к нему долетели звуки украинской песни:

Нехай батько не турбує
І віночка не готує,
Бо я вже свій утратила
Під зеленим яворином
І з невірним татарином...

Пение закончилось раздирающим плачем. Песню эту певала Настя. Кудеяра всего перевернуло... Он досадовал, что в его сердце пробуждается жалость. Он боялся этого чувства; он сознавал, что если поддастся ему раз, то оно увлечет его куда-то... Он злился на существо, которое нарушило спокойствие его ожесточения.

«Что с нею делать? — думал он.— Убить ее или отпустить на родину! Но когда он ее пустит, и другие жены нарочно поднимут плач, чтоб их отпустить. А, черт с ней!» — сказал сам себе Кудеяр и позвал одного татарина, который занимался лечбою.

— Дай,— сказал Кудеяр,— одной из моих баб такого лекарства, чтоб она перестала плакать, чтоб я не слыхал ее плача и воя.

— А тебе самому ее больше не нужно? — спросил татарин.

— Не нужно! — сказал Кудеяр.

Людское зло сделало Кудеяра злым человеком. Несчаст-

ная Ганнуся неожиданно пробудила в нем доброе чувство сострадания.

Через два дня Ганнуся умерла; бедную поповну похоронили в чужой земле чужие руки, руки неверных людей.

Поддайся только этому чувству Кудеяр, отпусти он Ганнусю — удержу бы не было! Кудеяр был не из таких натур, которые колеблются в одно и то же время, наклоняясь то вправо, то влево, то к добру, то к злу. Оказавши добро Ганнусе, Кудеяр на этом бы не остановился; он пошел бы далее по пути добра, пошел бы так же точно, как пошел по пути злодеяния, когда, ради спасения Насти, решился совершать дела, противные своему нравственному убеждению. Ему невозможно было оставаться у хана; он бежал бы, может быть, куда-нибудь в монастырь — оплакивать свои преступления... Но Кудеяр преодолел на этот раз искушение добра. Зло взяло в нем верх.

Скучно было Кудеяру ждать без дела. Ему хотелось скорее на войну; крови, русской крови хотел он; пожаров, дыма, стона раненых, вопля пленных и голодных желал он...

Вдруг, неожиданно для самого Девлет-Гирея, глубокою осенью явился московский гонец с толпою служилых людей в сопровождении татар, присланных Ямболдуем из своей свиты. Они привезли скованного по рукам и ногам Акмамбета, носившего в крещении имя князя Федора. Радость хана не имела пределов. Он призвал к себе Кудеяра. Привели Акмамбета. Хан хохотал, приказывал Акмамбету целовать ноги Кудеяра, своего бывшего невольника, приказывал своим царедворцам и слугам плевать на изменника, бить его по щекам, потом велел посадить в тюрьму в погреб под своим дворцом, обещав приготовить ему особенно жестокую казнь.

В грамоте своей царь Иван писал:

«Нам, государям, не подобает держать подле себя изменников, беглых наших холопей, которые, мысля на нас зло, будут бегать — твои к нам, а наши к тебе. Я для братской любви прислал к тебе злодея твоего Акмамбета, не посмотрел на то, что он принял нашу веру, чаю, что он то учинил притворно, ради того, чтоб быть ему в нашем государстве бесстрашно. Учини, брат возлюбленный, и ты мне милость, пришли ко мне с нашими и твоими людьми Кудеяра, нашего изменника и лиходея».

Хан, не обращаясь к курилтаю, написал такой ответ московскому царю:

«Что ты, возлюбленный брат, царь Иван, прислал к нам, для своей братской любви, изменника нашего Акмамбета, на том мы тебе благодарны, а Кудеяра послать тебе не мочно. В твоих книгах, быть может, так написано, чтоб отдавать людей, которые к тебе придут и примут твою веру, а в нашем Коране мы того не нашли, а по нашей правой мугаммедовой вере будет то великий грех и беззаконие».

С таким ответом отправился русский гонец назад, но двое из сопровождавших его детей боярских не поехали с гонцом в Москву, они пришли к Кудеяру. Один из них, высокий, тонкий, с длинною шеею и наглыми глазами, стоя перед Кудеяром, отставя ногу вперед, ухарски поводя плечами и потряхивая кудрями, говорил:

— Я, Федька Лихарев, каширский сын боярский, был в опричнине и твою милость видел, как у царя бояр душили; я тогда работал и твоя милость. А как мучитель велел твою жену извести, я горько плакал и тебя, господина, жалел. Я с Самсоном Костомаровым в дружине был. Давно хотелось мне уйти от мучителя, да нельзя было. А теперь, как нас послали сюда, я не хочу ворочаться, хочу служить хану; узнает мою службу, так пожалует.

Он лгал. С Самсоном Костомаровым он другом не был и был одним из убийц Насти.

— А я,— сказал другой, низкорослый, рыжий, с лицом, покрытым веснушками, и с боязливым выражением глаз,— я из серпуховских детей боярских, зовусь Матюха Русин. Был тоже в опричнине. Жутко ворочаться домой. Житье наше такое плохое, что хоть в воду, только бы не при царе. Придется так ему — вздумает, да ни за что, ни про что нашего брата замучит. Таково житье: коли день прошел, жив остался, слава Богу, а ночь прошла, так слава Богу, что ночью беды не было, а дня переднего боишься. Возьми, кормилец, к себе на службу.

Он кланялся в землю.

— Хорошо,— сказал Кудеяр,— светлейший хан правдив и милостив. Коли будете верно служить, то пожалует, а дурно будете служить, так и вам дурно будет.

Лихарев говорил:

— Мы извещаем ханское величество, что весною будет подходное время для войны на Москву; такого не дождетесь скоро. Московское государство ныне в последней тесноте. Прошлый год меженина была, и хлеб стал немерно дорог, рать царская ущла в немцы, а при царе ноне рати мало, царь лучших бояр и воевод показнил, остались толь-

ко неумелые да нехрабрые, и те побегут, как только хан с ордою придет. Коли то не так, как мы показываем, тогда его величество хан пусть нас казнить велит!

Не прошло трех дней после явления этих двух изменников, к Кудеяру прибыло двое новокрещенов татар из Урмановой шайки.

Они рассказали ему, как Окул с Урманом со своими ватагами, уведавши, что прочие сдались царскому воеводе, шатались по лесам, а наконец ушли в Брянский лес и там установились на жилье. А ныне, говорили посланцы, Окул с Урманом уведали, что ты жив и пробываешь в Крыму у хана, и послали нас к тебе спросить у тебя про здоровье, а буде ты что от нас хочешь и что нам приказать изволишь, и мы все учиним по твоему велению. И то еще пришли мы тебе сказать: будет хан изволить с тобою вести орду на мучителя, мы тебе слуги и вожи вам всем. А назнали мы на Оке таков брод, что вся орда перейти может скоро. А таков брод есть, где втекает в реку Оку река Ицка, от того втека версты полторы, а не доезжая с версту оттоль будет большое поле, зовется Злынское. И коли бы хан с ордою на Москву пошел, и мы бы ждали там его, на Злынском поле, и через Оку переведем его с ордою, да не токмо через Оку, а також через Жиздру и Угру, и может его величество хан, минуя Серпухов, подойти к Москве так, что мучитель про то и не уведает.

Кудеяр сообщил об этом хану. Девлет-Гирей был в восторге.

— О великий пророк! — сказал он.— Ты помогаешь нам! Если у нас будут хорошие вожи, мы доберемся до Москвы, и возвеличится племя татарское.

Хан велел Кудеяру взять на свое попечение прибывших русских. Кудеяр отправил их в свое поместье и там велел содержать их в довольстве.

Кудеяр советовал хану собирать орды, чтоб были готовы в поход с наступлением весны, но не объявлять в курилтае об этом из опасения, чтобы благоприятели Москвы не дали туда знать заранее и не доставили возможность царю Ивану собирать оборонительные силы.

Хан так и поступил. Он не говорил никому о желании идти на Москву; напротив, стал перед беями и мурзами жаловаться на Литву.

Он твердил, что казаки беспокоят белогородскую орду и делают набеги на турецкие пределы и турский падишах готовится послать на Литву свои силы, поэтому и татарам

надобно быть наготове. Мурзы, получавшие поминки от Литвы, стали было убеждать хана, что следует воевать Москву, а с Литвою находиться в добром согласии. Хан доказывал, что московский царь только и желает того, чтобы татары напали на пределы его государства, потому что у него теперь войско собрано, а потому не следует никак зацеплять Москвы до того времени, когда она забудет, что татары могут внезапно напасть на нее. Одним словом, хан повторял мурзам то самое, что им говорил прежде явлашский бей. Всегда готовые грабить кого бы то ни было, воинственные мурзы успокаивались, довольствуясь тем, что если теперь нельзя задевать Москвы, то, по крайней мере, им доставляют возможность потрепать Литву. Приезжавший от короля Жигимонта-Августа гонец был принят дурно; хан не хотел брать подарков, кричал, сердился на казаков, говорил, что король их умышленно не унимает, и угрожал напомнить Литве своего предка Менгли-Гирея, разорившего Киев. В Литве происходила тревога, там старались укреплять границы, а радные паны пытались отклонить от себя опасность и поссорить Крым с Москвою, считая Девлет-Гирея и царя Ивана друзьями и союзниками. Чтобы еще более убедить в таком мнении литвинов и усыпить москвитин надеждою на союз с ними во время пребывания литовского посла в Бакчисарае, Девлет-Гирей, не пригласивши его ни разу к столу, угощал Афанасия Нагого, бранил Литву, хвалил московского государя, сожалел о том, что доброе согласие с московским государем нарушилось было походом турок на Астрахань; уверял, что татары шли поневоле, обещал на будущее время жить с московским государем душа в душу, по-братски и вместе воевать их общего недруга, литовского государя.

— Я,— сказал тогда Девлет-Гирей Афанасию Нагому в присутствии явлашского бея и одного мурзы, бравшего постоянно поминки от московского царя,— я нарочно вел турок так, чтоб им не было успеха: я так делал из братской любви к твоему государю, моему любезнейшему брату и вернейшему другу.

Речи Девлет-Гирея переданы были Нагим в Москву в грамоте, посланной с нарочным гонцом; и этот гонец сообщил, как очевидец, утешительные известия, что весь Крым готовится к весне на войну с Литвою, а явлашский бей послал от себя к царю и уверял, что все это сделалось его старанием, и просил для себя поминков от московского государя.

И действительно, во всем Крыму зимою хотя все знали, что весною будет поход, но думали, что хан поведет орду воевать литовские пределы. В Москве тоже так полагали, хотя князь Михайло Воротынский, старый враг татар, осмеливался говорить, что не следует вполне успокаиваться, основываясь на уверениях хана и вестях, присылаемых из Крыма.

В апреле 1571 года хан неожиданно собрал свой курилтай и объявил, что поход будет не на Литву, а на Москву.

— Я,— сказал он,— нарочно о том не говорил никому, чтоб наш ворог, московский князь, не узнал и не приготовился к обороне. Нападем на него врасплох. У него в государстве беда и нестроение — и голод и мор на людей; лучших своих воевод он сам побил; теперь у него осталась дрянь. У нас есть ихние люди, которые поведут нас через броды и перелазы до самой Москвы. Возьмем Москву, сожжем ее, разорим все Московское государство, как еще никогда мы не разоряли. Помните, как они, неверные, услыхавши, что у нас хлебный недород и на людей мор и на скот падеж, умышляли в такую пору идти на нас, хотели наш крымский юрт покорить, как покорили Казань и Астрахань. Но великий пророк затмил разум их, помешал умыслы их... Теперь нам очередь пришла. И на них такая теперь беда, какая тогда была на нас. Не будем же мы глупы так, как они тогда были глупы. Учиним над ними то, что они хотели над нами учинить, да не сумели.

Мурзы были в восторге. Во всем Крыму весть о том, что поход будет на Москву, а не на Литву, принята была с восторгом. Пробудилась тотчас старая вражда, старое чувство досады об утраченном господстве над Русью. Кудеяр отправил своих новокрещенов вперед к Окулу и Урману с приказанием, чтобы они дожидались его с ханом на Злынском поле около вешнего Николы. Через две недели он выступил в поход сам, а за ним следовал хан с ордою. В день самого выезда Девлет-Гирея из столицы на остроконечии, вбитом в стену ограды бакчисарайского дворца, появилась голова врага его Акмамбета, во святом крещении Федора. Девлет-Гирей, напугавший обещанием мучительной казни, продержал его в тюрьме до своего выезда, а потом сказал: «Я не Иван московский, чтобы мне тешиться муками людей»,— и приказал отрубить голову преступнику.

V. ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Кудеяр, в сопровождении двух русских изменников, с отрядом татар тысяч в пять, шел впереди через ногайские степи по Муравскому шляху. Громадные толпы ногаев ехали отовсюду к Муравскому шляху, верхом, с колчанами и луками за плечами, и вели с собою много запасных лошадей. Поход им предстоял тремя путями: одни должны были примкнуть к ханской орде, другие, свернув с Муравского шляха, переправиться через Донец на Изюмской сакме и, достигнув жилых мест, опустошать срединные украинные земли московские, а третьи должны были идти восточнее, через Тихую Сосну, Потудань, к Дону, на рязанские земли. У них было одинаковое назначение: все должны были сожигать русские селения, портить посевы, убивать людей, а лучше ловить на аркан и вести в плен. Им не было положенного срока пребывать в походе: какие успеют прежде других, награбят, наделают разорений, нахватают пленников и ворочаются, коли хотят, в свои степи. Сам хан Девлет-Гирей, со сто двадцатью тысячами орды, намеревался свернуть с Муравского шляха влево, перейти Оку в ее верховьях, по указанию русских изменников, потом перейти Жиздру, Угру и идти к Москве с запада, в надежде, что царь если и спохватится, то будет ждать его с юга от Москвы, как прежде бывало. Хан не заботился о продовольствии своих ратных сил; каждый татарин брал себе, что хотел, а не взял, сам виноват, хоть с голоду умирай; только дано было приказание брать с собою побольше ремней, чем вязать пленников. За ханом не ехал обоз; все везли на вьючных лошадях. Хан шел с необычною быстротою, чтобы внезапно напасть на столицу; поэтому за ним хотя и везли шатры, но они почти никогда не разбивались; хан отдыхал под открытым небом, на ковре, разостланном на траве. Только иногда, когда надобно было подолее покормить лошадей, для хана жарили бараний шашлык или какую-нибудь дичь; в другое время, торопя свою орду, он ел только сухую вяленую конину и показывал своим мурзам пример воздержания и сурового образа жизни.

Кудеяр с Лихаревым и Русином, опередившие хана, прибыли к Оке на Злынское поле, находившееся недалеко впадения в Оку реки Ицки. Здесь встретил он уже ожидавших его Окула, Урмана и братьев Юдинковых, а с ними было всего-навсего только десять человек.

Когда разбойники изъявили радость о встрече с Кудеяром, ханский тат-агасы держал себя уже не так, как прежде, и здоровался с ними хоть и с приветливым, однако, вместе с тем и с гордым видом, который шел к его расшитому золотом чекменю. Он важно и покровительственно объявил им от хана великие милости, если они благополучно переведут ханскую орду через реки, и тут же, через своего секретаря, выдал им по нескольку золотых монет. Окул с Урманом хотели было наперерыв рассказать свои приключения, испытанные ими после погрома разбойничьего стана близ озера, но Кудеяр, как будто не желая даже вспоминать о прошлом, прервал их и с важностью сказал:

— Говорите дело: что́ я у вас спрошу, то мне и говорите. Отчего вас так мало? Где вы были в последнее время?

— Мы были в Брянском лесу,— начал Окул.— Когда мы с Урманом услышали, что хан идет, то стали говорить ватаге, что идти бы нам Кудеяру навстречу и проводить хана через броды и перелазы. Ватага так и заорала: как можно, чтобы христиане бусурманам на христиан помочь давали?

— Я им говорю,— сказал Урман,— да ведь нам, братцы, лишь бы милость была, а теперь будет такой случай, что другого не дождешься. А они на меня: ты сам татарин и своим татарам наговоришь; видно, хочешь в прежнюю веру повернуться и нас туда же тянешь.

— Я говорил им,— сказал Окул,— ведь мы шли же против царя-мучителя с Кудеяром, а теперь Кудеяр хана на того же мучителя ведет и нас просит с собою,— отчего ж нам не идти?.. А они говорят: то иное дело было; мы тогда уповали, что вместо царя-мучителя иной царь христианский будет, а теперь хан-бусурман идет разорять народ. Да тут же стали кричать на нас: долой их с атаманства. Нас с атаманства скинули; атаманами поставили Захарку Мельницу да Митюху Курощупова. А те, как стали на атаманство, тотчас сказали кругу такову речь: пойдемте, братцы, прямо к царю с повинною, а Окулка с Урманком свяжем; авось нас государь-царь помилует за то, что мы не пошли служить крымскому хану. А ватага на это как крикнет: «Да, помилует! как помиловал нашу братью, тех, что близ озера сдались. Вишь ты, говорит, что затеяли рассякие, растакие дети, рубить их, а то они нас выдадут»,— да тут же их изрубили. А мы стоим с Урманом, себе смерти дожидаем. Только нет: они нас рубить не стали, только все ругали. «И к царю не пойдем,— кричат,— и к хану не пойдем,

а кто скажет еще хоть слово про то, чтоб нам идти либо к хану, либо к царю, тому тотчас смерть». Так мы с Урманом посоветовались, что нам оставаться в стане не мочно, да ночью и убежали.

— А вот эти, что с нами пришли,— сказал Урман,— десять человек, все татары новокрещены; им також не мочно было оставаться, для того что им веры уже не будет, затем что татары; и они бежали с нами, хотячи послужить хану и тебе.

— А мы,— сказал Ждан Юдинков, целуя полу одежды Кудеяра,— твои вечные холопи, твои дети верные; как прежде с тобой неразлучно ездили, так и теперь поедем близ твоего стремени.

— Служите верно светлейшему хану,— сказал Кудеяр,— и получите большие милости.

Он приказал угостить разбойников, но сам не садился с ними.

— Горд,— заметил Окул,— важным человеком стал у хана!

— Нет, он милостив! — сказал Василий Юдинков.

Прибыл хан. Он заблагорассудил разбить себе на Злынском поле шатер и намеревался отдохнуть один день после продолжительного беспрерывного пути. Кудеяр привел к нему русских беглецов. Они целовали руки хана. Урман не утерпел и заплакал: национальное чувство, задушенное в молодости, воскресло при виде государя того племени, к которому принадлежал Урман, государя, говорившего языком, слыханным Урманом в детстве от отца и матери.

— Светлейший хан,— сказал Урман,— я твой прирожденный человек; и эти люди,— он указал на новокрещенов,— все это, как и я, твои люди; все мы прирожденные татары, нас неволею повернули на москвитинов. Ты наш настоящий государь. Все мы хотим тебе служить навек!

Новокрещены клялись в верности хану. Окул и Юдинков молчали, не понимая по-татарски.

— Я рад,— сказал хан,— что наши пришли к нам. Вы — дети мои, я — ваш отец. Московский мучитель набрал вас в мусульманских царствах и насильно отвратил от правой нашей веры. Много вас таких. За вас и за них иду я мстить ему, и вы за себя отомщайте. Послужите мне, так будете у меня ближними людьми. Вот Кудеяр вам скажет, ка́к я умею благодарить и награждать услугу. Кудеяр сделал мне добро — и теперь важный человек в нашем юрте.

При помощи русских изменников, взявшихся быть вожа-

ми, хан с ордою перешел Оку на Быстром броде, перешел Жиздру в том месте, где когда-то разбойники ушли от калужан, наконец перешел Угру и повернул к востоку. Татары шли неутомимо, не встречая нигде от русских сопротивления; в этом крае русской рати не было; царь, услышав чрез станичников, что ногаи стали появляться в украинных землях и что за ними хочет быть сам хан, собрал наскоро рать; она стояла под Серпуховом, ожидая татар по дороге к этому городу.

Татары не брали городов, чтоб не тратить времени, и мало разоряли край, оставляя это дело ногаям, а только, проходя через селения, сожигали их, означая тем свою победу. Уже до Москвы оставалось не более семидесяти верст. Окул исчез: его стала мучить совесть, что он служит бусурманину на христиан; он убежал, пробираясь лесами, в Литву.

Кудеяр призвал к себе новокрещенов, передавшихся к хану с Урманом, а с ними Урмана, и сказал:

— Вот вы почуяли, что вы не русские, а татары. Противно вам стало, что вы служите чужому государю, московскому, прирожденному заклятому врагу всего вашего татарского племени. Вы увидели вашего истинного праведного государя татарского, и сердце ваше затрепетало. Сослужите же ему великую службу. Наш государь наградит вас, и вы будете у него — как первые мурзы. Служба вам будет нелегкая, зато и милость немалая. Ступайте в Москву: все вы по-русски умеете, и вас признают за русских; теперь же всякого народа много туда бежит. Как мы придем к Москве и увидите наших людей и лошадей — зажгите Москву в разных местах. Вот вам деньги, чтобы обойтись там. Ступайте, хан велит.

Они получили деньги и уехали.

Потом призвал Кудеяр Юдинковых и сказал:

— Вы мои верные, любезные дети. Нет у меня людей на свете вас милее, вы нерекли меня своим батьком; я вам поручу такое важное дело, которого другим поручить побоюсь. Ступайте в Москву, а как мы подойдем к ней, зажгите ее в двух местах. Смотрите, не попадайтесь, а то мне без вас тяжело будет.

— Зачем попадаться,— сказал Ждан,— на то идем, чтоб дело сделать, а не попадаться.

— Да никому, никому не говорите! — сказал Кудеяр.

Орда сделала к следующему дню тридцать верст. Кудеяр призвал Лихарева и Русина.

— Братцы! — сказал он.— Все ваши утекли куда-то, вы одни остались. На вас надежда вся. Хотите или не хотите служить хану? Мы вас не держим. Не хотите — уходите, как сделали вожи ваши. А хотите служить хану — учините нужное дело.

— Куда нам идти! — сказал Русин.— Нешто к Ивану, чтоб шкуру содрал? Нет, оно больно.

— Все можем сделать! — сказал Лихарев.— Что хан прикажет? Хоть жар-птицу достать велит, так и ту поедем доставать.

— Не доставать жар-птицу, а пустить ее посылает вас хан,— сказал Кудеяр.— Ступайте в Москву, и как мы подойдем к ней с ордою, вы зажгите ее в двух местах.

— В двух? — сказал Лихарев.— Я один в десяти местах зажгу. Всю сожжем дотла: коли Лихаря на то пошлют, так уж Москве целой не быть.

— А то...— промямлил Русин... Он целовал полу Кудеяровой одежды.— Таково дело важное сделаем,— продолжал он,— твоя милость, не оставь нас, чтоб светлейший хан пожаловал нам поместьишко у себя в Крыму.

— Делайте ваше дело,— сказал Кудеяр,— а нагорода вам будет.

— Что нагорода? — сказал Лихарев.— Лихарь ради одной славы черт знает чего наделает.

— Вот вам деньги,— сказал Кудеяр,— да никому о сем не говорите. Может быть, вожи наши в Москву ушли изменою, так коли встретитесь, не говорите с ними и сторонитесь от них.

— Я себе начерню бороду,— сказал Русин.

— Я желтой глиной намажу,— сказал Лихарев,— да еще горб на спине примощу.

— А я себе и рожу напятнаю,— сказал Русин.

Они уехали. Кудеяр, узнавши, что татары наловили русских пленников с женами и детьми, призвал четырех таких пленников и сказал.

— Что вам дороже: жены и дети ваши или Москва?

— Вестимо, свои дороже! — отвечали ему.

— Идите в Москву и зажгите ее в четырех местах, когда мы подступим к столице. Вам за то будет нагорода великая. А не захотите того исполнить, велю казнить жен и детей ваших лютыми муками.

Пленники поневоле согласились.

Потом Кудеяр призвал еще троих и говорил им то же, что и первым; потом призвал еще троих и говорил то же,

что вторым. Все согласились, но не все решились исполнить такое приказание. Кудеяр поступал таким образом для того, что если бы кто-нибудь открыл замысел или попался русским по неосторожности, то, не зная всех соучастников, не мог бы показать на них.

Сделали еще двадцать верст и остановились. Вечерело. Кудеяру привели четырех схваченных татарами ратных московских людей.

— Кто вы? Опричные или земские? — допрашивал их Кудеяр.

— Мы земские,— отвечал один из пленных.

— Куда вы пробирались?

— Нас послали проведать, где татары и скоро ли прибудут.

— Где царь?

— Убежал.

— Куда?

— Не знаем. Нас собрали под Серпухов. Царь был с опричниной. Ждал хана к Серпухову и послали за Оку проведывать вестей, а посланные, приехав, сказали, что не видали и не знают, где хан. А тут пришла весть, что хан перешел Оку у верховьев, а потом уже перешел и Угру и идет к Москве. Тогда царь с опричниною ночью убежал, покиня всю земскую рать.

— Хорош царь ваш,— сказал Кудеяр,— он, видно, отважен только над своими дураками, которые, как овцы или свиньи, подставляют ему свои морды под нож. А кто у вас воеводы?

— Князь Бельский старшой, а под ним князь Мстиславский, а у них князь Воротынский, да Шуйский Иван Петрович, да с ними бояре.

— Какой это Воротынский — Михайло? — спросил Кудеяр.

— Да.

— Это хоробрый человек. Он хотел когда-то с нами, крымцами, биться, Крым наш думал завоевать. Что же ваши воеводы хотят чинить?

— У них разлад. Воротынский и Шуйский хотели идти прямо на вас и учинить бой, а Бельский и Мстиславский не захотели, стали говорить, что надобно идти в Москву и в Москве борониться. Сегодня они пришли все в Москву.

— А ратной силы много у них?

— Было у нас тысяч боле ста, только, чай, половина разошлась после того, как царь ушел с опричными.

— Одного оставить, а прочим порубить головы! — закричал Кудеяр татарам.

— Да за что же? Помилуй! подари животом! ради Христа помилуй! — кричали пленные.

— Что с вами возиться? — сказал Кудеяр.— Порубить им головы! — повторил он татарам, а сам отправился к хану.

— Светлейший хан! Нам,— сказал он,— идти бы скорее к Москве; языки сказали, что воеводы с своею ратью придут сегодня в город, хотят отсиживаться, так нам не допустить их установиться и к утру бы поспеть к Москве. А я послал вперед, чтоб Москву зажгли, как мы придем.

— Пусть так будет! — сказал хан.— Благодарю, мой тат-агасы.

При всех свойствах, присущих предводителю хищнического полчища, Девлет-Гирей имел в себе что-то рыцарское; в его душе, склонной к поэтическому созерцанию, было уважение к благородному и честному, несмотря на то, что его собственные поступки шли часто вразрез с этим уважением. Девлет-Гирею в первое его знакомство с Кудеяром понравилось то, что Кудеяр не прельстился выгодами и обещаниями, остался верен христианской вере и русскому царю. Тогда Девлет-Гирей всем сердцем полюбил Кудеяра. Но теперь, когда Кудеяр, принявши ислам, лез, как говорится, из кожи, чтобы казаться татарином, и старался услуживать хану назло русскому народу, хан, хотя ценил услуги своего тат-агасы, хоть благодарил его и хвалил, но уже не питал к нему прежней сердечной привязанности.

Кудеяр стал расспрашивать оставленного в живых пленника о Москве, откуда можно лучше глядеть на нее, и, узнавши, что паче других мест пригодны к тому Воробьевы горы, велел ему вести хана с мурзами и телохранителями на эти горы, обещая за то пленника отпустить на волю. Вож этот, москвич, сын боярский Орлов, поневоле исполнил приказание. Утром, на следующий день, 24 мая, орда явилась у Москвы и растянулась кругом Замоскворечья и до самого Коломенского села, а сам хан с мурзами и с Кудеяром взъехал на Воробьевы горы. Кудеяр отпустил Орлова, приказавши татарам не трогать его.

Хан поместился в царском дворце, том дворце, из которого некогда царь Иван глядел на московский пожар, где, устрашенный народным возмущением, отдался в волю попа Сильвестра. С переходов этого самого дворца крымский

хан готовился смотреть на другой пожар Москвы. Его мурзам стали разбивать шатры. И Кудеяру разбили шатер на самом спуске с горы и внесли в шатер его вещи.

VI. ИСКУШЕНИЕ ДОБРА

Вся Москва была как на ладони, на небе не было ни облачка; весеннее солнце обливало светом возносившиеся над темно-серою массою домовых крыш стены церквей, окрашенные белым, красным, зеленым, синим цветами; лучи его играли на золотых куполах и крестах; сверкала блестящею серебряною лентою Москва-река, за нею, к востоку, ярко зеленели широкие луга, усеянные подгородными селениями и дворами, вдали — темная зелень лесов. Пели пташки; безучастная к человеческой злобе, природа совершала свой обычный праздник весны. С вершины горы можно было думать, что для этого праздника сошлась и масса народа, волновавшаяся тогда по московским улицам.

Кудеяр смотрел на этот роскошный вид, который должен был, может быть, через час замениться ужасным видом разрушения. Кудеяр спешил сюда с злобным ожиданием насладиться гибелью столицы, а теперь, мимо его воли, в сердце ему стало подступать то ощущение жалости, которое он так подавил в себе, когда несчастная украинка в Крыму напомнила ему навсегда потерянную любимую женщину. Кудеяру становилось жаль Москвы. Кудеяр стыдился этого чувства и всею силою своей воли старался подавить его, а оно, с своей стороны, как будто напрягало все усилия, чтоб овладеть им. В воображении Кудеяра неотвязчиво носился образ Насти. Он поглядел вниз и увидел Крымский двор; он вспомнил, как там он нашел свою погибшую Настю; он глянул на далекий Данилов монастырь и узнал тот лес, где Настя с такою покорностью пожертвовала ему своим ребенком. Настя как будто теперь говорила ему: «Юрий! за что ты убил ребенка? Тебе ненавистно было татарское отродье, а теперь ты привел татар истреблять народ христианский! Ты не дал мне окрестить ребенка, а теперь сам отрекся от Христа!»

Кудеяр прогонял от себя этот неотвязчивый образ, хотел тешить себя надеждою скоро увидеть пламя столицы, а Настя все-таки внедрялась в его воображение и говорила ему: «Юрий! меня убил мучитель, а ты мстишь невинным москвитинам; мучитель разлучил меня с тобою на этом

свете, а ты добровольно разлучился со мною и для того света; я осталась верна Христу, а ты отвернулся от него!.. Юрий! Юрий! нам теперь вечная разлука! Ты сам не захотел быть со мною!»

Могучая воля его боролась с этим искушением добра и никак не могла побороть его; оно принимало на себя неотразимый образ любимого некогда существа и врывалось в сердце, в мозг Кудеяра. Кудеяр призывал на помощь свою злобу, насилуя себя, притворялся сам пред собою, что желает крови, разрушения, пожаров, стонов, страдания, нищеты,— а ему было жаль Москвы, жаль бесчисленного множества народа, осужденного на гибель под ее развалинами. Вдруг по всем московским церквам раздался благовест; был праздник Вознесения. Толпы народа валили в церкви, но не в праздничных нарядах шли они, в духовном веселии славить торжество Спасителя; они шли готовиться к смерти и принимать смерть в церковных стенах от огня и дыма. Звон стал резать, пилить, печь Кудеяру сердце. Опять предстала пред его воображение Настя и говорила ему: «Помнишь ли, Юрий, как, бывало, ты услышишь этот звон, снимешь шапку и перекрестишься. А теперь — ты не смеешь снять шапки и перекреститься! Помнишь ли, как, с православным народом стоя в храме, только услышишь, что читают о победе и одолении, тотчас кладешь большие поклоны и просишь у Бога, чтоб крест святой одолел бусурманство, а теперь ты слушаешь звон, да уже не входишь в церковь и дожидаешься гибели христианам от бусурман, которых ты навел на них!»

«Прочь, прочь! — твердил сам себе Кудеяр.— Прочь Настю! К черту жалость! Прочь христианство! Я мусульманин, я не верю в Христа, я не хочу знать его. Мне нужно христианской крови! Пожара! Дыма смерти!»

Но все было напрасно. Голос Насти раздавался в его душе: «Юрий! Юрий! не упрямься. Бог милосерд даже и для таких грешников, как ты: надень свой крест, беги в Москву! Погибни там вместе с православным народом. Бог простит тебя!»

А Кудеяр все-таки не поддавался этому голосу, Кудеяр все-таки хотел искать зла, гибели христианству — мало того: гибели людей, каких бы то ни было.

Воздух стал колебаться. Тишина нарушилась, подымался ветер, природа готовилась помогать злобе Кудеяра. А голос Насти продолжал звать его душу, тянуть ее за собою. «Скорее! скорее! торопись. Поздно будет, видишь, какой

ЧЕРНИГОВКА

Быль второй половины XVII века

I

1676 года в июне месяце в город Чернигов воротился черниговский полковник Василий Кашперович Борковский из Батурина, куда ездил по гетманскому зову для войсковых дел. Полковник ехал в колясе, запряженной четырьмя лошадьми, а по бокам его колясы ехало с каждой стороны по верховому казаку из его собственной полковничьей компании. По мосту, построенному через реку Стрижень, коляса въехала в деревянные ворота с башнею наверху, сделанные в земляном валу, окаймлявшем внутренний город, или за́мок; бревенчатая стена, шедшая поверх всей окраины вала, носила, с первого взгляда на нее, следы недавней постройки. Удар колокола на башне возвестил о возвращении господина полковника. Коляса въехала в один из дворов неподалеку церкви св. Параскевии, под крыльцо деревянного дома, обсаженного кругом молодыми деревцами, которые были огорожены плетеными круглыми загородками для защиты от скотины. Разом со въездом во двор полковника спешили во двор полковые старшины — обозный, судья и писарь, как только услышали звон на башне, возвещавший о приезде полковника. Полковник вышел из своей колясы, взошел на крыльцо и, подбоченясь по-начальнически, ожидал старшин, скоро шедших по направлению к крыльцу и уже на дороге снимавших шапки. Полковник в ответ на их поклоны чуть приподнял свою шапку, ничего им не сказал, а только смотрел на них и повернулся ко входу в свой дом. Старшины последовали за ним, неся в руках шапки. Выбежавшие из дома служители суетились около колясы и вынимали оттуда дорожные вещи. В сенях встречали полковника члены его семьи: жена, сын и две дочери. Не сказавши ни слова семье, полковник обратился к писарю и сказал:

— Пане писарю! Швидше біжи і пиши універсальні листи до всіх сотників: нехай незабаром з'їздяться до Чернігова з виборними козаками із своїх сотень. Поход буде. Припиши ще: который забариться і не прибуде в термін, той не утече значного військового карання. А вас, панове суддя

і обозний, я покличу. Розговор з вами буде. Пан гетьман ординує наш полк в Задніпре на Дорошенка.

Старшины ушли. Полковник вошел из сеней в просторную комнату, уставленную по окраине стены лавками, покрытыми черною кожею, несколькими креслами с высокими спинками и двумя столами, покрытыми цветными коврами. Служитель снял с него верхнее платье. Тогда полковник поцеловался с женою, потом с детьми, которые, подходя к отцу, прежде кланялись ему до земли, а потом целовали ему руку. Полковник приказал служителю подать трубку и расселся в кресле близ стола.

Полковница, матерая женщина лет за сорок, в парчевом кораблике на голове и в зеленой, вышитой серебром су́кне, спросила мужа, не прикажет ли он подать что-нибудь поесть и выпить. Полковник поморщился, сказал, что он на дороге поел, а до ужина недалеко, но потом, подумавши, попросил выпить терновки. Ему подала на подносе вошедшая прислужница. Полковник выпил, поставил серебряную чарку на поднос и спросил жену:

— Був хто у нас без мене?

— Новий воєвода приїздив,— сказала полковница.

— Який же він з виду? — спросил полковник.

— Так собі чоловічок,— отвечала полковница,— не дуже старий, не дуже молодий; лице йому червоне, трохи дзюбане. А хто його зна, що воно таке єсть! Я спитала його: чи гаразд йому домівка здалася; він одвітив, що добра, і зараз почав сам себе вихваляти. «Зо мною,— каже,— уживетесь, бо я чоловік простий, і правдивий, і з душі,— каже,— полюбив народ ваш малоросійський. Дай Бог, щоб ви мене так полюбили, як я вас». Потім почав говорити по-божественному, про церкви розпитував, хвалив тебе, що усердствуєш божій церкві і храми будуєш.

— Вони,— сказав полковник,— усі такі ласкаві, як до нас приїдуть, а обживуться — так і не такими стануть.

— А я вже,— сказала, переминаясь, полковница,— і про сього прочула не дуже добрую річ.

— Що таке прочула? — спросил напряженно полковник.

— Говорять: через день після того, як сюди приїхав, став допитоваться, які у нас в Чернігові єсть чарівниці, і уже одну, кажуть, приводили до його стрільці москалі із тих, що тут зоставались після прежнього воєводи.

Полковник не отвечал на это ничего, как будто не слыхал того, о чем сообщала ему жена, и завел речь о другом, сообщил, что их полк посылают вместе с другими на

Дорошенка понуждать его, чтоб ехал, по данному прежде обещанию, на левый берег Днепра слагать с себя гетманский сан перед князем Ромодановским и гетманом Иваном Самойлóвичем. Полковник изъявил сожаление, что ему не дают времени строить предпринятые здания в Чернигове и беспрестанно отрывают по другим делам. Борковский был большой охотник строиться. Много церковных зданий в Чернигове обязаны ему поправками, прибавками, а иные — появлением на свет. И теперь был он озабочен постройкою братской трапезы в Елецком монастыре, поручал в свое предполагавшееся отсутствие жене наблюдать за начатым делом, вести переговоры с штукатурами и малярами и приказывал ей во всем поступать с совета отца архимандрита Иоанникия Голятовского. Во время этой беседы с женою дети находились здесь же и стояли почтительно у стены: хотя сыну пошел уже двадцатый год, а одной из дочерей — семнадцатый, но они без воли отцовской не смели сесть в присутствии родителя и завести речь с ним, прежде чем он сам за чем-нибудь к ним обратится. С самой женой Борковский хотя был любезен, но постоянно серьезен, и жена, применяясь к его нраву, говорила с ним так, что готова была только исполнять то, что он придумает и ей укажет.

Во время беседы полковника с женою вошел служитель и доложил, что идет новоприбывший в Чернигов воевода. Полковник тотчас встал и пошел к дверям, в которые входил гость. Это был краснощекий, с небольшою круглою русою бородкою, невысокорослый человек, одетый в бархатный кафтан голубого цвета с большим стоячим воротником, вышитым золотом. Кафтан был застегнут на все пуговицы, серебряные, грушевидные, с прорезью. Воевода нес в руке шапку, сделанную наподобие колпака. Его звали Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь, он поклонился полковнику, касаясь пальцами до земли, и сказал:

— Земно и низко кланяюсь высокочтимому господину полковнику! Я новый черниговский воевода, недавно прибыл в ваш город по указу царскому на уряд. Челом бьем и усердно просим любить нас и жаловать и быть к нам во всех делах милостивцем!

И воевода еще раз поклонился, коснувшись пальцами одной руки до помоста.

— И к нам, недостойным царским слугам и подножкам царского престола, просим быть милостивцем и теплым заступником перед царским пресветлым величеством,—

сказал полковник, также кланяясь.— Се моя господиня,— прибавил Борковский, подводя к воеводе жену,— а се мої діти, їх же ми даде Бог!

— С боярынею твоею видались мы,— сказал, осклабляясь, воевода.— Как приехал я в Чернигов — первым делом было идти и тебе поклониться, а твоей вельможности тут не было, так я господыню твою милостивую видел и челом ей побил!

Воевода, кланяясь в пояс полковнице и детям, бросил мимоходом на старшую дочь Борковского такой взгляд, в котором опытному наблюдателю можно было отгадать впечатление, какое невольно производит на записного женолюбца вид каждого смазливого женского личика.

Жена и дети вышли. Полковник усадил воеводу в кресло и начал с ним разговор. Немного спустя вышедшая за двери пани Борковская ворочалась снова в сопровождении служанки, которая несла на серебряном подносе графин с водкою и варенье. Полковница просила воеводу отведать ее хозяйственного приготовления, так как она сама наливала водку на ягоды и сама варила варенье.

Воевода, выпивши, по обычаю поцеловался с хозяйкою, потом, обратясь к хозяину, сказал:

— Воистину, видимо, благословение божие на доме твоей вельможности! Жена твоя яко лоза плодовитая и дети твои яко гроздие вокруг трапезы твоея!

— А у твоей милости, господин воевода, с собою здесь хозяйка? — спросил полковник.

— Нету,— отвечал воевода,— молодым было родители меня женили, да жена, проживши со мною три года, померла.

— Что ж? Господин воевода еще не стар. Может быть, пошлет Бог другую супружницу,— сказал полковник.

— Я тебе доложу, господин вельможный полковник, вот как,— говорил с многозначительным постным выражением лица воевода,— я точно еще не стар, да познал тщету земного жития. О душевном спасении хочу мыслить, а не о телесных сластех.

Полковник бросил жене недоверчивый взгляд и спросил воеводу:

— Твоя милость у нас в гетманщине первó на воеводстве или были прежде еще в каком нашем городе?

— В малороссийских городах пришлось быть в первый раз у вас в Чернигове на воеводстве, а в слободских полкех был воеводою в Харьковском полку в городе Чугуеве; там

немного узнал я ваших людей. И скажу твоей вельможности по душе: так полюбил ваш народ, что жалею, зачем не родился вашим человеком! Такие у вас добрые, богоугодные люди, от них же первый и найлучший господин полковник черниговский: об нем далеко слава идет. И в Москве все говорят про то, как он усердствует о благолепии церквей божиих и как ко всему священному делу навычен и охочен.

— Я последний и найхудейший от многих,— сказал Борковский.— Трудимось в поте лица своего, по божией воле, да в день судный заступление имамы от пресвятыя богородицы.

— Был я,— говорил воевода,— у преосвященного Лазаря, и у отца архимандрита Иоанникия, и у отца игумена Зосимы. Какие это честные особы! Какие умные, сведущие философы! Истинно у нас в московской земле таких не сыщешь, хоть всю землю исходи. И они в един глас про вельможность твою доброе слово говорят да величают честность твою.

— Держимость на свете молитвами оных богоугодных мужей! — сказал Борковский.

Вошел полковой писарь с бумагами.

— Уже написано? — сказал полковник.— То добро́— бо к спіху надобно! Всім сотникам?

— Всім,— отвечал писарь.

Полковник закричал, чтоб ему подали каламарь, и подписал один за другим шестнадцать приказов сотникам Черниговского полка. Писарь, забравши бумаги, ушел. Вслед за тем служитель доложил, что у крыльца дожидается сотник черниговской сотни. Борковский приказал позвать его.

Вошел молодой, лет тридцати, мужчина, статный, белолицый, черноусый, с высоким открытым лбом, с большими глазами. Это был тогдашний сотник черниговской полковой сотни Булавка. Поклонившись полковнику, он обвел большими глазами вокруг себя и на мгновение остановил их на госте, как будто желая спросить полковника: можно ли при нем говорить о том, за чем пришел; потом, успокоившись от раздумья, начал полковнику говорить:

— Вашої вельможності прийшов спитать: будеть поход, як зараз прийшов лист от твоєї вельможності; чи можна мені оставить в го́роді і не брать в поход швагра мого, козака Молявку-Многопеняжного, бо він заручився і йому треба весілля грать?

— Того ніяк не можна! — сказал строго полковник.—

Коли твого швагра зоставить задля весілля, то другі козаки почнуть собі просити, аби їх зоставили. Хто задля весілля, хто задля похорон, а хто вигада собі інше що-небудь... Не позволю: не прохай! Нехай твій швагер підожде; вернеться з походу — тоді і весілля справить. Де твій швагер заручився?

— У козака Пилипа Куса,— сказал сотник.— Одиниця дочка у батька. Коли жодною мірою не можна зоставить мого швагра, так чи не можна тепер, у Петрівку, повінчать його, а весілля справлять тоді вже, як Бог дасть з походу вернуться?

— То вже не наше козацьке діло, а церковне,— сказал полковник.— Нехай просить владичного розрішення у преосвященного Лазаря, а я, полковник, од себе противності не маю. Нехай собі вінчаються, коли владика дозволить. Тільки ми в поход виступаєм в неділю, а післязавтра субота. Швагер твій мусить бути в поході.

— Как? Разве это у вас можно? — заметил воевода.— Вы, кажись, православного закона! Как же это? В Петров пост свадьбу праздновать?

Полковник отвечал:

— Власне, забороняється в постни дні свадебное пиршество — весільна гулянка, по-нашому,— а щоб совершить обряд церковний — на те потрібно тільки розрішення архієрея; аще архієрей знає, що праздника весільного і гулянки в піст не буде, то й розрішить. У нас, господин воєвода, такий єсть обичай од дідів і прадідів, що муж з жоною сожительствують і уважаються перед всім світом у брачному союзі, або, як у нас говориться, в малженстві, тільки з того часу, як справиться весілля у молодої і молодого, по нашому звичаю, як воно ведеться в народі нашім, а до тієї пори молода ходить як дівиця і головою світить, і ніхто її за мужатую невісту не уважає, аж поки на весіллі не покриють. Тим-то у нас архієрей можеть розрішити вінчання у піст, аби тільки знав, що до кінця посту не будуть справовати весілля.

В продолжение этой объяснительной речи сотник Булавка стоял, потупивши голову, но изредка с любопытством бросал взгляды на воеводу, а тот жадно слушал полковника.

— Странные для нас, русских московских людей, дела рассказываешь ты, господин полковник,— сказал воевода.— Такого ничего не делается у нас, в московской земле. Однако и то справедливо говорят добрые люди: что го-

род — то норов, что край — то свой обычай. Греха тут, я думаю, нет. У вас исстари так повелось, а у нас не так, а вера у нас все-таки одна остается, хоть, видишь, вон что́ у вас архиереи разрешают, а у нас никто к архиерею об этом и просить не посмеет пойти. У вас,— прибавил он, обращаясь не к хозяину, а к сотнику,— и при венчанье, может быть, такое творится, чего у нас нет?

— Не знаю,— отвечал Булавка,— я в Московщині не бував і не бачив, як у вас там діється.

— Непременно пойду в церковь, как будет венчаться казак, шурин этого сотника,— говорил воевода, обращаясь к Борковскому.— Прикажи, господин полковник, меня известить, я пойду!

— Сам с твоею милостию пойду! — сказал Борковский.

Сотник хотел уходить, но полковник приказал ему оставаться. Воевода понял, что полковник имеет сказать сотнику нечто наедине, попрощался с хозяином и, провожаемый им в сени, ушел в свой двор, отстоявший от полковничьего саженях во ста.

Воротившись опять в комнату, Борковский сказал:

— Пане сотнику! Узнай ти мені, яку се чарівницю кликав до себе сей воєвода, як кажуть.

— Мені узнавать сього не приходиться, вельможний пане,— сказал Булавка,— бо я вже знаю. Приходила до його Феська Білобочиха, а приводив її стрілець Лозов Якушка. А за чим єї звано, того не знаю.

— Поклич єї зараз до себе, а як прийде — пришли з козаками вартовими до мене,— сказал полковник.

Сотник быстро ушел. Борковский велел позвать обозного, судью и писаря, разговаривал с ними о делах полковых и о походе. Наконец служитель доложил, что казаки привели бабу Белобочиху.

Обозный, судья и писарь при этом имени разом засмеялись.

— Що ви, панове, смієтесь? — сказал со строгим видом полковник.

Судья сказал:

— Вибачай, вельможний пане, либонь, яка справа точиться соромотна. Баба та Білобочиха відома сводниця в Чернігові!

— Еге ж! Добре, панове, що ви лучились,— сказал Борковский.— Увійдіте у другий покой і слухайте там, що стане казать мені ся Білобочиха.

Обозный, судья и писарь вошли по указанию хозяина

в другую комнату, следовавшую за тою, где происходила беседа. Ввели казаки бабу Белобочиху. То была низкорослая, с короткою шеею женщина лет пятидесяти, с маленькими, простодушными и вместе лукавыми глазками.

Полковник подошел прямо к ней с очень строгим и суровым видом и сказал:

— Бабо! чаклуєш! чарівничуєш! людям шкоди робиш! Ось я тебе пошлю до владики, щоб на тебе епітем'ю наложив да в монастир на працю заслав років на два або й надовше.

— Я нікому шкоди не діяла! — говорила баба, перекачивая голову и отважно глядя на полковника.— А коли хто покличе пособити в якій болісті, то не одмовляюсь, і твоя милость коли позовеш, то прийду і все подію, що можна і як Бог пособить.

— Брешеш! — сказал полковник.— Чого ти ходила до воєводи?

— А прислав звать, тим і ходила,— сказала Белобочиха.

— А по віщо прислав за тобою? Чого од тебе хотів? — спрашивал полковник.

— Та,— запинаясь, говорила баба,— казав про свою якусь хворобу, а я таки гаразд не второпала, що він там по-московськи мені казав; я йому одвітила: «Нічого не знаю». Да й пішла од його.

— Брешеш, бабо! — сказал полковник.— Не за тим тебе звано, не те воєвода казав тобі, не такий ти йому одвіт дала. Ей, козаки! — обратился полковник к тем казакам, которые привели Белобочиху.— Виведіть сю бабу на двір да й сполосуйте їй спину дротянкою-нагайкою.

— Пане вельможний! — вскричала Феська.— Я не стану доводить себе до нагайки. Скажу й без неї. Воєвода питав мене, чи не можна добуть йому дівчину красовиту: «Бо,— каже,— одинокий я чоловік, скушно спати». Таку, каже, дівку, щоб до його уніч ходила.

— А ти йому що на те сказала? — спросил полковник.

— Я сказала, не знаю... За таке діло ніколи не бралась! — отвечала Белобочиха.

— Брехня! Не те йому ти одвітила! — сказал Белобочихе полковник, потом, обращаясь к казакам, присовокупил: — Покропить їй нагайками плечі!

— Пане вельможний! — закричала Белобочиха.— Змилуйся! Всю правду скажу, тільки не виказуйте мене воєводі; він мене тоді з світа зжене, бо він звелів нікому того не виявляти, що мені казав.

— Моє полковницьке слово, що не скажу,— отвечал полковник,— і бити не буду, аби тільки правду сказала. Говори, да не тайся! Що одвітила? На яку дівку указала?

— Отже, всю правду повідаю,— сказала Феська.— Питав мене воєвода: яка тут у Чернігові красовитіша дівка? А я йому сказала, що як на моє око, так нема кращої над Ганну Кусівну, що отсе, як кажуть, просватана за козака Молявку. А воєвода каже: «Где би мені її увидить?» А я йому кажу: «А де ж? У церкві». А він казав, щоб я узнала, у якій церкві буде та дівчина, так він туди піде, щоб її повидати. От і все. Більш розмови у мене з воєводою не було. От вам хрест святий! — и Феська перекрестилась.

Полковник, разговаривая с кем бы то ни было, по выражению глаз и звуку речи отлично умел узнавать, правду ли ему говорят или ложь. На этот раз он заметил, что Белобочиха не лжет, и от ней он более ничего не добивался, а потому и отпустил. Феська убежала во всю старческую прыть, довольная тем, что избавилась от грозившей ее плечам дротянки.

— Чули, панове? — спросил полковник вышедших из другого покоя старшин.

— Чули, все чули! — был ответ.

— Так мовчіть поки до часу, а як час прийде, тоді ми заговорим, і, може, пригодиться те, що тепер чули!

II

Много цветов в садах зажиточных казаков, а между цветами нет ни одного такого, как роза. Ни крещатый барвинок, ни пахучий василек — ничто не сравнится, как говорит народная песня, с этой розою, превосходною, прекраснейшею розою. Вот так же: много красных девиц в городе Чернигове, и ни одна из них не сравнится с Ганною Кусивною — дочерью казака Пилипа Куса. Много писателей восхваляло в своих описаниях красоту женскую, так много, что если бы собрать все, что написано было в разных краях и на разных языках о женской красоте, то никакого царского дворца недостало бы для помещения всего, написанного по этой части. Но, правду сказать, если б стало возможности прочитать все написанное о женской красоте, то едва ли много оказалось бы там такого, что было бы выше одной истинной красавицы, существующей не в книгах, а в природе.

По этой-то причине мы не станем изображать красоты

Ганны Кусивны, а скажем только, что в течение трех лет оного времени в Чернигове кого бы ни спросили, кто из девиц черниговских всех красивее, все водно сказали бы, что нет красивее Ганны Кусивны; не сказал бы разве тот, кто уже полюбил другую девицу, так как всегда для влюбленного никакая особа женского пола не кажется прекраснее предмета его любви. Само собою разумеется, много было желавших получить ее себе в подруги жизни,— и как же должен был казаться счастливым тот, кому обещала красавица свое сердце! Эта завидная для многих доля выпала казаку Яцьку Феськовичу Молявке-Многопеняжному.

Ходит красавица в своем рутяном садочку, молодец подстилается к ней пахучим васильком, крещатым барвинком, ясным соколом пробирается молодец сквозь калиновые ветви, поймать хочет пташку-певунью, унести ее в свое теплое гнездышко. Вот сквозь ветви зеленых дерев блестит полуночное небо с бесчисленными звездами, всходит ясный месяц, и полюбилась ему одна звездочка паче прочих,— и месяц гоняется за нею, хочет схватить звездочку в свои объятия. А молодец Яцько Молявка-Многопеняжный посреди многих девиц черниговских полюбил паче всех прекрасную Ганну Кусивну и хочет ввести ее хозяйкою под свой домашний кров.

А в хате казака Пилипа Куса при свете лампады сидит пожилая Кусиха со свахою и с молодою дочерью Ганною. Они дожидаются старого хозяина казака Куса с его молодым нареченным зятем; вместе отправились они к владыке Лазарю Барановичу и воротятся с приговором судьбе Ганны Кусивны. С нетерпением мать и дочь прислушиваются к каждому звуку за окнами, за стенами хаты, на дворе и на улице, мало говорят между собою — все только слушают. Вот, наконец, заскрипели ворота, кто-то въехал во двор. Ганна бросается к окну, вглядывается во двор, озаренный лунным светом, и в тревоге восклицает:

— Матінко, се наші!

Вошли в хату казак Пилип Кус и казак Яцько Молявка-Многопеняжный.

Познакомимся теперь с обоими поодиночке.

Пилип Кус был казак лет сорока с лишком, плечистый, белокурый, с лысиной на передней части лба; в его волосах чуть пробивалась седина. По отсутствию морщин на лице и по веселым, спокойным глазам проницательный наблюдатель мог понять, что жизнь этого человека проходила без

больших потрясений и без крупных несчастий. В самом деле, за исключением немногих неприятностей, без которых вообще не обойдется земное бытие, этому человеку выпала такая доля, какую в тогдашней казацкой Украине мог иметь далеко не всякий казак. Родился Кус в Чернигове, где и теперь проживал, родился в семье не очень богатой и не очень бедной: у Кусова отца, как и у Кусова деда, всегда было что съесть, и выпить, и во что одеться, и нищему подать Христа ради. И у нашего Куса жизнь повелась точно так же. Раза три приходилось ему ходить в поход с прочими казаками своего полка, но ранен он не был ни разу; только навела было на него скорбь смерть его тестя, казака Мурмыла, убитого в схватке с поляками. Но ведь это что́ за несчастье в казацком быту, когда каждый казак с детства привыкает к мысли потерять в бою кого-нибудь из близких или самому положить голову! Пилип женился лет двадцати от роду, взял в приданое за женою кусок земли в седневской сотне дней в тридцать и жил с женою в полном согласии. У него, кроме жениной земли, был в верстах в осьми от Чернигова еще и отцовский участок с рощею, где стояла его пасека, и было у Куса довольно земли, так что Кус землю свою отдавал другим с половины. У Кусов было четверо детей, но трое умерли в младенчестве; уцелело четвертое дитя, дочка Ганна, которую теперь собирались родители отдавать замуж.

Жених Ганны Кусивны происходил от предков не из казацкого рода и был захожим человеком в Чернигове. Дед его, Федор Молявка, жил в Браславе и отдавал деньги в рост; за это какой-то дьячок приложил ему кличку Многопеняжный, и такая кличка привилась к его роду. Сыновья Федора наследовали, вместе с этой кличкой, любовь к отцовскому промыслу и возбуждали своею алчностию слух о несметном своем богатстве. Казацкий гетман Павло Тетеря, нуждаясь в деньгах, прицепился к одному из них, Феськý Федоренку, требовал от него денег; Фесько, расставшись поневоле с тем, чего нельзя было укрыть, клялся всеми святыми, что у него более ничего нет, но Тетеря подверг его пытке, от которой Фесько и умер. Скоро, однако, Тетеря был разбит Дроздом и выгнан из Украины. Но Дрозду нужны были деньги, так же как и Тетере, и Дрозд принялся за вдову Феська, взмылил ей спину нагайками, допрашивая, куда запрятаны у ней мужнины деньги, не добился признания и посадил ее в тюрьму.

Через месяц после того Дрозд был разбит Дорошенком,

отведен в Чигирин и там расстрелян. Вдова Феська освободилась из тюрьмы, но опасалась, чтоб и Дорошенко не стал делать с нею того же, что делали Дрозд и Тетеря; она поспешила выкопать из-под земли зарытые мужем червонцы и вместе с сыном и дочерью ушла на левую сторону Днепра. Два брата Феська еще прежде перебрались туда с женами и где-то поселились в слободских полках, куда, как в обетованную землю, стремились тогда переселенцы с правого берега Днепра. Вдова Феська Молявки-Многопеняжного не пошла слишком далеко искать новоселья, а по совету родных своих приютилась в Чернигове, выпросила себе место для двора и там построилась, как следовало. Дочь ее вышла замуж за Булавку, который потом сделан был сотником черниговской полковой сотни, а сын, который был моложе сестры своей несколькими годами, отдан был в обучение чтению и письму, а потом записан в казаки.

Грамотность была далеко не повсеместна между казаками, однако уже уважалась, и Молявка-Многопеняжный через то уже, что умел читать и писать, мог надеяться повышений в казацкой службе. Ему был двадцать второй год отроду, когда он увидал Ганну Кусивну и задумал на ней жениться. Яцько был под пару Ганне — чернобровый, кудрявый, становитый, писаный красавец и не беден, как говорили; кроме двора, у него никакой недвижимости в Чернигове не значилось, но слухи носились, что у его матери были деньги, а сколько было денег примерно, того не говорил никто, и сам сын не в состоянии был сказать. Несчастия, перенесенные его матерью из-за денег, сделали ее скупою и скрытною. Кто бы с нею не заводил разговор, она первым делом хныкала и жаловалась на сиротство, беспомощность и бедность и каждому рассказывала, как у ее мужа отнял деньги и самого замучил Тетеря.

Когда сын объявил матери, что замыслил жениться, мать сперва не слишком желательно приняла эту новость, но не стала сыну перечить, когда узнала, что Кус — казак не бедный и дочь у него единственная. Мать Молявки-Многопеняжного отправилась в гости к Кусихе и скоро сошлись с нею; всегда веселая, спокойная, добродушная Кусиха хоть кого могла привязать к себе. Обе старухи были вместе, когда Кус и Молявка-Многопеняжный вошли в хату.

— Ану, щó? — спрашивала бойкая, словоохотливая и привередливая Кусиха.— Чи з перцем, чи з маком?

— По-нашому сталось. Чого ходили, те і добули! — ска-

зал торжествующим тоном Кус.— А чи з усім по душі те буде нашому коханому зятеві, про те його вже спитайте.

— Не оставляють весілля грать? — спрашивала Молявчиха-Многопеняжная.

— Нізащо! — сказал Яцько.— Полковник аж розсердився, грізно глянув на мене і проговорив: «Коли станете докучать, то не дозволю тобі і ожениться».

— Ну як-таки він не дозволить? Де такий закон єсть, щоб не дозволив жениться полковник козакові? — говорила мать.

— З панством не зволодаєш,— сказал Молявка.— Що каже панство, нам те й робити, бо як не послухаєш, то що з того буде? Тоді хоч зарані п'ятами накивати треба, а коли на місті зостанешся під панським регіментом, то пан коли не тим, то другим тебе дошкуля! От і мені так: «Ти,— каже,— в виборі стоїш записаний»! А я кажу: «Се коли твоєй милості ласка буде, так вельможний пан може...» — і не договорюю, тільки кланяюсь низько. А він зупинив мене та й каже: «Що може вельможний пан, про те не тобі розважати, бо єси ще молодий, а вельможному панові те не подобається, щоб ти зоставався тут, а хоче пан, щоб ти з іншими вибірними йшов у поход!» А що ж? Має свою рацію. Скачи, враже, як пан каже!

— Правда то правда, сину! — подхватил Кус.— Подначаліне діло наше. Повинні-сьмо слухати владзи. От, прикладом, хоч би і я! Мене вже давно не вписують у вибори, а здумалось би так панству, сказали б: «Йди, Кусе»,— і Кус чи хоче, чи не хоче, а мусить йти.

Молявка подсел к невесте и начал с нею говорить почти шепотом, так что другим не слышно было речей его. Невеста, слушая его речи, то улыбалась, то кивала одобрительно головою. Впрочем, если б и можно было слышать их разговор между собою, то передавать на бумагу разговоры между женихом и невестою довольно трудно. Бывает в таких разговорах бессвязица, а они все-таки бывают кстати и доставляют приятность тем, которые их ведут. Кусиха вышла из хаты, потом воротилась уже в сопровождении наймички; обе несли скатерть, оловянные тарелки, ножи, ложки, хлеб и водку в склянице. Послали скатерть, поставили на ней пляшку с водкой и положили хлеб. Тогда наймичка вышла в другую хату, находившуюся через сени, в которой обыкновенно топилась печь и готовилась ества, а хозяйка просила всех садиться за ужин, сама же из

шкафа, стоявшего направо от порога, вынула серебряные чарки и поставила на столе.

Выпили по чарке настойки, заели хлебом и оселедцем. Наймичка внесла большую оловянную мису с рыбною ухою, потом ушла снова и воротилась с оловянным блюдом, на котором лежали жареные караси, а молодая Кусивна, пошедши в чулан, находившийся в сенях, принесла оттуда деревянный складень с сотовым медом. Затем наймичка внесла на оловянной мисе целую гору оладий и ушла. Наймичка сама не садилась за стол: работники прежде вечеряли сами, потому что хозяева в этот день собрались ужинать позже обыкновенного.

— Коли ж їх вінчатимуть? — спрашивала Молявчиха.

— Післязавтра в неділю,— сказал Кус.— Як одійде рання служба у святого Спаса. Владика проказав нам науку, як треба жити, да вже так дуже письменно й ладно, що ми не дуже-то і второпали; не знаю, як зятенко, а я, грішний чоловік, нічого до пуття не зрозумів з того, що він казав. Чув тільки про якийсь виноград, да про лозу, да про якогось там жениха і дів мудрих і буїх: хто його зна, до чого воно там у них приходиться! А от що, так уже ми добре зрозуміли, так добре: щоб, казав, молоді, повінчавшись, зараз, вийшовши з церкви, розійшлись і не сходились одно з другим, аж поки піст сей не скончиться. Піде, каже, молодець у поход на царську службу: коли, Бог дасть, живий і здоровий вернеться, тоді нехай уступає в сожитіє і весілля по вашому обичаю собі отправите. А тепер, говорить, не можна, і щоб не було у вас ні музики, ні танців, ні пісень.

— Се все ченці видумали,— заметила Кусиха,— щоб і у Петрівку гріх був навіть співати! Але ж дівчата на улицях коли ж і співають, як не у Петрівку. Преосвященний сам чує, сидячи в своєму монастирі, як вони співають. Чому ж не увійме їх? Хіба на улиці менш гріха співати, ніж весілля справлять?

— На все свій час положено законом,— сказал Кус.— Вони люди розумні і вченії: усе знають — за що од Бога гріх, а за що нема гріха. Нам тільки слухать їх і чинить, як вони велять.

— Істинно розумно і премудро говорить сват! — сказала мать жениха.— Що воно єсть весілля, так се тільки люди повидумували, щоб гулять да тратитись. Настоящого пуття з того немає. Повінчались — і всьому кінець. То божий закон, а що весілля — то витребеньки!

— Як можна, свашенько! — сказала Кусиха.— Од дідів і прадідів Бог зна з якого часу то повелось, і того змінять не можна. Да і що б то за життя наше було, якби весілля не було! Один раз молоді поберуться між собою, у їх тоді як би весна! От як по весні вся твар заворушиться і так стане хóроше і весело, що і старі неначе помолодшають; от так же як молода людина з другою молодою зійдуться і спаруються, тоді і нам, старим, стане якось весело, аж дух радується, коли на їх дивишся, і старі наші кості розімнуться, і спом'янемó свої літа молодії.

— Аже ж і владика не казав, що веселиться не треба óвсі, а казав тільки, щоб у Петрівки весілля не справляти, бо єсть піст,— заметил Кус,— а владика тут же прибавив: «Коли минуть Петрівки, тоді,— каже,— справляйте собі весілля по вашому звичаю». А до мене владика так промовив: «Повінчаються діти, ти, старий, бери дочку за руку, веди з церкви додому й держи за приглядом, аж поки зять твій з походу не вéрнеться, щоб часом не звонпила і дівоцтва свого не втеряла».

— Наша Ганна не таківська,— сказала Кусиха,— і пре-же ніхто про неї не смів недоброго слова промовить, худої слави боялась,— а тепер, коли жених є, то вона буде його дожидати і об нім тільки думатиме, а більш ні об чім.

— А вже,— сказала Молявчиха,— коли б тільки Яцько вернувся з того походу щасливо, то ліпшої пари йому би і не найти. Тільки — всі ми під Богом. Буває часом і так: повінчались, побрались, тільки б жити, да поживати, да добра наживати, а тут...

— А тут,— перебил ее охмелевший Кус,— вернеться молодець, учистимо весілля на славу. Я, старий, покину свою стару, бо огидла, ухоплю за руку другу стару, свою любу сваху, да з нею в танець піду. От так!

И с этими словами он схватил за руку Молявчиху и потащил ее с лавки на середину хаты.

— А своя стара тебе за полу смикне і не пустить,— сказала Кусиха, удерживая мужа за полы его кунтуша.

Молявчиха упиралась и говорила:

— Змолоду я не була охоча до сих танців, а тепер на старощах об могилі помислити, а не об танцях!

— Батько-тесть шуткує,— сказал Молявка,— аже ж не все трощиться да журиться, і пошутковать можна трохи. Чи так, моя ясочка? — прибавил он, обращаясь к Ганне.

Ганна, улыбаясь, отвечала наклонением головы.

— Поживемó з тобою вкупі, скільки Бог велить,— продолжал Яцько, обращая речь к невесте,— поживемо, і постаріємось, і дітей наживемо, і станем їх паровати, тоді спом'янемо, як чудно ми самі спаровались! Прийшлось нам повінчатись, да зараз і розійтись, як дві хмарки, тільки ненадовго.

— Мені здається,— сказал Кус,— се вже останній поход буде на сього пройдисвіта Дорошенка: от уже третій год манить наших, обіцяє приїхать і своє гетьманство здать, а потім знову збирається бусурман вести на руїну християнську. Тепер уже, мáбуть, прийде йому кінець.

— А може, й так станеться, як сталось торік і позаторік, що ходили, походили да назад вернулись, нічого не вдіявши,— сказала Молявчиха.

— А що б ти, свахо, здорова булá: навіщо ти нещастя пророкуєш? — сказал порывисто Кус.— Бог єсть милостив: на його уповають царі і владики: Бог — утіха християнству й смирить бусурманську гординю. На його надіємось!

— Вибачайте мені, дурній, свати! — сказала Молявчиха.— Бо я дуже вже з лихом спізналась за своє життя. Се непереéливки! Мій добрий чоловік — царство йому небесне, не нажилась я з ним: погубили його прокляті недóляшки! А мене самý хіба мало мучили і катовали! На плечах досі шрами видко, як Дрозденко, собачий син, отполосував нагайкою-дротянкою! По правді йому, бісовому, сталось: пізнав, мабуть, лютий катюга, як-то боляче людям буває, як йому заліпили кулі у груди! Тим оце я, дурна, як згадаю, що було колись зо мною, так і думаю: як би не стряслось знову якого лиха! Вибачайте мене, панство свати!

Молявчиха встала с места и поклонилась Кусу и Кусихе.

— Знаємо, свахо, знаємо добре, що тобі немало Господь посилав лиха, та все те вже минуло і не вернеться. Як з нами ти поріднилась, так з тієї пори все лихо минуло. Поцілуємось да вип'ємо добру чарку! — сказал Кус, выпивая и подавая Молявчихе чарку с горелкою.

— Дай, Боже, нашим любим діткам проміж себе кохатись і довго жити в щасті і здоров'ї! — произнесла Молявчиха, выпивая чарку и передавая Кусихе.

— Дай, Боже,— сказала Кусиха,— вмісті з нами глядіть і не наглядіться на їх коханнячко і не налюбоватись їх щастям!

— А нашим любим і шановним родителям велика і нескончаєма до нашої смерті дяка за те, що нас вигодовали, і до розуму довели, і нас спаровали! — сказал Молявка, выпивая горелку из чарки и передавая чарку невесте.

— Вам, тату й мамо, нехай Бог воздасть за мене, що мене згодували, викохали, до розуму довели і за любого Яцька заміж оддаєте! Дай, Боже, вам обом довгого віку й здоров'я! — провозгласила Ганна, поклонилась родителям и выпила.

— Дай, Боже, щастя, здоров'я на многая літа усім! — провозглашали все и разом наливали горелки в чарки и выпивали.

— Ходім, сину, час уже додому,— сказала Молявчиха.— Як вернешся з походу, зберемось тоді знову до панства сватів да заберемо молоду княгиню: буде вона моїм ста́рощам підмога.

— Буде вона,— сказала Ганна,— веселити матінку свого любого Яця ласкавими словами, буде слухняна й шановлива.

— Яка ти добра, яка ти гарна!.. Моя ясочко! — сказал с чувством Молявка.

Кус с женою и дочерью проводили старуху и сына ее за ворота.

Месяц обливал серебристо-зеленым светом крыши черниговских домов, вершины деревьев в садах и рощах, лучи его играли по ярко вызолоченным крестам недавно обновленных церквей.

III

В субботу, на другой день после того, когда происходило описанное выше, съезжались в Чернигов из ближних сотен сотники со своими выбранными в поход казаками: белоусовский — Товстолис, выбельский — Лобко, любецкий — Посуденко, седневский — Петличный, киселевский — Бутович, слобинский — Тризна, сосницкий — Литовчик; другие, которых сотни лежали далее, выезжали прямо, чтобы на дороге присоединиться к той части полка, которая выступит из Чернигова. У кого из казаков в Чернигове были родные или приятели, тот приставал в их дворы, другие располагались за́ городом в поле при возах и лошадях. Некоторые казаки не везли с собою воза, а вели навьюченную своими пожитками лошадь, привязавши к той, на которой казак сидел сам. Каждый сотник, приезжая в Чернигов, являлся к полковнику и не с пустыми руками: один нес ему «на ралець» зверину или птицу, застреленную у себя, другой — рыбу, пойманную в реке или озере своей сотни, кто приводил вола, кто лошадь, кто овцу. Борковский приказывал служителям принять принесенное, объявлял каждому сотнику, что надобно будет идти в поход в воскресенье после литургии, и приглашал всех сходиться к нему на хлеб, на соль перед выступлением.

В воскресенье зазвонили к обедне. Прибывшие казаки пошли по церквам, но не все; иные оставались беречь возы и лошадей своих и товарищеских. Зазвонили и в церкви Всемилостивого Спаса. Это древнейший из русских храмов. Всегда мог и до сих пор может гордиться Чернигов перед другими русскими городами этим почтенным памятником седой старины. Построенный князем Мстиславом Володимировичем еще ранее киевской Софии, после разорения Чернигова, случившегося во время Батыя, этот храм оставался в развалинах до самого полковника Василия Кашперовича Борковского, который недавно оправил его на собственный счет, а Лазарь Баранович только в текущем году освятил новопоставленный в нем престол и назначил к возобновленному храму протоиерея и причт церковный. Кафедральным соборным храмом была тогда церковь Бориса и Глеба; впрочем, архиепископ Лазарь до того времени хотя и считался черниговским архиепископом, но проживал постоянно в Новгороде-Сиверском; он только недавно полюбил Чернигов и стал в нем жить, именно после того, как оправили старую Спасскую церковь.

Спасская церковь, уже в конце XVIII века несколько переделанная и вновь расписанная, в описываемое нами время носила в себе еще живучие признаки прежней старины. Тогда еще существовали на трех внутренних стенах хоры, куда вела лестница не изнутри храма, а с улицы через башню, пристроенную к левой стороне храма: теперь от этих хоров осталась только одна сторона. Вход в трапезу с западной стороны был широкий, и направо от него был пристроен к церковным стенам притвор, ныне разобранный. Внутри трапезы по стенам и по столбам виднелась еще стенная иконопись, до того старая, что с трудом уже разобрать можно было, что за фигуры там изображались; это казалось безобразным, и требовалась замена старого новым, но средств на такую замену недоставало, и, благодаря такому недостатку, стены церкви оставались в более древнем виде, чем остаются они в наше время.

Звон благовестного колокола раздавался с вершины башни, пристроенной с левой стороны храма. Валила толпа благочестивого народа в этот древний храм чрез главный вход. Вошла туда и брачившаяся чета: казак Яцько Фесенко Молявка-Многопеняжный и невеста его, казачка Ганна

Кусивна. Толпа казаков и мещан, входившая в церковь, расступалась перед ними и с благоговением пропустила их. Голова невесты красовалась венком из цветов и обилием разноцветных лент, вплетенных в длинные шелковистые косы, спадавшие по спине; на Ганне надета была вышитая золотом сукня, из-под которой внизу виднелись две стороны плахты, вытканной в четвероугольники, черные попеременно с красными; на груди невесты сверкали позолоченные кресты и коралловые монисты; ноги обуты были в красные полусапожки с гремящими подковками. Рядом с нею с правой стороны шел жених, статный казак с подбритою головою и черными усами, одетый в синий жупан, подпоясанный цветным поясом; к поясу привешена была сабля в кожаных ножнах, разукрашенных серебряными бляхами; обут он был в высокие черные сапоги на подборах с подковками. Вошедши в церковь, жених стал у правого из столбов, поддерживающих свод трапезы, невеста стала у левого столба. Взоры всех жадно впивались в невесту и жениха, и слышались замечания: «Ах, какая пара! ах, что за красавица!»

Вслед за ними скоро вошли в церковь наши знакомые господа, полковник Борковский и воевода Чоглоков. Воевода раза два бросил взгляд на невесту и потом уже, казалось, не хотел замечать ее; во все время литургии не поворачивал даже и головы в ту сторону, где стояла Ганна Кусивна, хотя полковник не раз, поглядывая на невесту, нагибался к нему и шептал ему что-то. Перед начатием литургии дьякон с амвона провозгласил, что, с разрешения преосвященнейшего Лазаря, архиепископа черниговского и новгород-сиверского и блюстителя Киевского митрополичьего престола, по случаю отправления черниговского полка в поход, будет совершено венчание черниговской сотни казака Якова Молявки-Многопеняжного с девицею Анною, дочерью казака той же сотни Филиппа Куса, с тем, однако, что супружеское сожитие их должно наступить не ранее праздника св. апостолов Петра и Павла, и самое венчание хотя и будет совершено ранее, но будет значиться якобы свершенным в день св[ятых] апостолов Петра и Павла. По окончании литургии поставили среди церкви аналой, протоиерей подозвал жениха и невесту, связал им руки рушником и начал последование бракосочетания. Над головою жениха держал венец его зять, сотник Булавка, над головою невесты — сестра жениха, жена Булавки. По окончании обряда протоиерей велел новобрачным поцеловаться. Тут скоро подошел к невесте родитель ее Кус, взял дочь за руку и, не обращая внимания на жениха, ни на кого из окружавших, потащил ее из церкви: он буквально исполнял приказание преосвященного. Жених остался один. Подошел к нему полковник и промолвил:

— Будь здоров, козаче, з молодою жоною, дай Бог тобі щастя і во всім благопоспішення, добра наживать; дітей породить і згодовать і до розуму довести. Тепер до мене йди хліба-солі покуштовать да од мене разом зо всіма в поход, а я Булавці розказав твій віз і все, що тобі на дорогу треба, випроводить, поки ти у мене гостюватимеш.

Нельзя было ничем отделаться Молявке. Он рядовой казак, а полковник приглашал его к себе за стол наравне с начальными особами: слишком великая честь! Не сказавши ни слова, Молявка пошел за полковником.

— Що, пане воєвода! — говорил полковник воеводе, выходя из церкви.— Яку кралю добув собі сей козарлюга? А!

— Мне не пристало на женскую красоту прельщаться,— отвечал понуро воевода,— не по летам то мне и не по званию. Притом она чужая жена, а Господь сказал: «Аже кто воззрит на жену во еже вожделети ю, уже любодействова с нею в сердце своем!»

Народ расходился из церкви. Полковник с воеводою сел в колясу, и оба поехали в дом полковника. На крыльце дома стояли полковые старшины, обозный, судья и писарь. Они были в другой церкви и ранее прибыли к полковнику. Все вошли в дом, за полковником явились сотники. Кушанье было уже готово, все сели за стол. Недолго тянулась эта дорожная трапеза; ели немного, но пить надобно было немало и притом заздравные чаши. Полковник провозгласил чашу здравия великого государя, потом чашу за гетмана и все войско Запорожское, а наконец — за успех предпринимаемого похода. Тогда полковник объявил, что время двинуться в путь. Полковница позвала детей. Борковский благословил их, дал обычное наставление во всем слушаться матери, потом, обратясь к обозному, сказал, что вместо себя ему поручает управление оставшимися казаками, приказывал жить в согласии и дружбе с воеводою и совет с ним держать во всех делах, касающихся города.

— Счастливо оставайтесь и нас дожидайтесь! — было последнее слово полковника, обращенное ко всем остававшимся.

У крыльца стоял оседланный конь полковника. Борковский вскочил на него с такою быстротою, как будто ему

было двадцать лет от роду. Приподнявши шапку, он последний раз обратился к стоявшей на крыльце семье и произнес: «Прощавайте! З Богом!» — и хлестнул он слегка коня своего. За ним сели на своих коней, заранее подведенных в полковничий двор, старшины и сотники и двинулись. Загремели литавры. Заколоколили по всем церквям. По этому знаку сотни двинулись со своих становищ и сотники спешили соединиться со своими подначальными. Булавка поехал впереди своей сотни, а ближе всех к нему следовал его шурин, Молявка.

IV

День, когда совершилось венчание Молявки-Многопеняжного, был ясный и жаркий. В хате Куса собрались две старухи — Кусиха и Молявчиха — ожидать своих детей из церкви. С Молявчихою пришла дочь ее, жена сотника Булавки, женщина лет двадцати пяти, недурная, но худощавая. Все три были одеты в праздничные сукни, вышитые шелками и золотом, в парчевых очипках, покрытых намитками, такими тонкими, что сквозь них просвечивало золотое шитье. Скрипнули двери, и, вместо ожидаемой новобрачной четы, вошел Кус с одною только дочерью.

— Слава Богу! — воскликнул Кус.— Покінчали! От тобі, свахо, нова дочка, нова робітниця в твоїм домі. Люби да жалій, за діло погримай, да легенько, по-материнськи.

— Моя голубочко, моя ластівочко! — произносила Молявчиха, обнимая и обцеловывая Ганну.— А Яцька мого чи вже ж таки не пустили попрощаться з матір'ю та з жінкою?

— Полковник покликав до себе обідать,— сказал Кус.— Не можна було йому відмовитись, бо єсть регіментар. Мабуть, нарочно покликав, щоб не дати йому мизгатись коло молодої подружжя, щоб так сталось, як владика велів,— не зіходитись йому з жінкою, поки піст не пройде. Авжеж, свахо, прийдеться нам попоститься і на діток наших не утішаться, аж поки не вернеться військо з походу!

— Еге! коли б то вернувся! — сказала Молявчиха со вздохом.

— Всі в божій волі! — сказала Булавчиха.— Таке наше життя, що козаки, наші чоловіки, частіш без нас, як з нами. І мій, бач, поїхав, мýшу одиницею чекати повороту його. На Бога треба вповати, милостив буде, коли його воля!

— Мудре слово сказано! — произнес Кус.— І моя Ганна, дівка розумна, те ж скаже. Так, Ганно?

— Так, тату! — сказала Ганна.— Що Бог дасть, нехай так і буде! — Но в это время у ней невольно показались слезы.

— А буде такé,— сказал Кус,— що як вернеться зять, тоді накличемо гостей да справимо таке бучне весілля, щоб років зó три об ним говорили. А тепер поки в своїй сем'ї, без гостей, даваймо обідать. Дочко! Зніми з себе празникове одіння да порайся з наймичкою, щоб обід налáгодили. Сходи сама до пивниці да наточи тернівки і вишнівки, що у чималих барилах стоять у куточку: уже десять літ, як наливали, берегли для слушного часу. А тепер такий час прийшов, що кращого не було. Уточи два джбани да сама неси, а наймичці не давай і наймита до пивниці не пущай, бо вони наточать да не те що самі нишком питимуть, а ще людей частоватимуть. А воно у нас таке... клейнот!

Ганна вошла в комнату, расположенную рядом с передней избой той же хаты, и вышла оттуда в другом одеянии, какое носила повсякдень. На ней была черная с цветами исподница и зеленая суконная сукня. Она, гремя ключами, вышла из хаты в сени.

Кусова хата двумя окнами выходила во двор, а одним окном на улицу. Оставшись одни, старики заметили, что из улицы кто-то заглянул к ним в окно.

— Хто се там? — с беспокойством сказал Кус и вышел из хаты.— Чого там вам? — слышался его голос.— Чого ви спинаєтесь на призьбу да зазираєте в чужу хату! Ідіть, ідіть собі, відкіля прийшли!

Он воротился в хату.

— Хто там? — спрашивали его Кусиха и Молявчиха.

— Якіїсь москалі,— отвечал Кус,— із воєводських ратних, запевне: двоє їх коло вікон стояли. Я протурив їх. Се, бачу, дізнались, що з сього двора сьогодні вінчались у церкві, так думали, тут весілля справлятимуть. Прийшли баньки витріщать. На чужий коровай у їх очі пориваються. Хотілось би їм, щоб їх позвали поїсти да попити. Нав'язливі люди, сі москалі. Цур їм, од їх пóли вріж да втікай наш братчик.

Вошла Ганна, а за нею наймичка. Ганна держала два джбана с наливкою, наймичка — посуду. Накрыли скатертью стол, поставили посуду, положили ножи и ложки. Кусиха из шкапа достала серебряные чарки. Когда на столе все было установлено, наймичка стала приносить

ествы: сначала борщ с рыбой, потом жареную рыбу, пирог с рыбой, ягоды и мед в сотах. Поставивши кушанья на стол, сама наймичка взяла ложку и села за стол с хозяевами. Затем вошел наймит, мужчина лет сорока, годовой работник, обедавший всегда с хозяевами. По приглашению Куса и наймит и наймичка выпили водки и пожелали счастия, здоровья и благополучия новоповенчанной паре. Обед шел как-то торжественно и как бы священнодейственно; все были молчаливы, прониклись важностью совершившегося события. Вдруг раздался колокольный звон.

— Козаки в поход йдуть! — сказал Кус и встал.— І наш козак-молодець виходить. Дай, Боже, всім їм щасливу дорогу і в своїй і в царській справі доброго й помисного повоженння!

Он перекрестился.

— І щасливо додому повернутись! — произнесла Булавчиха.

У Ганны снова на глаза навернулись слезы, и она прикладывала к глазам рукав своей вышитой сорочки, хотя и желала пересилить себя, казаться спокойною.

— Скільки у сій чарці крапель, стільки літ жити б твоєму синові, а нашому зятеві в добрім здоров'ї, ніякого лиха не зазнаючи! — сказала Кусиха, обращаясь с чаркою к Молявчихе.

— А нам бы все служити таким добрим да милостивим господарям! — произнес наймит.

После обеда все встали развязнее и веселее. Кусиха так расходилась, что пощелкивала пальцами, да подскакивала, да несколько раз повторяла, что ей ради такого радостного случая хочется танцевать. Кус тотчас начал было ей вторить. Увлеклась даже понурая Варка Молявчиха и уже не стала, как делала прежде, упираться, когда Кус схватил ее за руку и приглашал танцевать с ним в паре. Кусиха, хлопая в ладоши и подпрыгивая, пела:

Кукуріку, півнику, на току,
Чекай мене, дівочко, до року!
Хіба ж би я розуму не мала,
Щоб я тебе цілий рік чекала.
Хіба ж би я з розуму ізійшла,
Щоб я собі кращого не знайшла!

Остановившись, она закричала:

— Да що се ми танцюєм без музики! — Потом, обратившись к наймиту, проговорила: — Явтуху! Серденько! Іди

поклич Василя-скрипника да, коли можна, ще кого-небудь, хоч того дударя, як, пак, його...

— Юрка? — сказал наймит и хотел уходить. Но Кус остановил рукою его, дернувши за полу свитки, и говорил, обратившись к жене:

— Ні, ні, жінко Параско! Сього не можна.

— Чому не можна? — порывисто спрашивала Кусиха.

— А тому не можна,— сказал Кус,— що владика не велів. Нам треба його слухати. Не можна, не можна, не дозволю!

— Не дозволиш, так нехай по-твоєму буде,— сказала Кусиха,— ти на те господар, пан в своїм домі.

Успокоившись от внезапного порыва к веселости, вся семья уселась снова на лавках, немного поболтали, потом Молявчиха с дочерью встали, помолились к образам, поблагодарили хозяев за хлеб-соль и собрались домой. Молявчиха, кланяясь в пояс, просила Куса и Кусиху с дочкою к ней на обед на другой день. Кусы обещали. После ухода Молявчихи и Булавчихи Кус, чувствуя, что голова его от винных паров отяжелела, отправился в садик, подостлал под голову свою свиту, залег спать в курене, сложенном из ветвей под двумя яблонями. Пчелы, вылетая из расставленных по садику ульев, наводили на него сладкую дремоту своим жужжанием. Кусиха забралась отдыхать в чулане, откуда окно выходило только в сени: там летом было прохладно и безопасно от надоедливых мух. Ганна с наймичкою перемыли посуду после обеда, уставили ее на место, подмели хату. Окончивши работу, Ганна ушла в сад и, чтоб не мешать отцу, забилась в противоположный угол садика, села под развесистою липою и там предалась раздумью.

Недалеко от ней был тын, огораживавший садик с улицы, и чрез прогалину в этом тыне смотрели в сад четыре злые глаза, но Ганна их не замечала. Долго сидела таким образом Ганна. Пробегало в ее памяти все ее детство с той минуты, как она стала сознавать свое бытие на свете, ласки и приголубления родителей и близких, игры с девочками и мальчиками одного с нею возраста; приходили на память песни, которые она слышала и мимо своей воли перенимала; вспомнились первые, неясные ощущения потребности любви, выражавшиеся тем, что ей все вокруг становилось как-то грустным; вспомнила первую встречу с Молявкою, первый разговор с молодцем, о котором она и своим родителям не показала ни малейшего намека, первое его объяс-

нение и ее взаимное признание, которое тогда бросило ее в краску, его сватовство, согласие родителей, беспредельную радость и довольство, охватившие ее душу, приготовление семьи к свадьбе... Все это вспоминать было так сладко и весело! Затем — ее венчание, тотчас за ним — разлука! Пришли ей на память ровестницы, уже вышедшие замуж,— на одной свадьбе она сама была в дружках, на другой в светилках; ее подруги, повенчавшись, были покрыты и стали жить с мужьями. А она? Обвенчалась — и Бог знает, покуда будет ходить девкою: не ее воля и не ее жениха! С нею не так, как с другими! Вдруг ей становилось страшно за свою будущность. Что-то темное, тесное, что-то не то колючее, не то жгучее ей представлялось. Ух! И она, пересиливая себя, вскочила и перекрестилась.

Солнце на западе стало склоняться к горе, и тени от строений и деревьев удлинялись; в разных местах Чернигова начал показываться над крышами хат дымок, дававший знать, что уже люди начинают топить печи для вечери. Ганна вспомнила, что надобно полить цветы в саду, повянувшие от дневного зноя, вышла из сада, вошла в сени, где увидала мать; она только что вышла из чулана и умывала себе заспанное лицо. Ганна отворила дверь в противоположную сторону через сени в рабочую избу, или поварню, взяла ведра, сказала, что пойдет по воду к Стрижню, и вышла со двора.

Ряд дворов, между которыми был двор Куса, выходил прямо к высокому берегу реки Стрижня. Против Кусова двора сход к реке был крут, но влево, двора через три, шел из города к реке подземный ход, прорытый в горе. Этот тайник устроен был для того, чтобы, на случай неприятельского нашествия, в городе не было недостатка в воде. Главный вход его находился далеко в средине города, но и близко от Кусова двора входила в него боковая лестница ступеней на десять вниз: ею можно было очутиться в тайнике. Этим путем обыкновенно ходили за водою дивчата, жившие неподалеку в конце города: можно было таким образом подойти прямо к воде, не таскаясь с ведрами на гору. Туда направилась Ганна с своими ведрами. Но, идя со двора к тайнику, встретила она двух москалей и остановилась; она заметила, что это были те головы, что заглядывали в окно, когда она возвратилась из церкви; их тогда удалил от окна ее родитель. Ганну взяло раздумье. «Зачем они тут слоняются?» — думала она. Но москали, бросивши на нее взгляды, по-видимому, равнодушные, пошли в противоположную сторону от тайника, мимо Кусова двора, нимало не оглядываясь на нее. «Нет,— подумала Ганна,— я испугалась напрасно. Это люди совестливые; они меня не зацепляют!»

Она смело пошла к спуску в тайник, сошла по лестнице и очутилась в темноте: только слабый свет проникал туда с той стороны, куда ей нужно было идти за водою. Вдруг послышались сзади торопливые шаги. Не успела Ганна решить, бежать ли ей вперед или назад, четыре сильные руки схватили Ганну сзади, коромысло с ведрами упало, она крикнула, но ее крик потерялся в тайнике. Ей завязали рот и глаза, она не в силах была более ни крикнуть, ни распознать, где она очутится. Ее потащили, или, лучше сказать, понесли. Сама она с испугу не могла уже двигаться. Похитители унесли добычу свою к главному выходу из тайника, находящемуся, как сказано выше, в средине города.

V

— Где Ганна? — спрашивал Кус у своей жены уже в сумерках.— Где вона?

Кусиха не видала дочери и не знала, где она. Кусиха пошла в черную хату и спрашивала наймичку. Та сказала, что Ганна пошла за водою.

— Давно? — спросила Кусиха.

— Давненько уже,— сказала наймичка.

— Пора б уже їй вернуться, бо вже темніє надворі.

Кусиха стала недовольна дочерью. Никогда с нею подобного прежде не бывало. Как можно так запаздывать! Верно, думала, встретилась с подругами-девчатами и заболталась с ними, а может быть, какая из подруг к себе зазвала. Так подумала Кусиха, так сообщила и мужу. Но время шло, Ганна не возвращалась. Наступила уже совершенная темнота, ночь была темная, месяц был уже на ущербе, всходил поздно и тогда еще не показывался на небе. Родители тревожились не на шутку. Вышедши за ворота, отец и мать пошли в разные стороны, и оба кричали: «Ганно, Ганно!» Но их крик только повторялся какими-то насмешниками, собравшимися на игрище. Шалуны стали передразнивать кричавших: «Ганно, Ганно!», подделываясь под слышанные голоса, и себе кричали: «Ганно, Ганно!», хотя их не занимало, какую там это Ганну ищут.

Воротились родители домой. Кус бил себя руками о полы

и машинально твердил: «Нема, нема!» Кусиха терзалась и вопила: «Доненько моя! Любонько моя! Де ти ділась? Де ти єси? Чи ти жива ще, чи, може, тебе уже на світі немає?»

Наймит и наймичка, из участия к заботе своих хозяев, взяли фонари и пошли к тайнику. Через несколько минут наймичка прибежала оттуда в испуге и, вбежавши в хату, завопила:

— Лишенько! Відра лежать в пролазі!

Вслед за нею наймит принес ведра и коромысло. Увидавши эти вещи, Кусиха испустила пронзительный крик, металась из стороны в сторону, не знала, бедная, куда бежать ей, что делать, схватилась за голову, сбила с себя очипок, начала рвать на себе волосы и кричала: «Доненько, доненько! пропала ти, пропала!»

— Утопла! — сказал Кус, но потом приложил палец ко лбу, что с ним случалось всегда, когда он о чем-нибудь трудном размышлял.— Ні, не утопла! — продолжал он.— Якби утопла, то відра й коромисло не лежали б далеко від води. Не утопла вона. Лихі люди її зайняли в тайнику. Може, убили! А за що? Кому вона що недобре удіяла?! Сказать би, звір її розірвав. Так як же звір туди забереться? Хіба які лиходії вхопили її та згвалтовали, залестившись на те, що дуже хороша. Учинють над нею, що захочуть, а потім у воду вкинуть!

От таких догадок приходила Кусиха все больше и больше в ярость. Ей казалось, что именно так и есть, как говорит муж: злодеи сгубили ее дочь. И принялась она сыпать ругательства и проклятия на злодеев.

Наймичка, по приказанию хозяйки, известила Молявчиху о внезапной пропаже нареченной невестки. Молявчиха тотчас явилась к Кусихе. Обе старухи завели вопль, а Кус то корил баб за их крики и вопли, то вторил им сам и раздражал их скорбь своими жалобами и дурными догадками. Так провела ночь злополучная семья. Иногда, на мгновение, надежда сменяла отчаяние: услышат за двором шум, скрипнут где-нибудь ворота, залает собака... подступит к сердцу радость, слушают, не она ли... дожидаются. Ее нет! Мимолетная надежда опять сменяется отчаянием, а оно, после короткого и напрасного перерыва, делается еще более жгучим и гнетучим.

Стало наконец рассветать.

— Будем кричати да голосити,— з сього нічого не буде! — сказал Кус.— Піду до городового атамана, заявлю.

Нехай шукають Ганни; коли її нема на світі, то нехай хоч слід її знайдуть.

И, оставивши баб продолжать свои вопли, Кус пришел к городовому атаману.

Атаман, по прозвищу Беззубый, с удивлением узнал о внезапном исчезновении той новобрачной, красотою которой любовался вчера в церкви св[ятого] Спаса со всем бывшим там народом. Первое, что предпринял атаман, был расспрос Кусу: не было ли у него с кем вражды и ссоры. Кус уверял, что не было. Тогда атаман, немного подумавши, решил послать десятских обходить все казацкие дворы и в городе и в пригородных селах и везде спрашивать, не видали ли где Ганны Кусивны и не сообщит ли кто догадки о том, кто бы мог ее схватить.

— Чи не вхопили її москалі? — заметил Кус.— Вчора, як повернулись з вінчання, примітив я, що коло мого двора все ходили якісь москалі й у вікна зазирали.

— Сходи до воєводи! — сказал городовой атаман.— Попрохай, щоб велів учинить розиск проміж своїми да й войтові написав, щоби по міщанських дворах те ж учинено було, а то ми тільки над козацькими дворами регементуємо.

Кус отправился к воеводе.

— Что тебе, добрый человек? — сказал ласково Тимофей Васильевич, когда вошел в его дом Кус и низко поклонился.

Кус рассказал ему, что дочь его пропала без вести.

— Эх, добрый человек, добрый человек,— сказал Тимофей Васильевич.— Видно, что отец нежный! Всего один день, а он уж горячку запорол. Подожди, найдется! Да вот что, добрый ты человек, скажи по правде: она, может быть, у тебя гулящая и своевольная. Вестимо, коли одна дочь у отца, у матери, так избалована.

— Ні, пане воєводо,— сказал Кус,— вона у нас не те що не гуляща і не своєвільна, а така, що її ніколи не треба ні спинять, ні учить, вона і на улицю ніколи не ходила, де бува ігрище. Така слухняна, соромлива, гречна... Спитайте усіх сусідів, усі в один голос нічого не вимовлять про неї, тільки хороше.

— Так, может быть, встретилась с какою-нибудь подругою, а та ее зазвала к себе в гости, пошли у них промеж себя тары да бары, ночь захватила, она побоялась идти домой и осталась ночевать в гостях,— говорил воевода.

— Я і сам так спершу думав,— сказал Кус,— тільки

вже б їй пора була вернуться давно. Ніколи такого случаю не було з нею, пане воєводо.

— Так что же, что не бывало! Теперь в первый раз такой случай пришел! Я рад тебе, добрый человек, во всем помочь, написать велю войту, чтоб учинил розыск о ней по всем мещанским дворам, а сам я пошлю своих стрельцов по тем дворам, где есть становища наших царских ратных людей. Только я уверен, добрый человек, что не успеют произвести розыск по мещанским дворам, как твоя дочь к тебе явится. А я твою дочь вчера в церкви видал мельком, как она венчалась. Я с паном полковником там был. Славный молодец твой зять. И она красавица. Парочка нарядная. Полковник мне сказал, что жених тотчас после венца пойдет с казаками в поход. Мне так стало жалко, что я просил полковника, нельзя ли ради новоженного дела оставить его. Что же, мое дело сторона! Нам, воеводам, от великого государя не велено вступаться в казацкие дела. Будь покоен, добрый человек! Дочь твоя найдется, сама к тебе воротится, а не придет сама, так мы ее найдем, и я сам, самолично, приведу ее к тебе. На том даю тебе мое крепкое слово.

Кус поблагодарил воеводу за доброе слово и ушел.

Прошел день, прошел другой, третий,— Ганна не возвращалась. Мать до того заметалась, что стала как безумная, и в речах ее мало было склада. От тоски напало на нее такое истомление, что пройдет несколько саженей и садится либо совсем упадет на землю. Молявчиха первые дни очень сердечно принимала участие в беде, постигшей мать ее невестки, но на четвертый между двумя бабами начались пререкания. Кусиха в своих сетованиях о дочери высказалась, между прочим, что «на лиху годину» повенчалась она с Молявкою, а Молявчиха оскорбилась такою выходкою и, с своей стороны, ядовито заметила, что Бог знает, где она делась, может быть, у ней на уме заранее что-нибудь затеяно было, а может быть, ее родители знают, где их дочь теперь, знают, да не скажут!

— Не такого зятя нам було б добути, а дру́гого кого-небудь, то, може б, дочка наша ціла була! — сказала Кусиха.

— Не такого подружжя треба б моєму синові, а мені невістки! — произнесла Молявчиха.

Мать Молявки-Многопеняжного ставила Кусихе на вид, что Молявка родом значительнее каких-нибудь Кусов и Кусы должны бы себе за честь считать, что роднятся с Молявками. Кусиха упрекала, что Молявки хотят загарбать Кусово достояние и для этого входят с ним в свойство: Кусы и Молявки хоть и одинаково казаки, но Кусы старинные от прадедов и прапрадедов черниговские казаки, а Молявки так себе — какие-то прибыши.

С таких едких замечаний начались взаимные ругательства, а наконец и проклятия.

— А щоб твоя дочка не знайшлася, а так би скрізь землю пішла! Негодниця вона! — сказала Молявчиха.

— А щоб твій син з войни не вернувся! — крикнула Кусиха.

Спор дошел до того, что Молявчиха плюнула на Кусиху, а Кусиха плюнула на Молявчиху. Молявчиха сказала, что с этих пор нога ее не будет в Кусихиной хате, а Кусиха сказала, что было бы лучше всего, когда бы и прежде ни Молявчиха, ни сын ее не переступали их порога.

Добродушный Кус хотел было умиротворить разъярившихся баб, но потом рукою махнул и произнес:

— Баби яко баби: волос довгий, а розум короткий.

С той поры Молявчиха не посещала Кусихи, а Кусиха не приходила к Молявчихе. Но приходили к Кусихе разные соседки; им рассказывала Кусиха о своей размолвке с Молявчихою, а соседки, слушая это, с своей стороны подстрекали их к ссоре: нашлись такие, что начали переносить Кусихе, что говорит о ней Молявчиха, а Молявчихе — что говорит о ней Кусиха.

Окончился Петров пост. Ганна не возвращалась. Несколько раз еще ходил Кус и к городовому атаману, и к войту, и к воеводе. Никто не порадовал его открытием следов пропавшей дочери. Атаман даже заметил, что Кус в своем нетерпении начинает надоедать своими жалобами на свою долю, что у него, атамана, без его дела много других дел. Войт сказал, что употребил уже все меры, какие у него были в распоряжении, и не его вина, что ничего не открыл. При этом войт заметил Кусу: «Было б не пущать дочки, то б и не пропала!» Любезнее всех принимал Куса воевода, всегда жалел о нем, делая вместе с ним разные предположения насчет пропажи его дочери, и утешал всеми возможными способами, даже говорил, что если бы случилось так, что его дочери уже не было на этом свете, то все-таки доброму человеку остается то утешение, что он увидится с нею на том свете. При этом Тимофей Васильевич благочестиво вздохнул.

Между тем по поводу исчезновения Кусивны стали расходиться выдумки, самые нелепые, безобразные, отчасти

легендарного свойства, но оскорбительные для семейства Кусов. Все это вымышлялось бабами из тех дворов, которые были небогаты: там был повод завидовать состоянию Кусов. Таким образом болтали, что Кус нажил свое состояние (которое завистникам представлялось в преувеличенном размере) тем, что знался с бесами: еще будучи парубком, при помощи бесов нашел он заклятый клад; никто не мог добыть этого клада, и за то, чтоб его вырыть, обещал Кус бесу дитя свое, как у него будут дети. После того Кус женился, пошли у него дети, но все умирали в малом возрасте, одна только дочь доросла до совершенных лет, и в тот самый день, как она вышла замуж и повенчалась, бесы потребовали исполнения обещания, данного отцом в то время, как они ему помогли вырыть клад. Ганну Кусивну схватили не люди, а бесы, и уж теперь найти ее никак нельзя, потому что она — в пекле, и дорого, рассуждали, обошелся Кусу добытый клад; теперь бы он рад был в десять раз дать против того, сколько тогда получил, да уж нельзя! Другие говорили, что Кусиха — ведьма, умеет перевертываться то свиньею, то клубком, то копною, то жабою, то летучею мышью и научила такой же ведьмовской науке свою дочь, но этой дочери не следовало принимать святого закона, а она, как повенчалась, и святой закон приняла, вот за то, рассердившись, бесы ее ухватили. Были еще и такие толки: полюбила Кусивна Молявку и причаровала его к себе с бесовскою помощью. Молявка без ней жить на свете не мог, только ей не следовало вступать с ним в закон, а как она повенчалась — бесы ее за то ухватили: живи с ним по-нашему, а не по-божьему! Сочинили еще и вот что: продал Кус свою дочку монаху, а для вида выдал ее замуж за Молявку затем, чтоб, как Молявка уйдет на войну, он дочку свою передаст монаху в пользование, а слух пустит в народе, будто его дочку утащил кто-то неведомо куда! И еще было немало подобных вымыслов, один другого безобразнее. Кумушки обо всех ходивших толках сообщали Кусихе, уверяли ее, что это все выдумала Молявчиха, и тем раздражили Кусиху. Она так увлеклась злобою против Молявчихи, что даже печаль о погибшей без вести дочери уступала в ее сердце место этой злобе. Молявчиха, со своей стороны, поджигаемая такими же кумушками, выражала благодарение небу, что сын ее нежданным путем избавился от недостойной связи, и молила Бога о благополучном его возвращении с войны для того, чтобы он поскорее мог сыскать себе другую подругу жизни.

Прошел июль. Прошли Спасовки. Вот уж и люди сельские отработались в поле. Уже осенние утренние холода стали предвещать наступление осенней слякоти, а за нею стужи и снегов. Ганны все не было, и никто не мог сказать, где она: и след ее простыл.

VI

Под городом Чигирином, на широкой равнине, по которой змеится извилистая река Тясмин, раскинулся стан казацкий, разбросались купы полотняных шатров по полкам, высланным гетманом. Между этими шатрами пестреют палатки начальных лиц, их пологи из цветной ткани, а на верхах их пуки павлиньих перьев. Далее от казацкого стана над рекою Янчаркою расположен стан царских великорусских войск под начальством Григория Ивановича Косагова.

Это отряды, которые выслали к Чигирину гетман Самойлович и боярин Ромодановский, удержавши остальные войска свои в стане под Вороновкою.

Начальником или наказным гетманом над высланными казаками назначен генеральный бунчужный Леонтий Полуботок, тогда временно занимавший уряд переяславского полковника. Собрались у него в шатре полковники: черниговский, гадяцкий и миргородский. Наказной гетман объявил, что Григорий Иванович Косагов посылает к Дорошенку увещательную грамоту; и казаки должны послать такую ж от своего гетмана.

Полуботок громко прочитал составленную генеральным писарем грамоту и, передавая ее Борковскому, сказал:

— Василій Кашперович! Вибери кого-небудь послати з сим листом. Значного урядового не посилай. Годі чествовати сього пройдисвіта! Пошли до його якого-небудь рядовикá, такого тільки, щоб потрапив придивиться, що там дієть-ся у Чигирині.

— У мене якраз такий знайдеться,— отвечал Борковский и ушел с грамотою в свою ставку, отстоявшую от Полуботковой сажен на пятьдесят.

Оставшиеся в шатре у Полуботка стали пить и закусывать, а Борковский, пришедши в свой шатер, велел позвать Булавку и сказал:

— Пане сотнику! Посилай швагра свого Молявку з оцим листом до Дорошенка і скажи, щоб він, будучи у Чигирині, що можна там, виглядів і вислухав. Він не дурень, зрозуміє.

Булавка, передавая шурину эту грамоту, говорил:

— Оце тобі, мій голубе, значне полєценє. Тепер час тобі і случа́й показати себе усім людям і панству. Клич з собою суремщика.

Молявка вместе с трубачом отправился к окраине нижнего города Чигирина, отстоявшего на добрую версту от казацкого стана. Собственно, это и был город в смысле людского поселения, так как то, что называлось верхним городом, был только замок, или цитадель. Нижний город был обведен земляным валом, по верху которого шла толстая бревенчатая стена, а под валом, на наружной стороне, прокопан был ров в три сажени в ширину и глубину. Молявка обвязал себе голову белым платком, трубач изо всей силы затрубил. Караульные казаки с башни, построенной над воротами, окликали подходивших к городу, а Молявка, вместо ответа, наткнул на саблю свою шапку с повязанным на ней платком и махал ею. Караульные спустили поднятый вверх цепями у ворот мост через ров и отворили калитку, проделанную в тяжелых воротах. Молявка вместе с трубачом вошел в город. Его сразу окружила толпа. Спрашивали — зачем, к кому, с чем. Молявка сказал, что с «листом» к гетману.

— А хоч би він швидше сам зрікся от того нещасливого гетьманованнѣ! — послышалось в толпе.

— Чого-то вже йому тепер упираться? Сам же, збираючи громаду, каже, що вірним царським слугівцем хоче зоставатись, так чого ж коли цар велить їхать і здавать своє гетьманство, так уже б і робив, як цар йому каже. Так ні! Каже: підождемо. Турок нехай, каже, москаля ще полякає, так москаль здатніш буде на умову. А щоб його! Чого там ще дожидати? Вже уся Україна до вас на слободи утекла, а в Чигирині тільки що тижнів на два стане чим жить. Тоді всі так юрбою і сипнуть до вас. Не пухнуть же всім з голоду!

Такие речи услышал тогда Молявка от народа, едва только вошел.

— Де він? — спрашивал Молявка.— Либонь, там, на горі? Ведіть мене до його.

Он указал на гору, откуда белелись стены недавно оштукатуренного дома гетманского, стоявшего посреди замка.

— Ні, там його нема,— был ответ.— Он чуєш: музи́ка гра. Се він розважує своє горе, чуючи, що приходить кінець. Накликав музик: скрипки, кобзи, бандури, сопілки, сурми,

бубни, ходить по го́роду із шинка в шинок, удаючи, ніби він уже не гетьман, а про́стий козарлюга-запорожець. І старшини з ним, і тесть його Яненко й інші. Ідуть да співають і скачуть.

— Ere! — заметил кто-то.— Як чує, що над шиєю гостре залізо висить, так який став до всіх доступний, простий да приязний, а перше пишався!

— Тепер що хоч йому кажи, так не сердиться, хоч і не послухає ради, а не сердитиметься за неї; перше, скажи лишень йому таке, що проти шерсті,— так опісля сам стережися: присікається, неначе за що інше, да у дибу заб'є, а то і голову стяти розкаже,— заметил чигиринский сотник Блоха, стоявший здесь же, между прочими.

До ушей Молявки долетали звуки музыки, и все становились ближе и ближе. Прошедши несколько десятков шагов далее, до поворота в другую улицу, он наткнулся на шествие, выступавшее из этой поперечной улицы. Бежала пестрая толпа народа обоего пола и разных возрастов, начиная от седобородых дедов и сгорбленных баб и кончая детишками в одних рубашонках; в бархатном, малинового цвета кунтуше, в красных сапогах и в заломленной набекрень шапке с бриллиантовым пером, гетман Дорошенко отплясывал тропака; обок его то же делали писарь Вуехович, обозный Бережецкий, судья Уласенко, гетманский тесть Павло Яненко — все одетые в праздничные кунтуши разных цветов — кто в коричневом, кто в ярко-красном, кто в зеленом. Если бы внимательно вглядеться в их лица и движения, то можно было сразу уразуметь, что они более по принуждению, чем по добровольному влечению делали это. За плясунами шли музыканты. Вельможные гуляки, притопывая ногами, хором пели:

Паутина по дорозі повилась, повилась,
А дівчина з козаком понялась, понялась.

— Не сю! — крикнул вдруг Дорошенко.— А тую, що грали, як з замку виходили.

Музыканты остановились и потом заиграли на другой голос. Дорошенко затянул:

Нікому я не дивуюсь, як сам я собі,
Пройшли мої літа з світа, як лист по воді,
А вже мої стежки-дорожки позаростали,
А вже мої вороні коні поіз'їжджали,
А вже моє золоте сідельце поламалося,
А вже моя родинонька одцуралася.

При звуках этой песни приостановилась пляска. Молявка думал: не подойти ли и подать «лист» Дорошенку, но не решился, соображая, что, чего доброго, он рассердится и почтет за издевку над собою. Но гетман со старшинами, сделавши несколько шагов и припевая песню, пошли прямо к шинку, где на крыльце стоял шинкарь, празднично одетый: видно было, что и шинкарь приготовился к посещению его шинка высокими гостями.

— Шинкарю! Що стоїш, йолопе! — кричал что было силы Дорошенко.— Свому панові, батькові гетьманові, горілки піднось!

«О,— подумал про себя Молявка,— він не соромиться і тут же сам себе гетьманом величає. Так і на мене він не розсердиться, коли я йому як гетьманові подам належний до його лист».

Шинкарь подносил Дорошенку с поклоном большую стопу, налитую до края горилкою. В это время протеснился Молявка и, ставши лицом к лицу перед Дорошенком, поклонился, подал грамоту и произнес:

— Ясновельможний пане! Лист од його милості ясновельможного пана гетьмана Івана Самойловича.

— А! — сказал Дорошенко, быстро взглянувши на подателя.— Ти не кажи просто: «Од гетьмана лист», а кажи: «Од гетьмана обох сторон Дніпра». Бо він так себе іменує, хоча по сю сторону тоді хіба осяде, як мене тут не буде. Подай лист! Хто ти такий?

— Я,— отвечал Молявка,— Черніговського полку чернігівської сотні козак-рядовик. Послав мене полковник Василь Борковський, а він взяв сей лист од наказного гетьманського Левона Полуботка.

— Гетьман обох сторон Дніпра, мабуть, мене вже і за чоловіка не ставить. Посилає до мене такого простака! А чому значного урядового не прислав? Було б тому полковникові, що тебе до мене виправив, було б йому самому сюди приїхать да в ноги мені поклониться,— сказал Дорошенко.

— Того я не знаю, пане ясновельможний гетьмане! — сказал Молявка.— Бо я чоловік підначальний. Регіментар мій мене позвав і дав сей лист до твоєї милості. Мушу слухати!

— Правда, чоловіче,— сказал Дорошенко,— бачу, що у тебе голова не сіном напхана. Ти хоч простак, а вже коли до мене прийшов, так став мій гість. Пий з нами горілку. Шинкарю, налий йому.

Шинкарь налил стопу горилки и подал Молявке. Казак поднял ее вверх и крикнул:

— Доброго здоров'я і в усім щасливого повоження, пане ясновельможний гетьмане!

С этими словами он выхилил всю стопу.

— Як тебе звуть, козаче? — спросил Дорошенко.

— Яцько Молявка-Многопіняжний,— проговорил посланец.

— Грошей, видать, багато було у батьків, що так продражнили! Але хоч би і у тебе самого було грошей много, а все-таки не слід було посилати простого рядовика до мене. Вуєхович! — сказал он, обратившись к своему писарю.— Читай усій громаді! Я гетьманом не сам собою став і сам собою без громадської ради нічого не чиню.

Вуехович, человек невысокого роста, с красноватыми хитрыми глазами, взявши принесенный «лист», стал читать его, произнося тонким, почти женским голосом:

«Мой велце шановный, ласкавый добродию, пане а пане гетьмане чигиринський! По указу царского пресветлого величества послали-сьмо с купной порады его милости боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского, стольника Григория Ивановича Косагова с выборными царскими ратными людьми генерального бунчужного Левона Полуботка с четырьмя казацкими полками и с нашею конною надворною кампаниею ку Чигирину, понеже многократне и многообразне твоя милость ему, боярину, и мне, гетману обеих сторон Днепра, обещал еси своею особою прибыти до нас в обоз для принесения присяги его царскому пресветлому величеству, обаче тое твоеи милости обещане доселе не совершено делом».

— Стривай! — прервал чтение Дорошенко.— Як «не совершено ділом»! Свідки мені усі чигиринці і панове запорожці, що приїздили до мене того минулого року в місяці октябрі, з котрих деякі й нині тепер притомні суть, як я тоді виконав присягу царському пресвітлому величеству перед паном кошовим отаманом Іваном Сірком і перед донським отаманом Фролом Минаєнком в притомності многих товарищей війська низового січового і донського, а напотім і санжаки турецькі одослав на столицю в Москву. А попович-гетьман пише, буцім обітниця моя не совершена ділом! Батько Яненко, чи ти возив санжаки в Москву?

— Я, пане гетьмане! — отвечал Яненко.

— А гетьману-поповичу хочеться, щоб я йому поклонився? — продолжал Дорошенко.— Інше діло — вірою-прав-

дою цареві-государеві служить і добра хотіть, а інше — царським подданим кланятись. Я вірний підданий і слугóвець царському пресвітлому величеству, як присягав йому, а поповичеві кланятись не хочу.— Он поднял вверх налитый горилкою кубок и громогласно проговорил: — П'ю, на тім п'ю, що мені гетьманові-поповичеві клейнодів не оддавать. Панове запорожці і ви всі, панове чигиринці, громадо! Заступіться за мене! На що се навкруги Чигирин оступило московське і барабашівське військо? Я цареві не ворог, не супостат, а такий же вірний подданий, як вони всі. Вони мусять отойти од нашого города. Молявко-Многопіняжний! Перескажи те, що ти од мене чув. Не хочу Самойловичевіповичеві кланятися, а сам поїду в Москву, поб'ю чолом царському пресвітлому величеству самому, а не його царському бояринові і не гетьманові — барабашському поповичеві. А коли не одійдуть і мене не пропустять, так я сяду на кухву з порохом і спалюсь, і всі чигиринці разом зо мною пропадуть. Нехай гріх на тих буде, що не хотять святого покою і братернюю війну зачинають. Я до їх з щирим серцем, а вони на мене з ножем. Я покою хочу, а вони йдуть на мене войною на втіху бусурманам, хреста святого ворогам. Да ще мене перед царським пресвітлим величеством і перед усім християнством оговорюють. Запорожці і ви всі, чигиринці! Не видавайте мене, як донці колись Стеньку свого видали!

— Не видамо, не видамо! — кричали запорожцы, стоявшие кучкою в красных жупанах.

— Не видамо, всі один на одному головою наложим! — произносили чигиринцы вслед за сечевыми гостями; многие хотели бы выразиться иначе, да не смели: каждый не ручался, чтобы все поддержали голос, противный гетманской воле.

— «Ще козацька не вмерла мати!» — казав колись вічнославної пам'яті батько Зіновій-Богдан Хмельницький! — продолжал Дорошенко с увеличивающимся задором.— Коли наше не в лад, то ми з нашим і назад. Коли так, то ми опять бусурмана в поміч покличем. А що ж робить! Коли свої браття-християни так нам немилостиві,— з неволі приходиться у бусурмана ласки прохати. Не бійтесь, небратці чигиринці, моя люба громадо! Подасть Бог нам рятунок проти сих немилостивців, що хотіли б нас в ложці води втопити. Прийдуть на одсіч нам бусурмани, і тоді москалі і барабаші будуть, як зайці, утікати од Чигирина. Уже то було з ними. Пам'ятаєте, як четвертого року

приходили під самий Чигирин гетьман-попович і боярин Ромодан з великими силами, одначе, почувши, що хан, його милость, йде з своїми ордами, мусили одступиться, а хан перерізав ім шлях до Черкас. Ледве-ледве, утративши многих, добігли до Дніпра і срамотно утекли в свою сторону. І тепер з ними те ж станеться. Ось підождать прийдеться кілька день, прийде салтан Нураддин з ордою, у нас на кілька день стане харчу. А коли Бог так дасть, що прийдеться нам пропадать, так і пропадем всі до одного! Чуєш се ти, Молявка Многопіняжна? Уторопав, що тут казано? Оце все і розкажи, кому там слід, да скажи, щоб наперед не присилали до мене простого рядового, а нехай розмову зо мною ведуть через значних людей, войскових товаришів. Бо я ще своєї гетьманської булави не здавав, і ще я єсть гетьман, і мене треба їм поважати, як належить гетьмана. І ляхи пишуть до мене латиною і величають мене: «Zux zaporovien is».

После этой речи Дорошенко обратился к народу и кричал:

— Не вмерла ще козацька мати! Козак п'є, на лихо не потурає і самого чорта не боїться, не те що московської да барабашської душі!

И он начал снова плясать, припевая:

Не тепер, не тепер
По гриби ходити,
Восени, восени,
Як будуть родити.

Вуехович отстал от гетмана и подозвал к себе кого-то из толпы, говорил что-то на ухо, поглядывая в то же время на Молявку, а последний продолжал стоять на одном месте, провожая глазами удалявшегося с приплясом гетмана; человек, с которым говорил писарь, кивнул головою, давая знать, что все разумеет; тогда сам Вуехович подошел к Молявке и сказал:

— Ти сказав, що ти козак Черніговського полку. Поклонись Василю Кашперовичу, полковнику свому. Скажи: писар Вуєхович шле йому свій братерній поклон, щирому приятелеві!

Сказавши это, Вуехович пошел за гетманом, куда также двигалась густая толпа народа. Молявка повернул назад, уже исполнивши свое поручение, как он думал. Вдруг догоняет его тот самый человек, которому Вуехович говорил что-то на ухо.

Он сказал Молявке:

— Товаришу земляче, я виведу тебе! — Он шел с ним рука об руку к городским воротам и говорил: — Посилає гетьман козака Мотовила в образі старця, ніби ялмужни просячого, з листом до кримського салтана, уверчен у його в личаках. Він от зараз за тобою з города вийде. Всі люди в Чигирині об тім тільки Бога молять, щоб гетьмани швидше замирились між собою,— огидла война; до того, коли довго стоятиме військо, голод настане. Уже і так дітей много умирає. Всі хотіли б йти за Дніпр на слободи.

Эти слова проговорил он без всяких движений, потупя вниз голову и не глядя на Молявку, и никто из шедших около него не мог ни расслышать его слов, ни даже догадаться, что он передает посланцу какой-то секрет. Не дожидаясь никакого ответа, неизвестный оставил Молявку.

По выходе из ворот Молявка стал раздумывать, что лучше делать ему: идти ли в стан и объявить о посланном в образе нищего или подождать, пока этот нищий выйдет из города? Он рассчитывал: если он теперь заявит о том, что услыхал, то нищего могут как-нибудь проглядеть или даже если поймают, то другие, а не он сам; напротив, если он сам лично этого нищего схватит и приведет к начальству, то дело оценится как важный и очень полезный для всего войска подвиг. И выбрал он последнее и нарочно пошел медленно, беспрестанно оглядываясь назад, как вдруг своими быстрыми глазами увидел, что из рва, окружавшего город, высунулась человеческая фигура и пошла по направлению вправо, в сторону, противоположную той, куда следовал Молявка. Молявка тотчас понял, что в городском укреплении есть где-нибудь тайный выход и виденный им человек прошел им так, что очутился во рву, а потом, при пособии какого-нибудь средства, выкарабкался изо рва. Молявка быстро и круто повернул вбок, наперерез пути выползшего из рва человека.

Скоро был Молявка лицом к лицу с этим человеком. Это был на вид оборванный донельзя нищий. Ноги у него были в лаптях, без онуч. На плечах и вдоль тела болтались грязные отрепья — остатки существовавшей когда-то свитки, из-под них виднелось заплатанное грязное белье. Нищий снял дырявую шапку и низко кланялся, увидя подходящего хорошо одетого казака.

— Боже! Який гультіпака! Який бідолага! — говорил тоном сострадания Молявка.— Відкіля ти, чи не з Чигирина?

— Еге! милостивий добродію! — отвечал нищий.— Утік,

да вони й самі, правду сказать, пустили, не стали задерживать, бо скоро нічого буде всім їсти і всі підуть так, як я.

— Ходи зо мною, старче божий! — сказал Молявка.— Мені от як стало жаль тебе! Я тебе нагодую, і одягну, і через стан проведу, бо сам не проберешся. Затримають і в полон заберуть.

— Мені, добродію, все рівно. Нехай беруть. Я не мовчатиму, все повідаю, що знаю; до того — не до татар піду, а своїм же християнам оддамся,— говорил нищий.

Он пошел вместе с Молявкою. Доходили до стана. Уже виднелись палатки начальных людей. Сторожа перекликались.

Дойдя до караула, Молявка воткнул на саблю свою шапку, обвязанную белым платком.

— Гасло! — крикнули караульные.

— Свята п'ятниця! — отвечал Молявка. То был дневной лозунг. Его пропустили.

— А се хто з тобою йде? — спрашивали караульные, показывая на нищего.

— Се старець, милостині просить. Бідний, я його з Чигирина з собою взяв, хоче до нас перейти. Я йому милостиню подам.— Потом, обратившись к нищему, Молявка сказал: — Бач, які у тебе погані личаки, скидай їх к злидню, обуй мої сап'янці. Мені тебе дуже жалко стало. Я сам з себе все поскидаю да тебе одягну, бо в мене, дяковать Богу, все є. От і кирея тобі. Скидай свої ганчірки!

Молявка снял с себя коричневого цвета суконную кирею и хотел набросить на плечи нищему. Нищий, словно кто на него кипятком брызнул, отскочил в сторону, потом, приняв вид смиренника, говорил:

— Ох, паночку! Добродію мій! Чи варт я того? Боже, Боже! От Господь послав якого милостивого доброчинця. Далебі се півсвіта сходи, другого такого доброчинця не надибаєш!

Он кланялся в ноги.

— Скидай, кажу, свої личаки, обувай мої сап'янці! — говорил Молявка.

Нищий повертывался туда-сюда и, видимо, не знал, что ему делать.

Молявка крикнул к сторожевым казакам:

— Скидайте, братці, з мене сап'янці і обувайте сього старця, а я в його личаках доплентаюсь як-небудь до Черніговського полку!

— Пане ласкавий, пане милостивий! Не треба! Не треба! — говорил нищий и порывался идти в сторону.

— Ні, треба, старче! — сказал Молявка.— Чуєш, що тобі кажуть: давай мені свої личаки, а сам обувай мої сап'янці!

— Паночку, добродію! — говорил совершенно растерявшийся нищий.— Не хочу, далебі — не хочу! — и с этими словами пустился было скорым шагом уходить.

— Доженіть його, козаки! — сказал караульным Молявка.— Візьміть у його личаки, а йому дайте обутися в мої сап'янці!

Казаки бросились на нищего. Тот, сам не зная, как избавиться от беды, начал уже бежать во всю прыть; казаки догнали его, повалили, сняли с ног его лапти, надели на него «сап'янці» и привели к Молявке.

Молявка достал из кармана нож, разрезал лапти и вынул из них свернутое в тонкую трубочку письмо, засунутое в складки лык, из которых были сплетены лапти.

— Се не про нас писано,— сказал Молявка, развернувши письмо,— сього ми не розберемо! Се, мабуть, по-татарськи або по-турецьки. Да у нас в полку знайдеться і такий, що прочита. Іди лиш, старче, за мною, до нашого полковника!

— Пане добродію, пане добродію! — возопил нищий.— Я не старець. Мушу всю правду повідати. Я козак Дорошенків. Гетьман чигиринський послав мене в образі старцевому пробратись через ваш стан в степ і подать звістку салтану, що стоїть за Ташликом, щоб швидше приходив з ордою на одсіч. Се Дорошенко свій лист мені заложив у личаки, а я не хотів йти до салтана, а хотів перейти до вас на цареву службу.

— Як тебе зовуть? — спрашивал Молявка.

— Козак Мотовило,— был ответ.

— Добре, що не брешеш,— сказал Молявка,— не бійсь нічого. Іди до мого полковника за мною.

Они пошли. Караульные казаки проводили их несколько саженей, потом воротились назад и смеялись виденному ими событию. Молявка пустил Мотовила вперед себя. Прошедши версты две, они проходили мимо заросли, и Мотовило затеял было броситься в кусты, но Молявка догнал его, схватил за руку и, сняв с себя пояс, крепко завязал ему назад руки.

— Ти, бачу, прудкий, козаче,— сказал Молявка,— да я, мабуть, моцніший од тебе.

И он погнал Мотовила далее, а сам постоянно держался за край пояса, которым были связаны руки Мотовила.

Казаки Черниговского полка, стоявшие на карауле у своей полковой ставки, окликали его, потом, когда он произнес лозунг, пропустили.

— Я,— сказал Молявка,— веду до пана полковника таке дивнє звіря, що він зрадіє, скоро побачить!

Молявка привел Мотовила к шатру Борковского.

— Пане полковнику! — кричал он.— Виходь, твоя милость, глядіть на диво дивне!

Борковский тогда только что воротился в свой шатер после осмотра своего полка; услышав голос Молявки, он вышел со своим обычным серьезным видом. Молявка рассказал ему все, что видал в Чигирине, и представил пойманного казака, но не сказал, однако, что ему незнакомый человек в Чигирине заранее сказал про Мотовила, а изобразил дело так, как будто он, Молявка, сам, по собственной смекалке, задержал нищего и вынул у него из лаптей таинственное письмо, написанное на неизвестном для него языке.

Борковский сказал:

— За сю послугу, що ти вчинив всьому війську Запорозькому, наставляю тебе хоружим твоєї черніговської сотні. Зовіть швидше Галана Козиря.

Галан Козырь был родом татарин; в детстве достался он в полон казакам, принял св[ятое] крещение и был записан в казацкий реестр в Черниговском полку. Был он дорогой человек, знал татарское письмо и гордился всегда, когда происходило какое-нибудь сношение с бусурманами.

— Прочитай і переложи! — сказал Борковский этому Галану, когда его привели к полковнику.

Галан прочитал и сказал:

— Дорошенко пише до салтана Нураддина: просить присшпати на одсіч до Чигирина, бо його москалі і барабаші навкруг оступили.

Полковник приказал написать перевод этой грамоты для представления наказному гетману.

Пришел Булавка. Борковский похвалил его шурина и объявил, что повышает его за заслугу войску Запорожскому.

Обрадованный Булавка поклонился, нагнувшись до земли, а Борковский отвечал ему легким начальническим киванием головою.

Принесли перевод перехваченного письма. Борковский

понес его Полуботку и прочитал в собрании всех полковников.

— От гарно! гарно! — воскликнули все полковники в один голос.

— Тепер,— заметил гадяцкий полковник Михайло Василе́вич,— Дорошенко у нас в руках!

— Він здасться! — заметил миргородский.

— Нізвідки йому більш немає надії,— прибавил лубенский.

Полуботок заливался добродушным смехом, потешаясь над промахом Дорошенка.

— Тепер,— сказал он,— послати сказати Дорошенкові, що лист його у нас. Нехай більш не сподівається на бусурманську поміч, а швидше здається, не проливаючи крові, а то як візьмемо його з бою, то вже не буде йому шани!

— Нехай же сей козак, що піймав Мотовила, понесе Дорошенкові знову лист наш, нехай Дорошенко не бариться, а виїздить до нас і од нас їде до пана гетьмана, коли не хоче, щоб ми його взяли, як собаки вовка. Сей козак уже тепер не рядовик, а хоружий. Дорошенко заспесивився, що рядовика до його посилано, і велів через його наказати, щоб ми йому рядовиків не посилали, а посилали б урядових значних. От тепер ми йому з полкової старшини урядового шлем! — говорил Борковский.

— Нехай, нехай! — все в один голос сказали.

Написали грамоту и отправили в Чигирин того же Молявку-Многопеняжного.

VII

Опять, как в первый раз, Молявка вместе с трубачом подошел к воротам нижнего города. Опять Молявка выставил на сабле свою шапку, обвитую белым платком, а трубач протрубил. Отворили калитку в воротах. Объявивши себя полковым сотенным хоружим, Молявка сказал, что у него есть письмо к гетману.

У Дорошенка в Чигирине было два двора: один — новый, им не так давно построенный на горе в верхнем городе, или в замке, другой — в нижнем городе, в так называемом «місті». Последний был его родовой двор. Его строил еще дед Петра Дорошенка, Михайло, бывший потом гетманом, и двор этот переходил из поколения в поколение по наследству. При этом дворе, очень обширном, был также

обширный сад, расположенный на берегу Тясмина, за садом — водяная мельница, принадлежавшая Дорошенкам. К этому двору направили тогда чигиринцы посланца. Молявка взошел на крыльцо, поднялся по лестнице вверх и, отворивши дверь, вступил в просторную комнату, уставленную лавками и двумя столами. За каждым из этих столов сидело по канцеляристу; они что-то писали. Писарь Вуехович расхаживал по комнате. Молявка почтительно поклонился и сказал, что пришел от наказного гетмана к гетману Петру Дорофеевичу с «листом».

Вуехович узнал его сразу и сказал:

— Аже гетьман тобі наказовав, щоб рядовика до його не посилали, а слали би якого урядового!

— Я тепер уже не рядовик,— сказал Молявка.— Я сотенний хоружий.

— За немалі, певне, послуги тебе так зразу піднесли! — сказал Вуехович, догадавшийся, что повышение этого казака связано как-нибудь с отправлением Мотовила, о котором Вуехович приказал тайно сообщить этому казаку.

— Про те вла́дза знає! — сказал Молявка.

Вуехович с «листом» вышел. Молявка несколько времени стоял, оглядывая покой, куда вошел. Канцеляристы продолжали сидеть и строчить какие-то бумаги. Один из них как-то приподнялся, и Молявка узнал в нем того самого, который в первый его приход, поговоривши с Вуеховичем, подбежал к нему и сообщил о Мотовиле.

Молявка не смел начать с ним разговора, как вдруг тот сам, улучив минуту, когда Молявка, расхаживая по покою, приблизился к столу, за которым канцелярист писал, и спросил его:

— Вашець прошу, чи не знаєш, вашець, нашого товариша Кочубея, що наш гетьман посилав до Царгорода, а у його челядник покрав папери, то він побоявся нашого гетьмана і втік до вашого. Кажуть, йому добре у пана гетьмана Самойло́вича?

— Я його особисто не знаю,— отвечал Молявка,— а чув, що йому коло ясновельможного добре поводиться.

— І Мазепа, наш прежній писар, кажуть, великий чоловік у Івана Самойло́вича. Усім добре тим, що од нас до його перейшли. Хороший дуже ваш гетьман. І наш Вуєхович-писар того тільки і бажа, аби наш ясновельможний свою булаву зложив і гетьманство здав. І ми всі об тім тільки Бога молим, щоб те швидше сталось.

Вошел Вуехович с озабоченным видом.

— Пан гетьман,— сказал он Молявке,— велить тебе, мій голубе, до мене взяти на господу, поки одповідь дасться.

Вуехович отвел Молявку в свой дом, находившийся рядом с двором Дорошенка, и на дороге спросил Молявку:

— Поклонився від мене Борковському?

— Поклонився,— отвечал Молявка,— і по сьому поклонові мене піднесли в хоружі.

— Тепер,— сказал Вуехович,— нашому гетьманові той найщиріший приятель і правдивий добродій, хто його доведе до того, щоб він поклонився Самойло́вичеві і гетьманство своє з себе скинув. Бо нікуди, нікуди нам діться!

Оставив в своем доме Молявку под опеку матери своей, Вуехович воротился во двор Дорошенка.

Дорошенко, узнав из письма Полуботка, что Мотовило схвачен и последняя попытка упрямиться не удается, пришел в большую досаду и более всего сердился на Яненченка, своего шурина, и на других, которые вместе с гетманским шурином уговорили его сделать последнее усилие и послать еще раз к татарам просьбу о помощи. Действительно, гетман не хотел этого делать, но поддался советам и настойчивости других, как и прежде бывало с ним такое нередко: не хочет, противится, а потом поддается и снова сердится на тех, которых послушался. Таким выработало его ужасное положение Украйны, когда глава этой страны сам не знал, за что ему схватиться и что избрать за лучшее. Но никогда не поступил Дорошенко так опрометчиво, как теперь, послушавшись совета своего шурина и других, не расположенных покоряться левобережному гетману, а этого-то именно, во что бы то ни стало, требовало московское правительство. Долго уже водил чигиринский гетман Самойло́вича и Ромодановского обещаниями исполнить царскую волю и только обманывал их, а сам между тем все-таки продолжал сноситься с турками и татарами. Теперь, когда вся область, управляемая Дорошенком, почти опустела и взять его самого в Чигирине было нетрудно, последнее спасение зависело от того, чтобы его покорность царю, хотя напоследок, могла представиться сколько-нибудь искреннею,— и в это-то время новое сношение с татарами должно было окончательно раздражить тех, от которых зависела его будущая судьба.

Коварство его было открыто. Дорошенку более чем когда-нибудь приходилось отдаться, и теперь думал он только о том, как бы сдаться с тем условием, чтоб ему была прощена вместе с прежними винами и эта последняя вы-

ходка. Он, получивши «лист» Полуботка, принесенный новопоставленным сотенным хоружим, приказал созвать к себе свою немалочисленную родню и тех старшин, которые еще оставались ему верными. Место сбора указано было не у него, а у его матери, которая жила в том же дворе, но в особом доме, построенном в саду. Дорошенко очень уважал свою мать, хотя часто досаждал ей своим вспыльчивым нравом, а потом просил у нее прощения и мирился с нею. Это была высокорослая сгорбленная старуха с трясучею головою; на ее лице, искаженном летами, виднелись еще следы былой красоты, а когда-то эта старуха считалась первою красавицею между чигиринскими дивчатами и потому в оное время досталась в замужество первому молодцу в Чигирине, Дорошу Михайловичу, сыну когда-то бывшего гетманом Михайла Дорошенка, статному, богатому, умному, как о нем все говорили. Этот Дорош, посланный Богданом Хмельницким в Варшаву, так умел там блеснуть своим природным умом, что поляки, несмотря на изуверную свою тогдашнюю ненависть ко всему русскому, наградили его шляхетским достоинством, хотя он не показал им ни малейшей охоты изменить казацкому делу и еще менее православной вере. С ним, с этим Дорошем, прожила она двадцать один год и народила ему сыновей и дочерей.

По смерти его она осталась полновластною хозяйкою и главою семьи. Возникавшая нередко между этой старухой и старшим сыном Петром безладица происходила из-за жены Петровой, Ефросинии Павловны, из рода Хмельницких, с которою Петро, однако, соединился браком по совету матери, находившей полезным для своего сына посвоиться с родом, считавшим в числе своих членов знаменитого Богдана. Это была, впрочем, вторая жена Петрова: с первою жил он недолго, имевши от нее одну дочь, которую потом выдал за Лизогуба. Отец второй жены Петровой — Павло Яненко-Хмельницкий, приходившийся троюродным братом Богдану, отдал за Петра Дорошенка дочь свою против ее воли: Приська любила уже другого, плакала, умоляла отца не губить ее, не отдавать за нелюба, но отец не послушал ее, увлекся тем, что будет считать гетмана своим зятем, и насильно повел ее к венцу. Зато с первых же дней супружества молодая Дорошенчиха объявляла своему мужу, что любить его никогда не будет, и особенно возненавидела свою свекровь, так как знала, что последняя настаивала, чтоб ее сын женился на Хмельниц-

кой. Невестка во всем перечила старухе, а старуха ни в чем ей не смалчивала. Петро думал всеми способами угождать жене, чтобы через то приобресть ее любовь, и в спорах ее с его матерью постоянно принимал сторону жены. От этого происходили между сыном и матерью возмутительно бурные сцены, только и возможные в таком обществе, каким было тогда казацкое, где вспыльчивые натуры не умели себя сдерживать.

Вскоре, однако, гетманша вывела из терпения и своего мужа. Было это в то время, когда гетман Дорошенко отправился в поход на левый берег Днепра, где свергнул с гетманства и отдал народу на расправу Бруховецкого. Оставшись без мужа, Дорошенчиха сошлась с прежним своим возлюбленным, но свекровь, проведавши об этом, тотчас дала знать сыну,— и это, как известно из истории, было поводом того, что Дорошенко поспешил воротиться в Чигирин и не окончил затеянного им дела. После того он вместе со своим тестем засадил жену в монастырь. Успел ли ускользнуть от его расправы возлюбленный Дорошенчихи — мы не знаем. Она просидела в монастыре несколько лет и научилась там пить. Дочь ее, оставленная в младенчестве, вырастала без матери, тосковала об ней, беспрестанно надоедала отцу расспросами о матери, и гетману стало жаль жены. Он поехал с дочерью в монастырь простить жену за прежнее, взял с нее присягу, что она будет ему верна, и позвал снова к себе в дом. Недолго Дорошенчиха жила покойно: начались у ней опять ссоры со свекровью, а привычка напиваться, усвоенная в монастыре, не только не оставляла ее, но еще усиливалась. Петру то и дело приходилось мирить жену с матерью, читать жене нравоучения и от нее выслушивать упреки, что он загубил ее молодость. Она и теперь, как ранее, смело и искренно высказывала ему и постоянно твердила, что не любит его и любить никогда не будет.

Но не только из-за жены происходил разлад у Дорошенка с матерью; не ладила мать с ним и за его дружбу с бусурманами. У Дорошенка с детских лет до старости жива была глубокая детская вера в силу материнского благословения, и он не мог никогда относиться к матери так, как большая часть казаков относилась тогда вообще к женщине, под каким бы видом ни было женское естество для них; не мог он сказать: «Ты мать, но ты баба, я тебя уважаю, но ты знай свои бабьи дела, а в наши казацкие не мешайся!» Напротив, у Дорошенка не было тайн от своей

матери, и никакого дела, никакого похода или союза не предпринимал он, не испросив у матери совета и благословения. Когда задумал он отдаваться под протекцию турецкого падишаха, мать не дала ему благословения, но он тогда матери не послушал и потом сваливал все на старшин и на казацкую раду, извиняя себя тем, что гетман не самовластный государь и должен поступать так, как приговорит все войско Запорожское. Когда турецкая протекция начала оказывать неизбежные последствия и падишах потребовал от своего нового «голдовника» набора детей в янычары, а Петро хотел было уже исполнить повеление властителя, старуха до такой степени пришла в негодование, что начала проклинать сына, а вспыльчивый Петро пришел в такую ярость, что запер мать под замок и держал несколько часов, как невольницу, но потом одумался, просил у ней прощения за свою горячность, поклялся ей, что будет стараться отрешиться от бусурманской власти и поддаться православному государю. И с этой поры, действительно, Петро Дорошенко охладился к союзу с бусурманами и пытался сойтись с Москвою. То было желание как его матери, так разом с нею и всего народа, который, спасаясь от бусурманского господства, бежал громадами за Днепр искать новоселья в областях православного монарха. И Петро не прочь был от подданства царю московскому, но все-таки хотелось ему учинить это подданство на таких условиях, которые бы ему и всей Украйне давали наибольшую степень самобытности и независимости, и немало хитрил и вилял он. Потерял он все подвластное себе население, остался только с одним Чигирином, и то сильно обезлюденным; приперли его, как говорится, к стене московские и казацкие силы. Не удалась ему и последняя попытка пригласить крымского салтана и заставить Самойловичевых казаков отступить от Чигирина. Петро Дорошенко, собрав всю родню, приходит к матери, склоняет перед нею колени и говорит:

— Мати! Востаннє благослови на добре діло: вийти з усіма чигиринцями і положити бунчук і булаву на волю царського величества!

— Кільки років чула я від тебе про сеє, і скільки разів давав ти обітниці, а напотім опять бусурмана до себе на поміч кликав! — сказала с чувством скорби мать.

— Не раз! — сказал Дорошенко.— Говорив я тобі, мати, що діялось те ради віри християнської і народу благочестивого, щоб вольності його зберегти.

— Хороші вольності придбав ти йому, народові сьому! — сказала мать.— Загонять православних християн в кримську неволю, як череду,— от славні вольності!

— Твоє діло, мати, благословити, а ми вже самі знатимемо, як нам поступовáти,— сказал Петро.

— О Господи, Господи, за що ти покарав мене, грішну, що я породила таку потвáру! — вопила старуха.— Проклинатимуть, Петре, тебе многі душі християнські, і внуки і правнуки на тебе жалітимуться і плакатимуться. Що ти думаєш? Чи ти над собою страшного суда божого не чаєш?

— От і пішла, і пішла, мати, прежній молебень правити! — сказал с досадою Петро.— Авжеж, не вернеться те, що пройшло! Батько Богдан Хмельницький недурно казав: при сухому дереві і живе запалюється!

— Се треба занехати,— отозвался Павло Яненко, тесть Петров,— не про те річ: чи добре, чи недобре ми перше учиняли. Він кається. Він, свахо, у тебе благословенія прохає на добро, так що вже його колишнім дорікати!

— Схаменулись ви, да чи не пізно! — сказала старуха.— Що то цар тобі тепер скаже? Скільки років його дурили! На Сибір тебе зáшле. Туди б тобі і слід, аби мого бідного, коханого Гриця вернули!

— Ти, свахо, за Грицем зажурилась; Гриця тобі жалко, бо Гриця при тобі немає,— сказал Яненко.— А коли б Гриць повернувся, а замість Гриця Петра заковали в заліза, то б і за Петром убивалась ти, як за Грицем тепер убиваєшся. Хіба Гриць того не робив, що Петро? А вже ми всі одним миром помировані! Всі погрішили проти царя православного і проти усього миру християнського. І я з вами теж. Ударимо ж самі себе у груди і покаємось. Може, милосердий цар простить!

— Здається, уже часу не маєш! — сказал сын Яненка.— Мотовило, що посланий був до салтана, попався барабашцям у неволю, і лист гетьманський у його взяли. Знають уже, що посилали-сьмо знову звати кримців. Сього нам не пробачать. Тепер якраз, як говорить стара, на Сибір гетьмана зашлють.

— А який чорт нагадав того Мотовила посилати, коли не ти, Яцько, з своїми приятелями? — говорил с чувством огорчения Яненко.— Я казав: не треба, і гетьман не хотів, так ви його збили з путі!

— Недобре зробили, що Мотовила послали,— произнес Петро,— а ще гірше нам те, що Мотовило попався. Тільки тепер мені Полуботок пише, коли я не стану бариться

і вийду до їх зараз, то вони Мотовила випустять і про лист наш, до салтана писаний, московському гетьманові не об'являть.

— Потурай! — сказал Яненченко.— Тільки вийдеш, так усіх нас у кайдани заб'ють да у Москву зашлють.

— Обіцяє Полуботок і лист наш до нас вернути,— сказал Петро.— Ось читай, що вони написали нам.

— Одначе не прислали! — возразил Яненченко.

— Пришлють,— сказал, с решимостью выступивши, Вуехович.— Присягаюсь на тім, що пришлють і гетьманові московському не скажуть. Люди наші.

— А ти почім знаєш? — сказал Яненченко.— Хіба вже з ними змовився: соболів московських захотів!

— Ти мене, Якове, соболями не урікай,— сказал с видом достоинства Вуехович.— Молодий ти ще, щоб мені таке завдавати. Я над твого батька старший літами, а не те що над тебе, хлопця!

— Мій писар вірний мені чоловік,— сказал Петро.— Я не дозволю на його порікати.

— Не дозволиш, то й добре йому,— возразил Яненченко.— На те гетьман єси. І про Мазепу казав ти колись, що вірний тобі. А Мазепа тепер перший чоловік у гетьмана-поповича став.

— А що ж робити, коли так склалось,— произнес Петро.— І Мазепу не виновачу я. Не класти було йому шиї під обух. Я б і сам так зробив, як Мазепа, якби на його місці був. Ті полковники, що від мене відцурались, більш виноваті. А всьому початок положив зять Лизогуб, що перший з них підлизався. Ті всі гірш мені зашкодили, ніж Мазепа. Да я тепер нікого не виновачу, бо їм нічого було більш робити. Бачили вони заздалегідь, що з сього усього нічого не виникне, окромя лиха. Я один винен, що не послухав їх доброї ради і на бусурманів понадіявся!

— Мазепа мені великий приятель був,— сказал Вуехович.— І тепер, сподіваюсь, таким зостався. Пошлемо до Самойловича посланців, а я лист до Мазепи напишу і прохатиму, щоб за нас заступився перед гетьманом. А Мазепа у Самойловича велику силу має. Да він такий розумний, що і з Москвою знатиме, як повестись. Він усе поробить нам як слід і улагодить.

— Так, так! — говорил Яненченко.

— Се такий шельмованець, що кого схоче поведе і проведе і в провалля заведе. Він підлестився до нашого гетьмана, а як побачив, що сонце йому вже не так світить, як

перше свiтило, так зараз iзрадив свого добродiя, тепер пiдлестився до поповича, а коли прийде час, i того зрадить. Отакий-то ваш Мазепа.

— Кого ж пошлемо у посланцях до Самойловича? — спрашивал Петро.

— Мене, пане гетьмане, посилай! — отозвался Кондрат Тарасенко, племянник старой Дорошенчихи, быстроглазый, черноволосый молодец, вскочив со своего места.

— Добре! — сказал гетман.— Ти, козаче, не дурень єси i на рiчi мастак. А другого кого ж пошлемо? Другий нехай їде сам Вуєхович, коли вiн сподiвається урештовать усе через Мазепу, свого давнього приятеля. Я прийду до Самойловича i до Ромодана, нехай тiльки перед вами вони заприсягнуться, що менi нiчого не буде, i всiх наших зоставлять на своїх прежнiх мешканнях жити, i всi мої вини, що я проти царя учинив, простяться i на пришлий час не споминатимуться. А я заприсягну не втручатись у жадні козацькі справи i стану жити вцáлє приватною особою. Ви з Тарасенком дайте за мене таку обiтницю, а вiд них привезiть менi в листу таку, як я кажу i бажаю.

— Не повiрять вони сьому,— сказал судья Уласенко,— скажуть: не перший раз обiцялись, а не виконали своїх обiцянок.

— Що ж нам дiяти? — сказал Дорошенко.— Бач, Воронiвка, Черкаси, навiть Жаботин i Медведiвка — усi вiдчахнулись од моєї владзи. Уже тiльки чигиринцi да охоче вiйсько тримаються ще за мене, да й ті незабаром одiйдуть, бо вже охотникам показав дорогу Мовчан. Нехай так робиться, як Вуєхович казав. Благослови, мати!

— Як до царя подаваться, так тоді матчиного благословення треба, а як з бусурманами водитись, так тоді матчиної ради не слухаєш. Iнші порадники єсть на те! — говорила с выражением горечи и озлобления старуха.

— Хiба я, мати, не прохав твого благословення, як турка пiд Каменець звав i як Мазепу посилав? — говорил с выражением укора Дорошенко.

— Не благословляла я тебе. Перший раз що моє благословення чи неблагословення варто було, коли найперший владика митрополит благословив тебе на приязнь із турком. А в другий раз я не те що не благословила тебе, а ще кляла, а ти так розлютовавсь, що аж руками на мене замiрявся i замкнув мене, нiби яку злодiюку!

— Мати! — жалобно произнес Дорошенко.— Аже ж я

каявся перед тобою i вiк свiй каятимусь. Сам Бог прощає покутуючих грiшникiв.

— Тiльки не таких, що, як собака, на блюваки своїї обертаються, як кажуть святі отцi. Твоя покута — шкiлювання з Бога, а не щира покута,— говорила старуха, более и более раздражаясь.

— Пiшла, пiшла, стара! — с досадою вскрикнул Дорошенко.

— Еге! — продолжала раздраженная старуха.— Стара вона стала, тая, що тебе породила i вигодувала! Розум через старощi утратила. Що ж? Молодої слухай! Що вона тобi в гречку скаче — се нiчого. Було Хомi, буде ще й тобi!

— Ти, стара, на кого се натякаєш? — обозвалась жена Петрова, все время сидевшая молчаливо и как бы дремавшая после порядочного, как видно было, излияния в себя винного пития.— Нiчого мене їсти i попрiкати! Який зо мною грiх не стався, я його спокутувала не за один рiк!

— Спокутувала! — возразила старуха со злобным смехом.— З черницями, а може, i з ченцями розпилась. Бач, i тепер очi залитi.

— Через кого я така стала, як не через тебе, стара! — говорила, порываясь с места, Петрова жена.— Все через тебе! Як я замiж вийшла за твого сина, так з першого дня як почала ти мене клювати да гризти да чоловiковi на мене наговорювати, аж поки не засадили мене в монастир. А тепер досадно тобi, що опять мене взяли до себе жити.

— Прiсько, буде! — грозно заметил ей отец ее, Павло Яненко.

— Прiсько, годi тобi! Утихомирся,— таким же тоном проговорил ей Петро.

— Чого там «буде та годi»! — говорила раздражившаяся Приська.— Чого ви на мене гуртом нападаєтесь? Самі у грiх увели та й гризете!

— Як ми тебе у грiх увели? — повышая голос, говорила старуха.— Хiба з нас хто направив тебе... Пам'ятаєш, як тебе уловили з молодцем та написали твому чоловiковi. О негiдниця! Сама ти в грiх ускочила, не боячись Бога i людей не стидячись.

— Хто мене у грiх увiв, питаєте ви? — говорила Приська.— Батько, рiдний батько, що оддав мене силомiць за нелюбого. От хто мене у грiх увiв спочатку. Я не хотiла йти за Петра, а мене гвалтом узяли i повезли у церкву вiнчатись. Петро знав, кого брав. Хiба вiн кохав мене? Якби

я не Хмельницького роду була, то він би і не здумав мене брати, а якби взяв, то давно б мене зарубав.

— І давно було б треба! — с гневом сказал Петро.— Зробить би з тобою, як зробив Богдан з своєю другою жінкою! Ми ж, бач, з батьком твоїм посадили тебе в монастир, щоб ти одумалась і спокутовала. Ти ж, бачу, все ж така ж, яка й була.

— Атож! Олії з мене не виб'єте. І до смерті буду все така,— говорила крикливим голосом все более и более раздражавшаяся Приська.— У гречку скакала та ще скакатиму. От що! Ось поїдь, Петре, відсіля місяців на два або на три. Побачиш тоді, чого я тут нароблю!

— Цить, навіжена! — крикнул на нее Петро.— Хіба схотілось знову під чорний каптур? Добре, мабуть, випила!

— А що ж? — говорила с жаром Приська.— Випила! Тобі можна, а мені так ні! Ти, гетьман, позавчора накликав музики та пішов по шинках танцювати, а я, гетьманша, зберу жінок та козаків і піду по улиці. Отак! — При этом она сделала круговорот своим телом.— Що мені зробиш? — продолжала она, доходя до исступления.— В монастир засадиш? Садови́! Заріжеш, може? Ріж! Я тебе не любила, не люблю і ніколи не любитиму!

— Нехай тобі лихо! — сказал Дорошенко.— Хіба я тебе люблю? Держу тебе того ради, що дочка мала єсть. Да і те: яка ти ні єси, а все ж таки ти мені жінка вінчана. Тим і держу, хоч не хочу.

— І держиш, і держатимеш, мій голубе! Хоч хочеш, хоч не хочеш; взяв, так і терпи всі мої вибрики! — говорила, заливаясь ироническим смехом, Приська.

— Дочко! угомонись! — наставительно говорил ей отец.

— Не гримай на мене, батечку! — отвечала ему Приська.— Навіщо оддав мене за нелюба, а не за того, хто був мені милий!

— Чорт тебе знав, хто у тебе милий був! — заметил Дорошенко.

— Нема вже його, нема! — говорила Приська.— Тепер кого нагиба́ю на дорозі да сподоба́ю, той мені й милий. Багато милих буде! Що день, то один милий, а на другий день — інший милий. От яка я. Петро се добре зна.

Мать соскочила с места и закричала:

— Петре, сину, забий їй рот, щоб не верзла такого. Боже! Якого сорому довелось наслухатись від невістки!

— Пріську! — закричал, топнувши ногою, Петро,— не роздратуй мене. Не вдержусь, битиму!

— А я тобі дам дулю під ніс,— сказала Дорошенчиха.— Ось глянь, яка дуля! На! Покуштуй, мій голубе.

— Дочко! — громко крикнул отец, бросившись на дочь.

— Пріську! — крикнул Дорошенко и схватил ее за руку.

Приська посмотрела на него с видом, вызывающим к себе сожаление.

— Пріську! — продолжал Дорошенко.— Йди собі в свою комірку та виспись. Бо ти, бачу, вже чимало випила. Хто се їй горілки приніс?

— Сама узяла у тебе в шкапчику. Найшла та й напилась,— сказала Приська.

— Йди, йди! — говорил Дорошенко, улыбаясь и стараясь показать, как будто все обращает в шутку.— Йди, серце, коханко!

Приська пошла в двери, подскакивая и припевая:

І бив мене муж, волочив мене муж,
Ой бив і рублем, ще й качалкою,
А і к світу назвав ще й коханкою!

Она скрылась.

— Нехай іде собі та виспиться,— сказал Петро.— Лихо з такою малоумною жінкою! А подумаєш: чим винна вона, що їй Бог розуму не дав! От тепер, здихавшись її, почнемо знову про діло наше!

— Зятю! — говорил Яненко.— Сі москалі далебі не такі страшні і люті, якими тут у нас здаються. Я пригледівсь до них, як був у Москві. Прийняли мене ласка́во, до самого царя водили до руки... І церкви у їх такі ж, як у нас, християнські, тільки багатше і краще наших. З Москвою в братерстві жити нам згодніше, ніж з бусурманами. Бо вже ми досвідчили, що то єсть побратимство з кримцями і з турком. Що нам бусурмани вчинили? Тільки Украйну спустошили! Яких не побили, ті повтікали. Куди нам тепер подітись? Не шукать милості у тих же бусурман, да й те, бач: ми вже прохали, так не дають більш, тільки нас манять. Один раз помогли, у ляхів собі Подолля забрали, та й годі. Уже ж не до ляхів нам тулитись.

— А чому ж не до ляхів? — сказал Шульга, полковник охочих казаков.— Отепер би з ними краще було поєднатись. Якби вони побачили, що ми тепер лєпше до них, як до Москви, привертаємось, то б їм прийшлось дуже по душі.

— Їм би, може, прийшлось по душі, та нам не по нашій шкурі! — сказал Дорошенко.— Ні, Шульго! Сього вже уд-

руге і втретє не повторяй. Ніколи, поки світ сонця, козак з ляхом не зійдуться.

— Сто чортів їх батькові і матері, тим ляхам-бісам! — воскликнул обозный Бережецкий.— Тільки моя така щира думка, що, відцуравшись від ляхів, не приставати до Москви, на її підмову не піддаватись, а славне військо Запорозьке низовеє— от наша надія! О, якби ми тримались всі вкупі: не те, що ляхи — і москалі не побороли б нашої козацької сили.

— Добра твоя річ,— сказал судья Уласенко,— тільки якби років хоч десять попереду була проказана. Бо вже тепер Україна через нутряні свої розрухи ні на віщо звелася.

— Ми з військом низовим єднали-сьмо,— сказал Дорошенко.— І перед кошовим присягу цареві виконали. Так Москва тієї присяги не поважає, і бояре її не хочуть, кажуть, щоб виконали ми присягу перед Самойлóвичем і перед Ромоданом, а не інак. Що робити! Не хотілось нам коритись перед поповичем, да нічого не вдієм. Не поповичеві поклонимось, а цареві, що його наставив і посилає. Учиню так, як цар велить, а опісля не маю кновать нічого. Житиму в приваті тихо-мирно. Що там робитиметься,— мені все байдуже! Нехай тільки мене вже не займають і всю родню мою, і при нашій худобі нас нехай зоставлять. З нас і буде! І поповичеві годитиму. Що захочуть, нехай витворяють надо мною: сількісь! Все терпітиму! Багато я погордував над людьми на своєму віку. Покаятись при кінці віку хочу. Аже кажеться: в терпінні стяжите ваші душі! Мати, благослови!

— Аби тільки за перші злі учинки не взявся,— сказала старуха.— А на добрі я благословляю.

Мать со слезами на глазах встала со своего места, сняла со стены висевший образ Спасителя в терновом венце и, осенив им склонившего перед нею голову сына, произнесла:

— Сину мій любий, сину первородний! За все, чим проти мене погрішив єси, я тебе прощаю і благословляю на життя нове. Пошли тобі, Господи, здоров'я і щастя!

После этой семейной сцены Дорошенко велел позвать привезшего Полуботков «лист» посланца. Привели Молявку.

— Скажи мені правду, козаче, да тільки щиру правду, як перед Богом. Не відбріхуйся,— говорил ему Дорошенко.— А я тобі даю справедливе слово гетьманське: не буде тобі

нічого злого. Ти піймав мого Мотовилу? Не бійсь, кажи просто.

— Я, пане гетьмане! — отвечал Молявка.

— Я так і думав,— сказал Дорошенко.— Бо за віщось велике тебе зразу так піднесли, що з простого рядовика хоружим сотенним учинили. Як же ти його піймав? Чи дав тобі хто про його зарані звістку?

— Вийшовши з Чигирина, угледів я, що якийсь бідолашний старець виліза крадькома з города. Підзорно мені те здалось. Я догнав його. Подаровав спершу йому своє одіння і сап'янці, а у його взяти хотів, що на йому було. Він не дався. Тоді я догадався, що тут щось є, позвав козаків, роззули його, і я з личаків вийняв лист.

— Кажи правду,— заговорил Дорошенко.— Мотовила не посилано до московського гетьмана?

— Ні. Сидить у Борковського за сторожею,— сказал Молявка.

— І листа мого не посилано до московського стану? — спрашивал Дорошенко.

— І листа не посилано,— отвечал Молявка.

— Я,— сказал Дорошенко,— пошлю Вуєховича і Тарасенка до обозу пана Самойловича і Ромодана: нехай умову підпишуть і присягнуть обопільно. Тоді я до їх приїду гетьманство своє здавати. А тим часом, поки мої вернуться, ти зостанешся аманатом. А Полуботок нехай мого Мотовила пришле до мене і лист той мій, що перейнято. Я тоді разом з тобою до їх виїду!

VIII

В казацком стане в шатре наказного гетмана Полуботка собрались все пришедшие под Чигирин полковники. Перед этим собранием, сидевшим за столом, стояли Дорошенковы посланцы Вуехович и Тарасенко. Они объясняли полковникам, что отправка Мотовила учинена была Яненченком мимо воли и ведома гетмана, уверяли, что с Яненченком в соумышлении немного неопытной молодежи, которая сама не знает, что делает, а большинство чигиринцев заодно с гетманом стоит твердо на том, чтобы искренне, без обмана покориться. Вуехович умолял полковников поступить в этом случае по-товарищески, не сообщать о перехваченном «листе» Косагову, простить неразумную молодежь и не думать, чтоб Дорошенко участвовал в таком коварном замысле, а Дорошенку отослать и Мотовила и взятый

у него в лаптях «лист». Тогда Дорошенко немедленно приедет к ним в стан. Полуботок отвечал, что все сделается так, как желает Дорошенко, только пусть Дорошенко немедленно после отправки к нему Мотовила с «листом» приезжает в московский стан на речку Янчарку и там пред всеми положит свои клейноды, а потом поедет в главный обоз к Ромодановскому и Самойловичу. Полковники тотчас приказали возвратить Дорошенку «лист» перехваченный и препроводить Мотовила в Чигирин, а Вуеховича и Тарасенка отправили к Косагову, от которого те уехали в главный обоз к Самойловичу и Ромодановскому.

Между тем новый хоружий черниговской полковой сотни сидел в доме Вуеховича, которого мать, по приказанию сына, угощала со всевозможным хлебосольством. К концу дня сказали Молявке, что его зовет гетман. Он вышел за ворота двора Вуеховича, но там ожидали его Яненченко и приятель последнего, бывший медведовский сотник Губарь.

Яненченко сказал Молявке:

— Ти піймав Мотовила?

— Я,— ответил Молявка.— Я вже повідав самому ясновельможному.

— Чи ти козак правдивий, чи, може, московський шпиг? — спрашивали его.

— Я — козак правдивий! — отвечал Молявка.

— Так слухай,— сказал Яненченко,— не всі у нас такі ледащі, як наш гетьман, що старого бабського черевика не варт. Не над козаками йому гетьмановати, а свині пасти. Без Дорошенка знайдемо собі іншого гетьмана. Чутка у нас права, що турський цар, довідавшись про Дорошенкову зраду, нарік гетьманом сина славної пам'яті Богдана Хмельницького Юрася, пожаловав його князем Малоросійської України, і велів одягнуть його у каптан і берет йому дати. Ми до його пристанем, коли з'явиться з турським незвитяжоним військом. Людей хоробрих, розумних і сталих нам треба. Відпокутуй вину свою, що вхопив нашого чоловіка в неволю. Приставай до нас. Зоставайся з нами, відступись од московського царя і присягни служить Богданову сину. А коли не захочеш так учинити — світу божого більш не побачиш! Тут зараз тебе і смерть постигне.

— Не те, що до вас пристану,— отвечал Молявка,— а намагаюсь наших полчан черніговських і других, як прилучиться, відвернуть од регіменту Самойловичевого.

— А брешеш, сучий сину! — сказал Губарь.— З ляку за свою душу нам се ти кажеш! Відкіля се воно так сталось, що позавчора, слугуючи вірно гетьманові-поповичеві, ти полонив нашого чоловіка, а сьогодні вже єдної думки з нами став. Брехня, брехня, не піддуриш нас! Думаєш як-небудь вишмигнуть від нас, а потім доведеш про нас!

— Ні, панове,— отвечал Молявка,— не хочу вас піддурювать, з щирого серця вам кажу. Хіба, ви думаєте, у нас на лівому боці забули про батька нашого Богдана? Хіба тоді про його забудуть, як уже ні одного козака там не зостанеться! Поки світ сонця — пам'ятатимуть і згадуватимуть його, і синові його слуговати раді будуть мало не всі. У нас якби просто ректи: отступіться од царя да приставайте до турка або до ляха, то правда — мало б знайшлось охітних. Або так сказати: відречіться од регіменту Самойловичевого, нехай буде вашим гетьманом Дорошенко, або Ханенко, або хто інший, хоч би хто з ваших мостей, то ледве би на те пристало багато. А Хмельницького імено — велике то слово! Тим і я, панове, як тільки сказали ви, що турецький цар наставляє Хмельниченка не тільки що гетьманом, а ще князем, зараз Бог зна як зрадів і з першого слова сказав, що хочу йому вірно слуговати! У нас, панове, давно така гадка між народом ходить, що коли-небудь прийде Юрко Хмельниченко відбирати свою батьківщину, і тоді всі до його пристануть, і вся Украйна поєднається, і не буде над нами ніякого чужого панування, ні московського, ні лядського, а своє власне буде, і усім лихам кінець прийде, і щастя Бог дасть людям своїм.

— Якби ми про Хмельниченка тобі не сказали, то б таки ти усе згодився мальованим способом на всяку нашу думку, аби тільки від нас вирваться. Бо ми тобі сказали, що смерть постигне тебе, коли не згодишся,— заметил Губарь.

— Ми тебе тільки так дражнимо, а ми тебе зараз поведем та розкажемо тебе розстріляти як московського шпига.

— Не злякався я, бо на те я козак,— говорил Молявка.— Чи можна козакові смерті боятись? На тім козацьке життя стоїть, що видюща смерть у його на кожнім кроку. Не вірите мені — ведіть розстріляйте. Коли-небудь умирати треба. Хоч десять літ, хоч двадцять — а все-таки колинебудь смерть прийде. Вічно не житиму. Розстріляйте мене, коли не вірите, а я вам правду сказав: як ви мене питали, так я вам і казав, як думаю. Я перед вами на святім хресті і на Євангелії присягнусь, що вірно слугуватиму Богданову синові. А не вірите, розстріляйте мене.

— Губарю! — сказал Яненченко,— поклич Остаматенка. Нехай перед нами трьома присягу виконає. Люди нам потрібні.

Губарь быстро побежал. Молявка стоял молча в раздумье, ожидая своей судьбы.

Яненченко первый прервал молчание и начал бранить Дорошенка. Молявка только слушал. Скоро воротился Губарь с новым лицом, в котором Молявка узнал того самого канцеляриста, который в первый приход в Чигирин сообщил ему, по приказанию Вуеховича, о Мотовиле. Молявка тотчас смекнул, что у этих господ, от которых теперь зависела его участь, что-то между собою не ладно и один под другим роет яму.

— Сей козак до нашої думки пристає і хоче нам в пригоді стати,— сказал Яненченко. Затем он рассказал предложение подговаривать левобережных казаков в пользу Хмельниченка.— Чи приймати його до нашого гурту, чи, може, розстріляти як московського шпига? Як думаєте, пане Остапе? — спрашивал он далее.

— Я так думаю, що приймати його до гурту. Нам людей треба,— отвечал новоприбывший.

— А Дорошенко, скурвий син, нехай віється ік дідьку! — начал снова Яненченко.— Нехай покуштує московського кнута, як Демко Многогрішний, що одібрав добру нагороду за свою вірную службу цареві.

— Хіба один тільки Демко! — заметил Молявка.— А Яким Сомко, а Васюта Золотаренко, а Оника Силич? А Мефодій архирей? Уже хто Москви прихильнішим був, як той архирей. А як йому за те Москва оддячила! Що казати? Мало хіба нашого люду запропастила проклятуща Москва! У нас така чутка досі ходить, що і самого батька Богдана Москва завчасу з світа білого звела: отрути, кажуть, йому поддали за те, що боярам не хотів годити. Московський цар тільки що зоветься і пишеться самодержець, а править не він. Всім заправляють і роблять, що хочуть, бояре, а цар тільки спить да їсть і п'є всласть.

— Правду говориш, товаришу! — сказал одобрительным голосом Яненченко.— Ходім же у церкву, там заприсягнешся. У нас єсть і піп такий, що з нами єдиної згоди.

Заговор о приглашении Юраска Хмельницкого уже зрел в Чигирине, хотя и не слишком еще распространился. Соумышленников у Яненченка было, может, каких-нибудь десятка три. В числе их был один из чигиринских священников. Это был прежде казак-запорожец, учился он когда-

то в бурсе, а потом воевал несколько лет с запорожцами по степям и рекам; за какое-то преступление в коше хотели было его заколотить палками; он впору убежал из Сечи, явился к митрополиту Тукальскому и просил посвятить его в попы. Случаи были в те времена не редкие, что казаки, прежде отличавшиеся достоинствами войсковых людей своего века, поступали в духовное звание. Митрополит посвятил и этого казака и назначил вторым священником при одной из чигиринских церквей. Его-то сманил на свою сторону Яненченко. Все четверо пришли к этому попу и просили привести к присяге новобранца. Поп вышел из своего дома; он, остерегаясь, чтоб не заметил и не узнал о происходящем главный священник того храма, где этот поп числился только вторым, провел казаков в церковь, приказавши им идти не вместе, а врозь. Когда сошлись в церкви, Молявка перед крестом и Евангелием произнес присягу со слов Яненченка и в этой присяге давал пред лицом вездесущего Бога обещание отступиться от московского царя и служить верою и правдою Георгию Гедеону Венжику Хмельницкому, гетману и князю Малороссийской Украины.

Между тем привезли к Дорошенке Мотовила с перехваченным «листом» и вместе с тем письмо от Полуботка: наказной гетман приглашал Дорошенка нимало не медля ехать по своему обещанию в стан. Уже было поздно.

— Завтра вранці поїду,— отвечал Дорошенко.

Настало утро. Когда обвиднело, Дорошенко приказал во всех чигиринских церквях благовестить на сбор народа и приказал позвать к себе Молявку, который, после данной им присяги на верность князю Малороссийской Украины, радовался, что избежал опасности, и ласкал себя сладкими грезами о предстоявшей возможности новыми услугами царю приобресть еще повышение по службе. Явился он к Дорошенку по зову гетмана. У крыльца его дома уже стояла оседланная и подведенная гетману лошадь.

— Тепер ти вільний! — сказал ему Дорошенко.— Поїдемо разом зо мною до вашого табору!

Вышедши из дома, Дорошенко сел верхом на подведенного ему коня и выехал со двора. На крыльце стояла его семья. Старшины были уже на улице, дожидаясь там гетмана. Весь город уже обегали сердюки, скликая народ на раду. И близ гетманского дома набралась такая толпа, что Дорошенку не без труда можно было проехать, чтоб стать

на таком месте, откуда бы долетавшая речь его могла быть удобно слышана на далекое расстояние.

Сидел Дорошенко верхом на сером породистом арабском коне, подаренном ему когда-то великим турецким визирем, и громогласно говорил:

— Православні християне! Добрий народе україно-мало російський! Приходить нам наш останній час! Не можна уже нам стояти за свою вольность. Самі відаєте, скільки літ стояв я за неї і чого не робив: і турків, і татар закликав, але бусурмане, ім'я наше християнське ненавидячи, нещиро нам давали поміч, думаючи об тім єдине, як би наш край у вічну неволю під себе загорнути. Куди не повернемось, усюди нам боляче і гаряче. Україна сьогобочна спустіла. Народ, який зоставсь не побитий від чужого меча, розбігся, покинувши батьківські оселі. Ні з ким стояти. Зосталось просить милості і ласки у білого православного царя. Відомо то усім, що моя думка була здавна така, що нема нам ліпшої долі, як зоставатися під високою рукою царського пресвітлого величества, єдиного православного монархи на світі. Тільки тому перешкодою було те, що православний цар не приймав нас, а розказував нам, щоб ми покорні були ляхам. А ми під ляхами буть не хотіли, і згодиться з ними нам ніяк не можна було, бо ляхи велще зрадливі люде і на змові своїй не стоять. До того ж старшина наша не вся змовлялась на тім, щоб одностайно цареві слуговать і покірними буть, боячись за свої вольності. Торік, як самі знаєте, присягали ми на віру православному цареві перед кошовим запорозьким Сірком, але царському пресвітлому величеству тая наша присяга не приймовна, і тепер посилає православний цар свою військову силу, щоб ми присягли перед гетьманом Іваном Самойловичем і царським боярином князем Григорієм Ромодановським і перед ними з себе гетьманство своє зложили. Биться нам не годиться, да і ні з ким до бою стати. Покладаймось цалє на ласку царського пресвітлого величества з тим єдине варунком, щоб нас при нашім бідолашнім житії і при нашій щуплій худобі зоставили. Така моя думка, панове громадо!

— Згода, згода! — раздалось множество голосов.

— Нема згоди! — раздался в толпе один резкий голос, а за ним голосов двадцать, как это, повторили: — Нема згоди!

— Хто кричить «нема згоди», нехай вийде і скаже: що ж нам діяти і куди обернутись? — сказал Дорошенко.

— Під турком лепш буде! — закричал кто-то.

— А чому до ляхів не послати? — раздался голос Шульги.

— К чортовому батькові ляхів! — крикнул брацлавский полковник Булюбаш.— Хто ще скаже, щоб нам коритись ляхам, того ми каменюками поб'ємо!

— Ляхи наші прирожденні вороги! — кричали другие.

— Краще чортові коритись, ніж ляхові! — повторяли иные.— Нема з ляхами згоди й довіку, до суду не буде!

— Я бачу,— сказал Дорошенко,— що все велике множество чигиринського люду хоче покоритися волі православного монархи, царського пресвітлого величества. Так я поїду до гетьмана Самойловича, поклонюсь йому і здам своє гетьманство, випрохавши тільки, щоб вас з осель ваших гвалтом не виводили. А сам куди розкажуть мені їхать, туди й поїду. Простіть мене, братія, аще в чім яко чоловік прогрішився проти вас всіх в обець і проти кожного особно; і я всіх тих прощаю, аще хто проти мене зло мислив!

— Нехай Бог тебе покриває своїми святими крилами! — провозгласила толпа.

Священники в ризах вышли со крестами в руках. Понесли вперед Евангелия, образа, хоругви. Дорошенко сошел со своего коня и сел в поданную колясу. Многие видели, что у него на глазах сверкали выступившие слезы.

Коляса Дорошенка медленно ехала за крестным ходом. Позади колясы и по бокам ее ехало, шло и бежало множество народа обоего пола: те следовали верхом, другие — в повозках, большая часть — пешком. Были тут седовласые старцы, были и недоросльіе хлопцы. Под звуки колоколов шествие это вышло из ворот города и потянулось к югу. При переезде через казацкий стан караульные окликали шествие. Был ответ: гетман Петр Дорошенко едет в войско царского величества сдавать свое гетманство! Дорога, окаймляясь рядами курганов, памятников глубокой старины, которых такое множество вокруг Чигирина, привела в яр, посреди которого протекала речка Янчарка. По берегу ее белели полотняные шатры великорусского отряда. Перед шатром предводителя Григория Ивановича Косагова стоял стол, на котором лежали крест и Евангелие. Косагов уже дожидался Дорошенка, стоял в малиновом кафтане, расшитом золотными травами, с козырем, украшенным жемчугом; на голове у него была остроконечная, подбитая соболем шапка. Около Косагова стояли великорусские начальные люди и малороссийские полковники, присланные к

Чигирину. Крестный ход уже достиг своей цели; хоругви и образа блистали под лучами яркого солнца.

Подъехала наконец к шатру коляса гетмана.

Дорошенко сошел на землю. За ним вынесли из этой колясы бунчук и булаву во влагалищах; бунчук поставили близ стола, булаву положили на столе.

Дорошенко, приблизясь к Косагову, поклонился, прикоснувшись пальцами до земли, и сказал:

— Стольник великого государя Григорий Иванович! По воле великого государя моего царя и великого князя Федора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, приехал я поновить пред тобою присягу на верность царскому пресветлому величеству, которую дал прежде перед кошевым запорожским Иваном Сирком и донским атаманом Фролом Минаевым.

Косагов сказал ему:

— Гетман Петр Дорофеевич! То учинил ты зело добре. Великий государь тебя за то жалует и приказывает похвалять и спросить тебя и всех чигиринских казаков и все посольство о здоровье. Вот крест и Евангелие. Присягни пред ними, что ты поедешь к гетману Ивану Самойловичу и к боярину князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому в обоз под Вороновку сложить свое гетманство и дать присягу на верное и вечное подданство его царскому величеству!

Дорошенко, подошедши к столу, произнес присягу, повторяя слова священника, приехавшего вместе с Косаговым.

После присяги Дорошенко повидался с Полуботком и другими казацкими полковниками и, указывая на Молявку, стоявшего сзади, сказал:

— От ваш атаман, живий і здоровий. Поможи вам, Боже, за те, що обійшлись як слід братам і товаришам. Тепер уже все скінчилось. Воювати між собою не будем. Прийміть мене до свого гурту, бідного вигнанця, не пам'ятайте, що діялось перед сим. Самі ви люди розумні, зрозумієте, що я мусив зберігати, що мені полєцано було, а тепер нехай божа воля станеться.

— Ти, пане, свою справу чинив, а ми свою чинили,— сказал Борковский.— Не пам'ятуй і ти, що ми на тебе войною ходили. Як перед сим щиро вороговали, так тепер, замирившися, станем тебе поважати і кохати як брата і товарища!

— Вернуться мої посланці, тоді я з вами до головного обозу поїду,— сказал Дорошенко.

Полуботок пригласил Дорошенка в шатер на чарку горилки. Подали Дорошенку налитый вином серебряный кубок. Взявши его в руки, он поднял его вверх и провозгласил здоровье гетмана и всего войска Запорожского.

За шатром раздался гул. Послышались крики: «Повернулись! Повернулись!» Дорошенко поставил на стол кубок, еще не успевши допить его, отступил и отвернул полу шатра. Он увидел Вуеховича и Тарасенка, которые вставали из колясы и держали в руках по листу бумаги. Их колясу кругом обступила толпа чигиринцев, прибывших в стан вместе с Дорошенком.

— Що, братці? — с видом вопроса крикнул к ним Дорошенко, еще не допуская их к себе приблизиться.

— Все як належить! — отвечал Кондрат.

— Дяковать милосердому Богові! — громко произнес Вуехович.— На все згодились і твою милость якнайскоріш до себе чекають. От листи від пана гетьмана і від боярина Ромодана... А се, пане, лист до твоєї милості особистий від пана Мазепи,— прибавил Вуехович.

Дорошенко прежде всего схватил в руки письмо от Мазепы, так как его занимало желание укрыть от великорусского начальства последнюю отправку Мотовила к салтану Нуреддину. В этом письме от Мазепы Дорошенко нашел только неясное и короткое уверение, что со стороны гетмана и старшин будет сделано все по желанию Дорошенка, сообщенному Вуеховичем.

IX

Освободившись из Чигирина, Молявка рассказал прежде всего обо всем, что с ним происходило, своему полковнику Борковскому. Немедленно Борковский сообщил об этом наказному, а Полуботок нашел, что принесенные Молявкою известия до того важны, что следует отправить самого этого Молявку к гетману, пусть Молявка сам лично расскажет ясновельможному все, и тогда главные регименгари царских войск могут в пору сообразить, что им делать и какие меры предпринять в ожидании вновь затеваемой смуты. Полуботок приказал составить об этом «лист» к Самойловичу, вручил его Молявке для передачи и приказал последнему, в дополнение к написанному, словесно обстоятельнее изложить все, что найдут нужным узнать от него.

В тот же день отправился Молявка и прибыл в главный обоз под Вороновкою. Его, как посланца от наказного, провели к ставке гетмана. В оное время походы совершались не с такою быстротою и не так налегке, как теперь. Военачальники останавливались с войском иногда надолго и должны были иметь с собою все удобства, какими пользовались в постоянных местах своего пребывания. Об удобствах подначальных и рядовых воинов и даже их продовольствии заботились тогда мало, но зато уже те, которые ими начальствовали, всегда брали с собою всего много. У малороссийского гетмана в походе была и своя походная церковь с духовенством, и своя походная кухня, и буфет, и канцелярия, и прислуга, иногда очень многочисленная. Гетман Самойлович, совершая походы разом с великороссийским боярином, начальствовавшим царскою ратью, посылаемою в Малороссийский край, устраивал пиршества, приглашал на них и своих и великороссийских начальных людей, отправлял в столицу посланцев с вестями, принимал московских и других послов и гонцов, творил на походе суд и расправу со старшиною. При таких обычаях необходимо было брать с собою и возить множество вещей и людей, тем более что при малолюдстве края и при бедности культуры не везде можно было добыть всего, что окажется нужным. Таким образом, где только останавливалось войско на продолжительное время, в обозе возникал вдруг многолюдный и шумный город. Так было и под Вороновкою.

Гетманская ставка была в средине обоза; она состояла из купы шатров, между которыми отличался нарядностью и обширностью шатер самого гетмана Самойловича, разбитый на три части, отделенные одна от другой холщовыми выкрашенными занавесами. Переднее отделение имело вид обширной залы и было установлено полками со множеством серебряной посуды. Посреди стояли столы и при них складные стулья. Туда ввели Молявку. Самойлович находился тогда в другом отделении шатра, в своей спальне, и сидел там на своей походной постели перед столом, на котором лежали бумаги. С ним было двое из особ уже близких к нему, но не занимавших еще старшинских мест: один был Иван Степанович Мазепа, другой — Василий Леонтьевич Кочубей; оба они состояли в неопределенном звании значных войсковых товарищей; все, однако, в войске уже знали, что это самые приближенные к гетману люди. Прочитавши переданный Самойловичу через служителя «лист» Полуботка, привезенный Молявкою, гетман дал этот «лист» прочитать Мазепе и Кочубею, потом велел Мазепе поговорить с тем хоружим, который прислан с «листом».

Впущенный в переднее отделение гетманского шатра, Молявка был поражен множеством серебряной посуды. Ничего подобного не мог он видеть в своей жизни, до сих пор протекавшей в скромной обстановке быта рядовиков, где какая-нибудь полдюжина серебряных чарок да серебряная солонка в шкапчике считались уже признаком Бог знает какого довольства. А тут — в поставцах, расставленных во все стороны, горели, как жар, в таком множестве позолоченные и серебряные под чернью роструханы, достаканы, кубки, солоницы, ложки, черенки ножей и вилок,— и все это сработано с вычурами, «штучне», как говорили тогда малороссияне.

Молявка уже приучил себя к почтительности перед высшими лицами и притом слышал от Булавки, что у гетмана Самойловича старшины генеральные сами сесть не решаются, прежде чем он не пригласит, а потому Молявка не смел сесть, хоть и немало стульев там было расставлено. Молявка стоя глазел на посуду, не дерзая подойти к ней поближе. Вот, наконец, развернулась пола занавеса, отделявшего переднее отделение шатра от другого, внутреннего, и из-за нее вышел худощавый, среднего роста человек с чрезвычайно добродушным выражением лица и с осклабляющимися губами, но с проницательными черными глазами. То был Мазепа.

— А де черніговської сотні хоружий, що привіз від Полуботка лист до ясновельможного пана? — спросил он, поводя глазами.

Молявка тотчас подошел к нему и поклонился в пояс. Мазепа сказал:

— Розкажи мені, серденько козаче, як ти ходив до Дорошенка в Чигирин, що там бачив і що чув. Усе розкажи по ряду; ясновельможний гетьман велів тебе розпитати.

Молявка принялся рассказывать подробно о всех своих приключениях, и когда пришлось говорить о собственных подвигах, Мазепа телодвижениями показывал ему одобрение. Но Молявка и на этот раз, как при передаче того же Борковскому, не сказал Мазепе, что насчет Мотовила предупредили его заранее в Чигирине. Мазепа, вглядываясь ему пристально в глаза, перебил его вопросом:

— А Вуєхович тобі нічого про се не сказав? Він не

говорив з тобою? Може, він коли не сам, то через кого іншого звістив тебе?

Не решился Молявка отрицать этого, видя, что господин, который его спрашивает, как будто еще и не слыша его слов, читает, что у него на уме. Он сказал, что было именно так.

— А не знаєш, як зовуть того, що тебе звістив? — спрашивал Мазепа.

— Його зовуть Остаматенко. Я узнав про те опісля, як мене Яненченко підмовляв; тоді й сей був з Яненченком,— сказал Молявка.

— Кажи дальш,— сказал Мазепа.

Молявка говорил, как Дорошенко оставил его аманатом. Мазепа сказал:

— Дорошенкові хотілось, щоб московські гетьмани не знали, що він хотів бусурмана знов закликать. Нехай не турбується. Хоч нічого не утаїться од нас перед царським величеством, єднак Дорошенкові з того лиха не буде.

Молявка рассказал, как Яненченко с товарищами принудили его дать присягу на верность Хмельниченку.

— А як же, козаченьку, не стидно було тобі давать мальовану присягу? — сказал тоном укора Мазепа.— Хто ж після сього віру іматиме і другій твоїй присязі?

Не допустивши ответа, Мазепа вышел. Молявка стоял, словно кто его холодной водой окатил. Он почувствовал, что Мазепа вывороти ему сразу душу наизнанку и заглянул в нее так глубоко, как он сам ни за что не хотел, чтоб кто-нибудь заглядывал туда.

Мазепа передал гетману все, что слышал от Молявки.

— Я думаю,— сказал гетман,— тепер, як ми вже знаємо, що в Чигирині складається факція за Хмельниченка і його навіть чекають з турецькою силою, то уже Дорошенка жодною мірою не можна зоставляти в Чигирині. Бо Дорошенко через свою жінку свій чоловік Хмельниченкові. І Павло Яненко, тесть його, і діти Павлові того ж роду. Як Дорошенко приїде до нас, сказати йому зараз, що по царській волі мусить він незабаром перебиратись по наш бік Дніпра. Я йому покажу мешкання. Ти що на се повідаєш, Іване Степановичу?

— Ясновельможний пане! — сказал Мазепа.— Ти нашого зда́ня питаєш, ніби шкілюючи з нас. Бо нам зостається тільки, як дурням, лупать очима і ніби твоїй милості похлібствовати. Хоч який справедливий слуговець своїй отчизні — не здолає тобі власної ради дати, бо як скаже

щиру правду, то правда та мусить походити не від його, а від тебе, бо скаже те, що ти перш сам вимовиш. Твоя милость завше дасть сам таку мудру резолюцію, що нам не зостанеться нічого, як тільки згодиться з тобою. Бо хоч би ми три дні, п'ять день мірковали, то не додумались би ні до чого найліпшого. Якби у царя, великого государя нашого, на Москві коло його пресвітлого престола були такі особи мудрі, як наш гетьман,— не діялось би того, що діється часом.

— Я думаю,— продолжал Самойлович,— Дорошенкові дать мешкання в Сосниці, бо то буде недалеко від Батурина. А в Сосниці сотником наставити козака такого, щоб можна було на його покластися, щоб він за Дорошенком пильно назирав.

— Істинно розумно! — сказал Мазепа. Повторил то же выражение и Кочубей.

— А сотником наставить того хоружого, що привіз нам сей лист,— сказал гетман.— Що ви на се речете, панове?

— Ясновельможний пане! — сказал Кочубей.— Сей хоружий, будучи в Чигирині, заприсягнувсь Хмельниченкові слуговати. Чи не зрадить він і нас, як тепер уже зрадив Хмельниченка, заприсягнувши йому віру?

— А ти що на се повідаєш, Іване Степановичу? — спросил Самойлович Мазепу.

— Я,— сказал Мазепа,— своїм малим розумом уважаю так, що нема нічого мудрішого, як того хоружого наставить сотником там, де мешкатиме Дорошенко. Видко уже, що то за голова, коли так хитромудро, невеликим коштом і нам корисно справив своє полєценя в Чигирині. А що пан Кочубей промовив, то з назбит чулої гордливості ку добру сполному, але несправедливе. Коли ворог приставить ніж до горла да стане казати: присягайся мені, а то я тебе заріжу,— то прийдеться хоч кому згодиться з ним і штучне присягнути, а потім усе те на добро своїм повернути, то буде розумніш, ніж голову положити і дарма пропасти. Не га́ни, а шани варт сей козак за свій поступок.

— І я так думаю,— сказал Самойлович.— Нехай сей хоружий буде сотником в Сосниці. Хто тепер там сотник?

— Стецько Литовчик,— отвечал Кочубей.

— Я тому Литовчику подарую маєтку і універсальний лист на неї дам. Нехай зостається поки значним войсковим това́ришем! А сього сотником наставити. Іване, поклич його до мене, а ти, Василю, дай мені список маєткам до роздавання в Черніговському полку,— говорил гетман.

Мазепа вышел. Кочубей нашел и подал гетману рукописный перечень имениям, определенным в раздачу. Гетман углубился в него. Между тем Мазепа позвал Молявку, и тот, ступая на цыпочках осторожно и почтительно за Мазепою, вошел в отделение гетманской спальни. Самойлович, не отрывая глаз от списка и не повертывая головы к вошедшему, стал говорить к нему таким тоном, как будто уже целый час с ним ведет беседу:

— Відсіля поїдеш у Сосницю. Я тебе туди наставляю сотником. Там житиме Дорошенко. Приглядуй за ним. В обидва ока гляди. Коли що від його затіється недобре, а ти не доглянеш, то не утечеш жорстокого карання і конечного розорення. Але не дражни його ніяк. Доглядай за ним так, щоб він не знав і не помічав, що ти за їм назираєш. Гречне, уштиве і поважливо з ним поводись. Часто одвідуй його, але так, щоб він ні разу тобі не сказав: «Чого ти мене турбуєш?» Ходи до його ніби для услуги йому, підмічуй, в чім йому потреба, і, не дожидаючись, поки він тебе попросить, сам для його все достарчай, а чого сам не здолаєш, про те зараз до мене давай звість. Щоб ти знав, коли хто до його в гості прибуде і коли він кого з своїх домових куди посилатиме. Усе щоб ти провідав і знав. І про все таке мені просто до власних рук моїх гетьманських пиши. Нікому про се не кажи, що ти за Дорошенком назираєш, тільки я да ти про себе щоб відали. Їдь собі з Богом до своєї нової сотні. З моєї канцелярії оцей пан (он указал на Кочубея) дасть тобі універсальний лист на сотництво за моїм власним підписом.

Проговоривши все это, гетман, до того времени все устремлявший глаза в лежащий перед ним список, в первый раз взглянул на того, кому говорил, окинул его взором своим с головы до ног и опять стал рассматривать свои бумаги.

Молявка поклонился низко уже более не глядевшему на него верховному своему начальнику и вышел в большой радости. Слова гетмана о том, чтоб он писал прямо к нему, приятно отдавались у него в ушах. Он понимал, что дозволение сотнику сноситься непосредственно с гетманом, помимо полковничьего уряда, было большое к нему внимание, и он чувствовал, что высоко поднимается на своем служебном поприще.

Мы не станем описывать, как Дорошенко, забравши толпу выборных из чигиринцев и скрывавшихся в Чигирине жителей других правобережных городков, в сопровождении

Полуботка и его казаков ездил в обоз под Вороновкою, сложил с себя гетманское достоинство, передал гетману Самойловичу свой бунчук, булаву, знамена, грамоты, полученные прежде от турецкого падишаха, двенадцать пушек, как принес в присутствии царского боярина Ромодановского и гетмана Самойловича присягу на вечное и непоколебимое подданство великому государю, как потом, возвратившись в Чигирин, сдал Самойловичу этот город со всеми боевыми запасами и получил от Самойловича, сообразно царской воле, приказание переехать с семьею на житье на левый берег Днепра, где гетман указал ему местопребывание в Соснице. Все эти важные исторические события не относятся непосредственно к нашему рассказу.

X

Схватившие Ганну Кусивну, обезумевшую от внезапного похищения, притащили ее в дом воеводы, где был устроен чердак в качестве отдельной горницы; там стояла кровать с постелью, несколько скамей и стол. Туда встащили Ганну по крутой, узкой лестнице и заперли за нею дверь. Несколько времени не могла Ганна опомниться и придти в себя: ей все это казалось каким-то страшным сновидением; ей хотелось скорее проснуться.

В горницу, где она была заперта, вошел наконец Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь и приосаниваясь, сел он на скамью и говорил:

— Здорово, красавица, хорошая моя, чудесная, ненаглядная, несравненная! Здорово!

Ганна, не придя еще в себя, стояла перед ним растерянная и смотрела бессмысленными глазами.

— Увидал я вперво тебя в жизни,— продолжал Чоглоков,— и пришлась ты мне по сердцу вот как!

При этом он рукою повел себя по горлу. Ганна продолжала стоять как вкопанная.

— Лучше и краше тебя не видал на свити! — говорил Чоглоков.— Вот ей же Богу не видал краше тебя!

Ганна продолжала стоять перед ним, выпучивши глаза.

Воевода продолжал:

— Ты не знаешь девка, кто таков я. Так знай: я тут у вас самый первый человек. Знатнее и выше меня здесь из ваших никого нет. Ваш полковник подошвы моего сапога не стоит, сам ваш гетман мне не под стать. Вот кто я такой! Я от самого царя-батюшки великого государя сюда при-

слан: я царское око, я царское ухо. Сам великий государь меня знает и жалует. А ты, дурочка хохлушечка, знаешь ли, что такое наш царь, великий государь? Он все едино, что Бог на небе, так он, царь, на земле со всеми властен сделать, что захочет! А я его ближний человек, воевода над вами! Так я для вашей братии все равно, что царь сам. Вот и смекни, девка!

Ганна Кусивна начинала понемногу приходить в себя, но еще не вполне понимала свое положение и не в силах была давать ни ответов, ни вопросов.

— Теперь слыхала,— продолжал свою речь воевода, немного помолчавши,— что я за человек такой? Вот какому человеку полюбилась ты, девка, пуще всех. Таково уж твое счастье, девка. Я хочу, чтоб ты стала моею душенькою, моею лапушкою!

— Я чужая жона! — пробормотала Ганна.

— Какая такая чужая жена? — сказал, захохотавши, воевода.— Что ты, девка, шутки строишь? Нешто жены чужие, замужние бабы ходят с открытою головою, в лентах с косами, как ты?

— Я повінчаная! — произнесла Ганна.

— Когда? — произнес воевода.

— Сьогодня,— отвечала Ганна.

— Сегодня? — говорил воевода, продолжая хохотать.— Что ты меня дурачишь? Сегодня? Разве я турок или католик, что не знаю своей веры? Какое сегодня время? Теперь пост Петров. В такие дни венчать не положено.

— Я не знаю,— произнесла Ганна.— Владика розрішив. Нас вінчали, я повінчаная!

— Неправда твоя, девка! — сказал Чоглоков.— Того быть не может. У вас все одна вера, как у нас. А коли у вас такие дураки владыки, что в посты венчать позволяют, так твое венчанье не в венчанье, потому что противно закону святому. Ну, коли говоришь, венчалась, так где же твой муж и зачем же ты, повенчавшись с ним, ходишь по-девочьи, с открытыми волосами?

— Мужа мого угнали з козаками в поход,— сказала Ганна, мало-помалу приходя в себя,— а я буду ходить по-дівоцьки, поки вернеться з походу; тоді весілля справлять і мене покриють.

— Как это веселье? — спрашивал воевода, не вполне понимая чуждый ему способ выражения.— По-вашему, значит, в церкви венец не всему делу конец! Нужно еще какое-то веселье отправлять! Значит, венчанье свое ты сама

за большое дело не почитаешь, коли еще надобно тебе какого-то веселья? Стало быть, на мое выходит, что твое венчанье — не в венчанье. И выходит, девка, что ты затеваешь, будто венчалась. Стало быть, он тебе не муж, а только еще жених. А для такого важного человека, как я, можно всякого вашего жениха побоку.

— Ні, він мені не жених, а муж став, як я повінчалась! Я чужая жона! — говорила Ганна.

— Не муж он тебе, красавица моя, поверь моему слову. Я закон лучше тебя знаю. Можно тебе его послать к херам для такого большого человека, как я,— произнес Чоглоков.

— Ні на кого я не проміняю свого мужа! — сказала решительным голосом Ганна.— Не піду я на гріх нізащо на світі. Я Бога боюсь. Ти, хто тебе зна, що за чоловік: говориш, буцім присланий від самого царя. Як же ти, царський чоловік, таке діло твориш: чужу жінку зманюєш? Хіба цар тебе до нас на худе послав? Коли ти від царя посланий, так ти нас на добре наставляй, а не на погане!

— Я на доброе дело тебя и наставляю. За кого такого ты замуж выходишь? — спрашивал воевода.

— За того, кого полюбила і за кого отець і мати оддають! — отвечала Ганна.

— Слушай, девка! — говорил воевода.— Я очень богат, денег у меня много-много, и вотчины есть: озолочу!

— Не треба мені твоїх деньог і вотчин! Шукай собі з своїми деньгами й вотчинами іншу, а мене пусти до батенька і до матінки! — проговорила Ганна и зарыдала.

— Не упрямься, душенька. Слышишь, не упрямься! — сказал воевода и, вставши, хотел обнять ее.

— Геть! — крикнула Ганна не своим голосом.— Ліпше убий мене на сім місці, а я на гріх з тобою не піду! Я чесного роду дитина, дівкою ходивши, дівоцтва свого не втеряла і, ставши замужем, своєї доброї слави не покаляю!.. Геть! Нехай тобі лихо!

— Что ты говоришь о доброй славе да о грехе! — сказал воевода, более и более воспламеняясь страстью.— Какая тут недобрая слава? Какой тут грех? Ты мне так по сердцу пришлась, что я тебя за себя замуж хочу взять!

— Неправда! Замуж ти мене не візьмеш, а тільки дуриш, хочеш, як би улестить мене. Як таки тобі, такому значному царському чоловікові, да просту дівку за себе взяти, да ще не з свого московського роду? А хоч би ти і вправді се говорив, так сьому статись не можна, бо я вже казала тобі:

я чужа жона вінчана, і замуж іншому не можна мене вже брати!

— А я говорю тебе, что твое венчанье не в венчанье. Не по закону венчать тебя разрешил владыка. Над вашим владыкою есть другой владыка постарше, патриарх. Он твоего венчанья не вменит в венчанье и разрешит тебе выйти за меня замуж!

— Я,— говорила с более смелым и решительным видом Ганна,— вже тобі сказала, що я чужа жона, мене повінчали. Да хоч би і ваш патріарха, як ти кажеш, розрішив, то я би за тебе не пішла. Люблю я свого Яцька і ні на кого в світі його не проміняю.

— А меня, стало быть, не любишь! — сказал воевода с зверской яростью.

Ганна молчала, переминаясь.

Воевода еще раз спросил:

— А меня, стало быть, не любишь? Не хорош я для тебя?

— Не люблю! — сказала смело Ганна.— Як я любитиму такого, що його вперше бачу?

— Я сказал тебе, кто я такой,— промолвил воевода.— Коли не веришь, спроси у кого хочешь: все тебе скажут, что я царский воевода, в Чернигов прислан!

— Да будь ти не те що воєвода, будь ти самий найперший, як там у вас зоветься, князь, чи що, хоч самого царя син,— я за тебе не піду, а гріха творить не стану ні з ким!

— Так-таки не пойдёшь за меня? — спрашивал воевода, которого черты лица принимали все более и более зверское выражение.

— Так-таки не піду! — отвечала Ганна.

— И не любишь меня? — спрашивал дико воевода.

Ганна остановилась ответом. Воевода повторил вопрос.

— А сам знаєш! — отвечала она; потом, разразившись рыданием, бросилась к ногам его и говорила: — Відпусти мене, боярине, Христа ради відпусти до батенька і до матінки!

— Ну нет, девка! — сказал воевода.— Не на то я тебя сюда велел привести, чтоб, ничего с тобой не сделавши, да отпустить. У нас говорят: кто бабе спустит, тот баба сам. Хоть плачь, хоть кричи — ничего не пособишь. Тут, окромя меня, никто тебя не услышит. Ты теперь в моих руках и от меня не вырвешься. Коли не хочешь добром, ласкою, так будет по-моему силою!

— Боярину! — вопила Ганна.— Відпусти мене! Батечку!

Голубчику! Пожалій мене, сироту бідну! Я нікому не скажу, що зо мною діялось, ні батькові, ні матері, нікому! Відпусти! Бог тобі за те нагородить усяким добром. Голубчику! Пошануй! Відпусти!

— Нет, девка-красавица! Не отпущу! — говорил воевода.— Больно ты мне приглянулась, к сердцу мне пришлась!

— Пане воєводо! — промолвила Ганна, поднявшись и ставши с выражением собственного достоинства.— У мене есть чоловік. Він узнає і заступиться за мене. Він до самого царя дійде і суд на тебе знайде!

— Ого, девка! — сказал воевода со злобною усмешкою.— Ты еще пугать меня своим казаком! Он до царя самого дойдет! Э! Далеко ему до великого государя, как кулику до Петрова дня! Что твой казак? Наплевать на него! Что он мне сделает? Я царев воевода. Мне больше поверят, чем какому-нибудь хохлачу-казачишке. Не боюсь я его, дурака. Что хочу, то вот с тобой и учиню. Полюбилась ты мне зело, девка! — Он схватил ее поперек стана.

— Я розіб'ю вікно, кинусь, уб'юсь! На тобі гріх буде! — кричала Ганна.

— Окно узко! Не пролезешь! — сказал воевода...

Ганна барахталась. Напрасно!..

. . . . . .

Утром другого дня сидел воевода в своем доме. Перед ним стоял холоп его Васька, один из ухвативших в тайнике Ганну, парень лет двадцати с лишком, с нахальными глазами, постоянно державший голову то на правую, то на левую сторону, часто потряхивая русыми кудрями. Воевода говорил:

— Васька, хочешь жениться?

— Коли твоя боярская воля будет,— отвечал Васька.

— У тебя зазнобушки нет? — спросил воевода.— Правду отвечай мне.

— Нету, боярин! — ухмыляясь, ответил Васька.

— Найти невесту тебе? Хочешь, найду, красавицу... ух! — говорил воевода.

Васька только поклонился.

— Вон ту девку, что вы с Макаркою подхватили. Хочешь? — сказал воевода.

— Помилуй, государь,— сказал Васька.— Моему ли холопскому рылу такие калачи есть! Она просто краля писаная!

— Так вот на этой крале я хочу женить тебя,— продолжал воевода.— Хочешь али нет?

— Ведь она повенчанная, боярин,— сказал Васька.

— Это не в строку,— перебил воевода.— Развенчаем. В пост их венчали; такое венчанье не крепко!

— Венчать в другой раз, пожалуй, не станут! — заметил Васька.

— Вы повезете ее в мою подмосковную вотчину,— там вас отец Харитоний обвенчает. Он все так сделает, как я захочу. А я напишу ему с вами; вот он вас и обвенчает. Только вот с чем, Вася,— как меня из Чернигова выведут, тогда я тебя с женою в Москву вызову: ты будешь пускать жену свою ко мне на постелю?

— Не то что пускать, сам ее к тебе приведу,— отвечал Васька.— За большое счастье поставлю себе.

— А я тебя, Васька, за то озолочу,— говорил Чоглоков.— Первый у меня человек станешь. Коли захочешь — и приказчиком тебя над всею вотчиною сделаю. И платье с моего плеча носить будешь, и есть-пить будешь то, что я ем-пью!

— Как, твоя милость, захочешь, так и будет! — отвечал Васька, кланяясь.— Мы все рабы твои и покорны тебе во всем должны быть. Ты нам пуще отца родного, кормилец наш, милостивец!

Чоглоков говорил:

— Запряжете тройку в кибитку, посадите в нее хохлушку, закроете кожами и рогожами и повезете из города тайно в полночь. Держите ее крепко, чтоб не выскочила и не кричала, пока уж далеченько от города уедете. Ничего с ней не говорите о том, что с нею станется и куда ее везете. А привезете в нашу вотчину — тотчас отцу Харитонию мое письмо подадите: он вас обвенчает. Будешь с женою жить у меня во дворе в особой избе, а я напишу приказчику, чтоб выдавал вам помесячно корм во всяком довольстве.

В полночь выехала из черниговского замка воеводская кибитка, вся закрытая кожами и рогожами. Внутри ее сидела связанная толстыми веревками по ногам Ганна Кусивна, а по бокам ее — Васька и Макарка. Она силилась было вырваться, но Васька держал ее крепко, ухвативши за стан, а Макарка затыкал ей платком рот, как только она показывала намерение крикнуть. Правили лошадьми двое сидевших напереди стрельцов. Переехали на пароме Десну. Проехали еще верст пять. Васька тогда открыл кожу кибитки.

— Не бойся, девка, не мечись, не рвись! — говорил он.— Не улизнешь. Будешь сидеть и молчать — оставлю кибитку не закрытою и держать тебя не буду, а станешь шалить — опять закрою и сдавлю тебя так, что будет больно.

Проехали еще верст двадцать. Ганна молчала. Тогда Васька и Макарка сняли с ее ног веревки, но обвязали ей стан и попеременно держали в своих руках конец веревки, так что не выпускали ее из своих рук ни на шаг даже и тогда, когда вставали из кибитки. Но в самой Ганне произошла тогда такая перемена, какой она бы сама не предвидела за собою. Она внутренне рассудила так: «Горе меня постигло великое, такое, что уж хуже и тяжелее быть не может. Надобно терпеть. Богу, видно, так угодно. Коли Бог сжалится надо мною, то пошлет по мою душу и приберет меня с сего света либо из этой тяжкой горькой беды меня вызволит, а не угодно то будет Богу, а воля его святая станется такова, чтоб я на этом свете долго мучилась,— буду мучиться и терпеть. Все, что со мною станут делать, пусть их делают, пусть поругаются, издеваются надо мною, как хотят: все это, значит, Богу так угодно!» И с этой твердой думой впала она в какое-то деревянное отупение, не покушалась уходить, во всем повиновалась своим тиранам; дадут ей обед и скажут: ешь и пей,— она ест и пьет; скажут: ложись и спи,— и она ложится и даже засыпает, потому что горе ее притомливает.

Так везли ее через города и села; когда с ней говорили, она отвечала, но односложными словами, и наиболее обычный ответ ее был: не знаю. Так довезли ее в вотчину Чоглокова, в село Прогной на реке Протве.

Холопи, привезшие Ганну, въехали на боярский двор, вывели ее из кибитки и засадили в чердачном особом покое. Ганна, очутившись одна, с час поплакала, а потом от утомления заснула. Она уже не заботилась, что с нею станется. Ее держали под замком и, принося ей пить и есть, уходили не иначе, как запирая двери за собой замком, но это, собственно, было уже лишним: пленница не побежала бы, если б ее оставили и с отворенною дверью; она бы не отважилась на побег уже потому, что не знала, куда ее завезли и далеко ли очутилась она от родного Чернигова.

Между тем Васька и Макарка пошли с письмом Чоглокова к священнику, отцу Харитонию. Этот священник был из холопей Чоглокова. Господин отдал его обучаться грамоте, а потом, давши взятку в Патриаршем приказе, исходатайствовал посвящение его в попы в свою вотчину. Ставши

отцом Харитонием, бывший мужик-сиволап, он не без запинки умел читать богослужебные книги, а в исполнении всех своих обязанностей, вместо всякой кормчей, служила ему воля вотчинника прихода, в который его поставили. Что господин прикажет — он все исполнит без рассуждения, считая, что не он, а господин будет в ответе, если что им приказанное — несправедливо. При таком взгляде на свои пастырские обязанности и при своем круглейшем невежестве в религии почтенный отец Харитоний ничего не мог произнесть, кроме полной готовности сделать все так, как в письме к нему приказывал теперь господин. И вот в одно из ближайших воскресений холопи, привезшие Ганну, вошли к ней и велели идти за собою. Она повиновалась, не спрашивая, куда и зачем идти ей. Ее привели в церковь, где окончилась обедня. Кроме Васьки и Макарки, стояло там еще неизвестных Ганне трое холопей. Пономарь в мужицком зипуне и в лаптях зажег пред местными образами свечи и дал по зажженной свече Ваське и Ганне. Отец Харитоний вышел в облачении, отворил царские врата и, подойдя к аналою, стоявшему посреди церкви, начал последование бракосочетания. Исполняя буквально то, что перед ним написано было в книге, лежавшей на аналое, он обратился к Ваське и Ганне и спросил того и другую: не принужденное ли желание имеют они вступить в супружеский союз? Тут только поняла Ганна, что с ней выделывают, и благим матом закричала: «Не хóчу! Нельзя! Я повінчана з другим!» Но священник не обратил на это внимания, как будто не слыхал ее слов, и продолжал богослужение. Ганна не хотела ни за что надевать поданного ей кольца, но холопи надели ей на палец это кольцо насильно, а Васька шепнул ей, что она будет жестоко побита, если станет упрямиться, и все-таки ее повенчают. Ганна оставила на пальце надетое ей насильственно кольцо. Когда новобрачных повели вокруг аналоя, Ганна горько плакала, порывалась кричать и бежать, но шедший рядом с нею Васька сказал ей: «Молчи! А не то мы с тебя кожу сдерем!» — и Ганна ограничилась горьким рыданием. После окончания венчания священник, все-таки исполняя буквально то, что видел написанным в требнике, приказывал новобрачным поцеловаться. Ганна с омерзением отворотилась, но Макарка, бывший у нее шафером, поворотил ее голову обратно и натолкнул прямо на голову Васьки. Ганну увели из церкви; она продолжала рыдать и всхлипывать, а новый супруг грозил ей снятием со спины шкуры, печени-

ем огня, выкалыванием глаз. Окружившие их холопи и холопки нимало не были поражены видом рыдающей новобрачной, так как рыдания невесты были обычны в русском семейном быту и даже, по народному воззрению, составляли необходимую сущность брачного обряда. Все понимали, что невесту отдали замуж насильно, по воле господина, но это было совершенно в порядке вещей и никого не возмущало.

Привели Ганну во двор. Стала она теперь женою нового незнакомого мужа, жила с ним в особой избе, небольшой, составлявшей пристенок к большой дворовой избе, куда собиралась дворня на работу. Ей задавали разные работы на дворе: колоть и носить дрова в избу, топить печь; зимою вечерами заставляли прясть вместе с другими дворовыми бабами: ничего она не перечила. Бывали случаи, дворовые бабы поднимали ее на смех за ее малороссийский говор в ответах, которые она им давала, за ее постоянно унылый вид; она не серчала, не отгрызалась, а только молча рыдала; слезы и рыдания возбуждали издевки холопок. Ее одели в великорусскую одежду и говорили, что теперь она красивее, что эдак лучше, чем в ее прежнем хохлацком убранстве, в каком она приехала,— теперь-де, по крайней мере, она похожа на православную. Она все сносила и молчала. Внутри ее, однако, принужденное спокойствие подчас возмущалось ужасными душевными бурями. Не раз приходило ей в голову покончить с собою: разбить себе голову о печь избы; улучивши время, когда за ней меньше будут глядеть, выбежать поискать воды и утопиться. Но тут сознавала она, что то будет тяжелый грех перед Богом, вспоминала она, как ей твердили с детства, что не бывает от Бога на том свете прощения тому, кто наложит на себя руки, и будет грешная душа скитаться, мучиться и не знать покоя; надобно терпеть всякую беду, как бы человеку ни было дурно, а все-таки милосердый Бог когда-нибудь пошлет конец его житию и потом наградит его на небесах. Иногда овладевала ею злоба, являлось желание: как бы извести этого ненавистного Ваську, этого насильно навязанного ей мужа, или же зажечь под ветер ночью избу и всю усадьбу,— авось все сгорят, проклятые, и потом пусть с нею что хотят делают — хоть огнем жгут, хоть с живой шкуру дерут, а она уж за себя отдала! Ей до крайности невыносима была вся обстановка круга, в котором ее бросили; ей, природной свободной казачке, и неверый и немыслим казался холопский строй жизни, куда

всосаться ее неволили; слыхала она прежде на родине жалобные песни о татарской неволе, слыхала раздирающие сердце рассказы, как татары хватали в полях и рощах неосторожно ходивших за ягодами дивчат и уводили в свою сторону и как бедные страдали у них в неволе; но то ведь с крещеными так делают враги-нехристи; а около ней люди как будто сами крещеные: и церкви у них есть, и образа в избах, а поступают с нею так, как бы хуже и бусурмане не поступили, если бы уловили. Что же их жалеть? Пусть бы все сгорели! Но тут останавливал ее внутренний голос: «И так думать — великий грех перед Богом, Господь не велит делать зла врагам!» Ганна заливалась горькими слезами и просила Бога простить ей невольно пришедшее желание зла своим мучителям. Так глубокая детская вера хранила ее от покушений на самоубийство и от искания способов отмщения за себя. Дни шли за днями. Ганна все более и более свыкалась с тем бесчувственным спокойствием, когда все терпится, не ищутся уже средства спасения, привыкается даже к тому, к чему никогда, как прежде казалось, привыкнуть невозможно.

Васька, однако, не надоедал Ганне предъявлением своей супружеской власти над нею. Ганна была ему покорна, как овца, но сама не в силах была скрыть от него отвращения к его особе. Поэтому и Васька почувствовал, что его что-то отталкивает от женщины, которая и против своей и против его воли называется его женою. Подвернулась Ваське из той же чоглоковской дворни молодая смазливая вдовушка, сама стала лебезить около него, и Васька скоро с нею сошелся. «Ты думаешь,— говорил он своей лапушке,— мне большая приятность возиться с этой хохлачкой! Провались она от меня сквозь землю! Наше дело холопское: что велит государь, то мы и делаем! Вот приглянулась ему хохлачка: «Женись,— говорит,— Васька, а ко мне будет она ходить». Это, видишь, мне жениться для прикрытия греха его! «Озолочу», — говорит. Ну, озолотит ли, нет ли, а деться негде, надо слушаться: по крайности хоть шкуры со спины не спустит! Вот и стереги этого черта — не было печали, да черти накачали! Эх-ма! Иногда, как расхнычется, так вот взял бы кулаком дал ей по голове да тут бы и приплюснул. А иногда так самому, глядя на нее, жалко станет, словно тебе кто в сердце колом ткнет. Ну, и махнешь рукой!»

XI

По окончании похода к Чигирину Самойлович распустил все полки по домам на зимний отдых, но Черниговский полк назначил в гарнизон в Чигирин. Борковский уехал в Чернигов сделать новый выбор между казаками, чтобы остававшихся до сего времени в домах своих отправить на смену бывших на службе и послать их в Чигирин с обозным полка своего, давши ему звание наказного полковника.

Дома Борковский узнал от жены своей, что пропала без вести та невеста, которая с разрешения владыки была обвенчана в самый день выступления полка в поход. В народных толках об этом событии, доходивших до полковницы, уже бросалось подозрение на воеводу, который и другими своими поступками успел возбудить против себя неудовольствие и омерзение. Полковница сообщила мужу, что без него воевода приглашал к себе в дом зажиточных черниговских мещан и вымогал от них себе в почесть деньги: с кого — сто рублей, с кого — двести и поболее, грозил в противном случае расставить у них в домах своих стрельцов, и мещане, чтоб избавиться от таких немилых гостей, давали воеводе требуемые сумы. Подначальные ему стрельцы и рейтары, ходя по базару, насильно брали у перекупок разное съестное и не платили, отговариваясь, что они-де царские служилые люди, хохлы обязаны их кормить и всячески им угождать; у них хотели отобрать отнятое, а товарищи их стали заступаться за отнявших и били малороссиян. Подавалась по этому поводу жалоба в магистрат, члены магистрата приходили сами к воеводе просить управы, а он с бесчестием прогнал их. Сам воевода ездил по лавкам, набирал товары, обещая уплатить после, а когда хозяева явились к нему за уплатою, он с насмешкою говорил им, что заплатит на втором Христовом пришествии. Большой он охотник был до женского естества, и его воеводские люди водят к нему женок и девок из мещанских и поспольских дворов,— стали забираться уже и в дворы казацкие, начали сманивать казацких жен и дочерей, напугивая их, что уведут силою, если не согласятся идти по доброй воле; мужья и отцы, слыша то, жаловались обозному, бывшему в звании наказного полковника в отсутствие Борковского. Обозный пошел объясниться с самим воеводою, но воевода затопал, закричал, что все это вздор, что обозный это сам затеял на его людей и на

него, воеводу, и прогнал обозного с бесчестием. Такие новости передала полковница своему мужу. Борковский позвал обозного, тот подтвердил все, что говорила полковница, и прибавил, что воевода сказал ему так: «Твое дело унимать глупцов от таких безлепичных речей, а не приходить с ними ко мне; вот я на тебя челобитную подам великому государю в своем бесчестии».

Борковский поехал к Чоглокову присмотреться к нему и прислушаться к тому, что будет он говорить.

Чоглоков, как только из окна увидал въезжавшего к нему в колясе полковника, тотчас выбежал на крыльцо, кланялся, касаясь пальцами до земли, улыбался, произносил радостные восклицания, обнимал, целовал полковника, как старого друга, просил в свой дом и, пустивши его вперед, сам шел за ним и говорил: «Вот когда для меня настал истинно светлый день, когда я увидал дорогого гостя, почтенного Василия Кашперовича!»

Усадивши Борковского на почетном месте, Чоглоков забегал, приказывал подавать вина и разных угощений и, обратившись к полковнику, сказал:

— Одинокий я человек, без хозяйки. Вам, женатым людям, ино́ дело: есть кому все приготовить и угостить дорогого гостя. А вот я — один! Так оно, может быть, и не так выходит учтиво. Не взыщи, приятель мой!

— За хозяйкою дело не станет,— произнес Борковский,— лишь бы только господину воеводе приглянулась какая боярышня.

— Оно так, да видишь, приятель мой,— сказал Чоглоков,— я помышляю о том, как душу спасти после своей смерти, больше, чем о том, чтобы в сей привременной жизни было хорошо. Что наша здешняя жизнь? Дней наших лет семьдесят, аще же в силах — осмьдесят; что это перед вечным житием в царствии божии, где и тысяща лет яко день един! А какой путь ведет туда, во царствие божие! Узкий и тернистый путь, широкий же и гладкий путь ведет в погибель. У меня, Василий Кашперович, книжечка есть. Отменная книжечка. Вот, посмотри-ко, приятель.— Он достал из угла под образами рукописную книжечку с миниатюрами, указал ему на рисунок и продолжал: — Вот узкий и широкий путь. В чем тот и другой показываются? Вот узкий и тернистый путь, по каким утесам, скалам и пропастям земным он тянется узкою тропою, а тропа та вся обросла колючками, а по том пути идут все хромые, слепые, нищие да схимники-отшельники, что в скорбях и

слезах о гресех своих и людских житие свое проводят. А куда этот путь приводит? Смотри: вон церковь, а на церковной паперти в архиерейском облачении сам Господь стоит, а около него апостолы, и благословляет идущих к нему Господь, значит, как сказано в Евангелии: приидите благословенние! А вон другой, широкий путь. Смотри, все сады да цветы прекрасные, благоухающие, и дорога какая гладкая, и по дороге все столы стоят, а за столами все бражники и пьяницы сидят, а перед ними человек с балалайкою в руках, заломивши набекрень шапку, трепака отплясывает. А вон дале — баня, а в ней парятся мужчина с женщиною — значит, прелюбодеяние; а дале, вон смотри, муж с женою и семьею обедает, люди богатые, в одеждах испещренных, в мехах дорогих, а на столах у них кубки и достаканы и братины все серебряные, а через двери к ним нищий старец руку протягивает, а они на него не смотрят. Видишь, все эти по широкому пути идут, и те, что в законном супружестве пребывают в довольствии и счастьи, мало к бедной братии милостивы, оттого что сами горя не знают, и они на широком пути вместе с пьяницами и любодейцами! А смотри, куда этот широкий путь приводит их. К мостику, а мостик тоненек, словно жердочка, а под мостом бездна, в ней же гады многочисленные, драконы, змеи, крокодилы, скорпии... Вон один грешник упал с того мостика да прямо в пасть крокодилу! Вот он, широкий-то путь! А мы, грешные, бесчувственные, живучи в сем суетном мире, не помышляем о том, что может нас ожидать на том свете! О Господи Боже! Господи Боже! Аще бы мы чаще имели в памяти последний час наш смертный, меньше бы, чай, грешили в нашем житии. Так вот, почтеннейший и возлюбленнейший приятель мой, иногда бы мне и хотелось жениться, да боюсь, чтоб не стать на приятный путь жизненный, а одинокое житие хотя неприятно и терпишь, зато помнишь, что в терпении наше спасение, и тем утешаешься.

Борковский на это сказал:

— Тимофей Васильевич! Брачное житие благословенно Богом и не может повести в ад, хиба́ человек станет неправдою жить; так то уже будет ему кара за другие грехи, а не за брачное житие, еже нисколько несть греховно.

Воевода повел глаза в другую сторону, приподнял вверх голову и вздохнул.

Борковский начал речь о другом.

— Без нас,— сказал он,— тут проізошло дивне діло.

В той день, як ми виступали в поход, вінчали у св[ятого] Спаса нашого козака Молявку-Многопіняжного, і ми із твоєю молостію вкупі у церкві тоді були. У той же вечір, як ми вийшли, ухоплено молоду в потайнику, що до Стрижня з города пороблений, там знайшли її відра і коромисло, а її самої не знайшли, і досі нема. Кажуть, би твоя милость посилав одшуковать її, чи где не обрітеся слід погибшої?

— Правда,— сказал Чоглоков,— ко мне приходил отец ее, и по его прошению посылал я стрельцов разыскивать. Нигде не найдено ее. А вот потом получил я такое известие от своего приказчика, что мой холоп Васька Оглобля, отпросившийся у меня из Чернигова в мою вотчину, привез туда малороссийскую девку и хочет на ней жениться. Я написал, что позволяю, и спросил, кто такая эта девка? Вчера прислали мне известие, из него же я узнал, что это та самая девка, что здесь искали. Они уже повенчались, по их обоюдному желанию и по моему дозволению. Анна Кусовна называется эта девка, не так ли?

— Вона! — сказал огорошенный полковник.— Да як же їх там повінчали, коли вона вже повінчана з другим тут, в Чернігові?

— Этого я не знаю,— отвечал воевода.— Только я такую бумагу получил и выпис об их венчании от священника. Но и то правду надобно сказать: такой брак, что здесь был, не по закону совершился — в Петров пост!

— Архієпископ розрішив,— сказал Борковский.

— Не смеет архиепископ того разрешать,— сказал воевода.— Как пойдет из-за этого, Боже сохрани, дело и дознается святейший патриарх со всем священным собором, не похвалят за то вашего архиепископа. Знаешь ли, Никон-патриарх не в версту архиепископу Лазарю, а и с того сан сняли вселенские патриархи. Как бы с вашим архиепископом того же не случилось!

— У нас,— говорил Борковский,— від прадідів так ведеться, що в пости забороняється вступленіє у малженське сожитіє, а не вінчання, і владика може розрішити обрядок хоч і в піст, аби тільки в малженське життя не вступали до кінця посту.

— Много вы прожили под лядским владычеством, и много латинского блудословия к вам перешло,— сказал Чоглоков.— Теперь же, как вы поступили под державу царей православных, надобно такие плевелы из церкви божией исторгать. Ваш архиепископ Лазарь добре то знает! Зачем же так поступает?

— Ето уже діло не наше, а духовноє,— возразил полковник.— Может бить, архієпископу Лазарю не годилось того тепер розрішати, но когда оная жона здесь з одним уже повінчана, не годилось її перевінчувать з другим.

— Охота вашему казаку жалеть о такой бабенке! — сказал воевода.— Привязалась к другому — туда ей и дорога! Она, видно, понимает, что брак их не крепок, когда решилась бежать с чужим человеком и обвенчаться с ним. Твоему казаку бы только еще благодарить Бога, что отвязалась от него сама такая жена.

— Тут,— сказал Борковский,—єсть щось таке, що тикається твоєї милості. Як тільки твоя милость приїхав до нас у Чернігов, зараз посилав єси стрільця Якушку за бабою Білобочихою, відомою всім зводницею, і прохав, аби вона твоєї милості добула на ніч Ганну Кусівну, про яку казано твоєй милості, що то найкрасовитіша з дівчат черніговських. Білобочиха то сама нам повідала, і свідки на то єсть: нашого полку старшини — обозний і писар. А скоро після того Ганна Кусівна пропала. З того немалий якоби суспект виникає на поступки твоєї милості.

— Не говорить было тебе таких пустошных затейных речей передо мною, и не мне их слушать,— сказал порывисто-гневно воевода.— Тебе глупая баба намолола, а ты по дурости своей хохлацкой смеешь мне то в глаза повторять! Белобочиха твоя лаяла что собака, а ты разносишь ее лай по ветру да еще дерзаешь говорить, забывая, что я старше и честнее тебя в десять раз! Я царский воевода, а вы все казаки — что, как не мужики и не мужичьи сыны!

— Вибачай, пане воєвода,— сказал Борковский,— тільки про те, що повідала Білобочиха при свідках, пошлеться в Приказ да, може, ще дещо про твою милость.

С этими словами, не прощаясь более с взволнованным воеводою, ушел от него Борковский. Воротившись домой, он сказал полковнице:

— Пропавша Кусівна — то, бачу я, воєводське діло, проклятеє то діло!

Через день явился к Борковскому черниговский войт с бурмистром и двумя лавниками, членами магистрата. Они принесли Борковскому на государево имя челобитную, в которой излагали безобразия воеводы Чоглокова и били челом о его удалении. В этой челобитной обвинялся Чоглоков во всех тех поступках, о которых полковница перескакивала своему мужу после его возвращения из похода. Борковский позвал полкового писаря, приказал читать

поданную челобитную при себе и при войте с товарищами, и когда в челобитной дочитался писарь до того, что воеводские люди подговаривали женщин и девок к непристойному делу для воеводы, Борковский остановил чтение и сказал:

— Припиши отут: «Черніговськая міщанка Білобочиха пред полковником і полковою старшиною повідала, іже воєвода, призвав єє к собі, полєцал єй подмовить на блудноє з ним діло козачку Ганну Кусівну, вступившую перед цим в малженський союз з козаком Молявкою-Многопіняжним, которая Ганна потом, по отшествії мужа своєго в поход з прочими козаками, безвістно пропала; по возвращеній же із похода козаков оний воєвода повідал полковнику черніговському Дунін-Борковському, яко би оная Ганна вступила в новоє малженство з єго воєводським чоловіком і нині находиться з оним своїм новим мужем в його воєводській подмосковной вотчині, того ради уповательно, что ведомый такого беззаконного отнятия жены у живого мужа и отдания оной в малженство з іним чоловіком воевода был сам не безучастником такового діла...» Да ще припиши отут, що чолобитна подається не точію від міщанства, но і од черніговського козацтва. Все як подобає скомпонуй і мені подай для одправки ясновельможному.

Молявка-Многопеняжный по окончании похода прибыл в свой Чернигов с тем, чтобы, собравшись в течение какой-нибудь одной недели, ехать с матерью и молодою женою в Сосницу. Невозможно описать порыва довольства и радости старой Молявчихи, когда, встретивши прибывшего сына и расцеловавши его, она узнала, что он в такое непродолжительное время из простого рядовика дослужился до хоружего, а вслед за тем до сотника, и притом с исключительным правом сноситься прямо с самим гетманом. На первый вопрос его о жене мать сообщила ему роковую весть. Молявка, услыша такую весть, побледнел, как полотно, и стоял несколько времени как вкопанный в землю. Мать, утешая сына, говорила:

— Синку! Не журись. Я тобі скажу: необачно ми зробили, що засватали з сеї сем'ї дівчину. Досвідчилась я, що непевні то люди. Звісно, перше як нам було знать, що воно таке, а опісля стало видко, що люди недобрі, погана сем'я! І сама молода — Бог зна що! Тут щось да не ладно. Як-таки так, як вони кажуть: «Пропала і хто її зна, де і куди поділась». А тут затим Кусиха наплела на мене таке, що й казати ніяково! І відьма я, і чарівниця, і лукава я,

і злюка... Такого наплела, так мене оговорила, що не чаяла я ніколи дожити до такої ганьби.

Старуха начала рыдать. Сын стал в свою очередь ее утешать, но материнские слова глубоко врезались ему в душу и сразу перевернули в ней нежное чувство привязанности к жене и возбудили чувство злобы к Кусам, виновным в его глазах уже тем, что мать его на них жалуется с плачем. Но такая внутренняя перемена была еще в зародыше, и он не только стыдился бы открыть ее другим, но искренно хотел бы не замечать и сам, что она в нем происходит. Молявчиха советовала ему вовсе не ходить к Кусам и изъявляла опасение, чтоб его там не причаровали. Сын, однако, на этот раз не послушал такого совета и пошел к тестю и теще.

С ужасного дня исчезновения единственной дочери Кусы находились в постоянной тоске и так изменились в своей наружности, что Молявка чуть мог узнать в них тех, которых знал всего за три месяца. Оба супруга встретили его ласково, но с горькими рыданиями. Заплакал с ними и зять. Но Кусиха тотчас же, не стесняясь, начала упрекать Молявчиху, хотя беспрестанно при этом просила у зятя извинения за то, что так отзывается о его матери. Впрочем, вспыльчивая и самолюбивая, но чрезвычайно добросердечная Кусиха тут же изъявляла со своей стороны готовность и примириться.

— Ошельмовала,— говорила Кусиха,— всю нашу сем'ю, повидумувала про нас чорт зна що таке, аби добрих людей від нас одвернути. І хто її зна, чого вона так на нас визвірилась. Нічого, далебі, нічого ми їй не вдіяли, ми до неї з щирого серця, як до родички нашої, а вона до нас — як лютий ворог. І тепер ми на неї нічого, Бог з нею, нехай Господь її судить! А ми нічого, таки нічогісінько!

Молявка, слушая подобное, был в большом затруднении, что отвечать, но Кус вывел его из такого положения. Он встал, пошел к двери и сказал:

— А йди, зятю, сюди, я тобі щось скажу.

Молявка вышел с ним вместе в сени, и Кус ему сказал:

— Ти, зятю, на се не потурай! Поколотились промеж себе жінки, а тут де взялись цокотухи збоку да й стали їх подцьковувати. Підожди, любий зятеньку, все перемелеться і зміниться. Аби тільки Ганна знайшлась, то ми б гуртом взялись і зараз старих баб на згоду привели. Ох! Да де-то тієї Ганни взяти!

І Кус горько зарыдал.

Расстроенный видом плачущих родителей, Молявка обещал во что бы то ни стало изо всех своих сил искать Ганну, уверял, что он готов идти хоть в пекло, лишь бы ее вернуть и избавить от беды. В заключение он сказал, что пойдет сейчас к полковнику просить совета, куда ему кинуться.

Пришел Молявка-Многопеняжный к своему полковнику. Борковский, обращавшийся вообще с подчиненными холодным, сухим, начальническим тоном и не делавший до сих пор для Молявки никакого исключения, в этот раз принял его с осклабляющимся лицом, поздравлял с сотницким званием, изъявлял надежду, что, оставаясь по-прежнему в Черниговском полку, он может всегда рассчитывать на своего полковника как на искреннего покровителя и благодетеля. Потом Борковский объявил ему о том, что услышал от воеводы о браке жены его с воеводским человеком. Молявка побледнел и затрясся. Борковский начал его утешать таким же тоном, в каком говорила ему мать, доказывал, что хотя здесь было коварство воеводы, но дело не могло совершиться без участия и согласия самой молодой Молявчихи,— невозможно ей иначе очутиться где-то под Москвою и обвенчаться с другим. Полковник советовал Молявке со своей стороны отречься от такой жены и, пользуясь нарушением брачной верности с ее стороны, подумать и об устройстве своей судьбы.

— Моя рада, серце козаче,— сказал полковник,— піти до воєводи да взять від його випис об тім, що, казав він, до його прислано від попа того, що вінчав твою жінку, да з сим виписом йти до преосвященного Лазаря: нехай він, бачучи, що жінка твоя порвала малженський союз, розрішить і тобі, яко вільному і вцалє від того союзу свободному, з іншою дружиною закон прийняти. Архієпископ повинен тобі то на письмі дати. Ти молодець голінний і велце розумний: піднесешся високо. Я се бачу. Бо я старий птах — наскрізь тебе, як і кожного чоловіка, угляжу! Кусова дочка невелика пташина, а за тебе тепер хоч яка панночка замуж піде. Да от, прикладом сказать: у моєї жінки есть небога-сестрениця. Багато уже до неї молодят залицялося, вона всіми гордувала і гарбуза їм підносила. А тобою і та не побрезгувала би. Се я тобі так тільки, на приклад, кажу; таких панночок чимало знайдеться в сім'ях у наших значних товаришів. А то все не рівня яким-небудь там Кусам. Бо ти, серце козаче, тепер уже не рядовик, а сотник, наш брат, значний товариш, так тобі уже слід з нашим братом, а не з простими рядовиками ріднитися.

Молявка-Многопеняжный вдруг как будто освежился от таких слов и благодарил полковника за добрый отеческий совет.

Возвратившись к матери, он рассказал ей обо всем, что слышал от полковника.

— А що! — сказала Молявчиха.— Говорила я тобі: щось не ладно, непевні вони всі, і необачне було твоє оженіння. Отже, на моє вийшло. Не без власної вини її було те, що вона зникла. А що, чи не правда моя? Тепер сам бачиш і розважиш: уже ж не без її згоди повінчано її з кимсь другим. І полковник, бач, те ж говорить. Полковник тобі добра хоче. Що він тобі натюкнув на якусь свою сестреницю, так се щоб ти догадався да посватався. Цур їй, тій Кусівні, нехай її ті люблять, що в болоті трубляты! Іди, синку, швидше до воєводи і прохай у його той випис, що полковник тобі казав про його, а там чвалай до владики, щоб тобі розрішив оженитись з іншою. І справді, синку, ти вже неабиякий рядовик, а сотник, дяковать Богу, з панством врівні, так тепер тобі вже не з простими черняками, а з родовитими знатися і приятельство вести подобає. Ти ж молодий і хороший, мій синочку любий! Авжеж, після всього оце, хоч би Кусівна і повернулась до тебе, хіба ж би ти її прийняв за жону з-під якогось там чорт батька зна московського холопя? Таку паскуду і скибкою взяти гидко!

Молявка-Многопеняжный поддался внушению матери. Узнавши, что его жена принадлежит другому, по ее ли собственной воле это случилось или нет — все равно, она ему уже стала не мила, а мысль — породниться с панами, с самим даже Борковским, представлявшимся до того времени ему в неприступном величии его сана, надежда получить в приданое маетности, зажить паном, увидеть к себе от своих прежних товарищей по званию, простых рядовиков, то раболепное уважение, которое, как он замечал, оказывалось урядовым и значным людям — перспектива чересчур светлая для того, который и прежде заботливо думал о возможности своего возвышения. Он отправился к своему зятю, к сотнику Булавке. Тот, узнавши о выходе замуж Кусивны и о загадочной речи полковника, пришел просто в восторг. Булавка увидел во всем этом возможность выгод и для самого себя: через своего шурина и он мог войти в свойство с полковником. Булавка торопил шурина к воеводе, советовал ему, умолял его не заводить с воеводою никаких щекотливых для последнего объяснений, не раздражать его, не показывать ему никакой скорби о поте-

ре жены, а почтительно выпросить от него выпись и поблагодарить, потом с выпискою идти к архиепископу.

Молявка отправился к воеводе.

Прислуга воеводская не хотела его пускать, но Молявка приказал доложить воеводе, что пришел к нему сосницкий сотник и нуждается поговорить с воеводою об очень важном деле.

Воевода вышел и, увидя Молявку, узнал его и с гневом сказал:

— Ты что это задумал назвать себя сотником? Я тебя знаю, ты простой казак, а не сотник. Чего тебе надобно, мужик ты наглый, невежливый!

— Вашець прошу,— отвечал Молявка,— за поход під Чигирин мене піднесено спершу хоружим сотенним, а потім сотником, і сам ясновельможний поставив мене в Сосницю.

— Твое сотничество при тебе,— сказал воевода, поглядывая на него все еще сердито, надеясь, что он пришел затем, чтобы по поводу жены своей входить с ним в неприятные объяснения.— Ну, какое же дело до меня, господин сотник?

— Рач твоя милость,— сказал, почтительно поклонившись воеводе, Молявка,— пожаловать мене дать випис об тім, що, як мені повідав пан полковник, моя жінка в непритомності моїй повінчалась з якимсь чоловіком. Щоб я, маючи таке свідоцтво і віддаючи, що жона моя, будучи зо мною повінчана в законнім малженстві, розорвала закон, і сам би мав право на оженя з іншою.

Видя, что Молявка, вместо того чтоб являться с укорами, приступает к воеводе очень почтительно с челобитьем, Чоглоков переменил тон, стал ласков и сказал добродушным тоном:

— Это можно, дружище. Можно все для приятеля. Дам я тебе выпись за рукою священника о том, что жена твоя по доброй своей воле повенчана с моим человеком. Только я тебе, дружище, скажу: неправильно говоришь ты, что она твоя законная жена венчанная. Да, приятель, это слово твое неправильное. Не жена тебе она была. Незаконно разрешил архиепископ тебя с нею повенчать в Петров пост. Это она сама знала и потому, как ты уехал, сошлась с моим человеком. Я, по их челобитью, приказал им ехать в мою вотчину и там повенчать их разрешил священнику. Вот тебе выпись. Читай, коли читать умеешь.

Он вынес и дал ему бумагу. Молявка молча прочитал ее.

— Ну, видишь,— продолжал воевода,— что сделала твоя жена? Сам на себя пеняй, что не в законное время затеял венчаться. Да, впрочем, нечего тебе о ней тужить. Если она, тотчас после венчанья, оставшись без тебя, не захотела ждать тебя, а связалась с другим, туда ей и дорога! Ты — сотник: поищи себе другой, получше, и породовитее, и познатнее. Боже благослови тебя на все доброе!

Молявка ничего не сказал, поклонился воеводе низко и вышел с выписью. У него блеснуло такое подозрение: вероятно, Ганна была в связи с этим холопом и хотела только для прикрытия выйти замуж за другого; но когда Молявка ушел в поход, они сговорились и ушли, а потом в чужой стороне обвенчались.

Архиепископ Лазарь Баранович, старик под шестьдесят лет, страдавший болезнью, называемой в Малороссии «гослец», и беспрестанно жаловавшийся на свои недуги, был между тем необыкновенно деятелен и в писаниях и в делах по управлению епархиею и ко всем доступен. Переселившись из Новгород-Сиверского в Чернигов в 1672 году, Лазарь избрал себе местопребывание в Борисоглебском монастыре, им основанном или возобновленном в самой средине города, недалеко от древнего св[ятого] Спаса. Каждый день у него были определенные часы для приема посетителей по делам. Молявка-Многопеняжный попал к нему в такое время, когда случайно у святителя не было никого,— келейник допустил его. Владыка в черной рясе и в клобуке сидел за столом, на котором была навалена куча писаной бумаги. Молявка-Многопеняжный поклонился ему до земли, а Лазарь, приподнявшись, благословил его и, устремивши в него свои старческие, но еще не утратившие огня глаза, приготовился его слушать. Стоя перед архиепископом, Молявка-Многопеняжный рассказал подробно историю исчезновения жены своей и незаконного вступления в брак с другим при живом прежнем муже. При этом он дал заметить, что подозревает участие воеводы. Лазарь, выслушавши внимательно, произнес: «Человече! Бегай клеветы. Ужасное то чудовище, триглавное и многоязычное и на киждом языце клюв острый, пронзающий, как у птаха драпежного, и тым клювом долбит душу, и того ради от клюва такового клеветою нарицается».

Но когда Молявка-Многопеняжный сообщил, что воевода отнесся неуважительно аб архиепископе и твердил, что архиепископ незаконно поступил, разрешивши венчание в Петров пост, Лазарь произнес:

— Ему ли пристало судить о том! Его дело город строить да царских ратных людей кормить и одевать. Знал бы он от ратных людей ко́рма карман себе набивать, как они, воеводы, обвыкли творить, а когда можно и когда не можно венчать, о том бы не додумывались, понеже то решать належит нам, а не им. Не властны мирские в наши дела входить, бо як у нас мовиться: коли не піп, то і в ризи не суйся! Архиерееве суть божиих таин толкователи, и аще мирянин дерзнет в духовну справу самовольно вторгаться, то не точию от нашего смирения будет неблагословен, но и от самого Бога осуждение приимет.

Молявка-Многопеняжный показал владыке выпись за рукою священника о браке его жены с иным и просил по ней выдать ему разрешение на вступление в новый брак. Владыка, просмотревши выпись, сказал:

— Печать церковная есть. Так. В сведоцтве повенчана называется Анна Филиппова дочь Кус, а я знаю, что та Анна Кусивна с тобою повенчана была. Егдо — от живого мужа вдруге замуж пошла. В Евангелии Господь возбраняет мужу от жены отторгаться словесе разве прелюбодейного, а прелюбодеяние жены твоей явно и несомненно есть. Имаши и ты право вступить в иное супружество, аще пожелаеши. Лучше-бо женитися, неже разжизатися. Ты воин, а не инок, давший обет девства, в мире живешь, и трудно тебе в чистоте пребыти, понеже к тому и млад еси. Повелим тебе дать из нашей консистории сведоцтво на вторичный брак, а сию выпись нам оставь: возбудим, аще потребно будет, церковный суд над женою твоею.

Через несколько дней Молявка-Многопеняжный получил из консистории свидетельство на вступление во вторичный брак и показал его матери и Булавке. Оба пришли в восторг. Булавка взялся быть сватом в доме родителей племянницы пани Борковской.

Собрались Молявки к переселению и через неделю выехали в Сосницу, провожаемые Булавкою и его женою. Кусов не видал более Молявка-Многопеняжный и не считал нужным более видеть их... Собственно, он никогда не любил глубоко Ганны, а собрался жениться так себе, как женится большая часть людей, увлекаясь притом ее красотою. Теперь же он — сотник, Ганна — простая казачка, да и не могла она, как ему казалось, быть невинною в своем незаконном браке с воеводским холопом...

XII

Новый сосницкий сотник, приехавши на новоселье, поместился в дом, который занимал прежний сотник, уехавший в пожалованное ему имение. Молявка-Многопеняжный первым делом почел съездить в ранговую сотницкую маетность и заявить о себе тамошнему поспольству, как о новом господине сотнике. Вернувшись в Сосницу, он занялся постройкою двора для ожидаемого туда Дорошенка в просторном, отведенном для того по гетманскому приказанию месте, получил через присланного от гетмана канцеляриста деньги, нанимал плотников, столяров, маляров, кровельщиков и всяких мастеров, надсматривал над их работами, а для временного помещения Дорошенку нанял двор близ самого того двора, где жил сам. Еще двор, который начали строить для Дорошенка, далеко не был окончен, а Дорошенко 1 ноября приехал, на первый раз, однако, без семьи.

Бывший чигиринский гетман был встречен сотником, низкорослым, тонким, с птичьим носом писарем и хоружим, толстолицым, кругловидным человеком с постоянно открытыми губами. Сотенные старшины, встретивши Дорошенка за городом, шли с открытыми головами обок его колясы. Толпы сосницких жителей, и казаки и посполитые, бежали, глазея на павшее величие, недавно еще наводившее своим именем страх на левобережную Украину, так часто оживлявшую его вторжения с своими союзниками-бусурманами.

Привели Дорошенка в назначенное ему помещение. Дорошенко, узнавши в сотнике Молявку, дружелюбно брал его за руку, радовался, что назначили к нему сотником знакомого человека. Но тут же запала ему мысль, что этот предупредительный и на вид услужливый сотник приставлен, чтоб надзирать за ним.

Дорошенко остановился в отведенном ему доме, где было два отделения: в одном — кухня и кладовая, в другом, на противоположной стороне через сени,— две просторные комнаты. На третий день после того он поехал к Самойловичу в Батурин. Самойлович принял бывшего своего соперника чрезвычайно радушно и гостеприимно: несколько дней сряду пировали, пили, веселились, потешались музыкою, заведенною у себя гетманом, и потешными огнями, ездили вместе на охоту. Желая показать свою верность к царю, Дорошенко сообщал гетману разные предположения и советы относительно обороны от турецкого вторжения, кото-

рое тогда ожидалось, и гетман, передавая их московскому правительству, уверял, что Дорошенко держит себя, как прилично верному царскому подданному.

Воротившись от гетмана, Дорошенко жил в отведенном ему дворе, и каждый день, как только он вставал ото сна, перед ним уже стоял неутомимый сотник, докладывал о ходе работ в постройке двора, спрашивал: не нужно ли того, другого, и показывал особенное удовольствие, когда мог услужить Дорошенку. Не раз ходил с ним вместе Дорошенко глядеть на постройку. Осматривая обширное место, отведенное ему при дворе, Дорошенко изъявил желание завести там когда-нибудь сад, и сотник на другой же день принялся рассаживать плодовые деревья. Постройка дворовых строений шла с чрезвычайною быстротою; в первых числах декабря, благодаря щедрости в издержках и множеству рабочих рук, дом, где должен был жить сам хозяин, был уже готов, поставлены и первый раз протоплены печи, а восемнадцатого числа совершено было освящение. Дом состоял из четырех покоев, довольно обширных и светлых, убраны были они просто и чисто, как обыкновенное жилище зажиточного малороссийского хозяина: зеленые муравленые печи, обмазанные мелом с молоком стены, лавки с полавочниками, столы, застланные килимами, ряды образов в передних углах с торчащими в маленьких подсвечниках восковыми свечечками, четыре кровати, размещенные в задних комнатах, висячий умывальник над медным большим тазом в сенях... Осматривая новоселье вместе с Молявкою и духовенством, приглашенным к освящению, Дорошенко казался им очень доволен, говорил, что желает окончить дни свои в этом уголку, а когда остался один на один с сотником, спросил его:

— Козаче-товари́шу! Скажи мені правду щиру. Призивав тебе особисто гетьман, як тебе сюди сотником наставив?

— Призивав,— отвéчал сотник.

— А що він тобі тоді казав? — говорил Дорошенко.— Казав, щоб ти за мною пильно доглядав і назирав і йому про мене звістку давав? Так, серденько?

— Отже, не так,— отвечал Молявка-Многопеняжный.— Казав пан гетьман, щоб я робив для тебе усе, що тобі здається потрібним, і був би тобі у всім на послузі. Казав, щоб я не доводив до того, щоб сам твоя милость попросив чого для себе, а щоб запобігав твому хотінню, казав до того, щоб я, Боже храни, чим твою милость не уразив і не роздражнив. От тобі хрест святий, що се мені гетьман,

призвавши до обозу під Вороновкою, розказував. А того, щоб я за твоєю милостію назирав, сього і не потрібно було мене научати. Бо не в гнів твоїй милості буде: якби я що побачив от твоєї милості недобре, то і без гетьманської науки учинив би згідно з присягою, котру давали-м цареві.

— Добре кажеш, козаче,— отвечал Дорошенко,— отже, і я хочу жити згідно з присягою, що дали-м царському величеству перед гетьманом і царським боярином, і не маю ні з чим ховатись ні від тебе, ні від пана гетьмана. Тепер, як царське величество мене прийняв і я зрікся навіки свого гетьманства, то уже, єй-Богу, не хочу нічого, аби тільки жити приватно без клопіт. Далебі, не жалію того нещасливого уряду гетьманського! Нічим добрим його спом'янути! Дяковать Богові, що ся вага з моїх плечей спала! От у сьому куточку віку доживатиму тихо і смирно, нічого не відаючи, ні о чім не дбаючи, що там на сьому многомятежному світі діяться буде! Відкрились мої сліпі очі: побачив я, що як ми тут добиваємось на світі, всі великощі світові — усе порох і сміття! Подарував мені пан гетьман маєтку, по весні поїду туди, буду розпорядковати, хозяйновати, а тут у дворі сад, бачиш, заводжу: може, Бог доведе і плоду з його покуштувати! Об тім тільки думаю, аби матері моїй і родичам зоставлена в Чигирині худоба не пропала, як война там почнеться.

— Коли, не дай Боже, те станеться,— сказав Молявка,— пан гетьман нагородить твою милость і всіх родичів твоєї милості совúто на сім боці.

— Пан гетьман так і обіцяв,— сказал Дорошенко.— Я йому вірю, у його серце дуже добре, дай Боже йому здоров'я.

На праздниках Рождества Христова приехала семья Дорошенка. За ними приехала прислуга, привезли на подводах на двадцати разные припасы и домашнюю рухлядь Дорошенка. Тогда один из покоев в новопостроенном доме оставлен был для приема посетителей, а в остальных разместился он с своею семьею, состоявшею тогда из жены, малолетней дочери и брата Андрея. У Петра Дорошенка с женою тотчас же начались обычные несогласия. Молявка-Многопеняжный постоянно, как и прежде, посещавший Дорошенка и всеми мерами услуживавший ему и угождавший, был свидетелем бурных семейных сцен между несогласными супругами, и Дорошенко, зная от самого Молявки о его несчастном приключении, говорил ему:

— Не журися, пане сотнику, що у тебе жінку відняли. Буває з жінкою справжнє пекло, от як і мені. Оженитьсяся чоловікові буває діло добре, тільки рідко удачливе. З тобою, може, сталось би таке ж, як і зо мною. А коли тебе жінка покинула, то і дякуй за се Богові!

Молявка-Многопеняжный сказал Дорошенку, что одинокому жить скучно и он, может быть, женится снова. Дорошенко воскликнул: «А не дай тобі Господи! Нащо тобі та жінка здалася — камінь за плечима!»

На праздник Богоявления в 1677 году приехал к Дорошенку тесть его Яненко, проезжавший из Чигирина в Новые Млыны, где гетман указал ему жительство и в окрестности этого местечка подарил ему имение. По этому поводу был у Дорошенка роскошный обед. Сотник, разумеется, был приглашен туда. Яненко, видя, что зять его относится к сосницкому сотнику по-дружески, и сам так же стал относиться к нему. У Молявки-Многопеняжного между тем назревала лукавая мысль: соблазняла его возможность отличиться перед гетманом своею умелостью надзирать за Дорошенком; очень хотелось ему, чтоб кто-нибудь, либо само он, либо иной из его родни, переведенной на жительство на левую сторону Днепра, проговорился, а он бы донес о том гетману. Его намерению помог неосторожно брат Петра Дорошенка — Андрей.

Завелся за обедом разговор о Юраске Хмельницком, бывшем тогда в Украине героем дня. Петро Дорошенко сказал:

— Я його знаю давно, як йому був тільки сімнадцятий год і наставили його гетьманом. О, сміху було немалого з того гетьманства! Я тоді прилуцьким полковником був. Боярин Василь Борисович Шереметєв, будучи в Києві, на всю громаду примовив: «Этому гетманишке только бы гусей пасти, а не гетмановати!» Ми всі, скільки нас було там, трохи не луснули з реготу!

— За таку ущипливу примовку на нашого гетьмана боярин Василь Борисович достойно сидить уже двадцятий год у тяжкій неволі,— сказал Андрей Дорошенко.— Отож йому Бог заплатив! Глядіть же, аби Юраска тепер не показав, що прийшов йому час не гусей пасти, а москалів бити! Як би він москалям і козакам лівобережним не задав прочухана! Ось побачите. Сила турецька велика; москалеві з нею не справитись! До Юраски весь люд сипне, не тільки з того боку, а навіть і з сього, як тільки почує, що за турецькою поміччю іде батьківщину свою відбирати.

Со злобною радостью слушал эту речь Молявка-Многопеняжный, только и хотел, чтоб от Петра Дорошенка последовал ответ в таком же духе, но Петро Дорошенко, строго взглянувши на брата, расходившегося от немалого употребления вина, сказал:

— Андрію! Не подобно таке верзти. Ми вже свою справу покінчали, усе утеряли. Прохали-сьмо у царя ласки і притулу і одібрали-сьмо. Маємо до кінця нашого віку дяковати сердечне великому государеві за милость, а не хвалити царських злочинців.

— Я, брате Петре, їх не хвалю,— отвечал опомнившийся Андрей,— я кажу тільки, яке нещастя нам трапитися може, а того я не жадаю, щоб воно сталось, не дай Боже!

После этой беседы Молявка-Многопеняжный, воротившись домой, настрочил донесение к гетману, где изложил слышанные им на обеде у павшего гетмана речи Андрея Дорошенка, произнесенные в нетрезвом виде, но в своем доносе не солгал и написал, что Петро Дорошенко остановил своего брата и пожурил его за непристойные слова.

Донос этот пришел не совсем кстати для Молявки-Многопеняжного, хотя не остался без вреда для Петра Дорошенка.

Через несколько дней после того поехал Андрей Дорошенко в Батурин к гетману по очень важному делу, в котором мог угодить Самойловичу. Производился суд над стародубским полковником Рославцем и нежинским протопопом Адамовичем. Эти господа подавали донос на гетмана в Москву, но были отосланы к гетману для предания их войсковому суду. Низложенный чигиринский гетман посылал своего брата Андрея с уликами, важными и полезными для Самойловича. Андрей прибыл в Батурин тотчас после того, как гетман получил донос от Молявки-Многопеняжного. Видел Самойлович на деле расположение к себе Дорошенков, принял Андрея очень радушно и прямо спросил его: зачем он произносил непристойные речи на обеде у своего брата Петра о силах Юраски Хмельницкого, которых будто бы Москва не одолеет? Хотя Самойлович не сказал, откуда он узнал об этом, но Андрею нетрудно было догадаться, что донос на него послан сосницким сотником. Андрей Дорошенко сразу сознался во всем, извинялся тем, что был тогда в подпитии, и клялся быть вперед осторожнее. Самойлович поверил его искренности, притом сознание Андрея ни в чем не противоречило доносу Молявки-Многопеняжного. Самойлович ограничился легким внушением

Андрею, но из осторожности написал об этом в Москву. В Москве же в Малороссийском приказе рассудили так: за Петром Дорошенком ничего предосудительного не замечено, но у него в доме произносятся непристойные речи, и чаять, коли Петра Дорошенка из Украины вывести прочь, то будет спокойнее.

На Андрея Дорошенка не обратили большого внимания, тем более что, по донесению Самойловича, слова произносимы были «в подпитии». Все навалились на Петра, даром что Петро никак не одобрял выходок своего брата. Вышло по пословице: с больной головы на здоровую! Из Москвы послали к Самойловичу указ прислать Петра Дорошенка в Москву «для совета о воинских делах». Самойлович, в ответ на требование о присылке Петра, представил в Приказ, что Петру Дорошенку обещано было царским именем жить в Малороссии и он ведет себя смирно: не следует его так скоро трогать с места жительства во избежание волнений в народе. Пославши такой ответ, Самойлович думал, что теперь уже не станут более требовать присылки в столицу Дорошенка.

Андрей Дорошенко, воротившись из Батурина в Сосницу, рассказал брату Петру, что гетману уже известно про то, что говорилось за обедом насчет вступления Хмельниченка с турецкими силами. Для обоих братьев стало тогда ясно, что донос сделан был сотником сосницким; оба брата положили между собою не допускать этого человека до близости к себе.

Но ни объясниться с Молявкою, ни даже дать ему почувствовать, что Дорошенкам известна его проделка, Петру не удалось. Молявка-Многопеняжный, испросивши письменно от гетмана разрешение, уехал к Бутримам, у которых Булавка успел высватать ему невесту. Вместо себя он поручил управление сотнею хоружему. Прошел генварь. Во второй половине февраля настала масленица. Гетман Самойлович просил прибыть к нему Петра Дорошенка. Поехал к нему Петро, пробыл у него всю масленицу; вместе пировали, веселились, ездили с собаками на охоту. Гетман не сказал Дорошенку ни слова о том, что уже приезжал царский посланник требовать его высылки в Москву: гетман думал, что московское правительство уже успокоилось его представлениями и что уже все кончено, а потому не хотел беспокоить своего гостя.

В понедельник на первой неделе великого поста Петро Дорошенко выехал из Батурина в свою Сосницу без всякого дурного для себя предчувствия. Но на следующий затем день приехал в Батурин новый царский посланец с требованием выслать Петра Дорошенка в Москву. Нечего было делать Самойловичу. Он принужден был уступить, тем более что ему обещали со временем отпустить Дорошенка по желанию гетмана. Послал Самойлович к Дорошенку генерального судью Домонтовича с письмом такого содержания: «Пане Петро! Поїжджай без жодного сумнительства до Москви. Тебе затим тільки зовуть, щоб видить царськії очі, і хочуть тебе розпитать про справи турецькі і татарські».

Словно громом поражен был Дорошенко, когда такая неожиданность стряслась над его головою. Для малороссиян в тот век ехать по зову в Москву представлялось чем-то зловещим, для Дорошенка — тем более, когда он, сдаваясь царю, так настойчиво домогался, чтоб ему дали обещание оставить его на родине. С горечью произнес он:

— Хоч би на смерть кому велено було йти, і тому би преже дали знати. Суди Бог пану гетьману, що не звістив мене зарані!

Недолго он собирался, хотя Самойлович, посылая за ним Домонтовича, не приказал торопить его. 8 марта 1677 года уехал он навек из милой Украины. Горькими слезами разливалась его старая мать и малолетняя дочь, плакал и брат Андрей, но жена Петрова осталась безучастною и, проводивши мужа, не стеснилась произнести: «Слава тобі, Господи! Увезли від мене мого нелюба!»

Через неделю после отъезда Дорошенка воротился в Сосницу Молявка с молодою женою.

XIII

Новый тесть Молявки, Бутрим, был когда-то полковым есаулом при черниговском полковнике Небабе еще во времена Богдана Хмельницкого, но, пробывши в этой должности года три, стал войсковым товарищем и, получивши маетность в Черниговском полку, занялся исключительно увеличением своего состояния. Благо, что полк Черниговский был один из тех, которые менее других подвергались опустошениям в оные бурные времена. В течение двадцати лет Бутрим успел значительно разбогатеть захватом займанщин, чем тогда обыкновенно богатели украинские землевладельцы. Из своего села, которое ему бесспорно принадлежит, помещик высылает своих подданных, семью или

две, заводить хутор или слободку, присвоить к этому хутору лéса, сенокоса, лугов, пашни, сколько захочет и сколько будет возможно в окрестности; иногда, встретив тут же поселившегося прежде него козака, подпоит его и выдурит у него поле выгодною для себя продажею, а если заметит, что хозяин поля не зубаст, то и так отнимет и к своей земле примежует. Так заводились новые поселения. И Бутрим расширялся таким способом и на все свои выселки выхлопотал себе полковничьи листы, утвержденные в гетманской канцелярии. Бутрим жил в ладу со всеми черниговскими полковниками, даром что они менялись часто и поступавший вновь на уряд был врагом смещенному: Бутрим со всеми одинаково ладил и дружил. Но ближе всех находился он с Дуниным-Борковским, потому что Бутрим и Дунин-Борковский женаты были на родных сестрах. Было у Бутрима четыре дочери: из них две были уже выданы в замужество, третья выходила теперь за сосницкого сотника. Бутрим считался во всем соседстве, да и сам себя считал, большим мудрецом в житейских делах и любил давать советы. Когда приехал к нему Молявка женихом его дочери, Бутрим набивал ему в голову, что его положение редкое, отменное и всем завидное: в короткое время из рядовика стал он сотником, да еще каким! — не выбранным казаками, а сам гетман его назначил и поручил ему важное царское дело — надзирать за Дорошенком. Будут и в Москве знать про него. И стал Бутрим делать соображения: как бы кстати было, если б у Дорошенка объявились какие-нибудь недобрые речи против Москвы, а это, казалось, дело возможное; тут бы сотник, узнавши, сообщил гетману, а гетман в Москву, и поднялся бы высоко Молявка. Зять не утерпел и сообщил тестю, что уже сталось именно то, чего тéсть желал бы,— а Бутрим очень похвалил Молявку за его поступок, советовал, однако, хранить пока это дело в большой тайне, но пророчил из него важные последствия, благоприятные для сосницкого сотника.

Мать Молявки была вне себя от удовольствия, что сын ее вступает в свойство с таким панским семейством, с такими богатыми и знатными людьми. «Это,— говорила она,— не то что какие-то там Кусы». При воспоминании о последних она открещивалась и благодарила Бога за то, что избавил ее сына от них. Преусердно старалась тогда старуха Молявчиха сдружиться с панею Бутримовою, которая, однако, хоть и была любезна, но тут же показывала, что она себе

на уме, и обращалась с Молявчихою свысока. В Малороссии в те времена было в нравах, что кто разбогатеет, тот смотрит уже свысока на всякого, кто победнее его и похуже живет. У женщин эта черта выдавалась еще резче, чем у мужчин.

Пышно отпраздновали свадьбу пана Молявки-Многопеняжного с панною Бутримовною, по извечному прадедовскому обычаю, со старостами, дружками, боярами, со всеми обрядами, сохранившимися до нашего времени у проостолюдинов, но в описываемые нами времена соблюдавшимися и в знатнейших панских домах. Свадебный персонал обоего пола составился из семей окрестных значных товарищей, съехавшихся к Бутримам нарочно по их приглашению. Во дворе панском поместиться всем было невозможно, поэтому на время удалили нескольких посполитых подданных и заставили их поместиться у соседей, а собственные жилища уступить гостям. Впрочем, никто из подданных не лишен был участия в празднике своих панов: на панском дворе расставлены были столы, и за ними угощали народ горилкою и свининою. Пир шел целых три дня, и в это время много было съедено кормленых кабанов, баранов, кур, гусей, индеек; с утра до вечера гремела музыка, и в доме и на дворе раздавался топот пляшущих, а по ночам в увеселение гостям и толпе народа замечались потешные огни. После пяти дней стали разъезжаться гости, за исключением самых близких, принадлежавших к свадебному персоналу: те оставались до отъезда новобрачных. Родители упаковали «скриньку» новобрачной, состоявшую из полдюжины больших сундуков с приданым: там были женские наряды и уборы, саяны, кафтаны, плахты, шубки, рубахи, наволоки, одеяла, завесы, чехлы, мониста, серебряная посуда, шкатулки с разными безделушками — все, что по тогдашнему образу жизни составляло домашнее богатство значных людей. Ко всему этому прилагалась опись, потому что в случае смерти дочери приданое возвращалось в ее род, если она не оставляла детей. Бутрим вручил дочери и зятю документ на уступаемое ей имение, но этот документ был написан так, что дочь его могла сделаться полною владелицею своего имения разве только после смерти родителя; при своей жизни предусмотрительный родитель все-таки оставлял за собою возможность держать в руках и имение дочери и ее самое с мужем в зависимости от себя. Наступил день отъезда. Ко крыльцу панского дома подвезли крытые сани. Новобрачные и мать Молявки вы-

шли, совсем одетые по-дорожному; родители невесты, стоя с образом, благословляли их последний раз, а новобрачные поклонились им до земли. Тогда оставшиеся у Бутрима гости свадебного персонала, стоя вокруг отъезжавших, запели жалобную песню, где говорилось об отъезде дочери от родителей в чужую дальнюю сторону. Под голос этой песни сели в сани Молявки и двинулись в путь.

Приезд Молявки-Многопеняжного в Сосницу с молодой женой, казалось, был для него истинным триумфом. Первою новостью, которую услышал он, было известие об увозе Петра Дорошенка в Москву. Вспомнил он пророчества Бутрима и обрадовался: он догадался, что все это сделалось по его доносу и теперь его знают в Москве, он сослужил царю службу и надеется, что за то будет в милости у гетмана и у верховных властей. Но хоружий, управляющий сотнею во время отсутствия сотника, сообщил ему другую, не так приятную новость.

Вот что произошло в Соснице за то время, когда Молявка ездил сочетаться браком. Андрей Дорошенко ездил к гетману с уликами против Рославца и Адамовича вместе с сотенным писарем Куликом. Этот Кулик с первого раза невзлюбил Молявки. Находясь вместе с Андреем Дорошенком в Батурине, он близко знал, что гетман принял Андрея чрезвычайно ласково. Воротившись в Сосницу, Кулик бросил между казаками мысль, что можно было бы упросить гетмана дозволить учинить выбор сотника и избрать Андрея. Вслед за тем скоро приехал в Сосницу генеральный судья Домонтович за Петром Дорошенком и гласно заявил, что гетман получил из Москвы «лист», где, в утешение Дорошенкам, ему поручалось давать, по своему усмотрению, его братьям и родственникам должности в войске Запорожском.

Петра Дорошенка увезли. Сотника Молявки-Многопеняжного не было. Писарь, опираясь на слова генерального судьи Домонтовича, стал действовать смелее и настроил против Молявки атамана городового Крука. Родился у этого атамана ребенок; родитель пригласил к себе на крестины четырех куренных атаманов из соседских сел. Кулик был восприемником. На крестильном пиру подвыпившие гости стали рассуждать о своем сотнике: все вообще мало были им довольны; его обращение с подчиненными было как-то сухо и заносчиво; замечали, что был он корыстолюбив, а главное — противен им был он тем, что был не выбран казаками, как бы следовало по вековому обычаю,

а назначен сверху, не спрашиваясь, хотят или не хотят его подчиненные. Кулик объяснял, что это все сталось только потому, что в Соснице указано было жить Петру Дорошенку и нужны были вначале для него разом и помощь и надзор над ним. Теперь же Петра Дорошенка в Соснице нет; теперь можно подать гетману челобитную, чтоб дозволил выбрать сотника по обычным, извечным войсковым правам: такой выбор будет по нраву самому гетману. Все согласились. Писарь составил челобитную, атаманы, бывшие у Крука, приложили руки и обещали склонить на свою сторону и хоружего, но хоружий держался Молявки; ему казалось, что назначенный самим гетманом сотник сидит так крепко на своем месте, что скорее пошатнется тот, кто задумает столкнуть его с места. Хотя Кулик не рассказал хоружему всего, что происходило у Крука, но хоружий сам про все пронюхал. Когда Молявка воротился в Сосницу, хоружий донес ему, что́ против него затевается.

Взъярился Молявка, закипел досадою, и женщины — мать и жена — стали обе разом побуждать его не спускать своим недругам. Недолго думая, сотник приказал позвать к себе атамана городового и сотенного писаря.

Надменно встретил он позванных, одною рукою подпершись в бок, другою заложивши за пояс, обвивавший его кармазинный кафтан, не кивнул головою в ответ на их глубокий поклон и разразился такою речью:

— Що се я вам став негожий? Ви збираєтесь між собою та радитесь: кого собі в сотники іншого обрати? Забули єсте, мабуть, що не ви мене обирали, а сам ясновельможний гетьман мене над вами поставив без вашого «сирна»? А хіба того не знаєте, що коли проти мене йдете, то усе рівно, що проти самого гетьмана супиняєтесь? А ви знаєте, що то єсть супинятися проти нашого гетьмана. Петро Рославець не вам рівня,— а що з ним сталось? Знаєте ви, скурві сини: маленьку цидулу напишу до ясновельможного, так вас зашлють туди, де і вороння кісток ваших не знайде. Се все ти, Куличе! Твої се хірхулі! А ти, атамане Круку, як смів ти без мене курінних збирати?

— Пане сотнику! — сказал Крук.— Я не збирав. У мене були гості, давні приятелі, на хрестинах. Сього ще ніколи не бувало, щоб ми повинні-сьмо були твоєї милості запитуватись, чи можна нам до себе гостей звати, а звлаща в такій справі, як хрестини. Твоєї милості тут не було. Не зоставляти ж дітей наших нехрещених, дожидаючись, поки воліть вернутися, твоя мілість!

— А ви на своїх хрестинах про мене розмовляли, мене судили, як би мене з сотництва звести, радилися! А! Так, кажи! Були між вами такі річі? — спрашивал сотник.

— Пане сотнику,— сказал городовой атаман,— я твоїй милості одповів і ще скажу: звав я гостей на хрестини, а що там говорилось, коли пилось і їлось, так ми тоді ж і забули-сьмо; підпилі були!

— Ось я позову хлопців, да розтягну вас отут, да киями добре одшмарую! — сказал с увеличивавшеюся запальчивостью сотник.— Ви не гадайте й не помишляйте, щоб мене вашою волею з сотництва звести. Я не такий сотник, як інші, що виберете самі да потім і коверзуєте, як хочете. Мене сам ясновельможний гетьман над вами наставив, а все через те, що мене знає і на мене більш полєцається, як на всю вашу громаду. Мені гетьман дозволив писати просто до його власних рук, а другі сотники того не сміють, мусять через своїх полковників зноситися з гетьманом. Тільки я один на всю Україну, один такий сотник, що до самого гетьмана просто пишу. От і знайте мене. Ти, Куличе, скурвий сине, пся кров, хлопська юха! Ти, ти всьому привідця, собачий сине!

Он схватил Кулика за грудь и начал трясти его. Кулик, пригнутый сильной рукой Молявки, поклонился ему до земли и говорил:

— Пане вельможний! Не гнівися. Твоя во всім воля, тільки я проти милості твоєї ні в чім не прошпетився; певне, твоїй милості на мене щось наплетено.

— Знаю я вас, лукавих синів! — сказал сотник.— І ви ж знайте мене, коли так. Тягатися зо мною у вас мочі не стане. Перш усі ви з вашими жінками і дітьми пропадете, у Сибір підете, ніж мене од себе зведете. За мене гетьман, а за гетьманом і сам цар! Куди ж вам, чорнякам, до мене? Пошліть козаків до курінних, щоб з'їздилися до мене віншовати мене з малженством і везли б мені належитий ралець од себе і од своїх куренів. Чуєш?

— Чуємо, вельможний пане сотнику!— в один голос сказали атаман и писарь.

Во время этого разговора мать и жена стояли позади и потешались величием: первая — своего сына, вторая — своего мужа. Старуха Молявчиха еще каких-нибудь полгода назад и мысли к себе допустить не смела, чтоб ее сын так распекал чиновных людей, писарей и атаманов, а теперь довелось ей тешиться, смотреть, как перед ее сыном корятся и смиренно кланяются писари и атаманы; Бутримовна же и воспиталась в такой семье, где ей внушали с детства, что она выйдет за знатного человека, такого, что будет иметь право других гнуть и жать! Это был идеал человеческого достоинства по понятиям, господствовавшим в том кругу, где взросла Бутримовна.

Вышедши от Молявки, писарь Кулик сказал атаману Круку:

— Пане куме! Послай козаків звать курінних, як розказує пан сотник, а тим часом мерщій запрягаймо коні в санки та чухраймо до Батурина: подамо нашу супліку гетьманові! Що буде, те нехай буде. А я сподіваюсь певне, що станеться по-нашому. Поки з'їдуться у Сосницю куренні — ми тим часом вернемось. Тоді з гетьманської волі зберемо раду вибирати сотника.

И в тот же день уехали они из Сосницы.

Сметливый человек был писарь Кулик. Слыхал он прежде, что у гетмана Самойловича в большом доверии Мазепа, и к нему-то Кулик с Круком обратился прямо. Он представил ему, что казацкая громада очень недовольна назначенным ей от гетмана в сотники Молявкою и просит возвратить ей старинное право избрать сотника по своему желанию вольными голосами.

Мазепа отвечал, что Самойлович и сам уже не очень доволен этим сотником: беспокойный он человек, лезет с пустыми доносами, успел уже доносами выжить Петра Дорошенка. Однако, прибавил Мазепа, Петру Дорошенку в Москве худо не будет; кроме того, из Москвы написали гетману, чтоб ласков был к его оставшейся родне.

«Стало быть,— заметили Кулик и Крук,— гетману не будет противно, если мы Андрея Дорошенка выберем в сотники».

Мазепа уверил их, что, напротив, гетману это будет особенно приятно. Взявши от них суплику, Мазепа отправился с нею к гетману. В тот же день написан был в генеральной канцелярии от лица гетмана лист, дозволяющий сосничанам избрать себе сотника по своим правам и вольностям. О Молявке-Многопеняжном в этом листе не упоминалось вовсе, как будто его в Соснице не бывало. Мазепа сам отдал гетманский лист «супликантам», и те немедленно уехали обратно.

Между тем куренные атаманы, по призыву разосланных к ним казаков, стали собираться в сотенный город; двое из них успели уже явиться к пану сотнику с поздравлениями, заявили ему о подарках от своих куреней и от себя лично;

подарки эти состояли в штуках скота и ульях пчел, а от себя атаманы жертвовали новобрачным разные серебряные вещицы. Но они только заявили о своих дарах, а ничего отдать не успели.

Воротились из Батурина Крук и Кулик. Тотчас городовой атаман пригласил священника, мещанского войта и нескольких куренных, успевших приехать в Сосницу. Он объявил всем, что будет рада по гетманскому приказанию. Зазвонили в колокол. Ударили в литавры.

Молявка не подозревал, чтоб городовой атаман и сотенный писарь осмелились ехать с супликою прямо в Батурин; напротив, Молявка думал, что напугал их своим грозным приемом, и они, желая загладить свою вину, выехали из Сосницы собирать куренных затем, чтоб те ехали с поздравлениями к сотнику. Оставаясь спокойно в своем доме, сотник услышал неожиданный звон колокола, бой литавр и послал казака узнать, что такое делается.

Вышел казак из сосницкого дома, сделал несколько шагов по улице и очутился на площади перед церковью. Вышла толпа народа. Уже устроено было наскоро возвышенное место; на нем стояли Кулик и Крук, возле них куренные атаманы и войт; хоружий, приятель и сторонник Молявки, стоял тут же с ними и держал сотенное знамя.

Вот как это сталось. Когда Крук с Куликом, ворочаясь из Батурина, случайно встретили едущего хоружего, остановили и показали гетманский лист,— у хоружего разом, так сказать, открылись глаза. Он увидал, что Молявка-Многопеняжный вовсе не так силен и крепок, каким выдавал себя. Поэтому хоружий вдруг изменился, не счел уместным извещать своего бывшего приятеля о собравшейся над ним грозе, а совершенно отдался в распоряжение атамана городового и писаря, по их приказанию взял сотенное знамя и поспешил на раду. Писарь Кулик, развернувши гетманский лист, читал пред народом:

— «Иоанн Самойлович, гетман обоих сторон Днепра войска его царского пресветлого величества Запорожского ознаймуем сим отворчатым листом нашим гетманским города Сосницы и всей сосницкой сотни обывателям всех чинов людям иж ставши перед нами очевисто означенного города Сосницы атаман городовый Василь Крук и писарь сотенный Иван Кулик именем всех атаманов и козаков и мещан и всего поспольства вышенамеченного города Сосницы и всей сосницкой сотни супликовали нам, просячи, абы мы-сьмо дозволили им по стародавним их правам

и вольностям войсковым обрати себе вольными голосами по своему излюблению сотника, на що мы, глядючи на старожитны права и вольности войска Запорожского, им на таковое обрание дозволяем, варуючи, еднак, абы по скончании такового обрания нам для конечной нашей о том сентенции оный выбор за рукоприкладством их доставлен был чрез его милость вельможного пана полковника черниговского, до которого регименту войскового сосницкая сотня належит».

Услыша такую речь, посланный Молявкою казак не отправился назад, а остался смотреть, что дальше происходило атаманы, а за ними и казаки.

— Андрій Дорошенко нехай буде сотником! — закричадить будет.

— Андрій Дорошенко! — повторило множество голосов мещанства и поспольства.

Андрей Дорошенко вышел из своего дома, услыхавши звук колоколов и бой литавр, совсем не приготовленный и не ожидавший ничего; Андрей Дорошенко не стал пробираться сквозь толпу, а стал близ церкви. Толпа казаков, увидя его, с криками бросились к нему, потащила и поставила на возвышенное место; атаманы накрывали его своими шапками, хоружий вручал ему знамя, все кричали: «На сырно! на сырно!»

Андрей Дорошенко стал было упираться, извиняться в своем недостоинстве, но Крук громогласно заявил, что такова воля всей громады и он не смеет противиться общему желанию.

Тогда казак, посланный Молявкою, ушел с площади и принес Молявке весть о состоявшемся выборе нового сотника.

— Як вони сміють! — закричал Молявка. За ним завопили на тот же лад его мать и жена.— То своєволя! То ошуканство,— кричал он,— то бунт проти зверхності. Я до гетьмана самого зараз поїду.

Вдруг вошел Кулик. Молявка бросился было на него с кулаками, скрежетал зубами от злости, но писарь обеими руками остановил его задор и дал совет вести себя потише:

— Уже мосьпан не сотник, громада вибрала другого сотника, Андрія Дорошенка!

— Що мені ваша громада! — кричал Молявка.— Я більший од усієї вашої нікчемної громади. Сам гетьман мене наставив над вами, так сам гетьман, коли захоче, має мене звести, а не ви, шолудиві!

Кулик объявил, что у них есть гетманский лист, дозволяющий выбрать нового сотника.

— Се лист підбірний, мальований! Самі його зложили! — кричал Молявка.— Гетьман такого листу не підпише. Покаж лист.

— Іди на раду до нового сотника,— він тобі лист покаже! — произнес Кулик.

— Не піду в вашу мужичу чернячу раду. І вашого задрипаного Андрія Дорошенка знать я не хочу. Більший і сильніший я од усіх вас. Пан гетьман мене наставив по царській волі, а се же усе рівно, якби сам цар мене наставив. Я вас усіх!..

— Нічого ти нам не вдієш!— сказал Кулик.— Лучче тихенько та любенько покорись громаді, зречись сотницьких маєток, поклонись новому сотникові, а потім вийся собі туди, відкіля узявся, або куди схочеш, туди од нас і дівайся.

— Чорти б нехай задрали вашого обраного сотника і всіх вас! — кричал Молявка.— Поїду до самого гетьмана. Ви в мене знатимете, бунтівники...

— Нічого твоїй милості їхати до гетьмана, бо лист гетьманський явне указує гетьманську волю над нами у сій справі. А лист той у нас!

— Подай мені сюди сей лист! Коли сам своїми очима побачу, що ясновельможний мене змістив, тоді і покорюсь,— сказал наконец начинавший опамятываться сотник.

— Добре, коли не хочеш йти до нас в раду, то ми тобі сюди принесем лист, тільки не я один принесу, бо ти ще вирвеш лист і зопсуєш його, а свідків не буде. А ми прийдем до тебе громадою.

Кулик, сказавши это, вышел. Молявка и семья его тревожились, не зная, за что приняться. Мать ломала себе руки и принялась за свои обычные жалобы на долю, которая всю жизнь ее преследует с сыном: ничего им не удается, поманила их доля большим добром, а теперь вот все пошло по ветру. Жена давала мужу совет ехать к черниговскому полковнику и просить, чтоб он заступился за своих родичей перед гетманом. Сам Молявка бегал быстрыми шагами взад и вперед, хватался обеими руками за голову и судорожно пожимал плечами. В сильном волнении он не находил, на чем ему остановиться, за что ухватиться.

Вошли Кулик, Крук и Андрей Дорошенко.

— Доброго здоров'я ласкавому пану-добродієві! — сказал Андрей Дрошенко.

Такое же приветствие повторил и Крук.

— Іще не віншовали-м твою миліть на законному малженстві! — сказал Андрей Дорошенко.— Пошли, Боже, твоєй милості доброго здоров'я і во всім щасливого повоження на многая літа! Твоїй милості нехай відомо те буде, іж прийшов до сосницької громади от ясновельможного пана гетьмана лист, дозволячий вольними голосами обрати сотника. По тому листу гетьманському отворчатому сосницької сотні громада вольними і тихими голосами єдиностайно обрала на уряд сотницький мене, Андрія Дорошенка. Волиш зобачити сей лист гетьманський — от він, пане бувший сотнику!

Он поднес ему бумагу с выражением почтительности.

Молявка взял «лист», прочитал его, выпучил глаза в недоумении, потому отдал назад «лист» и минуты три молчал. И другие молчали. Наконец Молявка сам перервал молчание и сказал:

— Поїду до вельможного пана його милості полковника черніговського. Але ж, пане Андрію Дорошенко! Твоє сотництво це може вилами на воді підписано. Бачу, що ви добули якийсь лист з гетьманської військової канцелярії. А вже пан полковник дізнається от самого гетьмана, як воно сталось таке.

Все трое: Дорошенко, Кулик и Крук — изъявили ему желание счастливой дороги. В тот же день собрался Молявка и на ночь уехал с женою и матерью в Чернигов, а для громоздких сундуков с жениным приданым нанял подводы.

Полковник Борковский на ту пору недавно воротился из Чигирина, где с осени стоял со своим полком на залоге. Явились к нему Молявки. Полковник, узнавши от них, что все это случилось, тотчас же велел запрягать сани и отправился налегке в Батурин, а Молявке приказал дожидаться у него.

Ничего не удалось полковнику у гетмана. Самойлович объяснил ему, что назначил было в Сосницу сотника только того ради, что нужно было устроить прямо от гетмана наблюдение над Петром Дорошенком. Теперь же, когда Петра Дорошенка вызвали в Москву, наблюдать уже не над кем, и он, гетман, не считает себя вправе нарушать для сосницкой сотни извечные уставы войска Запорожского и запрещать сосничанам выбор сотника по их желанию. Не его, гетмана, в том вина, что сосничане не выбрали себе этого Молявку-Многопеняжного, а выбрали Андрея Доро-

шенка. Не утвердить Андрея не было никакого повода, тем более что и в Москве этим будут довольны.

Борковский просил чем-нибудь иным вознаградить Молявку. Самойлович отвечал, что когда-нибудь, со временем, он покажет ему милость, когда тот ее чем-либо заслужит. Борковский за это озлобился на гетмана. Самолюбие черниговского полковника было уязвлено тем, что гетман в этом деле не сделал ничего по его просьбе: с этой поры Борковский стал недоброжелателем гетмана.

Молявки уехали к Бутриму. Не очень радушно, не очень охотно поместил их у себя этот господин. Но делать было нечего: не оставлять же дочки на волю судьбы. Старая Молявчиха очень скоро повздорила с паней Бутримовой; правда, она скоро и смирилась перед нею, потому что иначе негде было бы ей приютиться, но с тех пор играла жалкую роль приживалки, сносила от Бутримихи невнимание и явное к себе пренебрежение, а оставаясь наедине с сыном, горько плакала, жаловалась на свою долю и вооружала сына как против тестя и тещи, так и против жены. Жена Молявки, чувствуя превосходство и своего отца и свое собственное по отцу пред таким мужем, который остается без власти над другими, без богатства, без значения, стала обращаться с мужем заносчиво и высокомерно. Все терпел Молявка, потому что, бывало, как только поднимет он голос против сварливой жены, так за нее начинают вступаться тесть и теща, задевают его колкими замечаниями, напоминают, что он у них на хлебах живет и сам собственных средств не имеет, выражают вдобавок обидное сожаление, что ошиблись они, отдавши дочь за такого человека.

— Не живем ми тут, а мучимся,— говорил подчас матери Молявка-Моногопеняжный.

XIV

Челобитная черниговцев, всякого чина и звания людей, на воеводу Чоглокова была Борковским отправлена к гетману, а гетман без замедления препроводил ее в Малороссийский приказ. В то время Самойлович был в большой силе и в доверии у московского правительства, и царь Федор Алексеевич весь Малороссийский край держал, как говорилось тогда, в большом возлюблении. Чоглоков был неугоден малороссиянам, и на этом одном основании велено было его удалить с воеводства, не разбирая справедливости возникших против него жалоб. В конце марта при-

ехал Чоглоков в Москву,— у него там на Арбате был собственный двор. Тотчас же принужден был Чоглоков в Малороссийском приказе давать поминки и спустить бо́льшую половину того, что успел награбить в Чернигове. Так обыкновенно делалось тогда с царскими воеводами: их высылали «в городи» на воеводство, они там обирали жителей, а, по возвращении в Москву, их самих обирали в приказах. Чоглоков не мог тогда предвидеть, что одним этим он не отделается, и послал в свою Пахровскую вотчину приказание привезти красавицу Анну Черниговку с ее мужем Ваською Чесноковым.

Все было исполнено по его боярскому приказанию. Приехали из вотчины в Москву Васька и Макарка. Привезли они с собою и Ганну Кусивну.

Тогда в доме Тимофея Васильевича Чоглокова происходила вот какая сцена.

В своем боярском кресле сидел, развалясь, Тимофей Васильевич. Перед ним стоял Васька Чесноков. Тимофей Васильевич говорил ему:

— Так-то, любезнейший ты мой Васютка. Ты будешь приводить ко мне свою жену на ночь, как только я потребую, а я тебе о том буду давать приказ заранее. Жить вы будете у меня в особой надворной избе и всякую харчь получать от моего стола, одевать я вас буду пачс других слуг моих и жаловать вас буду, оттого что я вас не за чужих, а за своих почитаю. Поживете годика три-четыре, я вас на волю отпущу с немалым награждением. Только чтоб этого, что между нами творится, никто не знал, только бы вы двое да я про то ведали, а другие все чтоб и не догадывались.

— Уж в этом положись на меня, государь! — отвечал Васька.— У меня все равно, что в могилу закопано. Никто не узнает. Я твоею милостью по горло доволен и по смерть свою не забуду того, что твоя государская милость мне делаешь. Уж поверь, государь, будет по твоему скусу твоей милости бабенка, а я за чистотою смотреть буду и чтоб не гуляла.

— Я на тебя, Васютка, надеюсь, как на каменную гору,— сказал Чоглоков.— Ну, а как везли ее, не порывалась она стречка дать?

— Она,— сказал Васька,— може, и убегла бы, да перво́, что дороги не знала в чужой земле, а тут мы за нею глядели в четыре глаза. Только уж как привезли в вотчину да повели под венец, так больно артачилась. Только отец

Харитоний на то не посмотрел: она кричит благим матом —«не хочу!»,— а он «Исаия ликуй!» поет. Молодец поп! Ей-Богу, молодец! Потом уже тихо и смирно велась, боялась, чтоб ее не били; говорила только нам: «Делайте со мною, что хотите. Я ваша,— говорит,— невольница; я все равно что у татар в полону!» И работает, бывало, все, что ей прикажут. Только все скучна была да плакала по́часту: бывало, как только сама одна останется, так и ревет.

— Ну что, бабьи слезы — вода,— проговорил Чоглоков.— Обживется — слюбится. И здесь, в Москве, смотри за нею, Васютка, чтоб не убегла. Пока еще она тут никого не знает? Держи ее, Васютка, так, чтоб, окромя наших людей, во дворе никто ее не знал.

— Опасно,— заметил Васька,— пока не обвыкнет, чтоб не вздумала заорать: «Я чужая жена, меня обвенчали с другим насильно!» А тут какой-нибудь лиходей подслушает и донесет. Мне за то как бы в ответе не быть перед твоею государскою милостию.

— Покрепче держи, позорче гляди — и не будешь передо мною в ответе,— сказал Чоглоков.

— Буду смотреть за нею строго, по твоему боярскому приказу,— сказал, поклонившись, Васька.

— Сегодня вечером приведи ко мне Анну! — сказал Чоглоков.

— Слушаю, государь,— сказал, поклонившись, Васька.

В людской избе собралась дворня ужинать. Ваське и Анне хоть назначил господин особый покой и харч от своего стола, но был еще первый только день их приезда в Москву, и они до следующего утра расположились в общей избе. Ганна, одетая в цветной летник с кикою на голове, была похожа на чистую великороссиянку и молча сидела на лавке. Холопи и холопки поглядывали на нее с любопытством и делали друг с другом шепотом на ее счет замечания, а иные обращались с речью к ней самой, но она отделывалась короткими фразами, которые смысла другие понять не могли и все-таки не удерживались от смеха над малороссийским акцентом Ганны.

Сели ужинать. Ганна, по приказанию Васьки, села и взяла в руки ложку.

— Ну что, хохлачка? — сказал кто-то.— Скучно тебе небось без ваших вареничков? А?

Ганна принужденно осклабилась.

— Иди к своему гетману, вареничков у него попроси,—

сказал другой.— Вон вашего гетмана привезли, говорят, и держат, как собаку, на цепи.

— Его поместили, говорят, на Греческом дворе,— заметил кто-то.

— На время. Построят особую избу для него,— заметил другой.

— А в Сибирь разве не пошлют его? — спросил кто-то.

— В Сибирь не зашлют,— объяснил другой,— он ведь не нашего царя был холоп, а польский или турецкий — черт его знает чей, только не нашенский; он сдался нашему царю в полон.

— Так, так,— заметили другие.— Ну, значит, он не согрубил против нашего царя, так его в Сибирь не за что посылать, значит, его в Москве держать станут!

— Так коли он нашему царю сам сдался, зачем его не остановили там, где взяли? — кто-то спросил.

— А, видно, не годится! — ответил другой.

— Его там в своей стороне где-то поместили сперва, да проведали, что дуровать собирается, оттого сюда привезли,— сказал Васька.

Ганна не проронила ни одного слова, все слышала, все твердо запечатлела в своей памяти, но спросить ни о чем не смела.

— А как он прозывается? — спросил кто-то.

— Петра Дорошонок! — сказал Васька, живший недавно в Чернигове и наслышавшийся там об этом имени.

И Ганна вспомнила, что с детских лет ее в кругу ее семейных и знакомых часто повторялось это имя; знала она, что и муж ее Молявка-Многопеняжный с казаками пошел в поход против этого Дорошенка.

Разговоры у холопей перешли на другие предметы. Ганна не вмешивалась и погрузилась в свою обычную задумчивость.

После ужина Васька вывел ее в сени и сказал:

— Анна! Боярин зовет тебя к себе на ночь!

Ганна ничего не ответила.

— Что, рада? — спросил Васька.

— Овсі не рада,— сказала Ганна.— Тільки те мені чудно: ставишся ти моїм чоловіком, а мене до іншого ведеш. Хіба така у вас віра?

— Такая, коли хочешь знать, у нас вера,— отвечал Васька,— чтоб слушаться господ своих и делать, что господа приказывают.

Ганна молча пошла вслед за Ваською.

— Здравствуй, девка,— сказал Чоглоков, оставшись с Ганною наедине,— здравствуй, красная! Видишь, опять ты со мною, душенька. Не бойся, я не лютый зверь, не задеру!

Ганна не показывала ни тени сопротивления, была послушна во всем, не начинала никакой речи и отвечала только, либо: «Не знаю», либо: «Як велиш».

Утром, когда еще Тимофей Васильевич на солнечном восходе спал как убитый, Ганна вышла от него, не пошла в людскую, а направилась к воротам двора, выходившим на улицу. День был весенний, ясный. Москва уже была на ногах; народ сновал из улицы в улицу. Земля кое-где была еще грязна, но уже во многих местах просыхала. Ганна не знала, куда ей повернуться: она не бывала еще ни на одной московской улице, привезенная только вчера прямо в боярский двор Чоглокова. Наудачу пошла она влево, уперлась во двор, повернула еще налево, потом направо, шла, сама не зная, куда зайдет, и беспрестанно оглядывалась, не преследуют ли ее, не смея спросить никого из встречающихся. Улица, по которой она шла, раздваивалась, и Ганна решилась наконец спросить у встречной женщины, куда пройти на Греческий двор.

— Ах, родимая! Слышу по твоей речи, что ты не здешняя,— сказала ей женщина.— Первый раз, видно, в Москве?

— Первый раз,— отвечала Ганна.

— Трудно, родимая, ух, как трудно бывает здесь тому, кто первый раз в Москве, пока не привыкнет. Тебе на Греческий двор-то? Иди влево отсюда, а там, произошедши два переулка вправо, не иди туда, а будет третий вправо же, так ты туда иди, и все прямо, прямо, увидишь вдалеке колокольню большущую — Иван Великий прозывается, так ты все иди и на нее смотри, и дойдешь до стены белокаменной, и повернешь влево, и там спросишь Греческий двор, тебе люди покажут!

— Спасибі, тітусю! — сказала Ганна и пошла по указанному пути, устремляя постоянно глаза на золоченую главу Ивана Великого, блиставшую под лучами весеннего утреннего солнца. Но в сети запутанных московских улиц она опять сбилась с пути и стала спрашивать о Греческом дворе у встретившихся ей мужиков. Эти мужики не оказались предупредительны и любезны, как прежняя женщина, направлявшая Ганну к Греческому двору. Эти мужики, услышавши малороссийскую речь, стали поднимать Ганну на́ смех и передразнивать.

— Да ты, видно, украинская ворона залетела в Москву! А какая, черт ее не взял, красивая! Ходи с нами, добрыми молодцами, во царев кабак! Мы тебя угостим!

— Не хо́чу! — отвечала Ганна.— Я не піду з вами!

Но один мужик схватил ее за стан.

— Геть! — закричала Ганна.— Кажу, не піду я з вами. Пустіть!

— Пустіть! — передразнивали ее мужики, но Ганна вырвалась от них.

Она пошла скорыми шагами далее и боялась уже спрашивать дороги: научил ее первый опыт, что в Москве молодой красивенькой женщине было небезопасно расспрашивать дорогу у мужчин. Прошедши наудачу несколько улиц, она решилась, наконец, спросить у какой-то старухи, где Греческий двор. Старуха указала, что он был от ней уже в нескольких шагах.

Греческий двор стоял тогда на том месте, где теперь Никольский монастырь, называемый Греческим и построенный на Греческом дворе именно около того времени, когда совершались описываемые события. У ворот двора стояли караульные стрельцы.

— Тут Греческий двір? — спросила Ганна.

— Тут! Кого тебе? — спросили караульные.

— Гетьмана Петра Дорошенка.

— Нельзя! — грозно отвечал караульный.— Зачем тебе его? Вон наш полуголова. Спроси его.

Он указал на ходившего по двору стрелецкого полуголову. Ганна подошла к нему, поклонилась и сказала:

— Чи не можна, добродію, побачить гетьмана Дорошенка?

Полуголова подозрительно оглядел ее с головы до ног и проворчал:

— Первое — он уж не гетман и величать его так нельзя. А второе — какое тебе до него будет такое дело? Ты черкашенка, что ли?

— Еге! — отвечала Ганна.

— Не велено без позволения от Приказа пускать к нему никого, кроме тех, что на Малороссийском дворе черкассы в посольстве приехали,— сказал полуголова.— Ты из их-них, что ли?

— Я його родичка,— сказала Ганна.

— Что это такое: родичка? — говорил полуголова.— Родня ему приходишься, что ли?..

— Еге! — сказала Ганна.

— Хорошо, я сам поведу тебя к нему,— отвечал полуголова.

Петро Дорошенко, привезенный в Москву, был помещен на Греческом дворе и находился в состоянии, составлявшем средину между положением гостя и пленника. Уже он представлялся ко двору, удостоился целовать царскую руку, думный дьяк пред лицом самого великого государя изрек прощение всем его винам и противностям; затем ему сказано было, что он останется в Москве до окончания войны с турками для совета о разных воинских делах. С тех пор он жил на Греческом дворе; его действительно приглашали в Приказ раза три, брали от него сказку о татарских и турецких путях, о средствах к обороне Чигирина и тому подобное. Между тем у его помещения стояло на карауле попеременно по двадцати стрельцов с полуголовами. Наконец в последние пред этим дни позвали его к думному дьяку Лариону Иванову, и тот сказал ему, чтоб он подал челобитную о доставлении ему в Москву жены его. Дорошенко ужаснулся.

— Великому государю, значит, угодно меня оставить здесь навсегда? — спросил он.

— Такой воли великого государя нет,— отвечал дьяк.— Но тебе указано жить на Москве, доколе не утишится война с неверными, а сколько времени она будет длиться, про то Бог весть. Мужу от жены врознь пребывати не подобает.

Нечего было делать Петру Дорошенку. Написал он со слов думного дьяка челобитную о привозе его жены. В ожидании привоза немилой ему жены и не зная, чем окончится его судьба, Дорошенко метался, словно дикий зверь в клетке. Донельзя опротивела ему тогда эта Москва. Думал было он спокойно доживать веку после своей бурной жизни в милой родной Украине, посреди родного народа, на полной воле, а его держат в московской земле, и притом в неволе, хотя не говорят ему, что он в неволе.

В это-то время стрелецкий полуголова привел к нему Ганну Кусивну.

Дорошенко ходил большими шагами по комнате в обычном своем волнении. Полуголова, вошедши с Ганною, сказал:

— Петр Дорофеевич! Вот эта женщина желает видеть твою милость. Говорит она: сродни твоей милости.

— Я не знаю этой женщины,— сказал Дорошенко, оглядевши Ганну. И потом, обратясь к ней, спросил: — Яка ти мені родичка?

— Я така тобі родичка, як усі наські люди тобі родичі,— сказала Ганна.— Ясновельможний гетьмане! Вислухай мене, я прийшла до твоєї милості за порадою. Поможи мені, бідолазі!

— Я не гетьман,— сказал Дорошенко,— навіть не полковник, жодного уряду не маю! Я просто в'язень у Москві! Чим я тобі поможу? Я сам бідний. Усі статки-маєтки свої покинув у Чигирині да у Сосниці.

— Я не грошей прийшла прохати,— сказала Кусивна,— хоч я така убога, що і хліба шматка не маю на чужій стороні, а прийшла до твоєї милості не за грошима, а за порадою. Вислухай мене, дай мені порадоньку, бідній, нещасній сироті, ні до кого мені повернутися, пригорнутися на чужій чужині, тільки до своїх людей.

И она, заливаясь слезами, повалилась к ногам Дорошенка. С головы ее спала кика. Ганна на первых порах сконфузилась, очутившись простоволосою, но не решилась надевать на голову противного, насильно ей навязанного московского головного убора.

И почему-то вспомнил Дорошенко, как перед ним со слезами валялись бедные украинцы, когда он их отдавал сотнями в неволю туркам и татарам. Не жаль ему их тогда было, потому что думал он тогда не о лицах поодиночке, а о целой отчизне, которой хотел добыть свободы и независимости. Теперь уже об этой отчизне он не думал, потому что сам погубил ее. Теперь жаль ему стало неизвестной женщины, валявшейся у ног его.

— Встань, молодице,— сказал он.— І кажи, звідки ти?

— З Чернігова,— отвечала Ганна.— Козацького роду, по батькові Кусівна. В Петрівку торік віддали мене заміж, владика дозволив повінчати, а мій молодий в той же день пішов у похід; а я ввечері пійшла по воду до річки Стрижня; в потайнику мене ухопили, очі і рот зав'язали і приволокли до воєводи, а воєвода згвалтував мене і відослав з своїми людьми у свою вотчину під Москву і там приказав мене гвалтом повінчати з своїм чоловіком, а потім, приїхавши сам до Москви, приказав мене привезти, хоче, щоб я жила з тим його чоловіком, з яким мене гвалтом повінчано, а йому самóму стала підложницею.

— А твій перший чоловік живий ще? — спросил Дорошенко.

— Не знаю, ясновельможний пане, чи він ще живий,—

отвечала Ганна.— Його зовуть Яцько Молявка-Многопіняжний. Його в похід угнали, а мене ухоплено,— і з тієї пори я про його не чула.

— Молявка-Многопіняжний! — воскликнул Дорошенко.— Я твого чоловіка добре знаю. Він тепер уже сотником у Сосниці. Казав він мені, що у його жінку украли і віддали за другого, казав! Яку ж я тобі, молодице, пораду дам? Іди, молодице, до думного дяка Ларіона Іванова і усе йому повідай, як отсе мені повідала. Я ось тобі цидулу напишу до його!

Он пошел в другую комнату. Ганна дожидалась стоя, опустивши глаза в землю. Дорошенко вышел, отдал ей написанную цидулу и сказал полуголове:

— Кажіть одвести сю жону до Ларіона Іванова в Приказ. А тобі, молодице, на́: от, скільки здолаю, стільки помагаю.

Он подал ей несколько серебряных монет, вынес из другого покоя черный шелковый платок и вручил ей, сказавши, что это ей на голову, чтоб не надевать более московской кики.

XV

Привели стрельцы Ганну Кусивну к думному дьяку Ларіону Иванову, находившемуся тогда в Приказе. Это был сорокалетний плечистый мужчина с здоровым лицом, с красным от большого употребления напитков носом и с маленькой красноватой бородкой. Прочитавши цидулу Дорошенка, он велел позвать Ганну.

— Мы с тобою, красавица,— сказал он ей,— видимся впервое, а, кажись, я тебя уже знаю. Уж не та ли ты, что писано было нам от гетмана по челобитной полковника Борковского и всех черниговских всяких чинов обывателей на царского воеводу Чоглокова, между иными его худыми делами, что он заслал какую-то жену чужую в свою вотчину и там ее повенчал и в другой раз с его человеком?

Ганна рассказала ему всю свою историю так же, как и Дорошенку.

— Кто тебя знает,— сказал думный дьяк,— какой у тебя муж законный, коли ты с двумя венчалась, и со вторым мужем от живого первого. Это уж не наше дело, а церковное. Я тебя отправлю в Патриарший приказ.

— Мене згвалтовали, навік осоромотили! — с рыданием говорила Ганна.

Думный дьяк не совсем понял смысл слышанных слов, но уразумел, что идет жалоба на насилие, учиненное ей Чоглоковым, и сказал:

— Хорошо; мы его допросим. А ты, женка, явись сюда завтра!

— А де ж я буду? — сказала Ганна.— Я до його в двір не вернусь, лучче в річку кинусь!

— Побудешь здесь, в Приказе. Я велю тебя поместить,— сказал думный дьяк и велел отвести ее в нижний подклеть, где были покои, нарочно отводимые на случай для тех, которых нужно было задержать в Приказе на время.

На другое утро опять привели Ганну пред думного дьяка. Она увидала здесь своего злодея Чоглокова, побледнела и затряслась.

— Ну, Тимофей Васильевич,— говорил Чоглокову Ларион Иванов.— Вот женщина показывает на тебя! — При этом он изложил то, что слыхал от Ганны.— Что скажешь на это? Знаешь ты эту женку? — спрашивал он в заключение Чоглокова.

— Знаю,— сказал Чоглоков,— только не так было, как она показывает. Эта женка клеплет на меня безлепицу. Она первый раз пришла ко мне с моим человеком Ваською Чесноковым, и оба стали просить у меня позволения обвенчаться. Она была тогда в девичьем наряде. Я позволил, да и не было никакой причины им того не позволять. Мой холоп Васька Чесноков тогда отпросился от меня домой в нашу подмосковную вотчину, и я отпустил его; он поехал вместе с этой женкой и письмо от меня повез к священнику моей вотчины, и тот священник, видя их доброе обоюдное согласие, их обвенчал. А как меня из Чернигова с воеводства отозвали, я приехал в Москву и велел Ваську с женой привезти к себе во двор мне на службу, а не для срамного дела, как она лает. А вчерашнего утра эта женщина из моего двора сбежала, малую толику животов покрадючи, и теперь затеяла на меня такое, что честному, богобоязненному человеку и помыслить страшно.

— Мене повінчали, я не дівка була, а мужатая жона, вони мене по-злодіяцьку ухопили, і згвалтовали, і за іншого силоміць повінчали, мужату жону! — вопила Ганна.

— Спроси ее, господин,— сказал Чоглоков.— Когда ее повенчали первый раз и где?

— У св[ятого] Спаса,— сказала Ганна.— У той саме день, як виступали козаки в поход.

— А какой тогда был день? — спрашивал Чоглоков.— Тогда был Петров пост. Скажи, господин думный дьяк: можно разве по закону православному венчать в Петров пост?

— Ну, лебедка, что скажешь? — обратился Ларион Иванов к Ганне.— Правду ли этот господин говорит? Был тогда Петров пост?

Ганна стала объяснять, что владыка разрешил венчание в пост. Но так как объяснения эти произносились по-малороссийски, то думный дьяк моргал бровями и пожимал плечами, бросая вопросительные взгляды на Чоглокова, и потом сказал Ганне:

— Невдомек что-то мне, что ты баешь, лебедка. Дело-то это не нашенское, а церковное. Ступай себе, я позову тебя, когда нужно будет.

Ганна поклонилась до земли и с рыданиями стала просить пощады и сострадания к своей горькой судьбе, но Ларион Иванов, вместо ответа, дал знак, и Ганну увели. Думный дьяк сказал Чоглокову, что он за ним после пришлет, а теперь у него иные спешные дела.

Через день Ларион Иванов опять призвал Чоглокова.

— У тебя, Тимофей Васильевич, где вотчина-то? На Пахре, кажись?

— На Пахре,— сказал Чоглоков.

А сколько четей земли, сенокосу, лесу и рабочих крестьян и дворовых людей? — спрашивал Ларион Иванов.

Чоглоков рассказал все, что у него спрашивали.

— А сколько скота, есть ли овцы, пчелы, при дворе сад, огород, гумно, сколько одоньев хлеба? — спрашивал думный дьяк.

Чоглоков и на это отвечал, прибавивши, что многого не упомнить, а у него есть на то опись всему.

— Хорошо,— сказал думный дьяк,— продай мне половину твоей вотчины по описи.

Чоглоков был словно громом оглушен таким предложением. Он замялся, говорил, сам не зная что, но смысл его слов был таков, что он продавать своей вотчины не желает.

— Ну, воля твоя! — сказал думный дьяк.— Ты на то хозяин и владелец. Я только тебе свое желание заявил: купил бы у тебя, когда бы ты захотел продать, а не хочешь — как знаешь! Я с своим назад.

Несколько минут молчали оба. Тимофею Васильевичу было очень неловко. Он понимал, чего хочет думный дьяк.

Тимофея Васильевича бросало то в жар, то в холод от зловещего молчания Лариона Иванова.

— Ну, просим прощения! — сказал наконец Ларион Иванов, и Чоглоков в сильном волнении вышел от него.

Прошла неделя. Чоглоков находился в невыносимо тревожном состоянии. Недавно еще, тотчас по своем возвращении из Чернигова, отвалил он «в почесть» Лариону Иванову немалую толику наличными, да и подьячих Малороссийского приказа угобзил порядком, так что почти уже ничего у него не осталось из того, что успел он зашибить себе в Чернигове на воеводстве. Теперь видел он, что его хотят облупить, как липку. Дал намек Ларион Иванов да и замолчал, не зовет его больше. Хоть бы уж позвал да сказал, что с ним намерен сделать, если он половину своей вотчины не уступит!

И прошло еще несколько дней, мучительных для Тимофея Васильевича. Передумывал он и то и другое, прикидывал и так и этак. Ничего не мог выдумать. Но вот, наконец, уже дней через десять после первого предложения о продаже половины вотчины зовут его опять в Малороссийский приказ.

Стал лицом к лицу Тимофей Васильевич с Ларионом Ивановым.

Ларион Иванов, сидя за своими бумагами, сказал вошедшему к нему Тимофею Васильевичу:

— Ну что, господин бывший черниговский воевода: дела-то наши не хороши. Как-то выпутаемся мы от доноса, что прислал на твою милость черниговский полковник от всего Черниговского полка и от города Чернигова войта, и бургомистров, и райцев, и всего мещанства и поспольства? Как ты думаешь об этом, господин бывший воевода?

— Ларион Иванович, отец родной! — проговорил сквозь слезы Чоглоков.— Я ведь твоей милости бил челом и в почесть подал, что можно было. Тогда положили всему тому погреб.

— Э, нет, батюшка Тимофей Васильевич! — сказал Ларион Иванов.— Мы тебя только выписали из Чернигова, вместо того чтобы там, на месте, розыск чинить над тобою. Было бы для тебя не лучше, коли б мы, оставивши тебя в Чернигове, новому воеводе приказали над тобой разыскивать. Новому воеводе захотелось бы показать: вот-де какие дурные воеводы до него там были, а он не таков, и таких дел за ним не чаят худых! Тебя, голубчика, может быть, посадили бы там в тюрьму, а те черниговцы, как бы стали

их допрашивать, навряд бы твою милость оправили. И теперь — вот хоть с этой бабенкой, что у нас тут сидит внизу. Видишь, черниговский полковник написал про какую-то там у них женку Белобочиху, будто она, при свидетелях полковых старшинах, говорила, что ты ее подговаривал привести к тебе Анну Кусовну для блудного дела. А потом эта самая Анна пропала безвестно и очутилась в твоей вотчине замужем за твоим человеком, и вот видишь, что на тебя показывает. Мы начнем розыск чинить о сем. Да и то еще: в челобитной черниговской пишется, твои-де стрельцы ходили по дворам мещанским и казацким и подговаривали женок и девок тебе на блудное дело. И об этом пошлем в Чернигов розыскать, оттого что это сходится с делом об этой женке Анне. А что скажут по тому розыску — тебе лучше знать! Не дай Бог, да скажут что-нибудь недоброе,— тогда тебе, Тимофей Васильевич, будет, ух, как плохо! Великому государю наверх в докладе пойдет. Как бы твоей милости не пришлось ехать в дальние сибирские городы, да еще, может быть, и не воеводою, а поверстают в дети боярские либо еще пониже. Вон еще при боярине Матвееве, как нашим Приказом управлял, что сталось с Демкою Многогрешным. Тот был гетман, повыше тебя, воеводы. И дел за ним не бывало таких, как за тобою!

— Батюшка, Ларион Иванов, отец родной, кормилец! Власть твоя и воля твоя. Не погуби! Смилуйся! — завопил Чоглоков и повалился к ногам думного дьяка.

Ларион Иванов сказал:

— Встань, Тимофей Васильевич! Одному великому государю подобает кланяться в землю, а я ведь не великий государь твой, я только дьяк его царского величества.

Тимофей Васильевич встал и продолжал плакать; он совсем растерянный стоял перед думным дьяком. Ларион Иванов продолжал:

— Ты, батюшко Тимофей Васильевич, не глуп человек и ведаешь, как в свете ведется между людьми. Все мы, грешные, охочи творить добро наипаче тем, что нам его творят. На том, сударь, весь свет стоит и тем держится, что мы один другому тяготы носим, один другому угодное творим, и коли мы к людям хороши, так и люди к нам также хороши. Ты испугался розыска над собой и бьешь мне челом, чтобы я заступился за тебя; а я намедни, коли не забыл, бил челом твоей милости, чтоб ты изволил продать мне половину твоей Пахровской вотчины. Однако ты на мое челобитье не подался и меня не пожаловал.

Теперь же ты вот мне бьешь челом о своем деле. Что же, как думаешь? И мне поступить с тобою, как ты со мною поступил, не податься на твое челобитье?

— Батюшко, отец родной! Смилуйся! Ведь половина моего состояния родового, кровного! — вопил Чоглоков.

— На это я вот что тебе скажу, любезнейший мой Тимофей Васильич,— сказал думный дьяк.— Человек ты книжный и, конечно, читывал, как в Святом Писании говорится: лучше калекою войти в царствие божие, чем со всеми целыми удами быть ввержену в геенну огненную. И ты ныне поступи так, по сему премудрому словеси. Лучше тебе, мой дорогой, потерять половину своей вотчины и остаться жить в покое с другою ее половиною, чем, владеючи обеими половинами, быть загнатым туда, куда Макар телят не гоняет. Все равно не будешь тогда володеть своею вотчиною, достанется кому-нибудь другому из твоего рода, а то, может быть, еще и отпишут на великого государя. А коли начнется над тобой строгий, правдивый розыск, так тебе в те поры не сдобровать. Это я наперед вижу, да и ты сам, Тимофей Васильевич, лучше меня это видишь и знаешь.

— Бери, батюшка! — возопил Чоглоков и ударил себя о полы руками.— Бери, только выручи!

— Подай опись имуществу своему,— сказал думный дьяк.— Напиши купчую данную, запиши в Поместном приказе и ко мне доставь вместе с описью. Да не подумай, Тимофей Васильевич, меня в чем-нибудь провести. Смотри, чтобы в купчей данной была вписана в точности половина всего, что значится по описи. Я посмотрю, слицую, и коли объявится не все в точности, так и купчая не в купчую. Не приму.

— Да нельзя ли уж, коли так,— сказал Чоглоков,— воротить эту женку к ее мужу в мой двор, к моему человеку, да тем и дело покончить?

— А, жирно будет! — возразил Ларион Иванов.— Довольно будь и тем, Тимофей Васильевич, что сам цел остался. Надобно дело решать так, чтобы и тебя спасти от гибели, и против правды не покривить. Мы вот как постановим. Что женка оная на воеводу показывала, того никакими доводы не довела, и черниговское челобитье, что на того же воеводу написано, ничем не доведено, а воевода в ответ сказал-де, что все то на него затеяно от черниговцев напрасно по злобе за то, что он, воевода, радея о царской выгоде, их, черниговцев, плутовству не потакал; и мы,

великий государь, указали дальнейших розысков за неимением доводов над воеводою не чинить, а женку Анну, за двоемужество, отослать к духовному суду в Патриарший приказ. Вот оно и выйдет, как говорится: и козы целы, и волки сыты будут.

— А если,— заметил Чоглоков,— та женка в Патриаршем приказе учнет на меня показывать ту же безлепицу, что показывала здесь? Тогда меня в Патриарший приказ позовут!

— Мы,— сказал тогда думный дьяк,— здесь, в Малороссийском приказе, именем царским тебя оправим и от дела того Аннинога совсем отлучим. По наговорам той женки могут позвать в Патриарший приказ не тебя, а человека того, что с нею венчался и стал ей мужем, потому что у них общее духовное дело. А ты заранее призови того человека своего и под страхом великим запрети ему, чтоб, когда его призовут в Патриарший приказ, тебя в дело не втягивал и ничего о тебе там говорить не дерзал, а отложил бы тебя вовсе. Ты же здесь у нас в расспросе своем напиши, что дозволил человеку своему венчаться с Анною, не знаючи никак, чтоб Анна была с кем иным обвенчана, понеже сама Анна тебе того не объявляла и ты считал ее девкою, тем паче, что она ходила по-девичьи. А хоть бы кто со стороны и говорил тебе, что она венчана в Петров пост, ты такой глупой речи не поверил, знаючи, что по закону нашему православному в пост венчать не мочно. Здесь у нас, в Малороссийском приказе, такую сказку напишешь и оставишь. И только.

Поклонился Чоглоков думному дьяку Лариону Иванову, еще раз назвал его кормильцем, спасителем, отцом родным. В тот же день написал он показание в таком смысле, как научил его думный дьяк, а через неделю принес Лариону Иванову купчую данную на половину своей Пахровской вотчины и опись всему своему имуществу, числящемуся при той вотчине. Ларион Иванов пересмотрел то и другое, проверил сходство купчей с описью и сказал:

— Спасибо тебе, кормилец, благодетель. Весною начну строиться в новой купленной вотчине. Будем с тобою жить по-приятельски, как добрым соседям подобает.

Все это время Ганна жила в подклете Малороссийского приказа, питаясь скудным поденным кормом, выдававшимся из царской казны тюремным сидельцам; она дополняла его недостаток тем, что просила сторожей покупать ей за те деньги, что дал ей Дорошенко. Несколько дней сидело

вместе с нею двое бродяг малороссиян, взятых в Москве и отправленных на родину. Они были из другого малороссийского края, из Полтавского полка, и сидели в подклете Приказа недолго, к большому удовольствию Ганны, которой один из них стал было надоедать своими любезностями. Когда их вывели, Ганна осталась одна; ее позвали тогда в Приказ, дали ей еще три рубля мелкими копейками и сказали, что ей подает на милостыню Дорошенко, бывший по своим делам в Приказе и там осведомлявшийся о ней. Ганна, отведенная в свою тюрьму, горячо молилась за своего благодетеля, не забывавшего о ней и подавшего ей святую Христову милостыню.

После окончания сделки с Чоглоковым думный дьяк приказал привести пред свою особу Ганну и приказал подьячему прочитать ей приговор, гласивший, что так как жалоба женки Анны на воеводу Чоглокова никакими доводами не доказывается, то дело о сем в Малороссийском приказе прекращается, женка же Анна отсылается к святейшему патриарху для учинения над нею духовного суда за незаконное вступление в брачный союз.

Стрельцы повели Ганну в Патриарший приказ.

В доме у Чоглокова происходила такая сцена: Тимофей Васильевич призвал к себе холопей своих Ваську и Макарку и говорил им:

— Ну, братцы! Больно недобро мне с этой проклятой хохлушей. Оттягал у меня думный дьяк половину Пахровской вотчины. Что будешь делать? Загрозил злодей, что начнут обо мне вновь розыскивать. Я дал ему купчую данную. Да еще и тут делу не конец. Хохлушку велел отвести в Патриарший приказ к духовному суду,— там будут розыскивать о ее двоемужестве. И вас, может быть, позовут. Смотрите же, не примешивать меня никак. Ты, Васька, в одно упрись и говори: никакого-де приказу насчет женитьбы своей от своего государя не слыхал. Сам к нему, вместе с Анною, приходил просить позволения повенчаться, не знаючи того, чтоб она была с иным кем повенчана.

— Уж в том, государь, будь спокоен. Как прикажешь, так и буду говорить,— сказал Васька.

— И насчет того, коли станет она твердить, что господин ее изнасиловал и приказывал тебе водить к нему на постелю, говори одно: «Того я не знаю и от государя моего ничего такого не слыхал»,— говорил Чоглоков.— Об этом в Патриаршем приказе розыскивать не будут, затем что по этому наговору меня уже в Малороссийском приказе опра-

вили. И ты своими речами не подавай никакого повода. И ты гляди тоже, Макарка.

— Мое дело здесь второе,— сказал Макарка.— Коли Васька на меня не скажет, так меня, чай, и не покличут. А покличут и станут спрашивать, так я буду говорить в одно с Васькой.

— Оно,— сказал Чоглоков,— вашему брату, холопу, в наговорах на нас, ваших государей, веры не дают. Только все-таки вы меня никоими делы не смейте бесчестить. А не то — сами знаете, властен я с вами обоими расправиться опосля, как захочу.

Когда Васька с Макаркой остались одни, Васька сказал своему товарищу:

— Государь-то струсил! Да еще как! Шутка ли: половину вотчины спустил. Плохо дело. Почитай, как припрут его, так и другую половину спустит. И нам тогда, видно, не ему служить в холопстве придется. Продаст и нас. Пускай, черт их побери, зовут нас в Патриарший приказ, пускай допрашивают. Будем стоять за своего государя, пока можно и пока сил наших станет, ну, а то ведь своя шкура всякой чужой шкуры дороже, хоть бы и государской!

XVI

Патриарх Иоаким Савелов в описываемое время был возрастом между шестьюдесятью и семьюдесятью годами, старик чрезвычайно живой и неутомимо деятельный. Это был человек ученый по своему времени; воспитывался он в Киевской коллегии и сохранял к ней большое уважение, но это не мешало ему быть резким и непримиримым противником западного влияния, проникавшего все духовное образование в Малороссии и, по мнению патриарха, вредно отзывавшегося на русскую церковь. Патриарх Иоаким писал очень много, писал и с двух сторон защищал вверенную ему церковь: и против западного влияния, входившего через Киев, и против старообрядческого раскола, развивавшегося в Великой Руси. При всех, однако, своих ученых и литературных занятиях Иоаким не только не покидал дел внутреннего управления, но занимался ими лично и так устойчиво, как никто из его предшественников, не исключая и самого Никона. Никто из патриархов не ограничил до такой степени произвол архиерейской власти обязательным учреждением при архиереях советов из призываемых к соуправлению и суду духовных лиц; это каса-

лось зауряд с другими епархиями и патриаршей епархии, но патриарх на это не посмотрел: сам он был до того деятелен и внимателен ко всему, что мало нуждался в содействии и совете духовных особ. В Патриаршем приказе сидели назначенные от патриарха архимандрит и двое протопопов, призывались выборные духовные власти — поповские старосты, но все они, собственно, делали мало за патриарха,— напротив, патриарх много делал за них. Еще по предмету суда над духовенством эти соуправители патриарха, по крайней мере, все-таки что-нибудь да значили: снимали допросы и показания, наводили справки, постановляли приговоры; патриарх сам проверял все их предварительные работы и сам произносил окончательное решение. В таких же делах, где не духовные, а мирские люди привлекались к духовному суду, сидевшие в Патриаршем приказе ни до чего почти не касались, делал все дьяк и подносил патриарху. Главным дьяком Патриаршего приказа был тогда Иван Родионович Калитин, притоптавшийся пожилой господин лет под пятьдесят, с круглой, несколько поседевшей бородкой, бойко владевший и пером и речью, большой делец. Патриарх оказывал ему чрезвычайное доверие, считал столько же умным, сколько честным, бескорыстным и преданным себе человеком. Репутация умного человека была за дьяком повсеместна; насчет его честности и бескорыстия никто не мог бы указать, что вот с того-то или с этого Калитин «вымучил» что-нибудь; но многие в недоумении пожимали плечами, узнавая, что от некоторых дел перепадали патриаршему дьяку немалые выгоды, и нельзя было объяснить, как это он устраивал.

Когда привели в Патриарший приказ Ганну Кусивну, Калитин, недавно в этот день явившийся в Приказ для исполнения своей должности, сидел с товарищем своим, другим дьяком Леонтием Саввичем Скворцовым, которого Калитин любил и покровительствовал. Прежде чем позвать к себе на глаза приведенную в приказ женщину, Калитин прочитал отписку, при которой ее препроводили из Малороссийского приказа; в этой отписке изложена была вся суть дела, касавшаяся и Чоглокова.

— Смотри-ко, Левонтий Саввич,— сказал Калитин Скворцову,— какую украинскую птицу прислали к нам. Только ощипали, да не ее, а, видно, из-за нее кого-то другого!

Скворцов, еще не так опытный в дьяческом деле, не смекнул сразу всего, что раскусил Иван Родионович; про-

глядевши бумагу, Скворцов поднял к товарищу голову с вопросительным выражением в лице. Калитин засмеялся.

— Разумен зело думный! — сказал Калитин.— Остриг барана, а шкуру еще нам оставил. Что ж, и за то спасибо!

— Вестимо,— сказал Скворцов,— нагрел руки около воеводы и закрыл его ловко! Все шито-крыто, хоть кое-где белые ниточки виднеются. Но нам ни с какого боку за него приняться не мочно. Во всем очищен явился, духовную разве кару наложить, да и то не на него.

— Оставили,— сказал Калитин,— оставили нам тоненькую ниточку; за нее бережливо еще можно ухватиться. Вглядись в бумагу! Баба, видишь, повенчана вдругоряд с холопом воеводским; сам воевода очищен и его звать сюда никак не смеем, но холопа того на розыск потянем. А холоп, думаешь, так и будет стоять за своего государя? Как же! Не больно-то крепко станет держаться за него, когда над самим собою почует грозу.

— Ведь подчас,— сказал Скворцов,— можно воеводу того, если нужно будет, попугать святейшим, что вот, мол, внесет сам святейший его дело наверх, к царю государю, чтоб розыском перевершить.

— И так можно. Правда,— сказал Калитин.— А то вот посмотри, пригодится нам 54 статья уложения о холопьем суде.

Калитин приказал позвать Ганну.

— Молодушка! — сказал он ей.— Ты разом за двумя мужьями очутилась. От живого мужа с другим повенчалась!

— Повінчали силоміць! — начала было Ганна.

— Так,— перебил ее Калитин,— насильно? Так? Ты объявила это в своей сказке, что от тебя взяли в Малороссийском приказе. Стоишь ты на том, что не хотела выходить за другого, а тебя насильно повенчали?

— Насильно,— сказала Ганна.

— И не хочешь жить со вторым своим мужем, холопом Чоглокова?

— Не хотіла і не хочу! — сказала Ганна.

— И хочешь вернуться к первому своему мужу?

— Хочу. Я його одного за мужа собі почитаю.

— Придется тебе, молодушка,— сказал дьяк,— пожить у нас в Москве. Есть ли у тебя какое пристанище и будет ли у тебя что есть и пить? Есть у тебя, может быть, на Москве родные или знакомые добрые люди?

— Нікого немає,— отвечала Ганна.

— Так уж коли у тебя нет никого знакомого здесь, так не хочешь ли — возьму я тебя к себе во двор на услугу. Ты, молодка, не бойся,— не подумай чего-нибудь нехорошего. Я человек семейный, у меня жена, дети, худого умысла не чай. Поживешь у меня, пока твое дело завершится. Вот, посиди там в сторожке, а как станем расходиться, так я тебя с собой возьму, и ты пойдешь ко мне во двор.

Ганну увели. Вошли в Приказ сидевшие там архимандрит и протопоп. Калитин подал им несколько бумаг, рассказывая вкоротке их содержание. В числе таких бумаг была и отписка о Ганне. Духовные не обратили на нее особого внимания.

После полудня стали расходиться, и дьяк Калитин велел кликнуть Ганну и сказал ей:

— Забери с собой свое имущество и отправляйся со мною.

— У мене нічого немає,— сказала, заплакавши, Ганна.— Я утекла в чім стояла. І сорочку одну третій тиждень ношу.

— Крещеные, кажись, люди,— сказал Калитин.— И своему брату о Христе Иисусе, крещеному человеку, во всякое время и во всяк час Христа ради подать можем!

Калитин уехал в свой дом, находившийся в Белом городе, тотчас за Неглинною. Он повез с собою Ганну и, приехавши домой, передал ее своей жене, пожилой госпоже, лет за сорок; он поручал ей приставить к какому-нибудь занятию во дворе привезенную женщину, объяснивши, что это несчастная бесприютная сирота, должна пробыть несколько времени в Москве, и если дать ей приют, то это будет доброе, богоугодное дело. Калитина с ласковым видом стала было с нею заговаривать, но сразу наткнулась на несколько непонятных малороссийских выражений и обратилась с вопросительным лицом к мужу.

— Хохлачка! — сказал Калитин.— У них в речах есть разница с нашенскою речью московскою, а во всем прочем народ добрый, душевный и веры одной с нами.

Калитина отправила Ганну в дворовую баню, подарила ей чистое, хотя не совсем новое, и целое белье и приставила её ходить за коровами.

На третий день после водворения Ганны на новоселье недельщик потребовал в Патриарший приказ к ответу холопей Чоглокова Ваську и Макарку. Господин еще раз повторил им прежнее наставление — отнюдь не вмешивать его

в дело. Васька перекрестился и побожился, что не выронит слова такого, чтоб сталось в ущерб своему государю.

Холопей привели в Патриарший приказ в то время, когда заседавшие там духовные были в сборе. Васька и Макарка поклонились, касаясь пальцами пола, и стояли, ожидая вопросов. Калитин подошел под благословение к архимандриту.

— Начинай, Господи благослови! — произнес архимандрит.

Калитин отошел и, обращаясь к холопям, говорил важным и суровым голосом:

— Наш Приказ святейшего патриарха во многом совсем не то, что другие Приказы. Во многих Приказах по многим мирским делам холопьим сказкам верить не указано и спрашивать холопа непристойно, потому что холоп — невольный человек, и чести на нем нет, и бесчестья за него не положено ему, а у нас насчет этого не так, здесь ведаются дела духовные, а не мирские.

— А о духовных вещах,— сказал архимандрит,— говорится в св[ятом] писании: несть скиф, ни эллин, ни раб, ни свобод. В церкви Христовой рабу бывает такая же честь, как не рабу. Раб, как и его государь, одним крещением крещен, одним миром помазан, одно тело и кровь Господню приемлет, и на рабов такой же брачный венец, как и на господ возлагают. Того ради здесь и сказка раба приемлется, как и сказка свободного человека. Принесите перед крестом и Евангелием присягу, что будете говорить сущую правду, как перед самим Богом на страшном и нелицеприятном его судище, аще же станете лгать и скрывать истину и затевать, то подвергнетесь каре от Бога в будущем веке, а здесь в житии своем от святой нашей церкви проклятию и градскому суду на жестокие мучения преданы будете.

— Слышите? — спрашивал грозным тоном Калитин.— Слушайте и мимо ушей не пропускайте.

Встал с своего места протопоп, взял лежавшую перед ним на столе свернутую епитрахиль, вынул из нее крест и Евангелие и положил на аналое, стоявшем впереди стола, за которым сидели духовные лица. Протопоп надел епитрахиль. Оба холопа, поднявши два пальца правой руки вверх, проговорили вслед за священником слова присяги, потом поцеловали крест и Евангелие. Протопоп завернул священные вещи в епитрахиль и сел на свое место.

Дьяк, обратясь к холопам, сказал:

— Кто из вас двоих Василий, кто стал мужем Анны Кусовны, показывающей себя женою казака Молявки?

— Я,— отвечал Васька.

— Я,— говорил дьяк,— стану тебя спрашивать не того ради, чтоб уведать от тебя про такое, чего я еще не знаю. Буду я тебя спрашивать про то, что я уже без тебя знаю, а спрашивать об этом стану я только для того, чтоб знать: правду или неправду будешь ты говорить. И коли ты станешь плутать и лгать, то я тотчас прикажу тебя вести в застенок и позвать заплечного мастера, и велю ему тебя сперва батогами, а там, смотря по твоему запирательству, и кнутьем покропить. Если ж правду будешь говорить, то ничего не бойся. Ты человек подневольный, и что бы господин твой тебе ни приказал, ты должен был то чинить, и хоть бы ты что неправое учинил по государя своего приказу, в ответе за то будешь не ты, а государь твой. Отвечай сущую правду... А ты, Ермолай,— прибавил он, обратившись к подьячему, сидевшему за столиком у окна,— будешь записывать их речи... Спрашиваю,— сказал он, возвышая голос.— Коли ты выходил сюда, призывал тебя государь твой и велел тебе говорить в Приказе, что он, твой государь, тебе брать за жену Анну Кусовну не неволил, а будто ты, Васька, с нею, Анною, вместе приходили к твоему господину и просили позволить вам между собой повенчаться? Так было? Говори: это тебе первый вопрос.

Васька, ошеломленный, глянул на Макарку, как будто хотел ему глазами сделать вопрос: «Кто ж это ему перенес? Ты разве? Кроме тебя и меня, этих слов никто не слыхал». Но тут же собразил, что Макарка вместе с ним в одно время вышел со двора. В совершенном недоумении он выпучил глаза на дьяка. Калитин глядел на него с насмешливым выражением, не дождавшись скорого ответа, повторил свой вопрос и прибавил:

— Сам видишь, уже я все знаю, что у вас делалось и говорилось, хоть и не был у вас. Значит, лгать и выдумывать бесполезно. Говори истину. Так было?

— Да, так было,— произнес Васька.

— Хорошо, что правду сказал,— говорил Калитин.— Теперь стану я тебе говорить, что ты прежде делал и что с тобою делалось. А ты, смекаючи, что я уже все знаю, только говори, что именно так было, как я тебе сказал.

И он начал спрашивать, соображаясь с показанием Ганны, которого смысл был означен в отписке из Малороссийского приказа, припомнил, как в Чернигове они, Васька

с Макаркою, ухватили Ганну в тайнике и притащили к своему государю на воеводский двор.

— Так ли было? Говори сущую правду! — спросил он.

— Так было,— отвечал Васька.

— Еще хвалю за то, что говоришь правду,— сказал дьяк.— Ты человек подневольный, и в том, что ты чинил по приказу господина, вины никакой нет. И св[ятое] писание говорит: «Несть раб болей господина своего». Пиши, Ермолай, его речи. Слыхал, что он учинил по господскому приказу? Пиши!

— Слыхал,— отвечал Ермолай и принялся писать.

Давши время Ермолаю записать, Калитин продолжал:

— Государь твой велел тебе вместе с Макаркою и со стрельцами двумя везти Анну в свою подмосковную вотчину на Пахре, и там священник, творя волю господина вашего, тебя с Анною повенчал сильно, хоть Анна и кричала, что не хочет и что она уже с другим повенчана. А священник на то не смотрел. И ты, по указу своего государя, Анне в те поры грозил жестоким боем и муками, чтоб не кричала. Так было?

— Так было,— отвечал Васька.

Калитин продолжал:

— Когда же государя вашего взяли с воеводства из Чернигова, и он, государь ваш, приехавши на Москву, приказал тебе, Ваське, с Макаркою ту Анну привезти к нему во двор на Арбате, и вы то учинили по господскому приказанию. Так ли было?

— Так,— произнес Васька.

— Пиши, Ермолай,— сказал Калитин и потом продолжал свой допрос: — И как вы приехали на Москву, ваш господин приказал тебе, Ваське, глядеть за своею женою Анною и приводить к нему, господину твоему, на постель для блудного дела в те поры, как он тебе то прикажет. И ты ее один раз к нему приводил. Так было? Говори!

Васька остановился, замялся,— понял он, что настает решительная минута, приходится сказать на господина такое, чем ему, конечно, согрубить. Калитин сказал:

— Я знаю, зачем ты стал. Вот этого-то именно паче всего не велел тебе господин объявлять, но сам видишь: я уже без тебя все это знаю, стало быть, ни запирательством, ни лганьем ты своему государю никакой корысти не учинишь, а только себе самому причинишь скорбь немалую. Кнут — сам знаешь — не ангел: души не выймет, а правду

вытянет из тебя. Лучше скажи всю правду, не подставляючи спины своей под кнут.

— А моему государю что за то будет? — спросил Васька.

Дьяк засмеялся.

— Хочешь много знать, умен чересчур станешь,— сказал он.— Что будет?! Нешто мы твоего государя здесь судим? Государь твой уж был судим там, где ведом был, в Малороссийском приказе, и оправлен. В наш Патриарший приказ отдана женка Анна для духовного суда, и мы тебя допрашиваем затем, чтоб знать — чья она жена: твоя ли или другого; и кому ее следует отдать: тебе или тому казаку Молявке; и виновата ли она в том, что от живого мужа ее с другим повенчали? Вот о чем тут дело у святейшего патриарха, и до твоего государя дела нам нет никоторого.

— Так было, как изволишь говорить,— произнес Васька.

— То есть,— продолжал Калитин,— господин твой затем тебя женил, чтобы ты ему свою жену приводил на постелю? Так ли?

— Так,— сказал Васька.

— Запиши, Ермолай! — сказал Калитин и, обратившись снова к допрашиваемым, говорил: — Далее вас спрашивать нечего. На другой день, когда ты, Васька, приводил Анну к своему господину, она убегла со двора, и вы уже ее более не видали. С тебя, Васька, расспрос кончен. Хорошо, что ни в чем не запирался, не отлыгался. С тебя, Макарка, расспрос недолгий будет. Ты вместе с Ваською схватил насильно Анну в тайнике, вместе с Ваською возил ее из Чернигова в Пахринскую вотчину и при венчании был и потом, по государскому приказу, вместе с Ваською привез ее в Москву.

— Так было,— сказал Макарка.

— И государь при тебе велел Ваське приводить ее к нему на постелю для блудного дела? — спрашивал дьяк.

— Я того не знаю,— сказал Макарка.— Мне такого приказа не бывало.

— Не тебе, а Ваське был такой приказ, только при тебе дан. Ты вместе с Ваською то слышал. И в том тебе вины никакой нет. Не запирайся, а то что тебе не за себя, а за другого муку терпеть, коли он, этот другой, уже сам повинился во всем?

— Помилуйте! — произнес испуганный Макарка.— Васька правду сказал про себя, и я говорю то же, что Васька.

— Запиши, Ермолай,— сказал дьяк и, снова обратившись к Ваське, произнес: — В конце всего ты объяви: желаешь ли ты оставлять Анну у себя женою или согласен, чтоб ее отправили к ее первому мужу?

— Не желаю,— произнес решительно Васька.— Насильно меня государь мой женил, а не по своему хотенью я на ней женился. Не надобна она мне! Пусть себе идет, куда хочет.

— Пиши, Ермолай! — сказал дьяк.— Вот это и все, что нам нужно было!

Васька упал к ногам дьяка. За ним то же сделал Макарка.

— Батюшки, кормильцы! — говорил с плачем Васька.— Воззрите милосердым оком на нас, бедных рабов, людей подневольных. Наговорили мы на государя своего, хоть и правду сущую говорили, только мы останемся в его воле, и он нас задерет теперь. Укройте, защитите нас, голубчики, отцы родные!

— Что ты боишься своего государя, то чинишь ты хорошо,— сказал дьяк.— Раб должен бояться своего господина и слушать его во всем. Только над твоим государем есть еще повыше государь. Знаешь ты это?

— Вестимо так! — сказал Васька.— Я знаю, что над всеми господами нашими государями есть выше всех господин, батюшка-царь великий государь, и властен он над нашими государями так же, как властны они, государи наши, над нами, бедными сиротами. Только сам изволишь ведать, твоя милость, люди говорят: до Бога высоко, а до царя далеко, а государь наш к нам ближе всего. К царю-батюшке нашему холопьему рылу приступить не можно, о том и думать нам непристойно, а свой государь как захочет, так с нас шкуру снимет. Нельзя ли, батюшки-кормильцы, уговорить нашего государя, чтоб нас не мучил, а до того часа, как изволите ему о том сказать, не отпускайте нас к нему, подержите где-нибудь инде.

— А, вот что! — сказал дьяк.— Добре! Можно! Вы останетесь для розыска при нашем Приказе, пока мы переговорим с вашим государем. Тем временем поживите у нас на дворах, поработайте, а мы вам за то корм давать будем. Левонтий Саввич! — сказал он, обратясь к Скворцову.— Ты возьми к себе в двор Ваську, а я возьму Макарку. У меня теперь во дворе Анна, так видеться ей с Васькой не пригоже.

Так порешили дьяки и разобрали себе холопей. Архи-

мандрит, слушая весь допрос, при окончании его произнес только:

— Изрядно хорошо! Боже благослови!

Прошло после того недели две. Калитин умышленно тянул время, находя необходимым порядочно протомить Чоглокова страхом неизвестности. И он не ошибся в расчете. Чоглоков, не увидевши возвратившихся из Приказа своих холопей, стал беспокоиться, и беспокойство его возрастало с каждым проходившим днем. Сердце его чуяло, что задержка его холопей — не даром, что над ним самим собирается какая-то новая туча; как все подобные ему люди, он был трусливого десятка человек, а ожидание чего-то дурного, но не известного, тревожило его больше самого удара. Наконец явился к нему недельщик и потребовал в Патриарший приказ.

Были в Приказе все в сборе, и духовные сановники, и дьяки, и подьячие — все на своих местах. Ермолай с чернильницей и бумагами сидел у окна при своем столике.

Ввели Чоглокова.

Не успел Чоглоков отвесить обычные поклоны, как Калитин встает с своего места, подходит под благословение к архимандриту, потом подступает к Чоглокову и, двигая пальцами правой руки, говорит ему:

— Тимофей Васильевич Чоглоков! Как тебе не стыдно, как тебе не совестно такие дела творить! Бога ты, видно, не боишься, людей добрых не стыдишься! Вас, царских служилых господ дворян, посылает великий государь за правдой наблюдать, чтоб нигде сильные слабым, а богатые бедным обид не чинили, вам царским именем надлежит сирот оборонять, а ты, греховодник, пустился на такие беззакония, что и говорить срам! Да еще где! У чужих людей, в малороссийских городах! Как после этого черкасские люди могут быть царскому величеству верны и Московской державе крепки, когда к ним будут посылаться начальными людьми такие озорники, бесчинники, блудники, насильники, как твоя милость! Скажут черкасские люди: мы ради обороны единые восточные католические веры отдались сами доброю волею под державу великого государя, а к нам присылают из Москвы таких, что с нами горее ляха и бусурмана поступают. Ты, видно, о Боге не помышляешь, и суда его страшного не страшишься, и царского гнева над собою не чаешь; на свои, знать, достатки уповаешь, что нажил неправедным способом. Знай же! Сыщется на тебя управа; отольются волку овечьи слезки!

Чоглоков никак не ожидал такой встречи и несколько минут не мог поворотить языка, чтоб ответить; он только в смущении бросал по сторонам тревожные взгляды, как будто высматривая, за что бы ему ухватиться, укрываясь от такого неожиданного наступления. Калитин, остановившись на миг, стал снова вычитывать ему упреки в том же тоне, примешивая к ним угрозы. Наконец Чоглоков, собравшись с духом, решился заступиться за свою оскорбленную честь и произнес:

— Господин честный дьяк Иван Родионович! Я не подведом твоей милости и не знаю, с чего ты это вздумал позвать меня сюда и задавать мне бесчестные речи. Вместо разговора с тобою, я подам великому государю на тебя челобитную в бесчестьи.

— Ты подашь на меня челобитную! — воскликнул дьяк; потом, обратившись к духовным сановникам, говорил:— Извольте прислушать, отцы честнейшие! И ты, Левонтий Саввич, тоже. Он еще хочет подавать на нас челобитье в бесчестьи! Молод ты разумом, хоть летами, кажись, и подошел. Не понимаешь разве того, что коли тебя позвали в Патриарший приказ, так с тобой говорит там не дьяк, а сам святейший патриарх через своего дьяка!

— Так вот я и докладываю святейшему патриарху,— сказал Чоглоков.— Прежде надобно сказать, за что я стал достоин, чтоб меня лаять, а не лаять ни за что ни про что!

— А,— воскликнул с злым смехом Калитин,— ты прикидываешься тихоней. Постой же, коли так: покажу я тебе сейчас, за что ты достоин, чтоб тебя лаять.

Он подошел к двери, отворил ее и, давши кому-то знак рукою, отступил, а в дверь вошла Ганна.

— Что это за женка? Знаешь ты ее? — спрашивал Калитин Чоглокова.

— Я ее знаю,— отвечал Чоглоков.— Это жена моего холопа Васьки.

— Насильно, в попрание всякого закона божеского и человеческого, стала она женою его по твоему разбойничьему умыслу. Она — жена черниговского казака Молявки. Ты это знал, ты был на ее венчаньи, и приглянулась женская красота ее твоему скотскому плотоугодию, и учинил ты силою над нею срамное дело, потом приказал повенчать ее, мужнюю жену, с своим холопом, затем чтобы к себе на постелю водить. Вот кто такая эта женка. Срамник ты негодный, человек имени христианского недостойный!

— Это неправда! — сказал Чоглоков.— Эта женка сама своею охотою пошла замуж за моего человека. А в Москву я выписал ее с мужем совсем не для какого-то срамного дела, а для услуги себе! Вы же звали того холопа, что с ней венчан. Спросите его при мне.

— Холоп, как холоп! — сказал Калитин.— Холоп и при государе своем холоп и без него холоп! Отвечаешь ли во всем за своего холопа?

— Отвечаю,— сказал Чоглоков,— что он вместе с этой вот женкой приходили ко мне и просили дозволения повенчаться!

— Ніколи сього не було! — произнесла Ганна.

Калитин продолжал:

— А ответчик ли ты за своего холопа во всем другом? И в том, чего сам не знаешь,— ответчик ты за своего холопа? Если по розыску и по суду уличится в чем твой холоп виноватым, ответчик ли ты за своего холопа?

— Нет,— сказал Чоглоков.— Пусть за себя сам отвечает, коли в чем винен.

— И ты в том не ответчик за своего холопа?

— Не ответчик,— сказал Чоглоков.

— Пиши, Ермолай,— сказал дьяк подьячему, потом снова обратился к Чоглокову:— Ну, так видишь ли, холоп твой Васька показал то же, что эта женка. Никогда они вдвоем не просили тебя, а велел ты своим людям насильно схватить ее и повенчать затем, чтоб женку пускали к тебе для блудного дела.

— Если холоп мой такое говорит,— он лжет! Холопу верить не мочно, когда он такую безлепицу на своего государя сказывает,— произнес, вспыхнувши, Чоглоков.

— Потише, не брыкайся! — сказал ему Калитин.— Мочно ему верить! У нас суд духовный, а не мирской; здесь и холопа свидетельство приемлется, потому что и холоп такой же сын церкви. Да, впрочем, и в мирском деле верить холопу мочно, коли ты уже объявил, что за своего холопа не ответчик. Левонтий Саввич! Прочти ему 54 статью Уложения о холопьем суде.

Скворцов прочитал:

— «Будет ответчик скажет, что холоп сам за себя отвечает, и против истцовой исковой челобитной велети холопу отвечати и с суда прав ли или виноват будет верити холопу, что ни станет в суде говорити».

— Это сюда не идет! — воскликнул Чоглоков.— Это го-

ворится о холопьем суде; вот если бы суд происходил в Холопьем приказе...

— Ти, ти, ти! законник какой выискался! — прервал Калитин.— Да здесь, говорят тебе, духовный суд, где речи холопьи и без того приемлются.

— Так и судите себе свои духовные дела! — сказал раздраженным голосом Чоглоков.— С чего же это вы меня-то сюда притащили да стали в уголовщине обвинять? Изнасилование — дело уголовное, а не духовное.

— Врешь,— сказал Калитин.— Изнасилование — блудное дело, а блуд всякий карается духовною карою.

— Про блудное сожитие довести надобно,— сказал Чоглоков,— а вы на меня не доведете.

— Уже доведено! — сказал дьяк.

— Нет, не доведено! — смелым тоном говорил Чоглоков: — И довести невозможно, и не ваше то дело есть. По доносу этой самой черниговской женки и по другим таким же лживым доносам от черниговских жителей розыскивалось уже обо мне в том Приказе, к которому я по службе своей тянул. И дело было порешено, и я оправлен. Духовного дела за мной никоторого нет. То дело, что у вас ведется об этой женке, что она объявляется с двумя мужьями повенчана, то дело до меня отнюдь не належит. С чего вы это на меня насели? Вот уж подлинно, как говорится: с больной головы да на здоровую!

— А ты знаешь,— сказал архимандрит.— Святейший патриарх есть верный и неусыпный печальник перед царем от всех утесненных и обидимых, вот таких, как сия женка! Тебя, говоришь, оправили в Приказе, но во всех Приказах сидят люди, не ангелы, а подобострастнии человецы. Они, по человеческому недомыслию, ошибиться могут и неправое признать правым. Над всеми Приказами один глава есть — царь. А к царю наверх святейшему патриарху вход всегда чист и открыт.

— И царю великому государю и святейшему патриарху говорю я одно: не виноват я,— все на меня затеяно! — говорил Чоглоков.

Дьяк Калитин, указывая на Ганну, говорил Чоглокову:

— Вот эта самая женка может говорить с великим государем и сама своими усты расскажет ему про все. Ты скажешь: куда ей до царя-батюшки — далеко и высоко! Она точно; как-таки можно, кажись, чтоб такой простой бабенке да до великого государя царя всея России доступить! Ну, а вот же святейший патриарх так силен, что

может дать ей доступ туда, куда бы ей и во сне не приснилось добраться. С нею-то будет! Объявляю тебе о сем именем великого государя святейшего патриарха: если добровольно не принесешь повинной, как перед самим Богом, и не подашь челобитной, в ней же подобает тебе выписать свои вины и с сокрушением сердца просить прощения, а станешь твердить, что ты оправлен и каяться тебе не в чем, за такую гордыню постигнет тебя великая досада и кручина. Изволит святейший патриарх войти о сем деле к великому государю печальником за эту бедную женку, а там, если царю угодно станет,— эту женку введут наверх, и она расскажет все великому государю. Смотри, чтоб тебе после очень худо не было. Говорят тебе воистину: с святейшим патриархом не дерзай тягаться. Обдумай, потом приходи к нам и подай челобитную. Быть может, великий государь святейший патриарх смилуется над тобою, видя твое сердечное раскаяние, и назначит тебе духовное покаяние да тем и кончится, и он тогда не изволит уже печаловаться об этой женке. Вот тебе сроку от святейшего патриарха дается одна неделя. Чтоб в это время ты порешил все.

Чоглоков не мог уже более ничего говорить. Он увидал себя вдруг в таком особенном положении, в каком никогда и не воображал, чтоб мог очутиться. Бледен, как мертвец, стоял он, словно выслушал смертный приговор.

Калитин обратился к Ганне и говорил:

— Бедная женка-чужеземка! Сирота беспомощная! Не унывай душою. Есть еще верховное правосудие у царя, у батюшки-света! Что Бог на небе, то царь на земле. Божий он помазанник, божий наместник! Всякая земная гордыня и неправда смирится перед ним.

Ганна не уразумела всего смысла речи Калитина, но чувствительный тон, с которым он говорил, произвел на нее такое впечатление, что она зарыдала.

Чоглоков поклонился до земли и вышел в ужасном смущении.

Калитин велел идти Ганне во двор.

Когда все разошлись из Приказа, Калитин остался с Скворцовым, и Скворцов сказал:

— Я узнал наверное: Ларион Иванов таки оттянул у этого живодера половину его вотчины на Пахре, по купчей данной.

— И я об этом уже знаю,— отвечал Калитин.— Осталась другая половина да еще двор в Москве! Мы поделимся с тобою, как поп делится с причтом. Мне две трети, треть

тебе. А живодер останется нищ и убог. Поделом своим заслугу приимет!

Несчастный Тимофей Васильевич чувствовал себя в крайнем, безвыходном положении. Прежде хоть он потерял половину Пахровской вотчины, так все-таки у него оставалась другая половина. Теперь он был уверен, что если, Боже сохрани, патриарх станет печаловать пред царем о черниговской женке, то произведут по царскому особому повелению такой розыск над ним, что десять Пахровских вотчин его не вывезут из погибели. «И зачем, я, дурак, отдал половину своей вотчины Лариону Иванову? — стал думать он. Но вслед за тем рассудил так: — Нет, все равно,— не отдал бы, так в Малороссийском приказе меня бы все равно утопили! Однако он, Ларион Иванов, взял с меня половину вотчины за то, чтобы от беды меня охранить. А беда все-таки настигает меня. Пойду к нему за советом. Уж коли обобрал меня, так пусть совет даст, как последней беды избыть». Он пошел в Малороссийский приказ к Лариону Иванову.

В первый раз не приняли его. Подьячий объявил ему, что думный дьяк занят важными делами и не может тратить время на разговоры с такими, которых он не звал к себе по делам. Чоглоков пришел на другой день. Ему сообщили то же, что и вчера, но после того, как он дал подьячему некий поминок, был допущен к думному дьяку и притом очутился с ним наедине.

— Что нужно? — спрашивал сухо думный дьяк и пристально всматривался в посетителя, как будто не видал его никогда.

— Батюшка, отец родной! — возопил Чоглоков.— За советом благим к тебе я пришел. Спаси, как знаешь; я тебе ведь половину своей родовой вотчины отдал за то, чтобы из беды спастись. А вот на меня опять беда наваливается.

— Ты, кажется, Чоглоков,— говорил прежним сухим тоном думный дьяк,— я у тебя вотчину купил на Пахре и заплатил тебе чистыми деньгами, и ты мне купчую данную выдал. Что ж? Разве что по вотчине этой?

— Ты, батюшка-кормилец, хорошо знаешь, как и чем заплатил ты мне за вотчину,— отвечал Чоглоков.— Спасти меня взялся от беды по доносу, что был на меня. За то и вотчину от меня взял.

— Не помню, не слыхивал, ничего не знаю! — говорил Ларион Иванов.— За такие дела никогда ни с кого не

бирывал. В купчей данной значится, что я тебе чистыми деньгами заплатил.

— Да, точно,— сказал Чоглоков, смекнувший, в чем дело, и по опыту знавший, что не следует называть взяток их настоящим именем, а надобно притвориться, что то была покупка, а не взятка. Сам, будучи воеводою, так же делывал.— Да, да,— продолжал он.— Продана твоей милости за чистые денежки, только ты, отец-кормилец, в те поры утешал меня тем, что по делу об этой черниговской женке Анне мне уже ничего не будет, остается-де одно духовное дело о ее браке, так одно дело то пойдет в Патриарший приказ, а мое здесь уже покончилось. Я так и думал; ан вон же не то выходит!

И он рассказал ему обо всем, что было с ним в Патриаршем приказе.

— Того ждать можно было,— сказал думный дьяк.— Им тоже есть хочется, как и нам с тобою. От меня же чего ты хочешь?

— Совета, отеческого совета, благодетель мой,— говорил Чоглоков.— Как тут мне поступить, куда повернуться? Надеючись на слово твоей милости, я думал, что уже все покончилось и меня больше тягать не будут!

— Оно, точно, здесь и кончилось,— сказал дьяк.— За скудостию доводов в доносах на тебя не велено нять веры тем доносам, а чтобы женку ту не отсылать к духовному суду, того не говорилось, и тебе не обещалось. Женка разом за двумя мужьями: не нам было то розыскивать, а святейшему патриарху. А мы святейшему патриарху не указ. Того, как тебе говорили, что патриарх обещает о той женке входить наверх к государю, я не знал и заранее думать о том не мог. Его, святейшего, воля. А правда, патриарх властен во всякое время доступить к царю и печаловать пред ним о всех угнетенных и обидимых.

— Что же, какой совет мне подашь, отец-милостивец? — сказал Чоглоков.

— Сойтись как-нибудь с дьяком Калитиным, хотя бы пришлось тебе ударить челом другою половиною твоей вотчины,— сказал, засмеявшись, Ларион Иванов.

— А мне-то после того по миру ходить? — болезненно спросил Чоглоков.

— В Москве скорее подадут милостыню, чем где-нибудь в Сибири,— сказал дьяк.— Если святейший патриарх станет против тебя перед самим царем, то гляди, чтоб тебе спины не накропили да потом в Сибирь в заточение не

послали. Да еще, почитай, так, что ни в стрельцы, ни в казаки, ни в пахотные не поверстают, а в тюрьму вкинуть велят! Как подумаешь о том, что может статься с тобою, так и выйдет: не весело по Москве ходить, милостыни выпрашивать, а еще скучнее в Сибири где-нибудь в тюрьме заживо гнить. На Москве, может быть, Бог пошлет тебе какого-нибудь доброго боярина, и тот возьмет тебя к себе, а там — потихоньку-помаленьку — и опять в люди выйдешь. Не будут знать, что довело тебя до нищеты, а ведь говорим же — бедность не порок. Я думаю, один способ тебе: сойтись с Калитиным, хоть бы, говорю, и половиною вотчины ему поступиться.

Чоглоков разразился воплями.

— О, какая ж ты баба,— насмешливо сказал думный дьяк.

— Отец родной, кормилец! — говорил Чоглоков, устыдившись своего малодушия и стараясь крепиться.— Поставь себя на моем месте,— ну, как бы у тебя все разом отнимали?

— Не зарекаюсь,— сказал думный дьяк.— Может быть, со мною когда-нибудь что и похуже станется. Мало ли случаев бывало: вот человек в почести и в богатстве, а тут распалится на него царь — и все прахом пошло. А и так бывает: вон при блаженной памяти царе Алексее Михайловиче божиим попущением поднялась в Москве междоусобная брань против боярина Морозова и Траханиотова; какие были богачи и силачи в земле нашей, а все пошло по ветру. Мудрее нас были отцы и деды наши и вымыслили такую пословицу: от сумы да от тюрьмы никто на Руси не зарекайся. И теперь то же умные головы твердят. И я не зарекаюсь, не знаю, что со мною вперед станется и где Господь и как велит голову положить! И ты тоже. Вспомни, как ты в Чернигове воеводствовал, мог ли тогда думать, что это воеводство тебе так солоно отзовется! Теперь терпи! Человек ты, кажись, книжен, про Лазаря и богача читывал. Хорошо было богачу на этом свете, да на том-то горячо пришлось; а бедному Лазарю куда как здесь худо было, да там стало прохладительно.

— Мое последнее добро! — печально восклицал Чоглоков.

— Тело дороже одежды, а душа дороже тела,— сказал Ларион Иванов.— Крепись, молись и во грехах своих кайся Богу. Вотчины жаль, да делать нечего, и с ней придется распрощаться! Вот мой совет.

Чоглоков ушел от думного дьяка в самом отчаянном расположении духа. И так и этак передумывал Чоглоков. И то и другое приходило ему в голову. «Уж не оставить ли все на волю божию? — задал он себе вопрос, но тотчас сам себе и отвечал на него.— Невозможно! Пойдет патриарх печаловаться о бедной Ганне, а царь черкасский народ любит. Для примера, на страх другим, люто казнить велит, чтоб угодить черкасскому народу, и стану я притчею во языцех из рода в род. Меня в тартарары зашлют, а вотчину все-таки отберут на великого государя. Куда ни повернись — везде жжет огнем!»

Он отправился в Патриарший приказ и спрашивал, где живет дьяк Скворцов: с ним хотел он прежде поговорить, а к самому Калитину обратиться боялся,— такого он задал ему перцу своим приемом! В Приказе ему сказали, что Скворцов прибыл в Приказ, а Калитина еще нет. Он вошел к Скворцову, поклонился до земли, стал спрашивать, что ему делать и как расположить к себе Калитина, который так загрозил ему. Нельзя ли как-нибудь умилостивить его, чтоб он не доносил о нем святейшему и не направлял патриарха печаловать перед царем за Анну. К удивлению Чоглокова, Скворцов сразу намекнул ему на то, что говорил думный дьяк Ларион Иванов, именно на уступку Калитину остальной половины вотчины Пахровской, и тут же показал, что ему и Калитину известно уже, что другая половина отдана в Малороссийском приказе.

— Ведь и мы, патриаршие дьяки,— сказал Скворцов,— не хуже царских в Малороссийском приказе; чем там побил челом, тем и у нас побей! А оно точно: все на нем, на Калитине, висит; святейший очень его любит и во всем ему верит. Как дьяк Калитин доложит ему, так и останется!

Оставались еще сутки до рокового срока, данного ему Калитиным для обдумывания. Весь день ходил Чоглоков по своему двору и чувствовал, что последний день ходит по нем честным хозяином, владельцем вотчины, из которой привык получать в московский двор всякие запасы. Настал другой за тем день. Чоглоков приказал запрячь лошадей, сел в колымагу и мысленно говорил к своим лошадям: «Эх, вы, мои бедные, сердечные лошадушки! не придется вам более меня возить, а мне на вас ездить; придется, может быть, пешком с мешком за милостынею ходить по Москве!»

Чоглоков в Патриаршем приказе застал дьяка Калитина вместе со Скворцовым, и подьячий Ермолай сидел за своим столиком у окна. Духовных особ еще не было.

— Надумался? — спросил сурово Калитин.

— Надумался,, батюшка, отец-благодетель! — сказал Чоглоков и повалился к ногам дьяка.— Батюшка-кормилец! Бью тебе челом своею последнею вотчинишкою на реке Пахре. Соизволь принять?

— Что? — гневно сказал Калитин.— За кого ты меня приемлешь? Чтоб я правосудие продавал? Что я! Со Иудою-христопродавцем вровень стану, что ли? А видел ты, дурачина, что с тем Иудою сталось: как на западной стене, в церкви, написан ад кромешный, а там тот Иуда на коленах у сатаны сидит и мошну в руке держит с теми тридцатью сребрениками, что за Господа нашего от беззаконных архиереев жидовских взял? И мне того же хочешь? Ах, ты, дурачина, мужичина неотесанный! Видно, как сам управлял, воеводствуючи в Чернигове, грабил, обдирал жителей, так по себе и о всех других думаешь? Нет, нет! Не брал я ни с кого еще неправедно ни одной полушки. Что ты меня своею вотчиною манишь? Душу свою разве отдам за твою проклятую вотчину, подавиться бы и тебе ею! Не туда, брат, угодил. В других Приказах, может быть, берут посулы и поминки, а в нашем Патриаршем приказе о таковом беззаконии и помыслить не посмеют. А ты вот что, напиши челобитную святейшему патриарху Кир-Иоакиму, а в той челобитной пропиши все свои грехи тяжкие: как направедно в Чернигове людей обирал, как женок и девок на блудное дело подговаривал, как Анну приказал схватить и насильно отдал за своего холопа замужнюю женщину, все ради своего блудного сластолюбия, ничего не утай, ни в чем не солги, все открой перед святейшим патриархом, как перед самим Богом на исповеди, и сам себе в наказание отдай и свою вотчину на Пахре и свой двор на Арбате в Москве, все, что имеешь, отдай во искупление грехов своих в волю святейшему патриарху, чтоб со всем сим поступил по своему мудрому рассмотрению на благо святой, соборной и апостольской церкви. Вот коли так учинишь — иное дело: святейший патриарх, видя твое нелицемерное раскаяние, укажет тебе какое-нибудь легкое церковное покаяние и простит тебя, не станет входить к великому государю с печалованием о женке Анне, но прикажет отослать ее к первому ее мужу.

— У меня ничего не останется! — сказал Чоглоков.— Как же мне тогда жить на свете? Чем питаться?

— Свет не без добрых людей,— сказал Калитин.— Пропитание тебе дадут. Сам святейший патриарх, чаю, изволит

подать тебе святую Христову милостыню. Бесчестья на тебе не будет; что ты про себя напишешь в челобитной, то в тайне пребудет, все равно, как бы ты священнику рассказал на духу. Можешь опять поправиться и еще воеводою будешь и опять разживешься.

— Нельзя ли уж хоть двор-то мой на Москве оставить мне? — говорил Чоглоков.

— Ни, ни! — заговорил решительно Калитин.— Словом Господним скажу тебе: не изыдеши отсюду, дондеже воздаси последний кодрант. И двор, и все, что в доме есть, и всех холопей своих при дворе — все, все отдай! Не уподобись Анании и Сапфире, что вызвались с целым имуществом своим апостолам Христовым да утаили, не все отдали, а за это святой первоверховный Петр покарал их,— оба разом так тут же упали и дух испустили! И ты того же не покушайся чинить, что они. Вот видишь, с тебя нужно было бы взыскать денег, с чем отправить женку Анну домой в Чернигов и на проест ей дать, да уж это мы кое-как соберем с твоей вотчины сами.

— Берите! Что хотите — все берите! — сказал Чоглоков и разразился рыданием.

Калитин приказал Ермолаю писать челобитную, которую должен был подписать Чоглоков. Во все время писания челобитной Чоглоков сидел в углу; видно было, что он хотел пересилить себя, но никак не мог и беспрестанно всхлипывал. Между тем пришли духовные особы и расселись на своих местах. Когда челобитная была написана, Калитин, взявши ее от Ермолая, подозвал Чоглокова. В этой челобитной грешник сознавался и каялся во всех своих неправдах и выражался, что обо всем этом он открывает святейшему патриарху, как перед Богом на исповеди. Чоглоков дрожащею рукою подписал челобитную.

Тогда Калитин подошел к архимандриту и протопопу и объяснил, что Чоглоков подает челобитную святейшему и кается во всех своих грехах, как перед Богом на исповеди, а потому сия челобитная не может быть пришита к делам, но должна быть доставлена в руки патриарха запечатанною.

— Достойно, хорошо! Боже, благослови! — произнес архимандрит.

— Вот то-то,— сказал Калитин, обратившись к Чоглокову.— Вас всех, воевод, следовало бы учить так, как мы тебя научили. Да на несчастье твое ты один к нам попался. А то в других Приказах ваша братия из воды суха выходит. Ну,

а вот как к нам кто из вас по церковному делу попадется; так мы раскопаем всю вашу яму, где скрыты ваши скверны!

Калитин после того отправился с докладом к патриарху, подал ему челобитную от Чоглокова и с своей стороны просил быть к нему милостивым, снисходя к искренности его раскаяния. Такое явление было не частое. Иоаким распечатал челобитную и, прочитавши, сказал:

— Это сын необычный! Аще он подал нам такую челобитную, в коей аки бы на исповеди вся своя тайная поведает, то и мы принимаем его челобитную ако исповедь и не станем просить царя великого государя, чтобы вновь о нем разыскивал, и карать царским судом, хотя бы то и следовало по его гнусным деяниям. Церковную епитимью указываем ему такову: два лета не причащаться св[ятых] таин и ходить ежедневно в церковь, по первое лето не входить в трапезу с верными, а стоять в притворе, и вздыхать к Богу, и о прощении своих грехов молить; по окончании же единого лета может входить и стоять в трапезе со всеми верными; по миновении же паки другого лета — дозволяется ему причащаться святых, страшных, бессмертных, животворящих Христовых таин. Сие ему в приговоре вписать, но грехов тех, в коих он кается в своей челобитной, в приговор не вписывать, понеже он искренно и нелицемерно покаялся, как и дела его показали довольно. Вотчину же, что он отдал во искупление грехов своих в святую соборную и апостольскую церковь, мы указываем вписать в число наших патриарших вотчин, определенных для раздачи нашим служилым людям, а в числе наших домовых не вписывать, оттого что нам, духовным, запрещено уже давно приобретать себе новые вотчины, раздавать же служилым людям за их заслуги можно.

Патриарх взглянул в глаза Калитину, как будто с желанием произнести: не отдать ли ее тебе? Но Калитин стоял со смиренным видом, потупя глаза в землю и как будто ничего для себя не желая и вовсе о себе не думая. Патриарху, всегда к нему благоволившему, он особенно понравился в эту минуту.

— Мы тебя, Калитин, давно не жаловали,— сказал патриарх, погодивши с минуту и продолжая опять глядеть ему в лицо.

— Доволен зело милостями твоими, всечестный господине, святейший владыко! — сказал, кланяясь в пояс, Калитин.— По моим малым заслужишкам и по моему невеликому умишку, твоя святыня безмерне был всегда милосерд

и ко мне и к семье моей, и ныне, как и всегда, я уповаю на твое благоутробие, как тебе Господь Бог известит и на сердце твое владычнее положит. Но дерзал бы я просить твое святейшество не о себе, а о товарище моем дьяке Скворцове. Его бы некоторою, хотя невеликою, благостынею от твоего благоутробия, великий господине наш, святейший владыко, утешить.

— Доброе сердце у тебя, Иван,— сказал патриарх,— что ты не о себе, а о своем товарище просишь. Хорошо. Мы жалуем тебя, Ивана Калитина, в поместье тою вотчиною, что подарил нам в святую церковь сей Чоглоков, а Левонтию Скворцову будет тот двор его на Москве, что он дарит нам же разом с вотчиною.

Калитин упал к ногам патриарха, потом, приподнявшись и стоя на коленях, поцеловал его руку. Патриарх благословил его и продолжал:

— Архиепископу Лазарю Барановичу написать от нашего имени отческое и братственное внушение, чтоб он в своей епархии не позволял так поступать и не разрешал совершать браки в те дни, в которые пост установлен по правилам святой восточной католической церкви. От сего немало зла возникает, как тому пример и ныне видим. Лицемеры предлоги вымышляют: венчанье и брак не в брак считают, и блудные дела оттого починаются. Изложив сие все преосвященному Лазарю, увещевать его, чтоб он обычаев латинских не держался, хотя таковые и укоренились в тамошних людях через долговременное пребывание под иноверным господством; ему, яко пастырю доброму, а не наемнику, надлежит бдеть о словесных овцах своих и охранять их от влезания к ним душегубительного латинского волка. Жену оную Анну отправить к ее первому единозаконному мужу в супружеское сожитие; за вступление же незаконное в брак при живом муже никакого церковного наказания ей не чинить, понеже то сталось по конечной неволе.

— О священнике пахримском, что венчал незаконно Анну, что укажешь, всечестный господине, святый владыко? — произнес Калитин.— Позвать бы его, да на патриаршем дворе подержать в железах с месяц.

— Нет, мало,— сказал патриарх.— Хоть и господин той вотчины повелел ему, но он должен был помнить, что у него есть свой господин, архипастырь. Продержать его в железах в нашем погребе на хлебе, на воде да на квасе не месяц, а четыре месяца. Да и то пусть себе вменит в милость, что

не велим его расстричь за такое богопротивное дело, снисходя к тому точию, что сие содеял он по малодушию и боязни. Жене же той, возвращая ее к мужу, выдать от нашего смирения Христову милостыню на дорогу пятьдесят рублев.

Пришедши из покоев патриарших в Приказ, Калитин говорил Скворцову:

— Слава тебе, Господи! Сталось все так, как лучше и хотеть не могли. Святейший пожаловал мне пахринскую вотчину чоглоковскую. Я и не просил его, а он сам без моего челобитья меня пожаловал! А я тогда говорю ему: много доволен, о себе не прошу, а вот если б милость была твоя, честнейший владыко, пожаловать бы изволил, как Бог тебя наставит, моего товарища Левонтия Скворцова,— а он на это: вот, говорит, хвалю за то, что просишь не о себе, а о другом. Даю ему, Скворцову, говорит, тот двор московский, что Чоглоков отдал. Вот, Левонтий Саввич, у тебя теперь свой дворик будет, свое гнездышко.

Скворцов, с выражениями радости, целовал Калитина и благодарил его, но втайне он не был доволен тем, что Калитин как будто забыл вовсе, что обещал было ему треть вотчины чоглоковской, если ему она достанется. Но заявлять об этом товарищу Скворцов не посмел: он был, что называется, человек смирный и потрухивал перед Калитиным.

— А все-таки досадно! — сказал Калитин.— Ларион Иванов подполовинил знатно животы бездельника, а нам только последушки остались!

XVII

Ганна, в продолжение производства дела в Патриаршем приказе, жила во дворе Калитина с прочею челядью в дворовой избе и исполняла свои обязанности: ходила за двумя коровами, доила их, ставила молоко на устой, подкладывала коровам корм, выметала хлевок, в котором они стояли; близ нее постоянно ходила девочка лет пятнадцати, которую госпожа готовила быть коровницею. Калитина удивилась, когда Ганна, по малороссийскому обычаю, принялась было доить коров, подпуская к ним телят, что в Москве не было в обычае. Ганна объяснила хозяйке, что через это телята будут лучше расти и набираться силы и будет из них крупный рабочий скот. Калитина до тех пор думала, что можно заботиться разве только о телушках, а не о быках, и пришла в изумление, когда услыхала, что

в черкасской земле пашут землю быками. Ганна получала от хозяйки и другие поручения, исполняла все с радением, как умела, и Калитина была ею очень довольна.

Так прошли летние месяцы 1677 года. Во второй половине сентября этого года, воротившись по обычаю из Приказа домой, Калитин сообщил жене приятную для них обоих новость. Святейший патриарх изволил пожаловать их вотчиною из домовых патриарших вотчин, тою самою, что владел бездельник, обидевший женку-хохлачку, помещенную в их дворе, а самую женку велел отправить на ее родину к первому мужу.

Позвали Ганну.

— Доброго тебе здоровья, молодушка! — сказал ей Калитин.— Дело твое, слава Богу, покончилось. Святейший патриарх указал считать упраздненным навеки твой насильный брак с чоглоковским холопом и отпустил тебя к твоему первому мужу, да еще святейший патриарх пожаловал, изволил приказать выдать тебе от него, святейшего, милостыни на дорогу пятьдесят рублев. Завтра позовут тебя в Приказ и там прочтут приговор.

Ганна бросилась целовать руки Калитину и Калитиной, благодарила за хлеб, за соль и просила прощения, если, быть может, не умела чем-нибудь угодить им во время своего прожития. Калитина похвалила ее за усердие и желала ей благополучия.

— А ехать тебе одной с подводчиком будет, может быть, и скучно и непригоже,— сказал Калитин.— Ты бы сходила на Малороссийский двор и узнала там, не едет ли кто из ваших земляков в вашу сторону. И ты бы с ними съехала.

Ганна воспользовалась таким советом, но стала расспрашивать не о Малороссийском дворе, а о том, где теперь живет Дорошенко; она считала долгом поблагодарить его за то, что он первый принял в ней участие и помогал ей в ее крайности. Она узнала, что Дорошенко с Греческого двора переведен в свой собственный двор, пожалованный ему от царя.

Нашла она Дорошенко в его новоселье и была допущена к нему. Петро принял ее ласково, как старую знакомую, расспросил, как окончилось ее дело, и сказал:

— Тобі якраз можно їхать з нашими людьми, що до мене приїздили от брата Андрія і незабаром уїздять назад у Сосницю. Тільки я тобі, молодице, новину скажу, може, не дуже пріймовну. Авжеж, правди не сховаєш нігде. Чоловік твій Молявка, що сотникував у Сосниці, оженився

з другою, з Бутримовою дочкою, дівкою. Отакий недобрий, не хотів підождать тебе!

Ганна сначала побледнела и минуты две-три стояла как вкопанная, потом разразилась горьким плачем.

Дорошенко сказал:

— Жаль тебе, молодице, далебі, дуже жаль! Одначе Господь заплатив твоєму невірнику. Катюзі по заслузі. Уже Молявка не сотник тепер. Ясновельможний змістив його і пожаловав сотництво братові моєму Андрієві. А Молявка живе у тестя свого Бутрима і, кажуть, усе не ладить із своєю жінкою.

— Він проти мене ні в чім не винен,— сказала Ганна сквозь слезы.— Як-то було йому чекати мене, коли ніхто не знав,де я поділась, а до того, може, і написано було і йому було читано, що я повінчана з іншим у Московщині. Запевне так було. Бог з ним! Мабуть, така мені доля од Бога судилася!

— Авжеж так, правда, молодице! — сказал Дорошенко.— Бог чоловіка сотворив, Бог за чоловіком і чинить так, як волить. На мене поглянь, молодице: що я був колись і що став! Був я гетьман, володів Україною, з царями-королями водився, як з рівнею, а тепер — на чужій стороні в пониженню, в неволі... Да ще поздоров, Боже, великого государя милосердого: дав мені, бідному, прихилок і хліба кус, а там, на Україні, вся моя худоба знівечилась, і самий мій Чигирин запевне не устоїть і пропаде. А у тебе, молодице, є батько й мати?

— Є,— отвечала Ганна.— Або ліпше скажу: були, а тепер чи живі — не знаю!

— До їх їды! — сказал Дорошенко.— Вже таки у свого роду легше тобі жити буде! Боже тебе благослови. На тобі, молодице, од мене на дорогу!

Дорошенко подарил ей несколько рублей. Ганна поцеловала ему руку.

Послушавши в Приказе указ о себе и получивши жалованные ей от патриарха пятьдесят рублей, Ганна простилась с Калитиным. Хозяйка подарила ей узел с бельем, летником и двумя поневами: то был ей знак хозяйской благодарности за непродолжительную, но исправную службу и милостыня на бедность от семьи Калитиных. Не жаль было им дать эту милостыню! Они через Анну получили несравненно больше выгод, чем насколько теперь давали Анне.

Ганна прибыла с своим узелком в дом Дорошенка и

оттуда выехала с его людьми, привозившими в Москву для Петра Дорошенка жизненные припасы и ворочавшимися к Андрею Дорошенку с разными сделанными в Москве закупками. Удаляясь из Москвы, Ганна мысленно послала проклятие злодею, испортившему ее молодую жизнь.

Следуя все дальше и дальше на юг, не узнала она, что проклятие бедной женщины постигло злодея скорее, чем можно было ждать. Ограбленный в Приказах до ниточки, выгнанный со двора, Чоглоков шатался по Москве, где день, где ночь, принялся с горя пить и пропивать небольшую сумму денег, уцелевших у него в кармане от погрома. Через месяц не хватило у него за что пить; одетый в лохмотья, в которые превратилось бывшее на нем одеяние, он слонялся около Петровского кружала, кланялся всем проходящим, вымаливал денежку на пропитание, или, вернее, на пропитие. Пришла зима, наступили морозы. У Чоглокова не было ни теплого помещения, ни теплой одежды: бесприютный, ночевал он то в кабаках, то на улицах под церковными зданиями, и однажды кто-то по христолюбию дал ему малую толику денег на пропитание. Чоглоков перед тем долго ничего не ел, и, как выпил водки, она его так разобрала, что едва он вышел из кружала, как упал, заснул на мерзлой земле и уж больше не проснулся. Его тело подобрано было поутру, отвезено в убогий дом и там свалено в общую могилу, в кучу с другими трупами опившихся, которых в Москве каждое утро собирали по улицам. Не помянули раба божия Тимофея по-христиански ни запискою его имени в синодик, ни подачею часточки за упокой души его те дьяки, которые владели ограбленными у него вотчинами: не имели они повода осведомляться о его судьбе и даже не узнали о его смерти.

XVIII

Дорошенко хорошо изучил и знал казацкую натуру: часто не бывает ей удержу, когда на глаза казаку попадается молодая, да еще красивая женщина. Людей, приезжавших из Сосницы, было четверо, на двух подводах. Все люди были уже немолодые, но Петро Дорошенко все-таки, не совсем полагаясь на их пожилой возраст, перед обратною отправкою призвал их всех и настрого приказал, чтобы они обращались с Ганною почтительно, как с честною чужою женою, не привязывались бы к ней ни с чем греховодным, и прибавил, что если они себя станут вести иначе, то брат его Андрей взмылит им спины канчуками. Это охранило

Ганну на всю дорогу и от надоедливых любезностей и от лишней болтовни. Она обращалась с товарищами пути хотя не надувая губ, но не пускалась в продолжительные беседы, не скрывала от них того, что с нею происходило в Москве, когда ее о том спрашивали, но ограничивалась короткими ответами и старалась им дать заметить, что ей тем будет приятнее, чем меньше будут они толковать с ней. Зато они и оставляли ей много времени погружаться в свои думы, а думы у ней сменялись одна за другою. Ей, конечно, становилось легко на душе, как только приходила ей в голову мысль, что уже не увидит она более ни отвратительного Чоглокова, ни противного Васьки, против собственной воли принуждавшего ее считать его своим мужем; не увитит она более ни дьяков, ни приказных сторожей, ни вообще москалей, чужих для нее людей. Минутами величайшего наслаждения кажутся человеку те минуты, когда ему удается освободиться от бед и мучений, которые долго терпел без верной надежды от них избавиться. Но весть о новом браке ее мужа сразу отравила Ганне это счастие. Мимо собственной воли Ганны злоба прокрадывалась в ее добрую, кроткую душу. «Он не любил тебя,— зачем же сватался? — говорил внутри ее голос этой злобы.— Если б он в самом деле тебя любил, он бы не связался так скоро с иною женщиною. Он бы искал тебя и нашел бы твой след; он, как твой законный муж, узнал бы, в какой ты беде находишься в чужедальней стороне, и вытащил бы из беды свою подругу, хотя бы ему пришлось пробираться на край света до студеного моря!» Но потом и сердце и рассудок произносили над ее супругом иной приговор: «А может быть, он и искал своей жены, и, может быть, набрел на ее следы, да узнал, а не то — и выписку ему показали, что она за другим замужем в далекой Московщине. А разве кто-нибудь мог ему тогда объяснить, как это сталось со мною, как я, повенчавшись с ним в Чернигове, да очутилась под Москвою и там поп насильно повенчал с москалем? И то надобно по правде судить: не он первый от живой жены женился, а я первая от живого мужа была повенчана! Он того не мог узнать, что это поневоле со мною приключилось! Что ж ему отыскивать меня, с кем-то другим в Московщине повенчанную? Экое добро я! Коли такая у него жена, что от него отступилась, так и он от нее отступился! И тяжело, ух, как тяжело ему, бедному, должно быть, было на душе, когда узнал он, что я чужая чья-то жена! Может быть, от такой тяготы да тоски он

и задумал сам скорее жениться! Вот и теперь, как я вернусь в Чернигов, а он заподлинно узнает, что я ни в чем не виновата и из столицы меня послали к нему, моему законному мужу, так будет жалеть и сам себя станет клясть — зачем женился? Да и жену свою, может быть, еще возненавидит. Ах, не дай Бог, не дай того, пресвятая богородица! Нет, нет! Я не стану сама ему выставляться; пусть лучше не знает, где и что со мною деется! Пусть себе живет с тою, которую полюбил, и она пусть верно любит его. Дай Боже им счастия! А про меня пусть совсем забудет!»

Было осеннее время. Осень в тот год была довольно сухая и ясная, дожди падали не часто; дорога была гладкая, исключая низких мест. Ехалось и живее и скорее. Осень вообще в жизни поселян самое веселое время. Уберутся хлеба; хозяева устраивают братчины; раздаются повсюду песни;осенью же более всего бывает и свадеб. Проезжая через села, не в одном месте путники наши встречали пестрые кружки свадебных поездов, шедших или ехавших с песнями и гигиканьем, а кое-где еще и с музыкою, с сопелями, накрами и домрами. В первом малорусском селе, через которое они ехали, вступивши в пределы Гетманщины, увидала бедная женщина «дружек», которые, идя по улице с невестою, пели:

Молода Ганночка, що нахилиться,
Слізоньками умиється,
Що розігнеться,
Рукавцем утреться.

На Ганну эти встречи наводили грустные впечатления: припомнилась ей собственная свадьба, так странно затеянная, не вполне совершившаяся, так нежданно и ужасно прерванная и оставившая ей горькую долю умываться слезами, как пелось в услышанной песне.

Наконец они доехали до Сосницы.

Сосницкому сотнику Андрею Дорошенку подали от брата Петра письмо. Брат просил его оказать покровительство Ганне Молявчихе. Андрей тотчас велел позвать ее к себе. Первым делом его было спросить: довольна ли она людьми, провожавшими ее из Москвы; потом Андрей свел разговор на ее мужа, рассказал про его житье-бытье в Соснице до самого того времени, когда сосницкая громада отрешила его от сотничества и выбрала сотником его, Андрея Дорошенка.

— А Молявка десь повіявся до своїх Бутримів! — закончил свой рассказ Андрей Дорошенко.

Чрезвычайно досадно было Ганне слушать все это о ее муже, но ни в чем противоречить она и не смела и не могла. Андрей Дорошенко представлял Ганне, что ее Молявка — человек совсем дурной и жалеть об нем не стоит, когда он связался с другою женщиною, не дождавшись своей законной жены и не зная, где она и что с нею делается. Сидевший тут полковой писарь стал было доказывать, что архиепископ не по правде дозволил Молявке жениться вновь от живой жены, так как это по закону разрешается только в таком случае, когда бы жена находилась в безвестной отлучке семь лет; он советовал Ганне подать от своего имени иск. Но Ганна, до тех пор только слушавшая и сама ничего не говорившая, в первый раз открыла рот и произнесла, что такой совет напрасен: не станет она принуждать мужа жить с собою, когда тот не захочет этого сам. Андрей Дорошенко согласился с Ганною, но прибавил, что не худо бы ей, однако, сходить к преосвященному и взять от него заранее законное свидетельство на право вступить вторично в супружество. Ганна на это ничего не сказала.

Андрей Дорошенко, вместе с женою, обласкал и угостил Ганну, как дорогую гостью, и на другое утро после того снарядил подводу и отправил на ней Ганну в Чернигов.

Приближался конец октября. Был день холодный, облачный, время от времени то проглядывало из облаков, то скрывалось за ними солнышко. В такой день подвода, отправленная с Ганною, въехала в Чернигов через стриженский мост и тотчас повернула вдоль берега Стрижня. Ганна проехала мимо бокового входа в тайник, куда в последний день своего пребывания в Чернигове пошла она с ведрами на свою погибель. Ганна невольно дрогнула. Через несколько минут подвода остановилась у Кусова двора. Ганна сошла с повозки, взяла с собою узелок и вошла во двор. Сердце у нее сильно билось, ноги подкашивались; ее волновала мысль: застанет ли она в живых своих дорогих и, конечно, изнывших в тоске за нею стариков. Первое существо, встретившее ее, была собака, которая на цепи по веревке бегала взад и вперед. Услышала собака скрип калитки в ворота, бросилась туда с лаем, но вдруг, узнавши сразу Ганну, принялась визжать и ползать, силясь приблизиться к знакомому лицу. Ганна подошла к ней и погладила ее. Повернувшись к хате, она тронула знако-

мую дверь и вошла в сени. И здесь никого она не встретила. Она творит крестное знамение, она лепечет молитву: «Господи Іісусе Христе, помилуй нас!» Она берется за ручку двери, ведущей из сеней в светлицу. Рука ее дрожит, она долго не в силах отворить двери. Вдруг дверь отворяется изнутри. Перед Ганною стоит ее мать.

Обе в единый миг испустили пронзительные крики. Обе кинулись одна к другой на шею.

— Мамочко! — воскликнула Ганна.

— Доненько! — произнесла мать и начала обцеловывать дочь, прилегая головою то к тому, то к другому плечу ее. Отец что-то работал в саду; наймичка, все та же, которая жила у Кусов и прежде, услыхала радостные крики из своей рабочей хаты, прибежала в светлицу, увидевши Ганну, всплеснула руками и побежала куда-то. Она дала знать отцу; тот прибежал вместе с наймитом — тем самым, которого когда-то, в день бракосочетания Ганны, Кусиха хотела посылать за музыкою. Мать и дочь продолжали целоваться и обниматься; слышались только вздохи и короткие восклицания. Кус первый заговорил, обращая взоры к иконам:

— Господи милостивий! Як же ти зо мною, грішним, милосерд єси, що сподобив мене на схилку віку мого любу мою дитину побачити. Тепер, Господи, аще рачиш мене і до себе прийняти, нехай твоя воля стане! Бо вже на сім світі ліпшого мені нічого не зостанеться чекати. Як то чудно ти, праведний і милостивий Господи, нас і караєш і милуєш.

Он схватил Ганну за голову, целовал ее долго, прижимая к своей груди, и разливался слезами.

Подошла затем наймичка и наймит, целовались и здоровались с Ганной. Оба они привыкли к дому Кусов за многие годы, стали уже как бы членами их семьи и горячо принимали к сердцу судьбу своих хозяев. И они плакали, целуясь с нежданно явившеюся хозяйскою дочкою.

Утомленная от излияний любви, Ганна села на лавку. Кусиха, сама не зная зачем, пошла к шкафу и стала искать, сама не зная чего; это делалось по привычке малороссийской натуры: если ей на душе очень весело, то первое побуждение у ней является — поить и кормить все окружающее. По тому же народному побуждению наймичка пошла в чулан, взяла там складень с медом и внесла в светлицу, а потом попросила у хозяйки: не даст ли ей ключей от погреба «наточить» наливки,— и Кусиха машинально отдала ей ключи.

— Дочко! Серденько! Розкажи, що з тобою діялось? Куди і як ти од нас пропала? Де була? Як жива зосталась і як до нас вернулась? Ох, Боже наш, Боже! Як же то ми з батьком помучилися за тобою, Ганно,— говорила Кусиха.

— Мамочко! Таточко! — произнесла Ганна.— Простіть мене, коли в чім я проти вас согрішила! Бо запевне грішниця я була велика, що Господь послав на мене таке лихо!

— Кажи, кажи! — повторили отец и мать. Наймичка и наймит, стоя поодаль, напрягли внимание.

Ганна начала повесть своих бед. Рассказ о бесстыдном и злодейском поступке воеводы произвел на сидевшего близ Ганны отца такое впечатление, что он вскочил с места, затрясся всем телом, лицо его побагровело; он ударил кулаком по столу, потом залился горючими слезами. Заволновалось в нем разом растерзанное чувство родителя и уязвленное достоинство человека. Успокоившись немного, он произнес:

— Бідна наша головонька! Нещаслива наших людей доленька!

Рассказ о том, как Ганну привезли в подмосковную вотчину и там насильно венчали с холопом, призвел опять взрыв негодования и бешенства у раздраженного отца.

— О, єретичі сини! Куди вони затягли нас, бідних! — воскликнул он, и нельзя было сразу понять, о ком говорит он.

Когда же, рассказывая все по порядку, дошла она до того, как, убежавши от Чоглокова, пришла она к Дорошенку и тот оказал к ней некоторое внимание, Кус сделал такое замечание:

— Єдине свій чоловік найшовся на чужій стороні при лихій годині! Сам нещасливий, а споглянув на чужу нещасливу долю. Дай, Боже, йому щастя-здоров'я! Якби його там не було, до кого б вона утекла, до кого б вона прихилилась між чужими людьми-ворогами!

Ганна все рассказала, что знала и слышала, как дьяки обобрали ее злодея Чоглокова.

— Тільки всього! — произнес отец.— Покарали ж!

— Мало йому буде — спалить його на вуглях або живцем шкуру з його злупить! Усе б ще не по заслузі йому було,— сказала Кусиха, находившаяся под влиянием рассказа Ганны в сильном озлоблении, хотя по своей природе вовсе не была способна делать чего-нибудь похожего на то, что говорила.

Ганна сказала, что перед отъездом ее из Москвы Дорошенко сообщил ей о новом браке с другою Молявки-Многопеняжного. При этом Ганна заплакала и закрыла лицо руками. Отец нахмурился и повесил голову. Кусиха начала укорять старую Молявчиху, говорила, что все это она так подстроила, научила своего сына оставить в беде и забыть свою пропавшую жену.

— Бог знає,— заметил Кус,— може, і не стара; може, сам молодий якось провідав, що його жінка з іншим повінчана. Аже ж: як би пак його з другою повінчали, коли б не знали певне, що перша його жінка сама вже повінчана з іншим?

— Я його не виновачу,— сказала Ганна.— Запевне, йому довели, як на долоні, що я з іншим повінчана, і він те ж ізробив. Чим він винен? Моя доля нещаслива винна.

И она снова разразилась рыданьями.

— Авжеж! — говорила раздраженная Кусиха.— Щоб його душа так пролилась уся, як отсе через його ллються сльози моєї дитини!

— Баба, як єсть баба! — сказал Кус.— Сама не знає, на кого сердиться. Правду повідать — чи винен він, чи ні, того не знаю, а коли винен, то все-таки менш од усіх!

— А хіба вона чим винна проти його! — сказала Кусиха.

— Тато правдивіший! — сказала Ганна.— Ні в чім, ні в чім він не винен. Дай, Боже, йому доброго здоров'я і щастя з іншою, аби тільки вона його щирим серцем так любила, як я. Не судив нам Бог укупі жити; а я йому не те що нічого злого не жадаю, а рада б ще хоч яке лихо перебути, аби йому добре було!

— Випила ти добрий ківш лиха, дочко! — сказала Кусиха.— Не дай, Боже, куштовать його за таке паскудне, що одвернулось од тебе і наплювало на тебе!

Кус сказал:

— Я бачу, сей молодець дуже задатний, зумів собі стежку протоптати. З простого рядовика — нашого брата — піднісся у панство, сотником зразу став! Да зась! Зазнавсь, мабуть, скоро. Скинули, кажуть.

— І я чула,— сказала Ганна,— скинули, і Дорошенків брат — сотником у Сосниці.

— Єму сількісь! З багатою панною оженився, з Бутримовною. Се люди багаті,— заметил Кус.

— Буває, тату, що з бідною приятнійше шматок житнього хліба гризти, ніж з багатою смачний обід обідати і дорогі напитки вживати. Минуй його, Боже, недобра доля! — сказала Ганна.

— Так як же се? — заметила Кусиха.— Ганна йому жінка була, а тепер уже що ж вона: не жінка йому стала, чи як?

— Я йому жінкою і зосталась,— сказала Ганна.— У мене лист єсть од патріарха з його Приказу даний: те вінчання, що на мене в Московщині силоміць наложили, не уважать за вінчання, а мене щитать за жінку Молявці-Многопіняжному. Так патріарх присудив.

— Отсе у Молявки дві жінки разом буде, чи що? — спрашивала Кусиха.— Сього по нашому хрещеному звичаю не можно. Яка-небудь да одна йому жінка повинна бути: або ти, обо та, друга!

— Або ні та, ні друга! — сказал Кус.— По моєму розгляду — так. Хоч не винен він, що з двома побрався, а вже як перша жінка знайшлась, так не треба завдавати жалю ні тій, ні другій, і не жити б йому ні з першою, ні з другою, а уйти у монастир Богові слуговати.

— А я ще раз кажу,— сказала Ганна,— нехай живе в щасті-здоров'ї з тією, котра його полюбила без мене. Ні в чім він проти мене не согрішив, ні я проти його. Я по вік свій турбовати його нічим не стану. Аже ж ви, тату і мамо, не проженете мене з своєї домівки! З вами укупі житиму, вам годитиму, вам слугуватиму, старощів ваших доглядатиму, за вас, тату і мамо, щодня й вечір, вставаючи і лягаючи, Бога благатиму. От так увесь вік свій коротатиму!

— Дитино люба,— сказала Кусиха,— ти ще молоденька! Може, Бог, коли милосердіє єго буде, нагородить тебе за все те лихо, що одбула єси неповинно. Може, Бог пошле тобі дружину!

— А як я маю з тією дружиною зійтися? — сказала Ганна.— Хіба я її шукатиму?

— Не ти, доню, її шукатимеш, а вона тебе знайде,— сказала Кусиха.— Ще ти хороша, доненько моя: хоч і спала з виду од того палючого лиха, а ще не зовсім зниділа.

— Не знаю,— сказала Ганна,— того, що буде попереду. Не знаю — і вигадувать про те не стану, і зарікатись не буду. Одно тільки знаю: не піду я ні за кого такого, що мене щиро не полюбить і котрого я сама не полюблю. Отсе я знаю. А що дальш зо мною станеться і яку Бог долю мені судить, про те не знаю і думать про те не хочу.

— Се розумне слово, дочко! — сказал Кус.— Не маємо про пришле гадати. Треба жить, як набіжить, та й годі. Слава милосердому Богові: ти у нас одна, а у нас худобонька, хвалить Бога, єсть: хоч ми не дуже багаті, а все-таки

нужди не знаємо. Усе наше — твоє. Коли очі наші закриються, нікому ж воно все зостанеться, як тільки тобі.

После этого разговора начался семейный обед. Все подпили наливки. Кус вынул бульшую серебряную стопу, которая была подарена одним значным войсковым товарищем еще на свадьбе Куса с Кусихою. Наливши ее до верха смородиновкою, Кус поднял стопу вверх и произнес:

— Подай, Боже, доброго здоров'я і щасливого віку доживання славному тогобочному гетьманові Петрові Дорошенку за те, що нашу дитину ласкаво прийняв на чужій стороні між чужими лихими людьми, нашими ворогами! Аще же в чім согрішив перед Богом, пошли йому, Господи, час покаяття і прости його по великому твоєму милосердію!

Примечание. О дальнейшей судьбе возвращенной на родину Ганны Кусивны в деле об ней известий нет. Мы строго держались, в основных чертах, той фабулы, на какую случайно наткнулись, рассматривая акты, хранящиеся в московском архиве министерства юстиции. Мы дозволили себе в изложении вносить только подробности истории быта и нравов описываемого времени на основании черт, рассеянных в различных источниках того века.